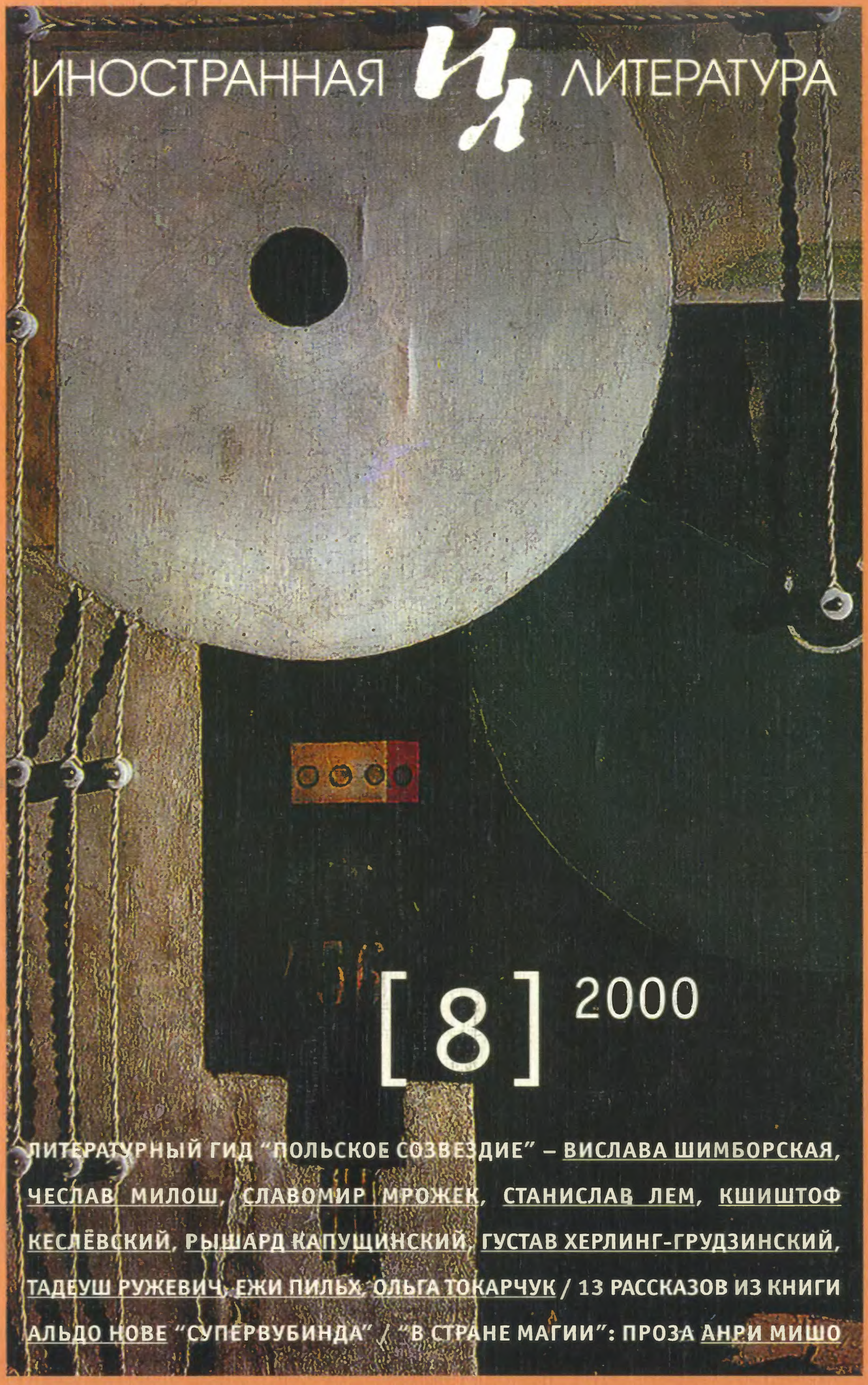
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[8] 2000

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ПОЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ" – ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ, ЧЕСЛАВ МИЛОШ, СЛАВОМИР МРОЖЕК, СТАНИСЛАВ ЛЕМ, КШИШТОФ КЕСЛЁВСКИЙ, РЫШАРД КАПУЩИНСКИЙ, ГУСТАВ ХЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ, ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ, ЕЖИ ПИЛЬХ, ОЛЬГА ТОКАРЧУК / 13 РАССКАЗОВ ИЗ КНИГИ АЛЬДО НОВЕ "СУПЕРВУБИНДА" / "В СТРАНЕ МАГИИ": ПРОЗА АНРИ МИШО

Основан в 1891 году

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 13 250 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Главный
редактор

А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н.А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л.Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А.В. Михеев
ответственный секретарь

Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

[8]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2000

Ежемесячный
литературно-
художественный
и публицистический
журнал

3 Анри Мишо. *В стране магии.* Перевод с французского Алины Поповой. *Путешествия реальные и воображаемые.* Из беседы Мишеля Бютора с Пьер-Марком Бьязом. Перевод с французского Ирины Кузнецовой

28 Альдо Нове. *13 рассказов из книги «Супервубинда».* Перевод с итальянского и вступление Геннадия Киселева

Литературный гид "Польское созвездие"

54 Вислава Шимборская. *Два стихотворения.* Перевод Асара Эппеля

57 Чеслав Милош. *Придорожная собачонка.* Фрагменты книги. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

74 Густав Херлинг-Грудзинский. *Белая ночь любви.* Театральная повесть. Перевод Алексея Михеева

136 Рышард Капущинский. *Черное дерево.* Фрагменты книги. Перевод С. Ларина

177 Тадеуш Ружевич. Из книги *Мать уходит.* Перевод Асара Эппеля

182 Кшиштоф Кеслёвский. *Случай.* Киноновелла. Перевод С. Тонконоговой

207 Славомир Мрожек. *Моя автобиография.* Перевод С. Макарцева

227 Ежи Пильх. *Бесповоротно утраченная леворукость.* Фрагменты книги. Перевод К. Старосельской

240 Ольга Токарчук. *Номера.* Рассказ. Перевод К. Старосельской

255 Станислав Лем. *Что остается?* Перевод Ю. Чайникова

Статьи, эссе

261 Джордж Стайнер. *Великая 'Ennui'.* Перевод с английского А. Ливерганта

Среди книг

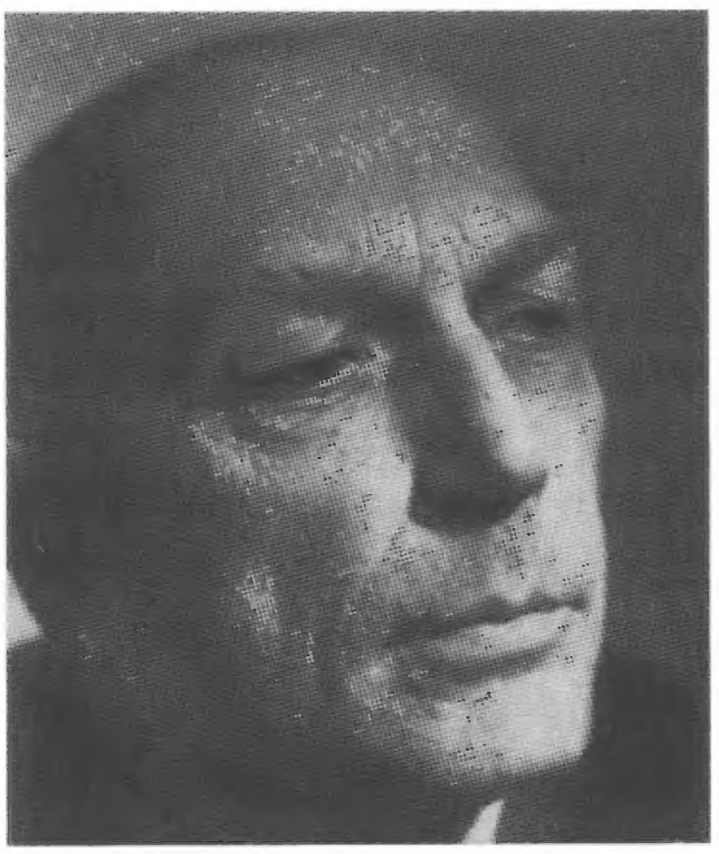
272 Борис Дубин. *Из истории вымыслов – тайной и явной.* А. Нестеров. *Земли памяти, воды забвенья.* Александра Борисенко. *Страхи Джона Ирвинга.*

Курьер "ИЛ" 281

Авторы номера 284

© "Иностранная литература", 2000

Анри Мишо



В *стране магии*

Перевод с французского Алины Поповой

Предисловие[1]

Автор часто бывал в чужих краях: два года прожил в Великогарабании, примерно столько же в стране магии, чуть меньше — в Поддемá. Или намного дольше. Точных сведений нет.

Не все в этих странах было ему по вкусу. А к чему-то он почти приспособился. Не то чтобы полностью. На чужбине приходится держать ухо востро.

После каждого путешествия он возвращался домой. Выносливость его не беспредельна.

Кто-то из читателей счел эти страны несколько необычными. Ничего, это только на первый взгляд. У них уже меняется впечатление.

Заодно автор показывает и мир, из которого хотел убежать. Но разве из него убежишь? Мы все тут под колпаком.

Вы заметите, что в этих странах нет, в сущности, ничего нереального. И очень скоро станете узнавать их повсюду... Они так же естественны, как деревья, букашки, как голод, привычки, старость, как все порядки и распорядки, как присутствие неведомого рядом с давно знакомым. За всем, что есть ныне, прячется нечто, не осуществившееся по чистой случайности, что готовилось, зрело, грозило осуществиться и наравне с тысячами "возможных вариантов" уже начинало существовать, но не смогло утвердить себя в мире...

А. М.

© Éditions Gallimard, 1967
© А. Попова. Перевод, 2000
Печатается в сокращении.
Рисунки тушью Анри Мишо из серии "Движения", 1951 г.

1. Предисловие Анри Мишо относится сразу к трем текстам — "В стране магии", "Путешествие в Великогарабанию" и "Вести из Поддема", — составившим его книгу "В иных краях". (*Здесь и далее — прим. перев.*)

ВОКРУГ страны магии — крохотные островки, здешние буи. Они на *мертвом* якоре: в каждом из них по мертвецу. Этот пограничный пояс защищает страну, он заменяет сторожевые посты, давая знать о приближении чужеземцев.

Потом остается только отправить их по ложному пути и спровадить подальше.

*

Вы видите клетку, слышите порханье. Вы уверены, что узнаёте стук клюва по перекладинам. Но птицы нет.

Из одной такой пустой клетки я слышал самую громкую в моей жизни перебранку попугайчиков. Естественно, не было видно ни одного.

Но какой галдеж! Как будто их там три-четыре дюжины.

“А не тесновато им в такой маленькой клетке?” — спросил я машинально и, когда понял, что́ говорю, попытался придать своему вопросу оттенок иронии.

“Ну да, — спокойно ответил владелец, — поэтому так и тарахтят. Им нужна клетка побольше”.

*

Эта капля все чувствует лучше собаки. Она ручная. Дети с ней играют. Она впадает в тоску, как только на нее перестают обращать внимание. Если ее бросить — растечется и умрет. Расползутся по сторонам водяные букашки. Иногда мальчишки для развлечения убивают каплю — не то из любопытства, не то со зла.

Если со зла — им грозит удар по тормозам (см. заметку об ударе по тормозам).

*

На больших дорогах нередко встречаешь одинокую волну, не принадлежащую ни одному океану.

Никакой пользы она не приносит, не служит и для забавы.

Просто стихийный выплеск магии.

*

А вот ходить одновременно по двум берегам — это, наоборот, упражнение, к тому же очень нелегкое.

Часто можно увидеть, как начинающий маг-студент идет вдоль речки по обоим берегам сразу: он так сосредоточен, что вас и не замечает. Потому что дело это тонкое и отвлекаться нельзя ни на минуту. Иначе он мгновенно окажется на каком-нибудь одном берегу, то-то будет позор!

*

Специальный костюм для произнесения буквы “Р”. Еще у них есть костюм, чтобы произносить букву “Встсс”. С остальными буквами можно как-то выкрутиться, кроме разве что буквы “Хнь”.

Но стоят эти костюмы недешево. У многих людей не хватает средств на такую покупку, и на этих буквах они запинаются и мямлят, если только не обладают очень большой магической силой.

*

По вечерам в сельской местности нередко показываются огни. Эти огни — не совсем огни. Они ничего не сжигают. Разве что самые пылкие их языки могут спалить паутинку, и то если она залетит прямо в пламя.

На самом деле эти огни не греют.

Но яркостью ничто в природе с ними не сравнится (хотя электрический разряд все же ярче).

Их вспышки завораживают и пугают, не причиняя, впрочем, никакого вреда, а потом огонь гаснет так же внезапно, как и возник.

*

Я видел воду, которая не позволяет себе растекаться. Когда вода к вам привыкла, когда это — ваша вода, она не прольется, даже если графин расколется на куски.

Она просто ждет, пока ей подставят другой графин. И не пытается вылиться на волю.

Может, ее удерживает повеление мага?

И да, и нет, но скорее все-таки — нет, поскольку маг, случается, и не знает ни о том, что графин разбился, ни о том, каких стараний стоит воде оставаться на месте.

Но лучше не заставлять воду ждать слишком долго, ей ведь трудно удерживать себя в таком неудобном положении, и она может, не выходя совсем уж из берегов, все-таки расплескаться.

Естественно, это должна быть ваша вода, а не та, которую пять минут как налили. Такая-то растечется сразу. Ради чего ей сдерживаться?

*

Под водой хлопают двери.

Их надо уметь слушать. Тогда можно узнать свое будущее, правда, только ближайшее, то, что с вами случится сегодня. Этим искусством владеют предсказательницы, которые бродят по бе́регу моря в ожидании клиентов.

Они слышат заранее стук каждой двери, которую вы сегодня откроете, сколько бы вам ни предстояло визитов, видят всех, кто вам встретится по обе стороны этих дверей, и знают все, что эти люди скажут или подумают.

Невероятная вещь!

До вечера не избавиться от ощущения, что проживаешь день по второму разу.

*

Магам нравится темнота. Начинающим она просто необходима. Они, если можно так выразиться, *набивают руку* в сундуках, шкафах, ящиках, кладовках, на чердаках и лестничных площадках.

Не проходило и дня, чтобы из моего шкафа не появилось чего-нибудь любопытного вроде крысы или жабы, но работа была неумелая: они растворялись на месте, не успевая дать дёру.

Бывало, что я находил в шкафу повешенных — ненастоящих, разумеется, у них даже веревки и те оказывались фальшивыми.

Думаете, к подобным штукам можно привыкнуть? Взявшись за ручку шкафа, я всегда немного медлил, перед тем как открыть его.

Однажды по моему новому пиджаку прокатилась окровавленная голова, не оставив на нем, впрочем, никаких следов.

Через минуту — такую гнусную, что я не хотел бы пережить ее еще раз, — я закрыл дверцу.

Похоже, что маг был совсем еще новичок, раз не сумел оставить пятен на светлом пиджаке.

Однако сама голова, ее вес и общий вид были скопированы качественно. Я это почувствовал по тому жуткому омерзению, которое на меня навалилось, когда она уже исчезла.

*

Любой ребенок, будь он сыном начальника или калеки, труженика, дурака или мага, всегда рождается с двадцатью четырьмя складками. Их нужно расправить. После этого жизнь человека завершена. В таком виде он умирает. Нет больше складок, нечего разглаживать.

Редко кому удается в отпущенный срок расправить все складки. Но такое бывает. Одновременно у человека формируется ядро. Менее развитые расы, например белые, считают, что ядро важнее разглаживания складок. Маги же считают, что важнее разглаживание.

Только в разглаживании есть смысл. Все остальное — просто сопутствующие явления.

*

Большинство людей в основном занимаются тем, что мучают себе подобных. В стране магов это категорически запрещено, а нарушителей сурово наказывают, поскольку отучать от этого надо сразу.

*

Что такое горбун? Несчастный человек, бессознательно одержимый желанием отцовства (как известно, в сластолюбии горбунам не откажешь, но главная их проблема — как считается в стране магии — отцовское чувство).

Чтобы вылечить такого, из его горба извлекают еще одного горбуна, совсем малютку.

Странный получается тет-а-тет, когда они видят друг друга в первый раз: пожилой горбун, теперь выздоровевший, и маленький, которого уже начала мучить раздражительность и сознание собственного увечья.

Те горбуны, которых извлекают, — само собой разумеется, ненастоящие горбуны, ненастоящие малютки и вообще никакие не живые существа. Через несколько дней они исчезают бесследно.

Но сам горбун распрямляется, и тут нет никакого чуда.

Однако необходим шок. В нем все дело: происходит гальванизация личности, и в первые минуты горбун весь трепещет.

А если он, наоборот, безразлично разглядывает малютку, извлеченного из его горба, то все напрасно.

Такому хоть две дюжины малюток вытаскивай — все без толку, ему нисколько не полегчает.

Что тут скажешь? Это и есть настоящий, законченный горбун.

*

Перед смертью у человека остается два пальца. Не больше, именно два, ими он продолжает цепляться, и за ними нужно ухаживать, массировать их и беречь, потому что, если они разожмутся, все кончено. Тогда больного уже ничто не спасет, даже если удастся устранить источник недуга. Пройдет его последняя ночь. Начала нового дня он уже не застанет.

*

Вдруг чувствуешь: что-то к тебе прикасается. Оглядываешься вокруг — как будто ничего не заметно, тем более если уже начинает темнеть, во второй половине дня (как раз в это время *она* и появляется).

Как-то не по себе. Идешь закрыть окна и двери. Кажется, что какое-то существо из воздуха — вроде медузы, которая плавает в воде и сама состоит из воды, — прозрачное, огромное, тягучее существо пытается просочиться в окно и не дает закрыть его. В доме воздушная медуза!

Пытаешься придумать другое объяснение, попроще. Но невыносимое чувство все сильнее, и ты бросаешься вон с криком "Мья!" и опрометью выскакиваешь на улицу.

*

Хотя они и знают прекрасно, что звезды — нечто большее, чем просто огоньки, заметные на поверхности неба, но все равно не могут удержаться от соблазна развешивать искусственные звезды, на радость детям и себе заодно, иногда просто для тренировки или от полноты магических чувств.

Те, у кого двор совсем маленький, устраивают над ним потолок, испещренный звездами, прекраснее я ничего не видел. Глядишь на такой бедный дворик, окруженный усталыми стенами, которые, кажется, вот-вот заплачут, а над ним — собственное небо, сверкающее, рокочущее от звезд, вот чудо! Я часто задумывался, пытаясь понять, на какой высоте расположены эти звезды, но мои расчеты заходили в тупик: дело в том, что, кроме хозяев, этим зрелищем могут наслаждаться только ближайшие соседи, причем им уже видно плоховато. И в то же время такие звезды никогда не проплывают *под* облаками.

Впрочем, я замечал, что пространство вокруг Луны всегда оставляют свободным, наверно, боятся, что звезды по недосмотру окажутся на фоне Луны.

Похоже, это применение магии порождает больше зависти и амбиций, чем любое другое. Соседи воюют между собой, остервенело пытаясь сдуть с неба чужие звезды. Потом следует месть, и так без конца.

*

Среди мелких ремесленников — умельцев подстилать соломку, заклинать шейный зоб, развешивать тишину — выделяется погонщик воды, его отличает и личное обаяние, и притягательность профессии.

Погонщик свистом подзывает к себе водяную струйку, и та встает со своего ложа и отправляется следом за ним. Так она и следует за погонщиком, наливаясь водой из речек, которые попадаются по дороге.

Иногда погонщик решает оставить ручеек маленьким и позволяет ему подкрепляться в пути лишь слегка, только чтоб не пересох, — для этого на песчаных почвах погонщику приходится быть особенно внимательным.

Я встретил одного такого погонщика и шел за ним следом, зачарованный: с ним был малюсенький ручеек, не шире ботинка, и погонщик из принципа перевел его через бурную широкую реку. Струи воды не смешались, и на том берегу ручеек, целый и невредимый, последовал за погонщиком.

Такой фокус не всякому ручьеводу по зубам. Воды могут в два счета слиться, и тогда придется ему искать себе новый ручей.

В любом случае, хотя хвост ручейка неизбежно теряется, того, что осталось, хватит на поливку сада или на заполнение пересохшего пруда.

Но медлить не стоит: ручеек уже сильно измотан и может совсем ослабеть. Такую воду называют *отработанной.*

*

Чтобы строить дороги, у них имеется мостильная кисть.

Еще у них есть кисть для сооружения домов. Для отдаленных мест используют даже строительное ружье. Но нужно уметь точно целиться, очень точно. Почему — и так понятно. Кому хочется, чтобы ему на голову угодила крыша?

*

"Ах, если бы выловить из воды всех рыбок-иголок, — восклицают они, — тогда купаться стало бы просто невероятным блаженством, но об этом лучше и не мечтать, ведь такого, увы, никогда, никогда не будет".

И все-таки они пытаются. Ловят этих рыбок на удочку.

Удочка для ловли рыбок-иголок должна быть тонкой-претонкой. А леска — совершенно прозрачной, невидимой, чтобы погружалась в воду легко и незаметно.

К сожалению, рыбки-иголки и сами практически невидимы.

*

Одно из традиционных испытаний — вязанка змей. Прошедший его получает берет второй степени. Кандидат на получение магического берета второй степени отправляется за змеями. Годной считается любая змея. Отказываться нельзя ни от каких. У них водятся и ядовитые змеи, и такие, что набрасываются друг на дружку. Большие и маленькие. А еще нужно иметь в виду, что все змеи скользкие, так и норовят заплестись петлями (запрещено условиями конкурса!) и спутаться в общий клубок (запрещено тоже!)

Кандидат должен принести аккуратную, ровную вязанку, в трех местах перехваченную бечевкой или ивовыми прутьями.

Такое вот сложное дело — заработать берет второй степени. Без власти над змеями магии не бывает. Если кандидат выдержал испытание, ему присылают копию его головы, изготовленную посредством магических чар. Провалился — кочан капусты.

*

У преступников, пойманных за руку, тут же, на месте преступления, срывают лицо. Маг-палач не заставляет себя долго ждать.

Чтобы сорвать с человека его привычное лицо, требуется недюжинное усилие воли.

Мало-помалу лицо уступает, поддается.

Палач собирается с силами, упирается, начинает глубже дышать.

И, наконец, срывает лицо.

Если процедура проходит успешно, все отслаивается сразу: лоб, глаза, щеки, как если бы лицо смыли какой-то чудовищной разъедающей губкой.

Густая, темная кровь вытекает из открывшихся пор.

На следующий день образуется огромный круглый сгусток, внушающий ужас.

Кому довелось это увидеть — запомнит надолго. На то и кошмарные сны, чтобы такое не забывалось.

Если преступник оказывается слишком крепким и процедура проходит неудачно, удается сорвать только глаза и нос. Что уже немало, поскольку операция эта целиком магическая и палач не имеет права прикасаться к срываемому лицу.

*

Подсудимого ставят в центр абсолютно пустого с виду амфитеатра и приступают к допросу. Магически. В зале — полная тишина, но он-то слышит, как вокруг пульсирует вопрос.

Отражаясь от стен амфитеатра, вопрос возвращается к нему снова и снова, ударяет, обрушивается на голову, как рухнувший дом.

Под давлением этих волн, которые подминают его, словно череда стихийных бедствий, он теряет способность сопротивляться и сознаётся в своем преступлении. Просто не может не сознаться.

Оглушенный, измочаленный, с раскалывающейся головой и таким звоном в ушах, будто его терзали сто тысяч прокуроров, он покидает амфитеатр, в котором все это время стояла полная тишина.

*

Ни Неронов, ни Жилей де Рецев[1] в этой стране не встретишь. Им бы просто не хватило времени созреть.

Существует постоянный совет, который отвечает за выявление пробуждающихся темных сил.

Проводится расследование. Иногда доходит даже до составления "Гороскопа угасших звезд".

Такой гороскоп почти всегда свидетельствует против обвиняемого. В этом случае за его составлением следует удар по тормозам (магический).

Человек падает. Не понимая, что с ним происходит, он хватается то за голову, то за живот, за подчревную область, за бедра и плечи; он кричит, мучается, доходит до грани отчаяния, и все потому, что у него только что *отобрали его самого.*

Неописуемый и нестерпимый ужас. Как правило, в течение трех следующих часов происходит самоубийство.

*

На стене — живая кровавая или гноящаяся человеческая рана, рана мага, который перенес ее на стену. Для чего? Для самобичевания: так она доставит ему больше мучений, ведь на собственном теле он бы, сам того не желая, тут же ее залечил, поскольку чудотворная сила — естественная часть его существа и срабатывает непроизвольно.

А на стене рана может не заживать долго. Они часто прибегают к этому средству.

С ужасом и дурнотой замечаешь, как на пустынных стенах болят такие вот странные раны.

*

Они начинают больше ценить человека, когда он умрет. Только освободившись от всех заморочек, от своей стройплощадки (то есть тела), человек наконец становится самим собой, утверждают они.

Все выдающиеся произведения во все времена были созданы покойниками. Но надо торопиться. Спустя десяток лет после смерти (для особо сильных натур — через восемнадцать-двадцать лет) мертвец угасает. Дело чести для мага — продержаться как можно дольше. Но законы разложения действуют настойчиво и неуклонно. В конце концов потусторонние ветра обретают власть над умершим, и тогда остается ждать великих свершений от более свежих покойников.

Но не все обладают магической силой. Встречаются покойники запутавшиеся, больные. Некоторые теряют рассудок. Тогда при-

1. Жиль де Рец (ок. 1400—1440) — маршал Франции, соратник Жанны д'Арк, знаменит своим презрением к традиционным нормам нравственности, казнен за многочисленные преступления, связанные с детоубийством; послужил прообразом Синей Бороды.

бегают к услугам *Мертвецкой психиатрической помощи.* Специалисты помогают несчастным справиться с проблемами, вызванными их смертью.

Эта профессия требует большого чувства такта.

*

"Отцу трех тигров не разрешается выходить по ночам. Он обязан постоянно носить перчатки, не имеет права прыгать, бегать, выходить на улицу вечером или днем, разрешено выходить только утром". (Считается, что утром он не сможет разыскать своих сыновей, которым иначе обязательно сообщил бы адреса тех, кого хочет видеть съеденными.) Так гласит предписание из самых древних, но за ним, по всей видимости, скрывается не магия, а в основном предрассудки.

Тем не менее если отцу все-таки удается сообщить детям адрес намеченной жертвы, то можно считать, что она уже в пасти у тигра, если только не переедет в тот же вечер в другое место. Но люди полагаются на авось. Они тешат себя надеждой, что адрес окажется неверным и все случится не с ними, а с соседом.

Так, мудро поразмыслив, человек остается дома, и добыча голодному тигру обеспечена.

*

Учредитель траура является по заявлению о смерти и, как предписывает ему профессиональный долг, навевает тоску и мрачность магическими трупными пятнами и прахом. После его ухода повсюду — черви, гниль и такая гнетущая безнадежность, что родным и близким только и остается, что плакать от горя и бессилия.

Этот мудрый способ и профессия учредителя траура были введены в действие для того, чтобы сделать скорбь неподдельной, чтобы близким покойного не приходилось искусственно принимать удрученный вид. И они действительно страдают, причем так тяжко, что начинают бессердечно подбадривать друг друга: "Всего-то два дня потерпеть, давайте мужаться, недолго осталось".

И в самом деле, через два дня вновь приглашают учредителя траура, который своим обаянием прогоняет тьму и безысходность, им же самим по долгу службы установленные, и утешившаяся семья возвращается в нормальное состояние.

*

Против ассэзов, которые слишком часто приближаются к их границам, они применяют эскадроны воды. Других мер после этого не требуется, можно считать, что с вражескими пирóгами покончено.

Мелкие суденышки и даже суда побольше, если они недостаточно крепкие, разносит вдребезги.

Отличие этих волн от обычных в том, что обычные, даже при сильном ветре, только и могут что бесцельно бушевать, а эти решительно вздымаются и обрушиваются всей тяжестью прямо в лодки, заливают их, опрокидывают и разносят в щепки.

Впрочем, даже если бы лодки оставались в целости, ужас и так сделал бы свое дело. Люди думают, — да и как об этом не думать? — что из глубин вот-вот появится огромное чудовище и покончит с ними.

*

Устроить навес, потолок им ничего не стоит. Однажды во время чудовищного ливня, одного из тех невероятных атмосферных явлений, какие случаются только здесь да в тропиках, я видел человека, сидящего в чистом поле недалеко от дороги: он был совершенно сух, а капли дождя постукивали непонятно обо что на высоте метра от его головы и растекались в стороны, как если бы над ним был добротный навес, хотя навеса не было и в помине.

Я не хотел его отвлекать и пошел дальше своей дорогой. Мы с ним были знакомы, но я не сказал ему ни слова, и он мне тоже. Ни тогда, ни потом. И мне кажется, что с этого дня здешние жители стали лучше ко мне относиться. Мои постоянные вопросы их временами ужасно раздражали.

*

Температура воздуха в магичниках и по соседству с ними исключительно магическая. Совершенно не важно, откуда ветер дует: с востока ли, с запада, с гор или с моря. Они его тут же осадят и скомандуют развернуться, да поживее. Пусть отправляется гулять и задувать подальше отсюда. Кому нужен такой здоровый ветрище! У них есть свои местные мелкие ветерки с укороченным пробегом, шесть метров в длину для открытой местности, восемьдесят сантиметров — для закрытых помещений.

На больших площадях обычно дуют одновременно от сорока до пятидесяти ветров. Это и приятно и полезно, нигде мне не работалось так славно, как в их квартирах-пещерах, специально придуманных для размышлений, — с дюжиной ветерков, охлаждающих голову.

Это одна из вещей, о которых я жалею. Сейчас в Европе ко мне иногда возвращается то ощущение. Вдруг покажется — на несколько секунд, — что я узна́ю укороченный ветерок. Но нет, не тут-то было. Приходится дожидаться другого, длинного, нескончаемого ветра, который, явившись из Скандинавии или из Африки, будет обдувать еще миллионы других людей, впрочем, они ничего лучше и не видели.

А города, если только можно назвать городами столь необычные агломерации, города у них — настоящие головоломки ветров.

Само собой разумеется, что у каждого могущественного мага имеется личный ветер. Весьма нахально и неосмотрительно соваться со своим ветром поперек личного ветра мага — маг его тут же засушит.

Еще пара слов о перекрестках, хотя я уже и упоминал о них. Ну там и ветров! Это надо испытать самому. Они просто кипят и бурлят. Как нигде ощущаешь жизнь живьем.

*

Самого интересного в этой стране увидеть нельзя. Можно точно сказать, что оно вам на глаза не попадется. Они напускают тумана. Так, например, осталась для меня недосягаемой и невидимой их Федеральная Столица, хотя дорогу туда мне указывали бессчетное количество раз и сам я неделю находился так близко от нее, что мог чуть ли не рукой потрогать.

У них имеется семь видов туманов (я говорю только о главных), и уже при третьем вы не можете разглядеть под собой собственную лошадь. Следующий по счету туман настолько густой, что кажется, будто вы попали в лавину белого песка. Чтобы проверить, настоящие ли это туманы, присмотритесь, разгоняет ли их ветром. Если нет — значит, туман магический. Но и сам ветер тоже может оказаться магическим. Это важно, потому что тогда проверка как будто ничего не дает. Но маги никогда не устраивают туман и ветер одновременно, а почему, я так и не понял.

От их тумана можно сойти с ума. Никаких ориентиров... виден отдельный лист, чья-то лапа, морда, но понять, что это за куст или зверь, невозможно.

Один знакомый по имени Каль, который хорошо ко мне относился, одолжил мне свои очки против тумана. Похоже, у него был какой-то дефект зрения, поскольку в этих очках я увидел такое мельтешение существ и предметов, что просто потерял ориентацию в пространстве. Я расстроился и вернул очки. Зря, надо было оставить их у себя.

*

Даже в этой магической стране я не смог привыкнуть к городской жизни, хотя вообще города меня привлекают. Я злился, выходил из себя, жалел, что я уже не ребенок и не могу закричать, заплакать, затопать ногами, наконец, просто пожаловаться кому-нибудь. Ну что мне делать? Со всех сторон — сплошные претензии:

"Мы вам только что телефонировали (или правильно говорить "телепатировали"?)... Пришлось повторять вызов... В чем дело?... Почему не отвечаете?"

Им даже в голову не приходит, что кто-то может не слышать их магических сообщений, не уметь читать на стенах, даже если написано большими буквами и еще трижды подчеркнуто.

Порой, когда голова у меня уже гудела от сигналов, которые я воспринимал, но не умел расшифровать, я приходил в отчаяние от своей дурацкой беспомощности в этом мире, где ясновидение было нормой, и начинал действовать наугад, как при игре в рулетку. И, как при игре в рулетку, попадал пальцем в небо. Ну невыносимо! Я уехал в деревню, мучаясь от стыда, зависти и разочарования одновременно.

*

Обычно они живут в мире с животными, и даже львов их присутствие не беспокоит ни в малейшей степени. Тем не менее бывает, что

выведенные из себя или оголодавшие львы набрасываются на человека. Зрелый маг наверняка не даст себя в обиду обыкновенному льву, но какого-нибудь неокрепшего мальчика лев может застигнуть врасплох. Угадайте, что делает мальчик, если у него не хватает сил себя защитить? Он самоотождествляется со львом. И через слабость ему открывается такое удовольствие, такая всеобъемлющая радость поглощения, что, когда его вытаскивают из львиной пасти, он ударяется в слезы.

"Зачем вы мне помешали в такой прекрасный момент, — говорит он спасителям, — когда я заглатывал этого беднягу?" Ему все еще кажется, что он лев. И тут он отдает себе отчет, что́ говорит и кому, догадывается о своем промахе и замолкает в смущении.

Но его поймут и не осудят. Ведь удовольствие, которого он лишился, беспредельно, оно не прекращается даже на пороге смерти.

*

Неудачные браки таят в себе магическую угрозу, и случалось, что все жилища в деревне разносило в пух и прах под напором недобрых чувств, которые испытывал какой-нибудь муж к своей половине, причем он мог и от самого себя скрывать эти чувства, но после того как от деревни не оставалось камня на камне, ему приходилось признать очевидное.

*

До полудня смеяться нельзя.

Запрет категорический, но его соблюдение дается им без особого труда, они вообще мало смеются, поскольку считают, что смех, как и быстрая речь, истощает запас магической силы.

*

Иногда в темноте вы вдруг замечаете что-то вроде светящейся втулки довольно большого размера, она подскакивает.

Так со стороны выглядит ярость.

Если вы подойдете поближе, вы увидите и самого мага.

Но вообще-то я бы вам не советовал.

*

Он выплевывает на стену чье-то лицо.

Указанное действие имеет отношение к понятию оболочки, о котором упоминается в другом месте. Этот жест презрения означает, что маг не хочет иметь с обладателем лица ничего общего, не желает, чтобы в нем оставался какой бы то ни было след этого человека. И он прилюдно отторгает этот след.

Маг выплевывает ненавистное лицо на первую попавшуюся стену, оно выглядит омерзительным, хотя черты не искажены и вполне узнаваемы, после чего он уходит, не говоря ни слова. Лицо остается на стене на какое-то время, потом его покрывает слой пыли.

*

Маг Ани утверждает, что может присваивать пси женщины, которая ему понравится (пси и двойник — разные вещи), маг говорит, что умеет его притягивать. Без пси можно некоторое время обходиться, и женщина сначала не замечает потери, а он тем временем начинает поглаживать пси, и потихоньку, почти бессознательно женщина приближается к тому месту, где находится пси. И чем оно ближе, тем лучше она себя чувствует, пока в конце концов не соединится со своим пси, так ничего и не заметив. А между тем любовь мага уже проникла в нее.

*

Они говорят, что вокруг человека, созерцающего пейзаж, возникает оболочка. Оболочка эта просторнее, чем можно подумать.

Она становится промежуточным звеном между пейзажем и человеком. Если бы человек мог сорвать эту оболочку и унести, его ждало бы безмерное счастье, рай на земле.

Но для этого нужно быть крайне чутким, обладать огромной силой и хорошо понимать, что делаешь. Это все равно что одним махом вырвать дерево со всей корневой системой. А умникам, которые пускают в ход приемы мнемотехники, графические образы, сопоставления, анализ изображений и прочие грубые методы воздействия на созерцаемый объект, даже и невдомек, сколь невероятно, почти по-детски просто это действие, дающее человеку неземное блаженство.

*

Стал есть яйцо всмятку и обнаружил в нем муху.

Она выпросталась из жидкого теплого желтка, с натугой разлепила крылья и тяжело взлетела.

Кто-то сыграл со мной шутку. Стоило ли упоминать о ней здесь? И достойны ли подобные вещи названия магии?

*

Я услышал такой разговор. Женщина неторопливо расчесывала волосы, хотя за ней и ее мужем вот-вот должна была прибыть машина известного мага.

Муж нервничал, сам он был лыс, и, возможно, ее роскошная шевелюра вызывала у него тайную зависть. Я слышал, как они обменялись следующими репликами:

О н. Вечно ты занята своей прической! Я бы тоже мог тратить на это кучу времени. Только и дел что вернуться на несколько лет в прошлое.

О н а *(иронически)*. Тогда поторопись, тебе ведь еще понадобится время, чтобы возвратиться назад.

Мне не удалось узнать, как он поступил и действительно ли обладал достаточной магической силой, потому что спустя несколько минут во двор въехала машина, водитель сообщил, что готов выполнять указания супругов, а я пошел дальше, чтобы не показаться бестактным.

*

Какое оживление на площади! И такие странные, неожиданные известия!

"Вы совершенно зря теряете здесь время, — сказал мне знакомый маг, проходивший мимо. — Это сборище десятилетней давности. И известия у них странные просто потому, что они уже давно устарели. Смотрите, как я сейчас рассею в воздухе этих болтунов". К моему огромному изумлению, он так и сделал, площадь мгновенно опустела, а люди, которые секунду назад казались настоящими, испарились буквально на полуслове.

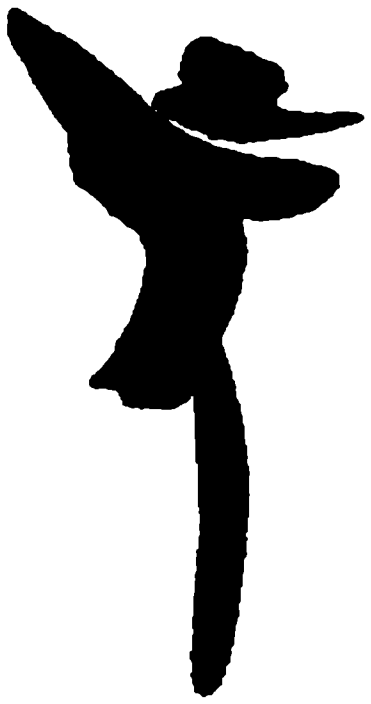
*

Некоторые засыпают лет на двадцать (замедляя таким образом свою жизнь, они до предела ее удлиняют). Другие спят по четыре-пять минут в неделю. И этого им вполне достаточно. Бывает, что кто-нибудь назначает вам встречу "после того, как он немного поспит". Как это понимать? Есть отчего прийти в замешательство. Может быть, не успеете вы повернуть за угол, как он уже откроет глаза и начнет вас дожидаться, а может, наоборот, будет спать целую вечность, и только ваш внук когда-нибудь услышит от него то, что он собирался сказать вам.

Их изощренные методики позволяют заменять сон дыханием или потением.

Внезапное похолодание, из-за которого вспотеть не удается, может застать мага врасплох, и тогда ему придется поспать. Это значит, что он не слишком силен в магии, такое случается нередко и весьма огорчает тех, с кем случается. Например, один маг рассказывал мне, что зима в этом году началась неожиданно рано и он заснул почти на два часа. Он чувствовал себя смертельно уязвленным, и успокаивало его лишь то, что многие из его коллег уснули на целых три часа или даже на четыре.

*



В топке для собак сохраняют собачью преданность. Иначе умрет собака — и преданности как не бывало. Поэтому часто бывает, что женщины приводят своих еще совершенно здоровых собак и, обливаясь слезами, хоть и не без некоторой доли притворства, отдают их истопнику. Некоторых потом мучает совесть. Собака о чем-то смутно догадывается, но, несмотря на предчувствие, верит, что хозяйка не причинит ей зла. И совершенно напрасно. Дальше все происходит быстро, описывать я не буду. Взгляд у собаки становится влажным, она пытается оглянуться и исчезает в топке.

*

Слоны в старости становятся глуховаты. В неволе они со временем почти полностью перестают слышать. Тогда их снабжают приспособлением, о котором я ничего не знаю, кроме того, что оно возвращает им

слух и называется "барабанная перепонка сухого листа". Чем дальше от слона источник звука, тем больше звук усиливается. На ночь эти перепонки у слонов нужно снимать, иначе они нервничают и видят во сне кошмары.

Утром перепонки надо вставлять обратно. И тут не оберешься проблем, поскольку старые глухие слоны угрюмы и подозрительны.

*

Продление жизни на один час гарантируется талоном ассоциации Тинан. Эти талоны можно купить; но престижнее получить их за особые заслуги. Как только вы вступили во владение талоном, к вам присылают врача и он оценивает ваши возможности. Он сам и в его лице ассоциация принимает на себя обязательство вернуть вас к жизни как минимум на час при условии, что информация будет получена не позднее двадцати четырех часов с момента вашей кончины. Я приобрел один такой талон и берег его как ничто другое. Как ни о чем другом я о нем жалею. Мне ведь теперь вряд ли удастся предъявить его в указанный срок.

*

По-моему, у них совсем нет технической жилки.

Но немногие признают это с легкостью. Они говорят, что техника антифилософична, антимагична, анти-то, анти-сё. Я объяснил одному из них устройство велосипеда, рассчитывая его удивить, но он в ответ рассказал мне, что они когда-то изобрели велосипед для букашек — игрушку, которую дарили детям, и те подолгу с ней возились. Вот и это такая же ерунда — читалось у него на лице.

*

Мысли в стране магии совсем не такие, как наши. У них мысль возникает, формируется, проясняется и потом уходит. Я очень хорошо прочувствовал разницу. У них не найдешь этих разрозненных обрывков, неясных и противоречивых идей, которые в Европе без конца залетают вам в голову, не принося пользы ни вам самому, ни всем остальным; в стране магии избавились от этих насекомых, окружив страну *великой плотиной*.

Только немногие особенно мощные мысли, принадлежащие магам, индийским или мусульманским аскетам, христианским святым да еще нескольким умирающим, смогли преодолеть плотину, и то весьма ненадолго.

*

Семья К. выставила на посмешище своих соседей, семью Е., заставив их зевать, причем неудержимо, безостановочно, без поблажек и передышек.

Это мелкая месть за какое-то оскорбление, нанесенное в далеком прошлом, и начала этой истории, как обычно, никто уже не помнит.

Но мстительные К., так и не простив Е., мучают их зевотой.

Не такая уж злобная месть. Но кому же нравится быть смешным?

Эта нескончаемая зевота, от которой они не в силах отделаться, постыдно просто и со всей очевидностью демонстрирует их отставание по части магии, поэтому они впали в уныние и с каждым днем становятся все грустней. Ну не могут они взглянуть на зевоту оптимистически.

В этом деле, по их мнению, затронута честь.

*

— Видите, мы не можем подойти к нему ближе: он размахивает вокруг себя цепом, как только услышит шаги. И если кто на свою голову откроет дверцу клетки и подойдет на такое расстояние, что тот сможет достать, то эту самую голову придется собирать по кусочкам. И так уже больше четырех лет. Другой бы утомился. А этот нет — он сумасшедший. Его молотильный цеп для пшеницы весит килограммов тридцать, а если еще прибавить силу, с которой он им размахивает...

— Да нет же никакого цепа! — крикнул я. — У него сейчас нет цепа, скорее держите его!

— Это магический цеп.

Я не очень-то поверил и подошел ближе. Узник в ту же минуту обрушил в мою сторону чудовищный удар, которому помешали достигнуть цели только прутья клетки, причем они тряслись и гремели, как будто по ним хватили булавой.

Я понял, что у некоторых из тамошних жителей магическая сила сохраняется и после потери рассудка. Это меня, надо сказать, до сих пор удивляет и, возможно, удивит еще кое-кого из тех, кто считает себя знатоком в сфере безумия.

*

Почему, скажите на милость, только развалюхи да самые скромные домишки трогают душу и кажутся родными, хотя жить в них, конечно, не слишком удобно, а комфортабельные здания всегда представляются враждебными и чужеродными махинами?

Магам, похоже, удалось ответить на этот вопрос, причем ответить не на словах.

У них архитектура абсолютно свободна от функциональных задач.

Никому там и в голову не придет заказать архитектору постройку, пригодную для житья. И она таковой не получится, в этом можно не сомневаться. Зато в ней можно прогуливаться или обозревать снаружи производимый ею удачный эффект, оценивая дружелюбный или возвышенный колорит, можно, наконец, проводить в ней волшебные мгновения.

Например, на пустынном плато возникает горделивый крепостной вал, за которым не укрывается ничего, кроме хилой травы да нескольких кустиков.

Посреди голой равнины высится упавшая башня (она изначально построена "упавшей"). А вон — низачем не нужная арка, которая соеди-

няет лишь края собственной тени; а еще дальше, в чистом поле — одинокая лестница доверчиво потянулась к бескрайнему небу.

Такие у них здания. А живут они под землей в непритязательных помещениях с массой скругленных углов.

Когда я показывал магам чертежи и фотографии наших домов, они приходили в замешательство. "Зачем такие уродливые? Для чего?" Удивительно, что их потрясала прежде всего психологическая непригодность этих домов для жизни, бесчеловечная грубость и непродуманность.

"Даже свиньям жилось бы в них скверно, — говорили они. — ...И вы там внутри ни от чего не защищены, и еще в них нельзя..." — продолжения я не услышал, потому что на них напал неудержимый хохот.

Жизнь под землей сделала их совсем не похожими на нас.

Холодный (и бездымный) свет — их собственное изобретение, если называть изобретением вещь, которой давно научились двадцать видов букашек и столько же видов рыб. Наши археологи будут потом спорить, что было сначала: изобретение света, или привычка жить вдали от чужих глаз, или, может быть, поиски надежного места для упражнений в магии. Сами маги на такие вопросы не отвечают.

Их чудесный холодный свет отбивает охоту к любому другому.

У него нет ничего общего с этим безудержным, необузданным и грубым солнцем, испускающим сразу и тепло и свет, да еще инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Тем более ничего общего с нашими скудными и тем не менее обжигающими свечками, лампами, рампами и неоновыми трубками.

В их подземельях царит ясность в полном смысле этого слова, ласкающая глаза, как молоко ласкает кожу младенца, этот свет напоминает об эпохе античности. Его всегда достаточно, он не утомляет глаз и отгоняет тени сна.

*

Лица-пушки!

Всегда наведенные, палящие без передышки.

Берегитесь обладателей пушечных лиц!

Они, даже если захотят, не могут не обстреливать вас мимоходом, и к вечеру, после нескольких часов внешне безобидной и незатейливой беседы, игры или прогулки, вы сами удивитесь своей усталости, своей жуткой, смертельной измотанности.

*

В этой стране, где естественная волшебная сила велика и вдобавок подкрепляется техникой и хитростью, тонкие, впечатлительные натуры должны применять особые меры предосторожности, чтобы сохранить независимость.

Даже влиятельные люди, занимающие не последние места, в минуты откровенности спрашивали у меня, выдавая свой страх: "Это точно я? Вы не замечаете во мне чего-то... ну, чего-то постороннего?" — так

сильно они боятся оказаться в чужой власти, стать марионетками в руках более могущественных коллег.

Когда я рассказывал им о Христе, о Франциске Ассизском и других, святых, у которых проступали стигматы, о том, что ступни и ладони этих людей по пятницам кровоточат, я не видел на лицах моих слушателей набожности, скорее — озабоченность, потрясение и настороженность.

"Как! Он, вы говорите, две тысячи лет как умер и все еще не утратил над вами своей вампирской власти?!" Я видел, что им страшно за нас и вообще как-то не по себе.

*

В провинции Норр существует рынок родителей, куда обязаны являться бездетные взрослые, имеющие колпак рангом ниже третьей магической степени.

Тут выбирают дети. Родители могут не согласиться. Выбор, сделанный ребенком, просто записывается. Семь отказов со стороны взрослого — уже недопустимый предел. Про такого говорят, что это отец, который сам не знает, чего хочет, и то же самое — если речь идет о женщине, только для нее максимальное количество отказов ограничивается пятью.

В провинции Горноба гораздо больше отцов, чем матерей. А в провинции Карела женщины привязываются разве что к мальчикам.

Минусы очевидны. Но лучше иметь одного подходящего приемного отца, чем нормальную, полную семью, которая вам не подходит, — таков их принцип. Еще они говорят, что ребенку редко бывают нужны и отец, и мать. Ему нужен, в зависимости от характера, *либо* один, *либо* другой.

Что сказать об этом обычае? Хочу заметить, что я не из тех, кто во всем видит успехи, однако даже если некоторые из таких "союзов" и оказываются неудачными, то уж холодных отношений в них не бывает никогда, а семей, живущих в гармонии, о какой можно только мечтать, в этих местах больше, чем где бы то ни было. Эти семьи возникают в результате волшебных встреч в базарные дни и становятся чуть ли не воплощением рая на земле. Уверяю вас, завидовать им начинаешь очень скоро.

В Горнобе ребенок сам выбирает себе "круг" и определяет, как сложится дальше его судьба. Пожалуй, придется признать, что в некоторых детях меня раздражала неприятная повадка маленьких взрослых, преуспевших в жизни, но это чувство быстро отступало на фоне волшебной, воистину предопределенной свыше гармонии, рядом с которой собственная жизнь кажется загубленной, причем давно и бесповоротно.

*

Вероломство и изощренный ум позволили им изобрести необычный способ охоты.

Они атакуют львов, воздействуя на их *коллективную душу*. Секретным способом они приобретают власть над сознанием мертвых львов, подав-

ляют его и препятствуют реинкарнации или, наоборот, резко ее ускоряют, что очень плохо сказывается на львином здоровье и конституции; в результате по всей стране, не считая западных саванн, львы совершенно выродились, обленились до недопустимого для зверей состояния и так сдали в размерах и по всем прочим параметрам, что их осилит даже баран.

Теперь этих апокалипсических хищников, которые в былые времена на всех наводили ужас, древнюю грозу человека и его стад, при встрече отгоняют с дороги пинком, заодно угрожая доконать вовсе львиную породу, доведя львов до таких размеров, что будут от крыс шарахаться.

А львы как будто понимают смысл этих угроз и разбегаются, поджав хвост. Иногда они, словно нищие, роются на помойке в объедках.

*

Уже давно на кораблях плавают только на очень большие расстояния.

Если надо попасть на другой берег реки, в лодках перевозят детей, инвалидов и грузы. Здоровые люди давным-давно обходятся собственными силами и пересекают пропасти и водные пространства при помощи магии.

Трогательная вещь: бывает, что дряхлого старика или мальчика, если он везет с собой тяжелый багаж или ослаб после болезни, сажают в лодку, но он устает от ее медленного хода против течения и в нескольких саженях от берега не выдерживает, выпрыгивает из лодки и идет по воде пешком.

Удивительно! Глядя на этот горделивый и такой, в общем, естественный порыв, испытываешь престранное впечатление: кажется, будто человек и сразу мог бы пойти пешком, но боялся обидеть лодочника, лишить его заработка, и на самом деле иногда так оно и есть.

*

Я не видел дерева, которое хлопает ветвями, но много раз слышал о нем. Эти аплодисменты удаются ему только в первые две недели весны, а потом гибкость уходит и дерево становится таким же степенным и равнодушным, как все остальные, его так же переполняет целлюлоза и другие твердые вещества, несовместимые с выразительностью и танцем.

*

Они забавно понимают технику и промышленность. Однажды, вслед за другими нашими изобретениями, я стал описывать им такелаж трехмачтового барка, который их вроде бы заинтересовал. Я тщательно, как только мог, вырисовывал мачты и реи, грот-марс, брам-рею, бом-брамсель, но когда я потом заговорил об этом с одним из слушателей, который, казалось, был увлечен больше других, выяснилось, что он решил, будто паруса поднимают с помощью пистолета, пулями: стреляют, например, в бом-брамсель, и парус разворачивается.

Так они, сами того не желая, смешивают научные достижения и чудеса. Мне все время приходилось им на это указывать: "Ошибаетесь! Для отправления поезда не нужен крик петуха! Нет же! Мы не вызываем заклинанием молнию, чтобы зажечь электрическую лампу..." Но они уходили от меня в сомнениях, пытаясь сообразить, что же я от них утаил.

*

Великанша в постели.

Этот рассказ о великанше заставит многих усомниться в нравственности магов. Я не советую сосредоточиваться на разных глупостях, которые могут прийти в голову по этому поводу. Добродетель в стране магии иная.

Молодежь растет и воспитывается в ужасающих местных традициях. В Офридии, например, существуют великанши (одна на девять деревень). Великанша обретается в доме, преимущественно — в постели: слово "постель" здесь следует понимать в самом развязном смысле, а "дом" — как место свиданий. Живет она припеваючи. Мужчины же выходят от нее вконец измотанными, но обретают нечто высшее, достигнув предела удовлетворения, который почти совпадает с краем пропасти.

Гигантское тело, на которое они взбираются, грудь и ручищи, которые раскрываются им навстречу, а могли бы раздавить или растерзать, позволяют реально испытать от близости с женщиной то ощущение риска и опасного приключения, которыми мужчины обычно хвастают, не затратив особых усилий.

Эти великанши в общем-то добродушны, но настроение у них переменчивое, а нервы слабые. Их легко задеть и вывести из себя, и тогда, уверенные, между прочим, в своей безнаказанности, они с горя не раздумывая отрывают вам голову, словно какой-нибудь селедке... и — прощай жизнь.

*

Маги терпеть не могут наших мыслей врассыпную. Они любят сосредоточиваться на объекте размышления. А размышляют они о самых интимных, насыщенных, самых магических в мире вещах.

Первые двенадцать предметов размышления, не из самых главных, таковы:

Исконно сумеречные.

Рыхлая цепь и неясное число.

Хаос, рожденный лестницей.

Пространство рыбы и пространство воды.

Невычислимая трапеция.

Повозка нервов.

Эфирный людоед.

Соломенный луч.

Скорпион в пределе и полный скорпион.

Сознание гаснущих светил.

Властелины круга.

Реинкарнация по долгу службы.

Без этих простейших базовых понятий невозможно настоящее общение с людьми из этой страны.

*

Кому понравится, что раскрывают его секреты? Часто меня преследовали, нападали из-за угла.

У Карна́ — так звали того, кто меня охранял, — задача была не из легких.

Много раз меня пытались отравить. Бывало, что похлопывали по спине, а сквозь ладонь торчали зубья вил. Птицы по случайности попадали мне клювом в ухо. Зачастую с горных склонов обрушивались каменные глыбы, грозя угодить мне на голову, но Карна всегда успевал вовремя рассеять колдовство, и устрашающие громады невесомо опадали к моим ногам, как носовые платки.

Но однажды, когда, чувствуя чье-то подавляющее воздействие, я позвал его, он не смог прийти мне на помощь. Он тут же кинулся в мою сторону из другого угла комнаты — нас и разделяло-то не более шести метров, — побежал ко мне, понесся огромными скачками, но за несколько минут ему не удалось ни оказаться рядом, ни хотя бы заметно приблизиться. Перед этим проявлением враждебной магии он остановился, спрятал голову для медитации или молитвы и некоторое время оставался в таком положении, а потом быстрым шагом устремился ко мне. На этот раз он приближался, и я раскрыл руки ему навстречу, но тут ураганный ветер отбросил его в сторону, к приоткрытой двери. Он вырвался и опять двинулся ко мне, но его снова рывком отнесло к двери, так что ему пришлось немного отступить, перед тем как предпринять новый бросок. С третьего раза он прорвался, но тут его стремительно поволокло — так засасывает зерно в воронку пневматического транспортера на новейшем грузовом судне — он вмялся в дверной проем и исчез. Больше я его не видел.

В тот же день я был каким-то непонятным мне способом выдворен из страны магии.

Путешествия реальные и воображаемые
Из беседы Мишеля Бютора с Пьер-Марком де Бьязи

Перевод с французского Ирины Кузнецовой

Пьер-Марк де Бьязи. У Анри Мишо есть некая необузданность письма и в то же время особый этикет стиля — сочетание, в общем-то, парадоксальное, свойственное только ему. Конечно, тут и следы влияния Рембо, и перекличка с самыми отчаянными сюрреалистами, которых Мишо наверняка встречал в двадцатые годы в Париже. Но есть в нем и нечто от вундеркинда-самородка: он ведь очень рано вступил на путь поэзии.

Мишель Бютор. Когда двадцатилетний Анри Мишо, начинающий бельгийский поэт, появился впервые в Париже, за плечами у него уже был опыт серьезного поэтического творчества. Разумеется, он не мог, будучи поклонником Рембо и Лотреамона, не потянуться к сюрреалистам. И он действительно сближается с ними, но очень осторожно: это уже сложившийся поэт, он держится особняком, не примыкая к группе.

Однако в те годы в Париже существовало такое место, как Монпарнас: все пути вели в кафе "Дом" или "Куполь". Там можно было и встречаться, и избегать друг друга. Этот квартал играл определяющую роль до конца войны, потом главный центр постепенно сместился в сторону Сен-Жермен. Я застал Монпарнас уже на излете. Через несколько лет писателей и художников вытеснили автомобили. Вполне возможно, что Мишо общался или просто пересекался здесь в свое время с другим одиночкой — Арто, с которым у него удивительно много общего при всех огромных различиях. Их странным образом сближает то же, что и разделяет, взять хотя бы эксперименты с наркотиками, имевшие для обоих совершенно разный смысл: Мишо исследует их действие холодно и трезво, Арто — со страстью и пылом, оказавшимися для него роковыми. Тем не менее оба обязаны этим опытам многими страницами своих текстов. И того и другого притягивают дальние страны (вспомним "Эквадор" Мишо и "В краю Тараумара" Арто), обоим свойственны апокалипсические мотивы и влечение к ворожбе, заклинанию, проклятию, оба часто прибегают на письме к звукоподражанию, нечленораздельности стона, причудливым неологизмам... У Мишо это выходит на первый план в период его "сопротивленческих" произведений, во время войны. Тексты той страшной поры полны пророчеств, видений, заклятий. Название сборника говорит само за себя: "Испытания, заклинания". Мишо ставит перед собой задачу сконцентрировать всю свою волю, чтобы силой поэзии заклясть, изгнать силы зла: "В самое средоточие страдания и одержимости надо ввести такую экзальтацию, такое исступленное неистовство в сочетании с дробью слов, чтобы боль постепенно рассеялась и на ее месте образовалось некое ядро, воздушное и демоничес-

© "Magazine littéraire", 1998
Печатается в сокращении.
© И. Кузнецова. Перевод, 2000

кое...” В этих визионерских текстах действительно чувствуется близость к Арто. И вместе с тем какая же колоссальная разница!

Даже когда у Мишо слова сливаются в вопль, когда образы становятся абсолютно непредсказуемыми, то, в отличие от Арто, который, не противясь, отдается сумбурному потоку видений и звуков и тонет в потустороннем хаосе, Мишо все-таки стремится сохранить контроль над строкой: это некое инстинктивное владение стилем, своего рода сдержанность или вежливость самовыражения, заставляющая вспомнить Китай, восточную утонченность письма.

Пьер-Марк де Бьязи. Пользуюсь тем, что вы коснулись темы Китая, чьи поэтические установки ощутимы в той или иной степени почти во всех текстах Мишо. Идет ли речь о реальном Китае, где он побывал? Давайте поговорим о его книгах путешествий, или, пользуясь вашей терминологией, “книгах странствий”. Ведь вы в эссе “Импровизации на темы Анри Мишо” строите свою собственную систему жанров, специально для его произведений, так сказать, “по индивидуальной мерке”. Почему?

Мишель Бютор. Мне действительно пришлось изобретать весьма необычные критерии классификации, потому что произведения Мишо не укладываются, как известно, ни в какие традиционные жанровые рамки. Что, кстати, всегда причиняло массу неудобств критикам. Не мог я ограничиться и простым принципом творческой хронологии, потому что она у Мишо вовсе не проста: на протяжении всей жизни он постоянно менял структуру своих книг и группировал тексты по-новому, исходя из самых разных принципов.

Ну и потом, я позволил себе немножко поиграть словами: например, вместо определения “книги странствий” применительно к “Эквадору” и “Варвару в Азии” или “книги проекций” — по отношению к “Путешествию в Великогарабанию”, “В стране магии”, “Вести из Поддема” и т.п., я, наверно, мог бы выбрать единую формулировку, более привычную: “книги о путешествиях” или что-нибудь в том же роде, но это не вполне соответствовало бы сути дела, потому что у Мишо существуют два принципиально разных типа “путешествий”: путешествия воображаемые и путешествия реальные. Есть авторы — такие, скажем, как Шатобриан, Нерваль и большинство писателей-романтиков, — которые незаметно переходят в путевых заметках от реального к воображаемому путем сознательной аранжировки текста, полностью преображающей подлинные наблюдения.

У Мишо все иначе: для него это две совершенно разные категории текстов, где задачи писателя не имеют ничего общего и даже в основе своей противоположны, что я, собственно, и хотел подчеркнуть. Но, разумеется, я учитывал и хронологию: жанровые поиски Мишо имеют определенную последовательность, они происходили периодами, новшества следовали как бы волна за волной. Книги о настоящих путешествиях, в частности “Варвар в Азии”, являются к тому же своеобразными биографическими и мировоззренческими вехами для Мишо. Своеобразными в том смысле, что речь идет некоторым образом о путешествиях неудавшихся. Не зря в течение тридцати пяти лет Мишо не разрешал переиздавать свою книгу об Азии: он прекрасно понимал, что ошибся тогда в оценках.

Новое издание, которое он в конце концов все-таки выпустил в 1967 году, содержит несколько примечаний, проливающих свет на его отношение к своей прежней позиции, и предисловие, где он признается, что ему кое в чем "стыдно" за эту книгу. Япония в начале тридцатых годов, когда ее увидел Мишо, была на пути к экспансии и авторитаризму, готовилась вступить в союз с Гитлером и Муссолини. Эта Япония не имеет ничего общего с той, которую видел я сам после войны. А Мишо, отправляясь на Восток в поисках примет будущего, обнаружил там застой, этакий ледниковый период, и усмотрел в нем консерватизм и неподвижность дальневосточных цивилизаций вообще. Он был страшно недоволен собой за то, что не разглядел, не почувствовал, не угадал грядущих потрясений, зревших в Японии в тот момент. Но надо ему в оправдание сказать, что атмосфера там, судя по всему, действительно была тогда необычайно тяжелой. Я думаю, эта тяжесть страшно угнетала Мишо, лишала способности видеть: пейзажи, люди, обычаи — все было скрыто от него свинцовым пологом, он был просто не в состоянии ничего разглядеть. Он потом понял это и, осознав свое ослепление, снова проникся живым интересом к Японии.

Примечательно, впрочем, что никакие разочарования не сказались на его страсти к Китаю, к его цивилизации, культуре идеографического письма. И все-таки, оставляя в стороне временные недоразумения, нельзя не отметить, что взгляд Мишо на чужие страны — я имею в виду страны реальные — довольно сложен: Мишо-путешественник воспринимает окружающее сквозь призму недоверия, настороженности. Он чувствует себя на чужбине не в своей тарелке: его отношению к обитателям, к этническим различиям недостает непосредственности.

Он держит дистанцию. Ему это было свойственно всегда, но за границей особенно. И такая установка, разумеется, мешает ему, тем более что странствие ему видится как некий обряд посвящения. Он постоянно грезит о далеких иных краях, где ему откроются наконец главные тайны, объясняет, что хочет посредством путешествий "самоусовершенствоваться", но при этом не может совладать с непроизвольным побуждением отстраниться, что делает для него совсем уж недоступными те тайны, которых он так жаждет приобщиться. Вероятно, именно поэтому он с какого-то момента совсем перестает путешествовать, во всяком случае, больше не предпринимает таких далеких поездок, как те, из которых родились две его великие книги.

Однако относительная неудача странствий реальных восполняется успехом странствий воображаемых, где ему действительно удается создать атмосферу путешествия-инициации, причем исключительно с помощью собственной фантазии. Умение поставить себя на место другого — то, чего ему так не хватает в путешествиях по реальному миру, — превращается здесь в одну из главных задач духовного поиска. Достаточно вспомнить великолепную главку об "уроках мучительных ощущений" в книге "Вести из Поддема". Чтобы стать по-настоящему человечным, надо "уметь чувствовать". В воображаемой стране Поддема молодежь знакомится с разными видами страдания, которые могут испытывать другие люди. Практический курс боли входит в школьную программу, это чуть ли не основной предмет. Ученик получает аттестат

о том, что прошел испытания по пятистам "тревожным и мучительным ощущениям" или — для особо одаренных — по девятистам видам боли. Тревожные и мучительные ощущения составляют "широкий перечень, именуемый здесь Регистром равнин и колодцев. Он предваряет дальнейшее обучение. <...> Без такого опыта вы остаетесь как бы вне человечества, вы равнодушны к соседям, к их горю, да и к радости тоже. Вы черствы и бесчувственны и, в сущности, смешны".

Сохраняя, как и во многих своих текстах, едва ощутимую интонацию китайской поэзии, Мишо ориентируется в этих "путевых заметках" на стиль путешественников прошлого, на традицию реальных или воображаемых странствий в литературе XVIII–XIX веков — от Свифта до Жюля Верна. Однако почти нигде он не задерживается на описании предметов туземного быта. У него нет и тени той страсти, которую этнографические диковинки вызывали у его современников — у таких художников, например, как Пикассо или Дерен, у Андре Бретона, или, по-иному, у Мишеля Лейриса, чьи путешествия датируются теми же годами, что и "Путешествие в Великогарабанию". Мишо увлекают нравы, уклад жизни, но вещи не интересуют его нисколько.

Его подлинный объект лежит в сфере психики и духа, это на свой лад проявляется уже в 1938 году, в знаменитом путешествии в глубь яблока из сборника "Внутренние дали": "Приношу яблоко, кладу на стол. Потом переношусь в яблоко сам. <...> Казалось бы, проще простого. А я старался двадцать лет. <...> Сложно объяснять. Но могу выразить одним словом. Это слово — "му́ка". Когда же я попал наконец внутрь яблока, я был холоден как лед". Тема страдания — это в буквальном смысле лейтмотив его творчества. И Мишо сам исследует все уровни и степени страдания, как его исследуют в стране Поддема.

Место действия первых его сочинений — это комната с кроватью, на которой лежит человек, кутающийся в одеяла. Он болен: не то чтобы серьезно болен, но ему "нехорошо", и он ускользает в сон, но и во сне не находит успокоения. Фигура "хворающего" занимает в ранних книгах Мишо едва ли не основное место. Как будто здоровье — это какой-то вызов, вопиющая бестактность. Тут есть, конечно, и автобиографический момент. Мишо никогда не отличался ни здоровьем, ни силой, цвет лица у него был обычно бледно-землистый. Но недостаток здоровья — это еще и образ, образ ущербности, неполноты. Всю жизнь Мишо чувствовал, что ему чего-то недостает, стремился это исправить, но в то же время умел и найти преимущества в таком положении. Он был самоучкой, пытался восполнить пробелы и вместе с тем понимал, что ему отчасти повезло. Проделывать этот путь самому необычайно увлекательно. Но когда он говорит о "самоусовершенствовании", он чаще всего имеет в виду область более важную, чем познание: он ведет духовный поиск — отчасти в надежде обрести мудрость и блаженство, но главная его цель — достичь внутреннего равновесия, передышки, чтобы хоть ненадолго избавиться от страдания.

Альдо Нове

13 *рассказов из книги "Супервубинда"*

Перевод с итальянского и вступление Геннадия Киселева

Чертова дюжина Альдо Нове

Даже Лев Толстой, питавший, мягко говоря, нелюбовь к современным ему "модернистам" ("Он пугает, а мне не страшно" — это о прозе Л. Андреева), признавался на склоне лет, что будь он помоложе, написал бы нечто такое, что было бы совсем уж неизвестно чем...

Свое "совсем уж неизвестно что" написал по молодости лет Альдо Нове (р. 1967). Нове — одна из самых заметных фигур в стане "юных людоедов", новейшего течения гипернатурализма в итальянской литературе на рубеже веков. Течение это оказалось столь бурным, что разделило на два берега итальянскую литературную критику. С одного берега "каннибалов" упрекают в неоправданной экстремальности ключевых сюжетов и чуть ли не в программном отсутствии у них лексической иерархии (когда в литературном отношении ни одно слово не возвышается над другим); с противоположного — хвалят за... стихийное отсутствие у них лексической иерархии и вполне оправданную экстремальность ключевых сюжетов. Надо полагать, резонны оба мнения. Их в определенном смысле примирил известный итальянский поэт и критик Нанни Балестрини, заметивший, что в тихой заводи итальянской словесности последних лет "каннибалы" стали единственной живительной струей.

Сборник дебютных и теперь уже культовых страшилок А. Нове "Вубинда" (1996) во втором издании разросся до размеров обескураживающей энциклопедии современной жизни, девизом которой могло бы быть "ни дня без конца света". Боюсь, однако, что дело не в упадочных настроениях конца тысячелетия, а, как сказал бы В. Беньямин, в невозможности "непосредственной жизни". Судя по твор-

© Einaudi, 1998
© Г. Киселев. Перевод, 2000

честву Альдо Нове, это сполна ощущается и в "стране высоких вдохновений". За гладко оштукатуренным фасадом повседневности, в мире Нове, мире легко узнаваемом, поскольку реальном до оторопи, скрываются поистине ландольфианские зияния "просто жизни", этакие черные дырищи индивидуального и массового психоза, пространства-ловушки, энтропия современного сознания. Хочется верить, что разложенный автором пасьянс "апокалипсиса сейчас" есть еще одна попытка *заговорить* тот, главный Апокалипсис, который уж точно покруче будет. Заговорит ли его А. Нове? Это как фишка ляжет.

И здесь уместно перейти от идейных соображений к самой манере называния ужасов жизни, составляющей безжалостный и несомненный стиль каннибальского реализма вообще и Альдо Нове в частности. Рецепт этого стиля — гремучая смесь из свежих языковых присадок, куда входят рекламные примочки, эстрадные приколы, эротические пенки, телевизионный стёб, уличная феня и прочий недоязык, который незаметно подменяет нам праязык и выстраивается автором во всеядное и крайне неутешительное письмо, доходящее до самопожирания. Приготовленный в лаборатории писателя этот шипучий словесный коктейль, казалось, вот-вот разъест последние островки литературы. Как бы не так. Внезапно затвердев, он сам превращается в литературный реликт. Ведь сказано: литература начинается там, где кончается литература.

Б*адусан*

Я урыл своих предков за то, что они пенились этим долбаным бадусаном Pure & Vegetal.

Мазер талдычила, что ее бадусан типа увлажняет кожу. Только я пользуюсь бадусаном Vidal. И хочу, чтобы все в доме пользовались бадусаном Vidal.

Потому что с детства помню рекламу бадусана Vidal. Неслабая была реклама.

Я лежал в постели и смотрел, как скачет лошадь.

Та лошадь была Свободой.

Я хотел, чтобы все были свободны.

Я хотел, чтобы все покупали Vidal.

А потом фазер и говорит: в универсаме, мол, набор из трех предметов по цене двух дают. Надо брать. Не думал я, что туда и бадусан попадет.

Фазер-мазеры сроду меня не просекали.

После таких дел я сам себе покупал бадусан Vidal. Мне было пофигу, что в доме еще три упаковки Pure & Vegetal с этой обломной календулой.

Я, если когда в ванную заходил и видел на биде их стебаный батл, тут меня прорывало, и я уже за стол с ними не садился.

Обо всем ведь не расскажешь.

Я погляжу, когда вам наплюют в самую душу. А главное, ради чего — ради скидки. Я молчал.

Молча бакланил у себя в комнате чипсы там шмипсы разные. И никого не хотел видеть — ни дружбанов, никого. Телефон звякнет, а меня вроде как дома нету.

Что ни день, я все глубже въезжал, до чего страхолюдина у меня мамуля.

Такая, что вовек в политику не сунется — с ее-то вздутыми веняками и желтыми от курева пальцами.

Страшна как смертный грех. И как только я любил ее в детстве?

Папуля тоже весь трещал по швам.

Короче, пора, пора уже было ушатать их обоих.

Ну, выхожу я тут под вечер из своей комнаты и говорю: решил я типа вас обоих списать.

Те на меня только гляделки свои поношенные выкатили, видно ушам не поверили, что я с ними вообще заговорил. С чего это, спрашивают.

А с того, что неплохо бы для начала бадусанчик сменить.

Они как заржут.

Ну, поднялся я в свою комнату и взял консервную банку из-под томатов. Она у меня для ночной жрачки заныкана.

Вернулся в кухню и запер дверь на ключ.

Я рявкнул матери, что она последняя чувырла и что ей надо было вырезать матку до моего зачатия.

Отец вскочил и замахнулся на меня. Но я не оплошал и так вмазал ему по яйцам, что он тут же с копыт долой.

Мать бросилась к нему с диким ревом. Она выкрикивала что-то бессвязное и от этого казалась еще старше и смешнее. Я всадил ей острую консервную крышку в горло. Ручьем хлынула кровь. Мать визжала как свинья.

Отца я оформил тесаком для замороженных продуктов.

Тошно было смотреть, как они подыхали, давясь кровавой блевотиной.

Всю плитку на полу перемазали. Кровища все лилась и лилась. А эти стали другого цвета.

Я потопал наверх и сгреб два батла (один они уже испузырили) их поганого бадусана.

Притащил батлевичи на кухню, поставил на стол. А после продолбал мамашин череп молотком для отбивки мяса.

Липкие мозги вытекали медленно. Шмотки волосатой кожи отдирались как скотч.

Отцовская башка была вроде мягче. То ли это я по ней хряпнул как положено.

Я вывалил их мозги в раковину и хорошенько промыл черепки моющим средством Scottex.

Потом налил в черепушки Pure & Vegetal — пусть до них дойдет, что это

* * *

Вубинда

С тех пор как на ТВ заправляет Берлускони, перестали показывать Вубинду — бледного швейцарца, бегущего по саванне. От правых и не того еще дождешься.

Меня зовут Джузеппе. Мне тридцать один. Овен. Я левый. Как и Вубинда. Когда был Вубинда, мы все были заодно. С пластинки неслось: "Вубинда, помоги мне. Вубинда, помоги!" Те парни пели еще и "Фурию". "Фурию" сейчас тоже не показывают.

Однажды "Фурию" пустили снова. Это было уже не то. И заставка — полное фуфло. Под такую не помечтаешь. А моему поколению так нужно мечтать.

Мое поколение верит во что-то новое. Нынешний молодняк Вубинду знать не знает. И Фантомаса тоже.

Вечером я попадаю в дом через окно. Я всегда вставляю новое стекло после того, как вломился в дом через окно.

Если бы в саванне были окна, Вубинда тоже входил бы через окна и тоже разбивал бы их. Когда-нибудь не станет больше лесов. И Вубинды не станет. Как на сегодняшнем телевидении, где его уже нет.

Но он есть. Как будто время остановилось. Он есть во мне.

Он в тех, кто еще может что-то сказать. Он дает силы тем, кому сейчас тридцать.

И помогает разобраться, как быть дальше.

Моя сестра смутно помнит Вубинду. Когда его показывали, ей не было еще десяти. Для нее Вубинда — просто парень, который кричал перед самым ужином. А что к чему, она не помнит и даже забыла, какое у него лицо.

Зато она хорошо помнит Барби-папу.

Барби-папу из семейства Барби. А нашим любимцем был Барби-мохнатик.

Это был всего лишь мультик, а мультик не в счет. Это был правый мультик, мультик Ломбардской Лиги, потому что он ничего не говорил людям. Не то что Вубинда. Вубинда сплачивал нас. В 1979-м мы выходили по вечерам из дома и звонили в колокольчики и знали, что мы вместе, рука об руку, а теперь сил уже м

* * *

Вибраволл

Меня зовут Стефания. Мне двадцать семь. Я Овен, восходящий к Тельцу. Моего мужа зовут Джанни. Ему сорок, он маклер.

Я поэтесса и редактор женской газеты. Веду рубрику писем. В письмах — сплошное сюсюканье. Жевано-пережевано. Сил нет. Отбарабанив в редакции, я еще долго потом рулю, чтобы маленько расслабиться. А недавно купила сотовый — теперь оттягиваюсь покруче.

Марка моего сотового Sharp TQ-G400.

Размеры: 130×49×24 мм. Вес: 225 г. С обычной батарейкой.

Пониже кнопок вызова и окончания связи есть две такие клавиши со стрелочками. Нажимая на них, я просматриваю меню и выбираю нужную функцию.

Экранчик просто загляденье, гораздо симпатичнее, чем в Pioneer PCC-740; это тот, что у Марии.

На моем показаны уровень сигнала, заряд батарейки, время, а еще — включен телефон или выключен.

А еще там есть малюсенькая такая мигалочка: если телефон положить в комнате или в машине, она показывает, заряжена батарея или уже садится.

В памяти сохраняются последние десять звонков.

Бывало пилишь по автостраде, пилишь: пора чуток и релакснуться. Тут я набираю Джанни и говорю:

— Давай, что ли, поколбасимся?

Ну, он и выдает:

— Ща бы я полизал тебе передок, дешевая ты давалка.

Я еду и чувствую, как там у меня становится влажно.

Обычно Джанни звонит с биржи. А на бирже вечно такой гвалт, что никтошеньки не слышит, о чем там мой Джанни трёкает по своему мобильнику марки Ericsson EH-237 за 1 583 000 лир.

В память его трубы можно забить аж до 199 номеров. И автодозвон на шесть номеров имеется.

Сотовый мужа на 20 г. легче моего. Размеры: 49×130×23 мм.

И антенна у него не выдвижная, а витая.

Так вот, по этому самому Ericsson EH-237 муж звонит мне, пока я сижу за баранкой, и мы с ним типа колбасимся. Приколись!

Мы с мужем современная пара. Когда-никогда, а выбираемся в sexy shop "Голубой Дунай", рядом с аэропортом. Подкупить разных там примочек. Нет, с этим делом у нас все тип-топ. Просто другой раз охота уже и по полной схеме оторваться. В прошлый вот заезд оставили 119 700 лир.

А взяли фаллос без вибратора, но со впрыском за 34 900; вибратор "Дуэт" анус-вагина за 49 900 и китайские виброшарики за 34 900.

Только я вот что скажу: если ваша пара без конца в разъездах, вроде нас с Джанни, то у вас обязательно должен быть Вибраволл.

Вибраволл — это даже не жужжалка, а бесшумная такая дрожалка для сотовых. Мой муж вставил мне ее в попку на годовщину нашей свадьбы.

А перед этим сказал:

— Дай-ка я загоню тебе в соседку приборчик.

Ну, думаю, какой-нибудь латер со впрыском или без, с вибратором или без, с залупоном или без — в общем, приборчик в попку.

Но это был Вибраволл.

Муж вышел из комнаты и позвонил со своего Ericsson EH-237 на мой Sharp TQ-G400.

Вибраволл тут же задрожал. Это был сигнал звонка. От него я так оттопырилась, такой словила кайф, какого у меня отродясь не бывало. Я просто потеряла голову. До меня вдруг дошло, что в наши славные времена благодаря технике с милым можно ой как заторчать. Я только бешено мычала. А приборчик все жжж-жжж у меня в попке. Я не выдержала, встала с кровати и взяла с комода мой сотовый. Мне уже было до фонаря. Я завелась как распаленная блядь.

Я вовсю нашарпывала свою щелку: вверх-вниз, вверх-вниз. Маленькая упругая антенна так теребила клитор, как могут теребить только антенны Sharp. И вот подкатил ломовейший оргазм. В комнату вошел муж. Он был потря́сен: Скорпион под знаком Льва. Правой рукой он прижимал к лиловому члену мигающий Ericsson EH-237. Муж высунул язык и проворковал:

— Я люблю тебя, моя зайка.

И тут я растеклась. Ох, как я растекл-а-а-ась.

***

Беспроводные наушники

Илария пришла ко мне смотреть “Экзорциста”. Меня зовут Стефания, я ее подруга, мне шестнадцать.

Хотя, по-моему, она пришла не за этим. Думаю, она пришла меня трахнуть.

И трахнула.

Во время рекламы она лезла целоваться, а через десять минут запустила руку мне между ног, сдвинула трусики и начала лапать за пипку.

Перед самым продолжением фильма я отдернула ее руку.

Примерно в середине первой части Илария стала вовсю дрочить.

Мне-то было без разницы, я хотела смотреть “Экзорциста”.

Сперва она тяжело так дышала, а потом заскулила, как шальная сучка.

Я сделала громче.

Илария предложила поставить порнушку с Роном Джереми, а “Экзорциста” досмотреть как-нибудь потом.

Она начинала меня цеплять.

Я спросила, какого она вообще приперлась: фильмец смотреть или что? Лично я собираюсь смотреть фильмец.

Она ответила, что любит меня. Тогда я пошла в свою комнату и взяла беспроводные наушники.

Настроила их на телик и отключилась от нее.

Но эта прищепка гнула свое.

Она так раздрочилась, что весь диван ходуном ходил.

От этой скачки пульт свалился на пол.

Я бы и не заметила, если бы не переключился канал.

Ни с того ни с сего на экране появилось "Поле чудес".

Я фыркнула и снова переключила на четвертую.

Чтобы спокойно досмотреть "Экзорциста", я сняла трусики и сказала Иларии: так и быть, можешь полизать, только не очень вертись, а главное — не загораживай экран.

Она спустилась на пол и нырнула головой мне под юбку.

В какой-то момент пропал звук.

Наверное, сели батарейки в наушниках.

Четыре пальчиковых на полтора вольта. И двух недель не протянули.

— Илария, — сказала я. — Хорош, батарейки сели.

Она высунулась у меня между ног и очумело глянула вверх.

— Что такое? — пролепетала она, задыхаясь.

— Батарейки в наушниках сели, я не слышу

Она высунулась у меня между ног и очумело глянула вверх.

— Что такое? — пролепетала она, задыхаясь.

— Батарейки в наушниках сели, я не слышу

Она высунулась у меня между ног и очумело глянула вверх.

— Что такое? — пролепетала она, задыхаясь.

— Батарейки в наушниках сели, я не слышу

Она высунулась у меня между ног и очумело глянула вверх.

— Что такое? — пролепетала она, задыхаясь.

— Батарейки в наушниках сели, я не слышу

Она высунулась у меня между ног и очумело глянула вверх.

— Что такое? — пролепетала она, задыхаясь.

— Батарейки в наушниках сели, я не слышу

Она высунулась у меня между ног и очумело глянула вверх.

— Что такое? — пролепетала она, задыхаясь.

— Батарейки в наушниках сели, я не слышу

***

You can dance

Сижу я тут с дружками в баре. Кофейком балуюсь. Глядь — Марчелло. Служили мы вместе. Вот, говорю, это Марчелло, прошу любить и жаловать. Когда тебе за восемнадцать, по кайфу вспомнить былое. Марчелло как услыхал, что я женился, обрадовался. Он тоже тридцатник разменял (как и я). Да и родились мы впритирочку. Он дня на два моложе будет. Так что оба мы Раки. Раз даже день варенья вместе справляли. Только в другом баре.

Ну, вспомянули, как положено, про того чмошника-сардинца, что на крышу залез, а слезать ни под каким видом; про то, как затащили в казарму путан; как Марчеллик слямзил коробку шоколада, пятнадцать кило, и мы толкнули ее одному торгашу. А еще вспомянули про педрилу-старлея и торчка-часового, что ширнулся, да и похерил склад — пришлось на него рапорт катать.

Как-то Марчелло откопал надувную куклу в шкафчике у You Can Dance. Ну, мы ее, значит, надули и запихали в очко. Тут нас дежурный и накрыл, мы — ноги. Он ее тащит-потащит, чтобы самому-то попользоваться, а она возьми да и лопни...

Марчелло помордел. Дочке два года. Заказал себе мерзавчика. Говорит, что кантуется на выездных играх "Ювентуса" вместе с другими фанами. Звал типа в гости.

Пора было расходиться. Марчелло вызвался заплатить. Э-э, нет. Столько не виделись, обижаешь, старик, — плачу я. Марчеллино ни в какую: пыжится, толкает меня. Брось, говорю, давай не будем, кончай базар.

Он: еще чего. Я ему: и думать забудь. Он мне: шутки шутишь? Я: ну прямо! Марчелло скривился. Я ему: чего кривишься, бля, я плачу. Марчелло мне: мудозвон.

Я ему: иди, говорю, просрись, пора уже въехать, угощаю тут я. Он мне: даже не рыпайся со своим бамажником, ты меня и так заколебал, плачу все одно я.

Кругом народ тусуется, мочалки там местные, ну и вообще; всем охота узнать, кто из нас забашлит. Вылупились на меня, ждут, чего дальше. И кассирша за стойкой тоже глазеет.

Короче, расклад такой, Марчелло: ты лучше не выёгивайся, последний раз говорю, прикинь. Тут он как пихнет меня к ви́трине мороженого, а бабки-то кассирше сует.

Мать твою, завопил я и выхватил пушку. Ты врубишься или нет, что пора завязывать эту лабуду? Да или нет, да или нет — и зашмалил ему всю обойму конкретно в зенки.

Что, ты этого хотел, этого? Ласты завернуть хотел, а, Марчеллино, орал я не своим голосом. Марчелло бухнулся на пол. Так и сжал в кулаке свои тугрики, заляпанные кровью. Все повалили из бара. Я за ними. А сам палю без разбора и реву во всю глотку: обижаешь, старик, я плачу, плачу я.

***

Говно

Мать обнаружила, что я держу говно в тумбочке.

Вонь по всему дому пошла. Тут уж фунькай не фунькай освежителем — все без толку. Запашок еще тот! Думала, трубу где прорвало.

Да нет: трубы сливали говно исправно. Утечки газа вроде никакой. Дохлой мыши — и той не нашлось.

Просто я держу говно в тумбочке.

Меня зовут Эдоардо. Мне восемнадцать. Я Овен.

До говна я дошел постепенно. Для начала задумался о цвете...

Говно коричневое. Как земля.

По мне, земля — это клево.

На глобусах мир весь такой разноцветный, как мячик.

А на деле-то он синий (моря синие) и коричневый.

Везде и во всем надо выдерживать правильные цвета...

Я офигеваю, когда в рекламе прокладки и памперсы вечно поливают чем-то синим!

В детстве я думал, что писаю не так, как все, потому что у меня желтые писи.

Я включал телик, а там были синие писи.

Эта реклама все перековеркала.

Вы небось замечали, что в рекламе никогда не показывают какашки.

Вот я их и храню. Если бы показывали, какашки были бы зелеными.

Или синими. Как писи.

Я знаю, мать сделала вид, будто ничего не случилось. Она просто выкинула говно.

За ужином сидела с понурым видом, опустив голову.

Ели молча. Только ножи с вилками стучали. Мать тяжело вздыхала. Так она вздыхает в особых случаях. Как в тот день, когда дядя под машину попал. Или когда она уронила в толчок золотую цепочку.

Так она не вздыхала уже несколько лет. Какого хера! — заорал я. Молчит. Уткнулась в тарелку и молчит.

Ну, я ее в эту самую тарелку рылом-то и мокнул. Типа смотришь свой говенный ящик, вот и я буду говно в тумбочке держать.

Я тоже пока в толк не возьму, чего вечером смотреть.

Как-то выходил я тут с одной. Ну, по барам там и вообще.

Она все книжку с собой таскала. И зачитывала мне из книжки. Одно и то же, одно и то же. Альенде автор. Та, которую все бабы в метро читают. А в книжке-то, поди, не все слова одинаковые. Короче, деваху ту я больше не видел.

В октябре дело было. Говно я еще выбрасывал.

И все никак не мог определиться, какую программу вечером смотреть. Помню, в жилу шла передачка "Милан-Италия". А матери до лампочки.

Уже вон тридцать четыре, а я все наклейки собираю. Стремно.

В свои тридцать четыре не с кем в дартс пошвырять. Или пульку расписать. А мне по барабану.

Политику надо менять на корню. Чего-то сделать в натуре. С детства об этом думаю.

Время сейчас такое, чт

***

Н*а минуточку хороша собой*

Меня зовут Розальба. Мне двадцать семь, и я так на минуточку хороша собой. Поэтому у меня все время члентано во рту. С тех пор, как мне исполнилось пятнадцать, у мужиков ну просто крыша поехала. Чуть заметят меня, тут же норовят боеголовку в пасть загрузить.

Это потому, что я Весы, и в асценденте у меня тоже Весы, так что я страсть как люблю перышки почистить. Да и вообще природа девушку не обделила, ведь у меня Венера в тригоне к Юпитеру и четвертый номер бюста, а бедра такие, что хоть налопопам разорвись.

Сначала было не в кайф. Наш падре из говназии просил, чтобы я ему спускала. По первому разу он стремался вчерняк. По второму уже меньше, а потом так навис, что я ему прямо выдала: пусть, мол, тебе, святой отец, твоя Мадонна прибор драит, — и получила зачет по религии.

На улице всю дорогу слышишь: эй, мокрощелка, отсосать не хочешь? А я и отсасываю. Только не у всех: у всех не отсосешь.

Тут подруга мне говорит: чего высиживаешь, двигай в порнухе сниматься. Лимон в день, без особого напряга, попаришь титьками шершавого — и нормалек, все равно как с шефа надбавку срубить. Айда, познакомлю тебя с Ивано.

Ивано не клеил меня на минет. Он типа хохмил да прикалывался, феньки там разные отмачивал. Думала, все равно ведь потом завафлит. Мужиков послушать, так все мы, женщины, — вафельницы. Им главное пистон тебе вставить куда ни попадя. Ради этого они хоть в лепешку расшибутся, все мозги вплотную запудрят. А под конец начнут колготки стягивать и прочее, будто ты вобла какая, — засранцы.

Но Ивано был не таким. Он свел меня с этим шизанутым красавчиком Марко и сказал, что мы должны как следует побатониться. А еще там был фотограф. Фотограф был бабой. Мне прыснули в рот какой-то прыскалкой для отсосов. Ивано сказал, ты, короче, не суетись, делай так-то и так-то. Велел мне взять под язык Марков причиндал и выставить в камеру экстазный фейс. Ну, а потом меня еще столько хераknутых болтов поимело, что и не сосчитать.

Однажды по сценарию я должна была сплюнуть малафью в дабл. А мне спущенка очень даже нравится, ну, я возьми и сглотни ее по привычке-то. Ивано обозвал меня мандавошкой, засветил по хлебалу и выдал шесть лимонов отступного.

***

Дублер

Я работаю дублером. Играю того чувака в резиновом прикиде из фильма режиссера по фамилии Тарантино. Фильм называется “Pulp Fiction”. Мой герой появляется ближе к середине того фильма, о котором я здесь толкую. Точнее, ближе к концу. Когда полицейский решает, кого ему отодрать — негра или боксера.

Такую роль играть легко. Резиновый чувак не говорит ни слова. Появляется на несколько секунд и молчит как рыба. Только в самом конце приглушенно так охает, когда боксер выписывает ему в торец.

Я стал играть эту роль, потому что я никто. У меня на лице волчанка, и когда я влезаю в резиновую шкуру, я могу:

1) появляться на людях так, чтобы никто не видел моего уродства;

2) надеяться, что меня позовут на передачу “Факир на час”, ту самую, где надо спеть песню, подражая какой-нибудь звезде;

3) побороться за главный приз — поездку на Адриатику с участием в ночном гала-концерте.

Правда, мой герой не поет. Так что играть его проще других. Хотя, что значит не поет? Не поет в самом первом фильме. А в жизни очень может быть, что поет. Или запоет в следующих сериях. Если они, конечно, будут.

Вообще-то я согласился на эту роль не с бухты-барахты.

"Pulp Fiction" смотрела, я не знаю, тьма народу. Забойная вещь. Мóлодежь от нее в угаре. Выходит, я вроде как символ этой гребаной жизни. Теперь и верить-то уже не во что. Разве в то, как одному кенту на заднем сиденье машины башку разносят.

А иной раз меня даже не узнают. Просто понятия не имеют о моем герое. В упор не замечают, хоть ты тресни. Такие вот времена. Народ пошел легонечко с приветом. Не успели один фильм посмотреть, глядишь — уже на другой бегут. А кто кого играет, какой где герой, никто и знать не знает. Сплошная куча мала. Такое вот кино.

Ладно, авось прорвемся. А пока, кому интересно, я объясняю, откуда у меня эта шкура и что, мол, я работаю дублером того чувака в резиновом прикиде из фильма одного американского режиссера по фамилии Т

***

Чип и Чоп

Я по жизни рубаха-парень. Мой знак — Близнецы. Окончил педучилище в городе Комо. Работаю с дядей на фирме.

По жизни я домосед. Любимое занятие — телик смотреть. Посмотрю немного — и на боковую. Так всю неделю, кроме субботы. В субботу мы куролесим. Мы — это я и Риккардо.

Мы дружим с первого класса. Во втором и пятом за одной партой сидели. После уроков вместе пинали мячик. В старших классах как-то подразошлись. Теперь вот куролесим на его "пунто". По субботам.

Я тоже купил себе "пунто". Это отечественная марка. Сейчас всем приходится несладко, и я решил помочь родной экономике.

Иной раз мы руляем не на его, а на моей машине. Тем более что они одной масти. По идее надо бы раз на его, раз на моей.

Но мы нарочно руляем на его. Прямиком по шоссе. Всю неделю на фирме стоит сплошной треп по телефону. Треп-перетреп. Бывало, нарушишь правило, остановят тебя — и пошел треп. Время на улице спросят — опять трепись. Сантехника вызвал — снова чеши языком. И только по субботам можно пожить без трепотни.

По субботам за рулем у нас Риккардо. Я сижу рядом. Мы смотрим в окошко на машины. Они бесшумно проносятся мимо.

Мы молчим примерно полчаса. Потом еще столько же. Потом уже надо что-то сказать. Риккардо говорит:

— Чип.

Я выжидаю и ловлю радио "Молочные реки". Там заводят только итальянские песни. Смотрю на дорогу и отзываюсь:

— Чоп.

На той неделе едем мы едем, и вдруг — бац: мотор заглох. Вышел я глянуть, что там. Риккардо за мной и тихонько так сквозь зубы:

— Чип.

А я в ответ, чуть громче:

— Чоп.

(Радиатор закипел.)

Обычно мы созваниваемся в среду вечером. Когда кончается эта муть по пятой программе, я встаю, беру телефон, переношу его на диван и звоню Риккардо. Иногда он первый мне звонит.

Один из нас тут же снимает трубку: знает, что это звонит другой. Договориться о субботней поездке в автогриль у аэропорта. Сняв трубку, я сразу говорю:

— Чип.

На том конце слышно, как работает телик. Потом раздается голос Риккардо:

— Чоп.

Мы трогаемся. За рулем Риккардо. Он радуется тому, что молод. Одной рукой он ведет. В другой держит банку пива. Из окошка своей "пунто" он наблюдает, как по смежной полосе нас обгоняют машины.

Нас вечно все обгоняют, потому что мы едем по полосе безопасности. Так оно вернее. Случись, насядет какой "мерс", можно не дергаться: на полосе безопасности в ящик не сыграешь, будь спок.

Мы оба смотрим в зеркало заднего вида. Через пару часов Риккардо сам не свой от счастья. Поди плохо, когда тебе сорок четыре. Раскатисто так он выпаливает:

— Чип.

Вот и я рад-перерад, что мне шестьдесят два. Житуха будь здоров, грех жаловаться. И я откликаюсь:

— Чоп.

В автогриле, куда мы приезжаем по субботам, стоит автомат карамелек Smarties. Как его году в восьмидесятом там поставили, так он и стоит. И менять пока не собираются. Обшарпанный такой автоматище. Окошко все раздолбано. Меняются только Smarties. Мы каждый раз берем по две коробочки.

Smarties — одно из лучших воспоминаний моего детства. Ну, когда мне было лет так семь-восемь-десять. Коробочки сейчас уже другие, а вот Smarties все те же.

Smarties все т

***

Те, кто

Меня зовут Маттео Пировано. Мне двадцать два. Мой знак – Водолей.

Я разработал несколько любопытных теорий в области космологии. До недавнего времени я был созерцателем собственной жизни. Она оставалась для меня загадкой, разгадать которую я не мог. Поэтому в университете я учился неважно. И с девушками у меня не ладилось. Зато теперь моя жизнь меняется на удивление быстро. Теперь я постоянно смотрю программу "Те, Кто".

Она идет каждый день. В 19.00. На тебя просто смотрят люди, вот и все.

Приятные, вдумчивые лица. В программе "Те, Кто" ты становишься центром всеобщего внимания. Благодаря "Тем, Кто" мои теории оставляют след в душах людей.

Когда проходит заставка, с экрана на меня устремляются взгляды экспертов и хорошеньких девушек. Я начинаю говорить. Они слушают меня с большим интересом. Я разворачиваю свои теории и чувствую себя полноценной личностью.

Это Моника. Мне двадцать четыре. По знаку я Телец и тоже смотрю "Те, Кто".

"Те, Кто" примирили меня с Италией. Раньше я терпеть не могла свою страну. На лето уезжала в Ирландию работать официанткой. В прошлом году залетела и выкинула.

Но фигура вся при мне. Бюст – отпадный. Я его выставляю в "Тех, Кто". А еще я пою и танцую. Вроде некисло. Как на меня, там больше ни на кого не таращатся.

Вот я и говорю: из страны теперь ни ногой. Где еще такие передачи посмотришь?

Меня зовут Стефано Алеарди. Я консультант солидной фирмы. Мне тридцать. Стрелец.

Радостей в жизни мне хватает. У меня знатная тачка и мастино по кличке Ануфи. 80 кэгэ веса.

Но моя голубая мечта – стать артистом.

Так что в семь вечера я уже перед телевизором.

Мне аплодируют. Я показываю хитроумные фокусы без единой осечки. Самое приятное – когда тебя хвалят не только на работе.

Ануфи радостно виляет хвостом. Ему хочется, чтобы передача никогда не кончалась.

Это Кристина Кардо. Мне сорок восемь. Знак Зодиака – Дева. Работаю в универмаге. Через мою кассу покупатели стараются пройти по-быстрому. Меня ломает, когда народ готов даже в очереди помаяться, лишь бы пройти через кассу Марии. Мария – смазливенькая такая мармеладка. А я и ростом не вышла, и лицо у меня частично парализовано.

Но вот я закрываю кассу, прихожу домой и надеваю шелковое платье, которое покойница мама своими руками вышила к моей свадьбе. Замуж меня не берут, потому что я страшилище. Только "Те, Кто" умеют заглянуть мне в душу.

И тогда уже ни одна со мной не сравнится.

В полвосьмого передача заканчивается. Под оглушительные аплодисменты публики я говорю слова благодарности и раскланиваюсь.

В такие мгновения я чувствую, что не хочу больше работать в универмаге. Я бы день и ночь сидела перед телевизором, потому что только телевидение человечно.

Только "Те, Кто" относятся ко мне с уважением.

Меня зовут Иньяцио Боттура. Мне тридцать шесть. Работаю электриком. По гороскопу я Лев.

Я западаю на елдаки, и если мой начальник пронюхает, что я гомик, меня турнут с работы.

Вот и приходится до вечера косить под нормального. В семь я дома. Наконец-то я один. Теперь уже некому догонять меня тупыми анекдотами. Теперь можно не сотрясать воздух всякой болтовней про футбол. Я натягиваю колготки в сеточку Omsa и надеваю лифчик Lepel: начинаются "Те, Кто".

Я смотрю на людей, они — на меня; я ощущаю себя женщиной, я — франческа деллера в своем дворце; я тот, кем не стану никогда и кем являюсь на самом деле, я

я глажу себя.

Я глажу себя по бедрам и покачиваю задом.

Меня захлестывает волна оваций.

Это Джованна Кампидолио. Мне тридцать лет. Мой знак — Дева. Я замужем.

Мир прямиком катится к самому концу света. Никто уже не внимает заповедям Иисуса Христа.

Я все время говорю это "Тем, Кто". Там я вижу одухотворенные лица. Муж и слышать ни о чем не желает. Только и знает, что жрать, пялиться в ящик да любиться. Но это не любовь.

Об этом я твержу "Тем, Кт

Три рассказа о телевидении

Дон Чотти

Меня зовут Альдо Нове. Мне двадцать девять лет. Я писатель, которому больше всего подходят девушки, родившиеся под знаком:

1) Тельца,
2) Девы,
3) Рака.

Девушки, с которыми я обычно собачусь, родились под знаком:

1) Водолея,
2) Близнецов,
3) Овна.

Всю жизнь я мечтал принять участие в ток-шоу на швейцарском телевидении. И вот моя мечта сбылась!

Сижу я как-то дома, ну и тихо-мирно сам с собой забавляюсь, лысого, стало быть, обкатываю. А все потому, что купил себе висячий такой календарь на 1997-й. Во весь календарь – Синди Кроуфорд. По магазинам намылилась. Платье у нее белое с черным. А из-под платья трусики очень даже белеются. Короче, на фотке этой типа не Синди Кроуфорд по магазинам намылилась, а такая ломовая групповуха чувств, что забомбись на месте!

Синди Кроуфорд – улетная чувиха, не то что Шиффер там или Наоми!

Только я, значит, раздрочил, вот-вот кончита хлынет – дребезжит телефонкен. Поднимаю трубу, а сам уже того, спустил.

Звонит швейцарский продюсер. Спрашивает, не хочу ли я потусоваться в ток-шоу с доном Чотти и Линусом.

В общем, кончил я под чумовой такой коктейль из Синди Кроуфорд, дона Чотти, Швейцарии и ди-джея Линуса.

– Угу, – промычал я.

На другом конце, видать, ясно стало, что тут дрочат на картинку.

– Буду как шомпол. Ну, то есть как штык.

Продюсер дал мне адрес, и я ополоснулся.

На швейцарское это телевидение я приехал в три часа.

Везде чистота. Фантика на пол не бросишь.

В буфете пиво и тоблерон.

Когда подтянулся дон Чотти, я в легкую так прибалдел.

А Линус даже не засветился. Вместо него нарисовались тот психиатр, что выдавал заключение по Мазо, и журналисточка из "Униты". Последним нагрянул милашка ведущий.

Передача растянулась минуточек на сто. Пока туда-сюда, я и психодоктор этого Пьетро Мазо типа зависли друг на друге.

Не знаю, может, то была любовь? Хотя дальше дело не пошло, потому что ведущий трещал без передышки. Он задолбал нас вопросами насчет последней статистики: как подростки относятся к тому, что на ТВ нет приватности.

Когда я был подростком, никто меня на ток-шоу не звал. Я мучился и не понимал, зачем вообще живу.

Зато сейчас все по-другому. Меня зовут на ТВ, и я могу порассуждать о чем-нибудь таком-растаком.

Ну, скажем, на швейцарском ТВ вместе с доном Чот

*

Молодые писатели

Когда камеры берут тебя в объектив, вот тогда ты писатель. Писатель без телевидения — что сапер без лопатки. Если честно, цель везучего интеллигента — попасть на передачу "Другой киоск", культурненькую такую передачку, которую запускают по четвергам, в вечернем эфире, на втором канале.

Культура — это когда по телику показывают писателей вроде Ваттимо и Бузи, готовых стереть друг друга в порошок. Или вот молодых писателей. Все это творится в передаче "Другой киоск".

В тот раз среди молодых писателей был я (через неделю в передаче о семье я тоже был) и Кьяра Дзокки.

С Кьярой Дзокки тяжелый случай. Тут мне ничего не светит.

Еще в студии были Никколо Амманити и его невеста, красотка Луиза Бранкаччо.

Никколо Амманити — мой любимый писатель.

А еще там были Изабелла Сантакроче (своими книжульками она впаривает всем и каждому); Тициано Скарпа; этот полоумный тип Пикка, который вечно залупается; Джулио Моцци, Дарио Вольтолини, Джузеппе Каличети, Андреа Пинкетс и Томмазо Лабранка — для меня он бог.

А еще были критики. Говнились все как один (кроме Пиччинини).

Жаль не было Паолы Маланги, той самой, которая написала "Все кино Трюффо" (изд. Baldini & Castoldi). У нее такие глаза — хоть стой, хоть падай, да и в целом кадр что надо.

До начала передачи Дзокки расхаживала по студии. За ней увивался Пинкетс: ему жуть как охота, чтобы она написала с ним роман в четыре руки.

Повторяю для бестолковых: с Дзокки ловить нечего. Лучше расслабиться и подумать, как сварганить бестселлер.

В студии не было Инге Фельтринелли, Даниэле Луттацци и Нанни Балестрини. Правда, они шли в записи. А Фельтринелли даже была на связи в Милане. Она оделась во все красное и спикала на манер Этер Паризи.

Дальше показали книжку Даниэле Луттацци "С.п.а.з.м.". Даниэле угарный малый, так что было уже смешно. Один Даниэле Луттацци стоит десяти таких, как Альда Мерини, и пяти таких, как Марио Луци. Меня переполняет счастье оттого, что на свете есть Даниэле Луттацци.

О Нанни Балестрини словами не скажешь: это полный абзац. Ему шестьдесят, а дашь на сорок-пятьдесят меньше. Он абсолютно задвинут и абсолютно велик.

Сначала все писатели вошли.

Все входили нормально, кроме Кьяры Дзокки: она входила сексуально. Пинкетс смотрелся как Муссолини. Тициано Скарпа шел ва-банк со своей книжулькой "Глаза на Решетке".

Тициано Скарпа вроде Манганелли. Разница в том, что он идет ва-банк только на телепередачах.

Передачу запустили. Разорялись ни о чем. Томмазо Лабранка был круче всех. Какой-то критик в красных окулярах наехал на Сангвинети: решил, будто Сангвинети — один из молодых писателей. Ровно с катушек слетел.

В конце все перепрощались. Я так и не понял, выудил Пинкетс у Дзокки телефончик или не выудил. Все равно там без мазы. С Дзокки ловить нечего. Лучше расслабиться и подумать, как сварганить бестселлер.

*

Бевилаква

Когда мы, писатели, приходим на ТВ, мы так тихонечко прикидываем, что, если не надрывать глотку, сколько-то твоих книжек все равно, конечно, купят, но не столько, чтобы можно было постоянно мотаться в альпийские пансионаты. Потому как если ты весь такой из себя скромняга, то зритель на тебя не подсядет и быстренько переключится на другую программу.

Чисто как писатель Альберто Бевилаква, я скажу, соображает, что говорит. В свое-то время он нарубился — мало не покажется. У Маурицио Костанцо — он так горланит, что ты уже без вариантов купишь его "Душу-любовницу" или "Эрос и письма матери".

Я когда "Вубинду" забацал, меня позвали на передачу по культуре, где будет Бевилаква. Называется "Короткое замыкание".

Помню, я страшно мандражировал, потому что хочу стать Бевилаквой Третьего тысячелетия. Бевилаква, когда говорит, он задумчивый такой. Потом сходу начинает на кого-нибудь орать, потому что он вспыльчивый. Я тоже так хочу. Но пока не получается. А все из-за того, что я стеснительный.

Была там еще Селен. Селен — это порнозвезда. Телка она оттяжная, хотя в тот раз даже минет никому не сделала.

Селен сидела одна.

Бузили про то, годится ли, когда на рекламе фильма о Ларри Флинте — есть там один, все порнуху мастачил — нарисован актер, распятый конкретно не на кресте, а на пизде. Ну и вообще о порнографии.

Отвечал еще один мэн, который аж с 1963-го снимает в Италии порно плюс эротику, и там одна газетчица, Татафиоре: она в этих делах дока.

По мне, так порнография — лишний повод разок-другой подрочить. Клевая дрочка — это то, что доктор прописал.

А эти ни в какую: нет, мол, и все тут!!!

И давай лажу гнать. Такой хай подняли, я и половины не прочухал.

Селен нахалку шила Папе. Типа он беспредел учинил: вон сколько народищу понапрасну угрохал за всю-то историю.

Бевилаква надрывался, что порнуху смотрят дети, которых потом же и насилуют.

Я, газетчица-минетчица и мэн, что с 1963-го навалял груду видюшного порева, больно-то не возникали. Такое вот "Короткое замыкание".

Селен вопила, что все эти семьянины-католики и есть главные садюги: втихаря имеют деток в попки. Бевилаква кричал дурным голосом, что многие порнушки сляпаны без всякого вкуса, особенно когда натягивают домохозяек. Селен жала на то, что без резины в перепихоне каюк, а Папа с резиной не велит. Короче, Селен сводила к тому, что этот Папа, блин, всех уже достал.

Когда передача пошла, кусок насчет Папы вырезали.

***

Призрак с голубой п....й

Меня зовут Марио. Я мужчина.

В детстве я не верил в привидения.

Я тащился от Карменситы и Кабальеро. Они разгуливали по сказочной стране в виде бумажных рупоров!

Я тащился от Бельфагора. Он выходил на дело из самой преисподней!

Я тащился от привидений Скубиду́, от мумий Скубиду́!

А еще я тащился, когда в передаче "Портобелло" говорили о призраках давно умерших женщин. Так я узнал, что призраки возвращаются!

Я сам гасил свет перед сном!

Я был славным бутузом.

Сейчас мне тридцать два. Моя жизнь совсем не та, что прежде.

Она резко переменилась с того самого дня, когда случилось то, что случилось. Теперь-то вы поняли, что я верю в сказочный мир привидений?

Я верю в него, потому что встретил призрака с голубой пи. Она явилась мне согласно древнему пророчеству. А это вам не хухры-мухры!

Наша встреча стала решающей не только для меня, но и для судеб всего человечества. Ныне и присно и во веки веков!

Без балды. Дело было так.

Я сидел за Пауэр ПиСи Макинтошем с Монитор-16 Колор Дисплеем. Сидел и строчил себе тексты для эротической телефонной линии 144. Специализация: летальный фетишизм с использованием резиновых аксессуаров. Желательно в перчатках.

Телефонные клиенты прутся от эротических историй с резиновыми перчатками красного или черного цвета. Они типа представляют, что их сечет такая матильда в резиновых перчатках и латексных чулках. Все красного цвета. Потом парочка голых бундесов продергивает ее в роттердам и поппенгаген, а она орет: "Замочи меня, замочи!" Ну, тут адольфы в красных гольфах и мочат матильду миксером, придавив ей голову к дивану.

Вот такие прогоны я маракал. На кооператив не хватало.

Раз сижу я, значит, кропаю писульку под названием "Убойная мочиловка на собачьей секс-площадке в блядском городе Содоме". За одну только страничку этой чернухи мне отстегивали по стольнику (куда больше, чем за страшилки для страшилкосборника "Юные людоеды", изд. Einaudi). Штучка вышла полный лом: всюду чертова гибель влагалищ, разодранных лиловыми овчарками. Кабысдохи отдают концы, отрыгивая кровь, дерьмо и черную резину. Истерзанные псами лохнезии носили бельишко из черной резины, а резина, если ее обожраться, смертельна.

Даже для кабысдохов в блядском городе Содоме.

К чему это я? Ах да — к сказочным событиям. Вот как они развивались.

"Наверни шмоток резины — кегли слету отбросишь", — думалось мне в тот день, когда звонок вдруг атасно затренькал. Раньше он так не тренькал. Это треньканье я бы сравнил с попурри из всех песен, побеждавших на фестивале в Сан-Ремо с самого начала и по сегодняшний день. А именно:

Grazie dei fior — "Спасибо за цветы" (Нилла Пицци),
Vola colomba — "Лети, голубка" (Нилла Пицци),
Viale d'autunno — "Осенняя аллея" (Карла Бони и Фло Сандон'с),
Tutte le mamme — "Все мамы" (Джино Латилла и Джорджо Консолини),
Buongiorno tristezza — "Здравствуй, грусть" (Клаудио Вилла и Туллио Пане),
Aprite le finestre — "Откройте окна" (Франка Раймонди),
Corde della mia chitarra — "Струны моей гитары" (Клаудио Вилла и Нунцио Галло),
Nel blu dipinto di blu — "В синей-синей синеве "(Доменико Модуньо и Джонни Дорелли),
Piove — "Дождь" (Доменико Модуньо и Джонни Дорелли, второй раз),
Romantica — "Девушка моей мечты" (Ренато Рашел и Тони Даллара),
Al di lá — "По ту сторону" (Лучано Тайоли и Бетти Куртис),
Addio... Addio... ! — "Прощай... Прощай... !" (Доменико Модуньо и Клаудио Вилла),
Uno per tutte — "Один на всех" (Тони Ренис),

Non ho l'età – "Еще не доросла" (Джильола Чинкветти),
Se piangi, se ridi – "То слезы, то смех"(Бобби Соло в сопровождении ансамбля "Менестрели"),
Dio come ti amo – "Боже, как я люблю тебя" (Доменико Модуньо в дуэте с Джильолой Чинкветти),
Non pensare a me – "Не думай обо мне" (Клаудио Вилла и Ива Дзаникки),
Canzone per te – "Песня для тебя" (Серджо Эндриго и Роберто Карлос),
Zingara – "Цыганка" (Бобби Соло и Ива Дзаникки),
Il cuore è uno zingaro – "Цыганское сердце" (Бобби Соло и Никола Ди Бари),
I giorni dell'arcobaleno – "Когда сияет радуга" (Никола Ди Бари),
Un grande amore e niente più – "Любовь, любовь и больше ничего" (Пеппино Ди Капри),
Ciao, cara, come stai? – "Чао, дорогая, как дела? " (Ива Дзаникки),
Ragazza del Sud – "Южанка" (Джильда),
Non lo faccio più – "Я больше не буду" (Пеппино Ди Капри),
Bella da morire – "До чего хороша" (Хомо Сапиенс),
... E dirsi ciao! – "...Ну и пока! " (Матиа Базар),
Amare – "Любить" (Мино Верньяги),
Solo noi – "Только мы" (Тото Кутуньо),
Per Elisa – "Элизе" (Алиса),
Storie di tutti i giorni – "Такие вот дела" (Риккардо Фольи),
Sará quel che sará – "Будь что будет" (Тициана Ривале),
Ci sará – "Это будет" (Альбано и Ромина Пауэр),
Se m'innamoro – "Если я полюблю" (Рикки э Повери),
Adesso tu – "Теперь ты" (Эро Рамаццотти),
Si può dare di più – "Можно дать больше" (Моранди, Тоцци и Руджери),
Perdere l'amore – "Любовь прошла" (Массимо Раньери),
Ti lascerо́ – "Я оставлю тебя" (Анна Окса и Фаусто Леали),
Uomini soli – "Одинокие мужчины" (Пух),
Se stiamo insieme – "Если мы вместе" (Риккардо Коччанте),
Portami a ballare – "Пригласи меня на танец" (Лука Барбаросса),
Mistero – "Тайна" (Энрико Руджери),
Passerà – "Все пройдет" (Алеандро Бальди),
Come saprei – "Как мне узнать" (Джорджа),
Vorrei incontrarti tra cent'anni – "До встречи через сотню лет" (Рон),
Fiumi di parole – "Реки слов" (Джалис),
Senza te o con te – "С тобой и без тебя" (Аннализа Минетти).

Звонок продолжал тренькать: трень-трень.
Я сохранил файл как Mela-S и крикнул:
– Кто там?
Нет ответа.

Я встал со стула. Взял банку чего-то. Открыл. Попурри определенно роднило меня с этим миром. Счастливый, я осушил банку.

– Кто это так атасно тренькает в мою дверь? – вывел я на мотивчик "Господи, помилуй". Когда его задувает наш приходской хор, я чувствую, что идет полный отрыв. Как в детстве: гуляй – не хочу. Бывало поотвин-

чиваешь разные там пупочки у машин на стоянке — и ничего, никто тебя за это не съест.

А ответа нет как нет. Подхожу я к двери. Снова спрашиваю, кто там. Ноги дрожат мелкой дрожью. Будто размякшие галеты. Вот это был отстой. Нехилый отстой!

Я потянулся к дверной ручке. Пританцовывая, открыл дверь.
На пороге стояла призрак с голубой пи.

Призрак с голубой пи была совершенно голой. Только дутый куртец на плечах. Тело такое, что лучше тел не бывает. Как у Валерии Мацца. Хоть сейчас ребеночков стругай. Правда, тело было призрачным, потому что было телом Призрака. То есть я что хочу сказать, что на такое тело и в могиле встанет. А еще, что было оно прямо из утренней серебристой весенней росы, как в передачах про животных, ну, там про кошек, когда они на рассвете типа резвятся. Пи была полностью голубой. Она излучала свет, как телевизор, когда все программы уже кончились.

— Чао.
— Чао.
— Как жизнь?
— Туда-сюда.
— А у меня вот стоп-машина. Вишь, дуба дала.
— Может и дала, только таких давалок поди еще надыбай! Чего не заходишь, "Санбиттера" опрокинем.
— "Санбиттера"?
— Oui, c'est plus facile![1]
— Let's fuck and piss!
— But what is your name?
— My name is The ghost with the blue pussy.[2]

Сели мы на диван, пропустили по "Санбиттеру" и стали смотреть по видаку запись сан-ремовской тусни двухлетней давности.

Призрак с голубой пи сказала, что клевее всех Ферилли. По мне, так клевее всех Мацца. Где-то с полчаса еще мы спорили, кто клевее.

Пока то-се, призрак уговорила подряд шесть Санбиттеров. Пришлось открыть последние две упаковки. А призраку все мало. Тогда я ее и спрашиваю:

— Слушай, призрак, чего это ты присосалась к бутылочкам "Санбиттера"?

Призрак потрогала свою левую грудь и молвила:

— Есть вещи на небе и на земле, коих простым смертным не понять. Ты избран в свидетели и увидишь то, чего не видела ни одна, слышишь, ни одна живая душа. Дабы свершилось предписанное, мне надо радикально надраться.

1. — А чо, запросто! (*франц.*)
2. — Давай что ли трахнемся да отольем!
   — Тебя как звать-то?
   — Меня — Призрак с голубой пипкой (*англ.*).

Досмотрели мы, значит, ящик и пошли в койку.

Чтобы завестись, стали смотреть обложки журналов "Панорама" и "Эспрессо". А там и нажарились.

Призрак оказалась той еще кобылкой: так скакала, что о-го-го. Я и не думал, что бывают такие призраки. Я-то думал, призраков вообще не бывает!

В конце волшебного трахтенберга призрак взглянула на меня, как Карина Хафф на Кристиана Де Сику в той сцене из "Рождественских каникул" и проговорила:

— Сейчас ты увидишь такое, что запомнишь навсегда. Ты — Свидетель. Пробил час.

Призрак с голубой пи села на корточки и начала писать — обильно, не переставая. Вот почему она выдула столько "Санбиттера". Она сливала безостановочно, пока не наводнила всю комнату. Мебель и другие предметы таяли у меня на глазах, ведь пипи призрака с голубой пи было до опупения волшебным. Поток пипи вытекал из окна, разъедая все подряд. Только я не разъедался. Тужась, призрак с голубой пи объяснила мне, что я Свидетель. В один прекрасный день возникнет мир вроде нашего. Я вернусь в него и расскажу про эти стремные дела. Так что я должен сидеть и смотреть, как поток пипи оставит от нашего мира мокрое место. Первым делом он смыл машины этих вонючих эмигрантов. Поток затекал в самые дальние углы и, как едкая кислота, слизывал всех и вся. Мир превращался в одно новое, бурлящее, разноцветное пипи призрака с голубой пи. В потоке пипи барахтались до того, как сгинуть с концами, политики. Там были и Дини, и Д'Алема, и Берлускони, и Фини, и Бертинотти, и Згарби. А еще там были и Феррара, и Магалли, и Клаудиа Шиффер, и Антонио Бандерас, и Рисполи, и Формигони, и Дзенга, и Дзекки, и Бьяджи, и Гецци. Они отчаянно бултыхались, прежде чем пустить пузыри, прежде чем кануть навек в это г

***

Расцветали яблони и груши

Лежу я вчера вечером-ночью и дрючу свою дочку Адзурру (14 лет, Телец; такая вся ягодка, а сисечки, ну прямо как у Анны Фальки). Вогнал ей, значит, и скоро уже зайдусь, как вдруг эта сикелявка оборачивается и спрашивает:

— Папа, а правда, что в этом году коммунисты на выборах победят? Голосовать у нас в школе будут — в воскресенье. Ты получил избирательный бюллетень?

Сзади моя женушка Мария особо не суетилась и знай наяривала мне сотовым Nokia.

Паоло, как обычно, был снизу.

Смерил я Адзурру взглядом и потуже затянул ей чулки на резиночке за 164 000 лир, черные такие, ажурные, симпатявые, один к одному как

у Паолы Барале в этом, как его, ну, короче, вчера вечером показывали, обсадная вещь. Так затянул — аж до кровянки. От всех этих разговоров про политику я того, шалею...

Тут моя женушка Мария (40 лет, домохозяйка, Скорпион) малек тормознулась. Видно, и ей это дело в напряг пошло. Зыркнула она на меня, потом на Адзурру и вынула из моего ануса Nokia-2010. Помотала так головой и заголосила навзрыд, как та наркушница из фильма, что пускали на прошлой неделе по Телемонтекарло.

Паоло (мой сын, 19 лет, студент, Рак) недовольно запыхтел. Такое с ним было впервой.

Я сел на кровати. Закурил. Бациллу в красной пачке (MS Italia Red). Ослабил новенькие цепурки моей Адзурры (92 000 лир, черная кожа, без наручников).

— Давай потолкуем, Адзурра, — ответил я спокойно.

— Папа, — продолжала она, тыкая в окровавленный пульт, чтобы выключить видик, — по пятому каналу сказали, что скорей всего победят коммунисты, а синьор Гебелино с третьего этажа говорит, что тогда командовать будут негры, ну, те, что сидят у входа в метро, а еще дамские парикмахеры-педики. Вот. А Эмилио Феди сказал в какой-то передаче, что надо обязательно проверить, пришел ли тебе избирательный бюллетень...

Ох, забодала же меня эта отвязная политика по ТВ! Внизу Паоло пыхтел и фыркал все сильнее.

Я как следует наметился в личико Адзурры.

И вторцевал ей по деснам кастетом Power Rangers (46 000 лир; с крюками для контактного боя).

— Умолкни, дешевка, какого тебе фейхуа до этих выборов-перевыборов! Все коммуняки давно уже повывелись. Там теперь эти — оливочники-отливочники. Прикинь!

Ляпнуть-то я ляпнул, а сам застремался! Я тоже слыхал в новостях на четвертом канале, что вот, мол, победят коммунары, тогда снова-здорово: гестапо, там, ну и вся фишка по полной программе.

Я-то знаю, вас ис дас коммунизм. У меня полная энциклопедия на кассете имеется. Все эти красноперые (вроде Проди, там, Кьямбретти, Бертинотти, Дини, Оккетто, клоуна этого Паоло Росси, Чампи, Д'Алемы, Берлингуэра, Санторо и еще, может, той дикторки с третьего канала) — это тебе не оливкины дети, эти кого хошь затопчут на выборах. Вот тогда сливай воду, туши свет.

Первым делом накроется телик. Кина станут крутить тока о России. Вместо нормальной одежи понацепим серые презервативы. Равняйсь — смирно!

Народ враз с винтов съедет. Гавкать друг на дружку будут как отморозки. Дас ист коммунизм — зашибись!

— Микеле (48 лет, Дева, это я), — сказала жена, натягивая мне гондон с базиликом за 12 000. — Ну, чё ты начинаешь на ровном месте!

— И то верно, женушка (мы перевенчались в 1980-м, в Виареджо), — отозвался я и сделал телик погромче. — Много эти сосунки понимают. У

них все мозги из теленовостей. А в новостях одни заявы кидают про всяких там понтярщиков. Короче, пора уже прикрыть эту лавочку...

Тут Паоло снял с себя наушники от плейера и

Вчера вечером на ночь глядя мой сынуля Паоло меня прикокнул. Мы, как водится, были вместе. Ну, семья и семья, таких у нас в Италии тринадцать на дюжину. Средний класс, правые взгляды. Смотрели себе киношку из порнокиоска на проспекте Буэнос-Айрес. Не будь я начеку, когда кассету брал, ей-ей застукал бы меня Джакометти из полиции нравов: он как раз мимо проезжал. Сзади ко мне пристроилась женушка, спереди Адзурра, а снизу — Паоло (под Адзуррой). Тут-то Адзурра возьми да и вякни насчет политики.

В моем доме о политике ни-ни.

Я, между прочим, в католической семье вырос. Так что с этим делом у нас строго. И голосовал я всегда за своих, за правых. А то.

И вдруг — на́ тебе: выходит, родной мой сынулька коммунякой заделался, типа, я не знаю, Леонкавалло. Ну, его и понесло.

Да так, что вскочил мой наследничек Паоло на кровати и заревел благим матом:

— Харэ уже горбатого лепить! Расцветайте яблони и груши!

И ну распевать что есть мочи. Потом выхватил невесть откуда серп и оттяпал мне башку напрочь. А сам горлопанит — оливочников поносит, стоит в чем мать родила и поносит. А в другой руке — молоток тут как тут. Ну, он этим молотком мамане рожу-то всю и разворотил. И вопит себе, заливается:

— Вот это по-нашему, вот теперь все пучком, вот вам и призрак бродит по Европ

“Польское созвездие”

От редакции

Польшу не относят к числу политических и экономических сверхдержав, однако ее литература сегодня — украшение мировой словесности. На литературном небосклоне нашей планеты польское созвездие одно из ярчайших. Это и побудило нас посвятить целый Литгид новейшей литературе Польши. Мы представляем читателю разножанровые произведения десяти очень разных авторов, чьи имена — символ, марка литературы этой страны. Наши герои — звезды; многие зажглись уже давно, но долго еще — или никогда — не погаснут.

Большинство авторов Литгида принадлежит к старшему поколению; все они — гордость и слава польской литературы и по праву заслужили мировое признание (среди них два лауреата Нобелевской премии, да и остальные буквально “осыпаны” наградами, в том числе международными). Более молодые — Ольга Токарчук и Ежи Пильх — едва ли не самые читаемые в последние годы прозаики; они много издаются на родине и за рубежом; международный успех и награды, по общему мнению, у них не за горами.

Почти все, кто собрался сегодня вместе на наших страницах, в разное время появлялись — и продолжают появляться — на российском книжном рынке (а также на театральных подмостках и киноэкранах); не один раз их произведения печатала и “Иностранная литература”. Хронологические рамки Литгида — вторая половина 90-х (а стихотворения Вислявы Шимборской взяты и вовсе из январского номера журнала “Одра” за 2000 год). Исключением можно считать лишь киноновеллу знаменитого режиссера Кшиштофа Кеслёвского (фильм он снял еще в 1981 году, но опубликована новелла в посмертном сборнике два года назад) да автобиографию Славомира Мрожека, написанную в канун шестидесятилетия (в июне этого года ему исполнилось семьдесят).

Нам особенно приятно, что публикация совпадает по времени со знаменательным событием: в октябре Польша — почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки, и совсем не случайно такая честь оказана польской литературе на рубеже тысячелетий.

Вислава Шимборская

Нобелевская премия
1996 года

Два стихотворения

Перевод Асара Эппеля

Бал

Покуда толком ничего не ясно,
поскольку нет сигналов долетевших,

пока Земля опять же не такая,
как ближние и дальние планеты,

покуда нет ни слуху и ни духу
о прочих травах, предпочтенных ветром,
о деревах других в коронах кроны,
другом зверье, как наше, несомненном,

покуда нету эха, кроме местных,
которое умело б говорить слогами,

покуда ничего не сообщалось
о худших или лучших амадеях,
платонах или эдисонах,

пока злодейства наши
соперничают только меж собой,

© Wisława Szymborska, 2000
© А. Эппель. Перевод, 2000

а приданное нам добросердечье
ни на какое больше не похоже
и хоть сомнительно, зато одно такое,

а го́ловы с невнятицей иллюзий –
единственные, полные иллюзий,

а вопли, что возносим к небосводу
всего лишь вопли из-под сводов нёба, –

мы мним себя гостями на танцульке
особыми и отличенными,
танцуем под музыку местного оркестрика,
и́ пусть нам представляется,
что этот бал один и есть такой;

кому как – не знаю,
а мне достаточно
для счастья и для злосчастья;

тихое захолустье,
где звезды говорят спокойной ночи,
немногозначительно
перемигиваясь
по нашему поводу.

Кое-что о душе

Душа бывает по временам.
Ни у кого ее нет непрестанно
и навсегда.

День за днем,
год за годом
могут пройти без нее.

Порой разве что в восторгах
и детских страхах
заводится на подольше.
Порой разве что в удивленье,
что вот и настала старость.

Изредка ассистирует
нам при надсадных занятиях,
таких, как двиганье мебели,
таскание чемоданов
и ходьба в неразношенной обуви.

При заполненье анкет
и рубке бифштексов
она берет выходной.

На тысячу разговоров
участвует разве в одном,
да и то не всегда,
предпочитая молчание.

Когда наше тело болит и болит,
незаметно уходит с дежурства.

Привередливая,
не любит видеть нас в толпе,
ей претит наша страсть к превосходству
и деловой крутеж.

Печаль и радость
для нее не разные чувства.
Только их сочетанье
держит ее при нас.

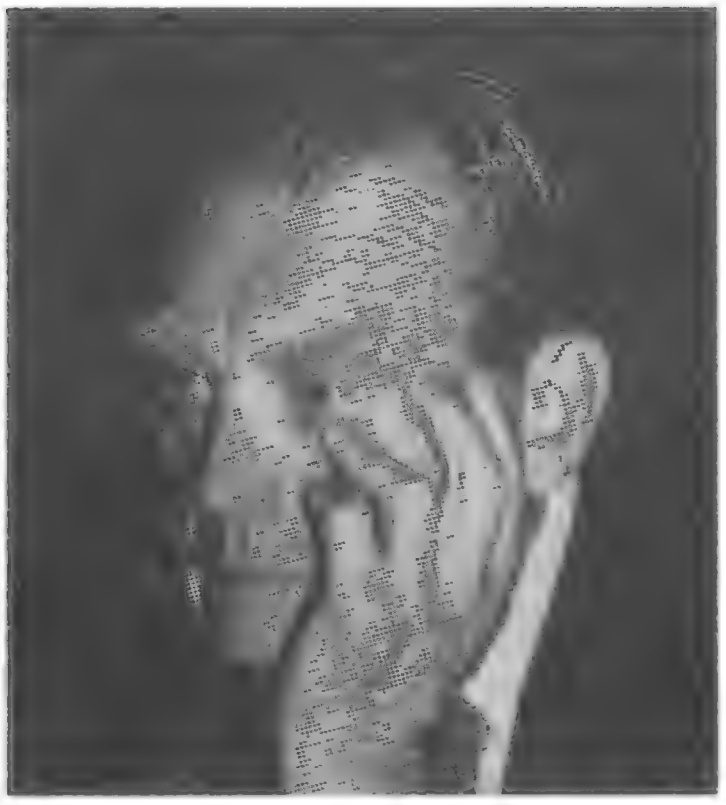
На нее можно рассчитывать,
когда мы ни в чем не уверены,
но до всего любопытны.

Из материальных предметов
по нраву часы ей с маятником
и зеркала, что усердствуют,
даже когда в них не смотришь.

Не скажет, откуда является
и куда опять подевается,
но явно ждет этих вопросов.

Похоже,
что, как и она нам,
мы ей тоже
зачем-то нужны.

Чеслав Милош



Нобелевская премия
1980 года

Придорожная собачонка

Фрагменты книги

Перевод В. Кулагиной-Ярцевой

Придорожная собачонка

Я отправился познавать свой край в телеге, запряженной двумя лошадьми, с большим запасом фуража и жестяным ведерком, грохочущим сзади. Ведро нужно, чтобы поить коней. Передо мной открывались то пригорки и рощи, то деревни посреди густого леса, где дым клубится на крышах, словно в доме пожар, — это потому, что избы курные. Или я ехал среди полей и озер. До чего интересно ехать и ехать, отпустив поводья, и ждать, чтобы из-за деревьев внизу показалась деревенька или парк, а в нем — белая усадьба. И тут же нас облаивала собачонка, рьяно исполняющая свой долг. Было начало столетия; теперь оно подходит к концу. Я думал не только о людях, которые там жили, но и о поколениях собачонок, участвующих в повседневной жизненной суете, и однажды непонятно откуда, вероятно в предутреннем сне, возникло это смешное и ласковое название: "Придорожная собачонка".

© Copyright by Czesław Miłosz, 1998
© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, 2000
Полностью книга выйдет в издательстве "Независимая газета".

Старухи

Старые безобразные мужчины и женщины, в особенности старухи с палками, еле волочащие ноги. Тела, некогда прекрасные, гибкие, предали их, но в каждой теплится огонек сознания, оттого и удивление: "Неужели это я? Не может быть!"

Воспевать богов и героев

Разница между поэзией, в которой "я" повествует о себе, и поэзией, "воспевающей богов и героев", невелика, поскольку обе описывают существа мифологические. Но все же...

Благодарность

Я благодарен за то, что когда-то давным-давно в маленьком деревянном костеле, окруженном дубами, меня приняли в лоно римско-католической церкви. А также за то, что прожил долгую жизнь и мог, веруя или не веруя, размышлять о своей двухтысячелетней истории.

Истории в равной мере и адской, и райской. Мы построили города больше Иерусалима, Рима и Александрии. Наши корабли избороздили океаны. Наши теологи насочиняли силлогизмов. И мы тотчас принялись изменять планету, именуемую Землей. Если бы мы хоть не ведали, что творим, когда шли с крестом и мечом, — но нет, мы не были невинны.

Ее ересь

— Я заметила, — сказала она, — что не думаю о спасении и что два полюса, Небо и Ад, у меня другие: либо после смерти ничего нет, и это уже хорошо, либо меня ждет кара за то зло, что есть во мне.

Скудость воображения

Воображение людей так же ограниченно, как их знания. Что это — эрозия нашего религиозного воображения в результате научно-технической революции? Пожалуй, но давайте задумаемся над тем, как обстояло дело в Средневековье. До того как Данте изобразил Ад, появлялись различные описания адских бездн, нравоучительные, но с необычайно скудным образным рядом. Так что было бы ошибкой искать среди них что-либо равное фантазиям Иеронима Босха.

Аргумент

Самым серьезным аргументом против религии должен быть эгоцентризм. Если кто-то служит исключительно самому себе, то весь-

ма вероятно, что он сотворил себе Бога для того, чтобы Бог ему служил.

Крайний эгоцентризм можно наблюдать у детей и людей с некоторыми разновидностями психических заболеваний. Но что же делать человеку, который обнаруживает его у себя? Отринуть религию, чтобы быть честным по отношению к себе и другим, или пасть на колени, умоляя об исцелении?

Псалмы

Псалмы Давида, которые я перевел на польский, одним помогают в молитве, других отталкивают тем, что почти все они корыстны. Всевышний должен спасти от преследователей, принести победу, истребить врагов, дать царю силу и славу. Чтобы простить псалмам их детскую хитрость, нужно немалое желание смириться перед величием Бога.

А что же сам царь Давид — если предположить, что именно он написал псалмы, хотя это более чем сомнительно? Я знавал одну ревностную читательницу Ветхого Завета; по ее словам, Библию она читала потому, что самые страшные наши грехи предстают там как обычные житейские дела. Вот, скажем, Давид — забрал чужую жену, приказал убить ее мужа, однако все это было ему прощено.

Порок

Поэзия, да и любое другое искусство, — это порок, который напоминает человеческому сообществу, что мы нездоровы, как ни трудно в этом признаваться.

Ребячливость

Поэт словно дитя среди взрослых. Он знает, что ребячлив, и должен постоянно делать вид, будто участвует в делах взрослых.

Изъян: ощущать в себе ребенка, то есть наивно-эмоциональное существо, которому беспрерывно угрожают насмешки и хохот взрослых.

Одежда

Пелерины, галстуки à la Lavalliere, широкополые черные шляпы — униформа богемы. Либо волосы, затянутые в "конский хвост", бороды, джинсы, черные свитера. Люди, которые с помощью одежды желают доказать, что они поэты, музыканты, художники. Нелюбовь к такой униформе у одиночек, достаточно уверенных в ценности создаваемого ими, чтобы обходиться без внешней символики. А куда честнее было бы не скрывать своей профессии под обличьем нормальных людей: смотри-

те, мы выставляем на всеобщее обозрение свою позорную мету извращенцев и безумцев.

Предостережение

Зверюшки из детских книжек-раскрасок, говорящие кролики, собачки, белочки, а еще божьи коровки, пчелки, кузнечики. У них столько же общего с настоящими животными, сколько у нашего представления о мире — с истинным миром. Подумаем об этом и содрогнемся.

Племена

Хотелось бы мне написать историю этих племен, да удерживает мысль, что не было у них никакой истории и что если бы я это сделал, то был бы повинен в создании вымышленной картины для их потомков, жадно хватающихся за любую мифологию.

Одновременно

Я ехал на поезде через мост и одновременно шел пешком по мосту. Логика сна. *А* в то же время не есть *А*. Дискуссии: Бог один, но в трех лицах. Хлеб и вино в то же время — тело и кровь Христовы.

Сомнение

Мне казалось, я — раненный в живот человек, который бежит, придерживая внутренности, чтобы не вывалились. Правда, я знал, что не один такой. Но разве человек, вынужденный непрерывно думать о своей ране, может говорить разумно?

Мечта

Очень хочется открыться перед людьми и рассказать о своей жизни все. Невозможно. Получится разве что психологическая повесть, да и то страшно далекая от истины. Главным в ней была бы покаянная исповедь, но ведь известно, что совесть усердно обвиняет своего владельца в малых прегрешениях, чтобы скрыть большие.

Монологи

Кеннет Рексрот, прислушиваясь к нашим беседам, как-то заметил: "Вы не умеете разговаривать. Это какой-то обмен монологами". Он распознал черту среднеевропейцев (или только поляков?), которую мы

сознаем и сами, которая нас тревожит, — ведь тут скрещиваются личностная и родовая линии. Это я? Или культура, в которой я вырос?

Подозрение

Возможно, поляки не умеют писать романы потому, что им нет дела до людей. Каждого интересуют только он сам и Польша. А если не Польша — как в литературе романтизма, — то остается только он сам.

Презрение к себе

Почему поляки столь склонны везде видеть измену и щедро награждают словом "изменник" каждого, кто — тем или иным образом — выдет из ряда? Да потому, что знают за собой такие качества, как презрение к народу и желание вырваться из этого, по их мнению низшего, сообщества.

Мои суждения

Мои суждения о Польше межвоенного двадцатилетия подозрительны мне самому. Никто из моих одноклассников в мужской гимназии имени короля Сигизмунда Августа не мог ни чувствовать, ни думать так, как я. Приписать это своеобразие своей незаурядной впечатлительности и уму значило бы и сейчас, под конец жизни, по-прежнему грешить наглостью.

Вымыть

Под конец жизни поэт думает: "В какие только мании и дурацкие идеи своей эпохи я не погружался! Сунуть бы меня в ванну и тереть, не жалея сил, пока не смоется вся грязь. Но ведь только благодаря этой грязи я стал поэтом двадцатого века, и наверняка так хотел Господь Бог, дабы была от меня польза".

Образец нравственности

Мой образец нравственности: те, что всю жизнь служили разуму и сохранили эту страсть и в восемьдесят лет, и до конца.

Если бы

Если бы можно было верить, что со смертью все кончится! Тогда бы мы не боялись, что нам будут показывать все наши дела и будет греметь

ужасающий хохот. Или что мы будем с ясным сознанием взирать на любимое свое захолустье, не в силах предотвратить людские ошибки и преступления. И вспомнится тревога Мицкевича, говорившего, что дух мало что может без тела.

Нравы

Бесконечны возможности рода человеческого в области нравов и моды. Только представить себе, каковы были эти нравы сто, тысячу, пять тысяч лет назад. Но все они неизменно связаны с наготой, явной или скрытой, с мужчиной и женщиной и половым актом. Испражнения, менструация, совокупление, беременность: есть культуры, в которых это маскировалось, и культуры, в которых можно было говорить об этом свободно.

Благородство

Когда я пребывал, как говорится, в согласии с Богом и миром, то чувствовал себя не в своей тарелке, словно кем-то прикидывался. А вновь оказавшись в шкуре грешника и маловера, обретал свою подлинность. Так повторялось в моей жизни не раз. Мне, безусловно, нравился собственный благородный образ, но едва я нацеплял такую личину, совесть подсказывала, что это обман — и других, и себя.

Понятие sacrum необходимо, но оно невозможно без осознания своей греховности. Я нечист, я грешник, я недостойная личность — и даже не из-за своих поступков, а по причине сидящего во мне зла. И только сознавая, что не стоит метить слишком высоко, я чувствую себя самим собой.

85 лет

Ах этот мой юбилей, эти цветы, аплодисменты, тосты. Если бы стало известно, о чем я думаю! Этакий бесстрастный подсчет прибылей и убытков. Убытки — фальшивые слова, вышедшие из-под моего пера, слова, которых не вернешь, ибо они напечатаны и останутся навсегда, причем они-то и окажутся самыми привлекательными и будут чаще всего повторяться. И я спрашивал себя: неужели за то, чтобы написать действительно хорошие вещи, нужно расплачиваться не только изломанной жизнью, как я, но и шелухой, сором по пути к нескольким поистине чистым знакам?

Все не так

Восемьдесят пятый день рождения, слава и почести в избытке. И все время словно другим, внутренним, слухом слушаешь чтение приговора.

Да, так и должно было случиться, я предчувствовал это в ранней молодости. Но твой дар незаслужен, и ты это сознаешь. Кругом болтают, болтают, а я иду к трону Судии со своей безобразной душой.

В *том городе*

Это труп города. От развалин не осталось ни следа, повсюду клумбы и цветники, в заново разбитых скверах стоят скамейки. Только людей нет. Иногда у стены остановятся несколько туристов и по слогам читают слова на мемориальной доске.

Н*ебольшой трактат о цвете*

Листья дуба похожи на кожу книжного переплета. Как еще сказать о них в октябре, когда они буреют, коричневеют и словно становятся кожаными, будто только и ждут, чтобы их оправили в золото. Почему так убог наш язык, когда мы говорим о красках? Чем мы располагаем, чтобы обозначить великолепие цвета? Вот желтые листья, вот красные, и это все? Но ведь есть еще и желто-красные, и огненно-красные, и винно-красные (бордовые — что ж, значит, нет ничего лучше сравнения с вином bordeaux?). А березы? Их листья, маленькие бледно-желтые монеты, свисают с веточек — какого цвета? сиреневого? фиолетового? (То есть от lilas — сирени или фиолетового от violette — фиалки, опять эти бездарные сравнения.) Чем отличается желтизна березовых листьев от желтизны осины, сдобренной медью, которая проступает все отчетливее, пока не возьмет верх? Медный цвет? Значит, снова материальное сравнение — медь. Пожалуй, только зеленый и желтый глубоко укоренены в языке, а вот небесно-голубой взят у неба, червонно-красный происходит от червца, краски для окрашивания тканей, которую некогда делали из червей. Неужели язык так неповоротлив из-за того, что глаз не различает мелких черточек природы, если от них нет практической пользы? В октябре на полях желтеют тыквы, но на самом деле они оранжевого цвета. Почему от апельсина, orange? Сколько жителей северной страны видели апельсины? Все это пришло мне в голову потому, что описать осенние пейзажи в долине реки Коннектикут, описать точно и обыденно, не прибегая к метафорам и сравнениям, оказалось необыкновенно трудно.

Т*ам*

Да, я поехал туда и очутился в краю своих тринадцати лет. Там я был прежним, с прежним чувством пространства. Речка; дорога к дому ответвляется от главной и бежит в лес — налево, потом прямо и направо. Все изменилось — кроме направления. Словно минуло не несколько десятков, а несколько сотен лет, и меня даже не слишком занимало, прежние ли это сосны или уже новое их поколение.

Прощайте, острова!

Пронизанное поэзией слово "остров" манит, притягивает, обещает. Жюль-верновский "Таинственный остров" — прекрасное название, но таинствен любой остров. Даже для мореходов-греков, островных жителей; ведь приключения Одиссея — путешествие от острова к острову, и каждый остров замечателен по-своему. На одном живут циклопы, на другом обитает бог ветров Эол; остров Эя принадлежит богине Кирке, способной превращать людей в свиней, а на Тринакрии пасутся быки бога Гелиоса. В конце концов Одиссей попадает на Огигию, остров нимфы Калипсо, которая так его полюбила, что удерживала у себя семь лет и подарила ему бессмертие, но странник не перестал тосковать по родной Итаке и бессмертной нимфе предпочел свою смертную жену Пенелопу. Судьба его меняется, когда он наконец доплывает до острова царя феаков — по преданию, это мог быть Коркира, или Корфу. И я, пришелец с севера, очутившись на Корфу, отправился к тому заливчику, куда, выбиваясь из сил, вплавь, уже без своего плота, добрался Одиссей. Реки, в которой стирала белье царевна Навсикая, я не нашел.

В культурном сознании европейцев живет миф островов Блаженства, возможно, притягательных именно тем, что они отделены водой от истории. На картине Ватто "Паломничество на Киферу", то есть на остров Афродиты, аристократы и их дамы собираются в путешествие — в самую пору, как раз перед революцией. Но идеальное общество иногда тоже размещают на острове, как это сделал Томас Мор, назвавший такой остров Утопией, и Красицкий, у которого остров зовется Ниппу. Только на острове мог творить чудеса Просперо в шекспировской "Буре", и только там знаки чародейской книги заставляли повиноваться служивших ему Ариэля и Калибана. Начиная с "Робинзона Крузо", необитаемый остров, мечта каждого, кому слишком досадило человечество, находил горячий отклик в сердцах читателей. На островах прятали свои сокровища пираты. "Островом сокровищ" Стивенсона считают маленький островок неподалеку от чуть большего, Тортолы, в архипелаге британских Виргинских островов. На протяжении нескольких последних столетий зреет миф о беззаботной жизни первобытных островных обитателей: пальмы, солнце, синее море — что еще нужно? Созданию этого мифа способствовал американский писатель Герман Мелвилл, который в молодости, плавая матросом на китобойном судне, сбежал с корабля и провел несколько счастливых месяцев среди кротких людоедов на одном из Маркизских островов. В романах, а в двадцатом веке в фильмах (помню "Белые тени"!) раз за разом оживают слащавые мечты, уже припечатанные пародией: "На острове Таи-

ти/жил негр Тити-Мити,/ жена его Фаити/и попугай Кеке". (Откуда это взялось? Вряд ли кто помнит.)

Но и до островов наконец добрался мощный туристический бизнес и завалил нас заманчивыми рекламными проспектами. На вторую половину века приходится, пожалуй, наибольшее число поездок на острова, где возведены огромные фешенебельные отели. Поток туристов уже достиг или вот-вот достигнет предела, если судить по тому, во что превращаются — и довольно быстро — эти кусочки суши. Мне случилось оказаться в гуще уличного движения в час пик на одном из островов французской Антилии. Совсем как в Париже.

Талисманы

Перенос того, что знаешь по себе, на чужую жизнь. Сначала об этом не думаешь и свое кажется только своим. Я привязывался к каким-то мелочам — цветному карандашу, черной палочке туши, иллюстрации в книге, почтовой марке с острова Борнео. И казался себе не таким, как другие, — хотя бы потому, что они равнодушно проходили мимо восхищавших меня предметов. Теперь я знаю: тогдашние мои ощущения называются любовью, ведь Эрос далеко не всегда влечет нас к одним лишь человеческим существам. Еще я понял, что Эрос имеет власть над всеми нами. Те, кого меньше всего можно в этом подозревать: старушки, нищие, прикованные к постели больные, — свято хранят свои маленькие сокровища, свои талисманы, для них это все поэзия, то есть поэты не только те, кто пишет. В 1917 году в Дерпте у одного русского мальчика были стеклышки, с помощью которых он показывал мне, шестилетнему, фокусы. Когда он вместе со своим сокровищем возникает в моей памяти, я раздумываю о дальнейшей его, неведомой мне судьбе.

Школьная экскурсия

Не теряю надежды, что этот город, подобно Гданьску, обладает способностью обрастать легендами. Поэтому мое краткое сообщение может пригодиться.

Это было давно, в двадцатых годах. В июне, когда все кругом: и крутые улочки, и окрестные пригорки, поросшие лесом, — манило нас яркой зеленью только что распустившихся листьев, наша школа обычно устраивала дальние экскурсии. На этот раз путь лежал не к развалинам средневекового замка, стоявшего на островке посреди озера, и не к дворцу с парком, которым сто лет назад владел известный университетский профессор, а к месту, история которого свидетельствует о любви наших учителей к романтическим персонажам. Впрочем, признаем откровенно, что педагогам должно внушать молодому поколению некие представления, поддерживающие местную мифологию. Поскольку главным мифологическим героем нашего города считался Великий Поэт[1], не было недостатка в его подробнейших жизнеописаниях, изрядная доля кото-

1. Речь идет об Адаме Мицкевиче, а город — Вильно. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

рых отводилась любви — несчастной любви, ибо возлюбленная поэта вышла замуж за графа. Место, куда мы направлялись, было увековечено именно этой любовью, что сейчас меня несколько удивляет, но тогда не удивляло.

Мы влезли в поезд с жесткими лавками светлого дерева, и было нас достаточно много, чтобы заполнить шумным весельем несколько вагонов. Потом часа два беззаботности, известной всем школьникам, которым выпадала удача отправиться в путешествие, вместо того чтобы сидеть на уроках. Поезд почти все время шел среди леса, и когда мы высыпали из вагонов, школа развернулась длинной змеей и несколько километров маршировала по сосновому бору. Целью нашего паломничества было белое здание усадьбы, где когда-то жила возлюбленная поэта со своим мужем, богатым помещиком, и роща в нескольких сотнях метров от дома (сколько помнится, березы и сосны) с камнем посредине в память прощального свидания поэта со своей любовью.

Мы безучастно слушали, как учителя пересказывали нам романтическую легенду. Кажется, и они не спрашивали себя, подобало ли молодой женщине, выскользнув из дома в полночь, встречаться в лесу с возлюбленным, в то время как граф, надо полагать, спал сладким сном. По правде сказать, как складывались отношения этой троицы, до сих пор неизвестно. Возможно, романтический флер помогал принять версию о платонической, несвершившейся любви. С этой версией, очевидно, были согласны и те, кто заложил памятный камень. Но разве ксендз-законоучитель, следивший за нравственным здоровьем школьников, не мог воспротивиться нашему паломничеству в страну воспоминаний, отдававших грехом прелюбодеяния? То, что он не протестовал, могло свидетельствовать о всесилии культа Великой Личности, преумножившей нашу гордость и славу, но могло говорить и о подчиненности законам литературы, сферы в основе своей нечистой.

Одна жизнь

Вопреки советам отца и дяди, приверженцев Века Разума, она зачитывалась сентиментальными романами, выше всего почитала стихи Оссиана и обожала Байрона. С жаром танцевала на балах, но больше любила скакать верхом по лесам или поверять бумаге восторженные сочинения на французском — языке, который знала лучше, чем свой родной, польский. Разумеется, она не могла не влюбиться. Ее избранник, русский красавец офицер, сын губернатора Литвы, был связан с освободительным движением, но в списке подозреваемых в заговоре декабристов его не оказалось.

Семья настаивала, чтобы она вышла замуж, но безуспешно. Она добивалась только любви Владимира, и он в конце концов не устоял перед ее пылкими признаниями. Потом она дрожала за него, когда началась русско-турецкая война и его полк послали на Балканы. Известие о гибели Владимира при штурме крепости Шумла восприняла как конец собственной жизни. Не снимала траура, и единственной ее целью было отыскать могилу возлюбленного и возвести там мавзолей — она получила наследство и могла это сделать. Его родина стала теперь ее родиной,

польско-русские распри ее не касались. Она перебралась в Одессу — поближе к Балканам, к месту, где погиб возлюбленный.

Ей было около сорока, когда она приехала в Стамбул по делам, связанным с постройкой мавзолея. И познакомилась там с эмиссаром польской эмиграции во Франции, писателем Михалом Чайковским, который занимался на Балканах тайной разведывательной и организационной антироссийской деятельностью. Случилось так, что они стали жить вместе, хотя в Париже у Михала была жена-француженка и трое детей и во время поездки в отпуск он еще добавил к ним четвертого. Новому своему мужчине она была предана безгранично. Отныне его родина была ее родиной, его дело — ее делом, а деньги, предназначавшиеся на мавзолей, она тратила на разведывательную деятельность Михала.

Ее друг перешел в ислам, принял новое имя: Мехмед Садик. Он хотел заручиться поддержкой султана и объяснял свой поступок интересами высокой политики. Тогда она официально стала его женой, хотя это и значило, что она разделит участь турецких женщин, будет ходить в чадре и откажется от своих любимых верховых прогулок.

Садик-паша, солдат и политик, командовавший казачьими отрядами во время Крымской войны, нашел в панне Снядецкой — как ее упорно продолжали называть поляки — наперсницу, помощницу и советчицу на ниве эмигрантской и международной политики. Ее литературные способности теперь пригодились для составления различных рапортов, докладных записок и политических писем, так что дни ее, а затем месяцы и годы проходили в трудах.

В юности она считалась дикой, своенравной, упрямой, безразличной к условностям и приличиям — и это мнение с годами упрочилось. Архив ее не уцелел, и мы никогда не узнаем, как она завоевала Владимира, что делала в Одессе и как начался ее роман с Садиком. Добавим к этому, что у нее были резкие черты, черные глаза, бледное лицо, тонкая фигура. Сплетен о ней хватило бы на несколько томов. Вряд ли кто помнил бы сегодня о ее существовании, если бы когда-то в Вильно она не танцевала и не каталась верхом с Юлеком[1], сыном Саломеи Бекю от первого брака. Правда, ее не интересовал мечтательный юноша, и, когда он признался ей в любви, она резко одернула его. Годы спустя он в своих стихах называл ее единственной любовью своей жизни. Узнав об этом, она пожала плечами.

Чур-чура

Система официального языка в той стране была малопонятна для иностранцев, они только поражались, что люди способны жить и даже сохранять хорошее настроение под таким сильным прессом обязательной фразеологии. Припомнив детские игры в нашем дворе, я догадался, в чем дело. Мы бегали друг за другом, дрались, но всегда помнили, что стоит произнести волшебное слово, и ты окажешься вне игры, станешь "неприкосновенным". Слово это у нас звучало как "чур-чура".

1. Юлиуш Словацкий, польский поэт.

Речи, доклады, газетные статьи и научные работы в той стране, написанные мертвым языком, состоящие из непременных избитых фраз, были невыносимы своей монотонностью. Тем резче выделялись на их фоне выступления немногих — живые, яркие, не уступавшие по мысли тому, что читаешь и слышишь в свободных странах. В чем крылся секрет? Эти немногие знали слово, которое, будучи произнесено, выводило их из игры, и любые запреты переставали действовать. Разумеется, слово хранилось в тайне, и только посвященные знали, что оно прозвучало. В повседневном обиходе, однако, оно было известно многим, что позволяло жить и мыслить нормально.

Наследование приобретенных черт

Писать о внутренних тревогах духовных особ не принято, ибо служители культа — люди особые. Этот ксендз, будем называть его Станиславом, тоже считал, что не имеет права рассказывать о себе, поскольку от него ждут иного. Но ясно сознавал, что существует одновременно в двух ипостасях — одной бессловесной и другой, пользующейся исключительно словами и понятиями, приемлемыми с точки зрения католической догматики.

То, что он молча таил в себе, можно кратко определить как страх. Он даже иногда думал, что ему, родившемуся после войны, родители передали ужас своего времени, закодированный в крови; это могло означать, что мы наследуем не только генную структуру, но и все потрясения, пережитые предками в радости и горе. Страна с чудовищно жестокой историей ввергала людей в так называемые пограничные ситуации, и память о страшных событиях годами тлела под коркой повседневности. Страх перед миром казался Станиславу истинной причиной, побудившей его стать ксендзом. Он много размышлял о поколении своих родителей и пришел к выводу, что все эти люди сломлены — если не больны душевно — и, хуже того, не желают себе в этом признаться. Если человек — раб, унижаемый, получающий пощечины, ненавидящий, но бессильный, на нем остается вечная отметина. Охота за рабами в Африке и рабство повторились на Европейском континенте, только по отношению к белым, и одним белым рабам приходилось смотреть, как убивают других, их соседей, тоже белых, и заступиться было нельзя под угрозой смерти. Ксендз Станислав не знал и не пытался узнать, что чувствовали его родители, когда вынуждены были отводить глаза от картин убийства евреев и признаваться в душе, что страх за собственную жизнь сильнее, чем сочувствие или даже простая порядочность. Приходя по воскресеньям в костел, они как-то ухитрялись примирять одно с другим. Может быть, молили Господа Бога о прощении?

Ксендз Станислав считал себя сыном людей, униженных и растоптанных полицейским государством, созданным во имя национальной, а затем классовой утопии. Учась в семинарии, он заинтересовался историей первых веков Церкви, когда христианство, несомненно, было религией рабов. Людей, которых при малейшей попытке бунта языческий Рим распинал на крестах, поставленных вдоль дорог, чтобы зрелище их агонии свидетельствовало о непобедимой мощи империи.

Страх ксендза Станислава рисовал ему картины страданий, которых не может отвратить никакой человеческий протест, никакая мольба. Небеса не отвечали на жалобы избиваемых розгами крепостных крестьян, на стоны распинаемых рабов и на молитвы узников лагерей смерти двадцатого века. Если Бог сотворил мир, подчиняющийся слепому закону силы, значит, Он был нравственным чудовищем и верить в Него нельзя.

Станислав уверовал в Бога только потому, что Он отдал на муки своего единственного Сына, иначе говоря, самого себя, и своими человеческими устами прошептал в смертных мученьях слова крайнего сомнения. Полное отсутствие логики в христианстве было единственно возможной логикой веры. Однако Станислав никому не говорил о своей странной для ксендза навязчивой идее: он не мог принять легкомысленное, по его мнению, использование креста. Это орудие пыток верующие проносили по своим костелам как символ Спасения, не видя на нем тела, извивающегося в муках, — словно христианин должен быть лишен воображения. Превращение распятия в абстрактный символ помогало вывести за пределы реальности тело на виселице или в газовой камере — только затем, чтобы не признавать, что религия распятого Бога есть религия космической боли.

Заноза

Год за годом он думал о том, чего избежал, и одной этой мысли было достаточно, чтобы ощутить счастье. Ведь когда он нелегально пересекал границу, его, например, могла постичь участь просидевшего шестнадцать лет в лагерях соученика по гимназии имени короля Сигизмунда Августа. Воистину днем и ночью, непрестанно мысли о страданиях виленских друзей в лагерях и шахтах Воркуты были лейтмотивом его долгой жизни, хотя те, кто составлял его биографию, не подозревали об этом. Мысленно он отождествлял себя с узниками полярной ночи и потому испытывал восторженную благодарность за каждый восход солнца и каждый кусок хлеба. Однако этим же объяснялось щемящее чувство обиды на так называемый Запад, сидевшее в нем занозой. Он не мог простить живущих в том мире людей, причем не только интеллектуалов, предпочитавших искать абсолютную тиранию где угодно, только подальше от них, но и всех обитателей западных стран, общей чертой которых было нежелание осознать правду.

Он спрашивал себя, что можно поделать с этой занозой. Честнее всего было бы взять на себя труд возвестить истину. Увы, Империя Лжи была могущественна, и простодушные собиратели информации ничего не могли ей противопоставить, поскольку добытые ими чудовищные факты изображались как измышления реакционеров. Требовалась более продуманная тактика. Кое-кто, мучимый подобной обидой, соглашался служить Империи и таким способом отплатить подлым политикам Запада. Он же после долгих колебаний избрал иной путь. Научился годами делать вид, будто он, как подобает поклоннику разума, — человек культурный, прогрессивный, широкий, терпимый, и так стал одним из них, западных светил, но со своим, особым знанием, которое тщательно скрывал. Его книги получили признание, их подробно анализи-

ровали, но ни один критик не догадывался, что за философским содержанием стоит картина мук и несчастий, взывающих к небу о мести. Только память об узниках Воркуты позволяла безошибочно различать добро и зло, и всякий, кто хранил ее, был для государства-чудовища страшнее любых полков и армий.

П*роцесс*

В городишке С. проходил судебный процесс; в зале присутствовали семьи обвиняемых и дамы из местной интеллигенции. Дамы явились в суд из-за молодого красавца прокурора, весьма известного в обществе. На скамье подсудимых — пятеро юношей, учеников еврейской гимназии, гордых, как того требовали каноны революционной литературы, своей преданностью делу. Прокурор распускал перья и токовал перед дамами, умело доказывая, что найденные у подростков книги и журналы неопровержимо свидетельствуют о принадлежности подсудимых к коммунистической ячейке.

Исаак, младший из обвиняемых, был единственным сыном модистки — если так можно назвать ту, что исполняла капризы местных щеголих, переделывая старые шляпки по модам, доходившим из далеких столиц. Заработков ей едва хватало, чтобы содержать себя и сына; на адвоката денег не было. И все же Исаак не мог с чистой совестью считать свое происхождение пролетарским и в соответствующей графе с сожалением писал "мелкобуржуазное".

Какой поэзии под силу возвысить столь прозаическую тему? Убогий смрадный городишко, прокурор, который впоследствии не мог без жгучего стыда вспоминать свое кривляние, дамы: жена доктора, жена адвоката и жена полковника со своими флиртами — единственной яркой деталью их ничтожного бытия. И Исаак, которому не хватило жизни, чтобы успеть разочароваться в великой идее.

Легенда

Собор был готический, но возведен в девятнадцатом веке и затем придавлен стоящими рядом небоскребами. Детский хор пропел "Kyrie" Гайдна и слова восемнадцатого псалма о небесах, проповедующих славу Божию. Затем поэты один за другим декламировали стихи своего умершего друга[1], подкрепленные двадцать пятым псалмом, просьбой к Господу принять к себе того, кто не сидел с людьми лживыми и не ходил с коварными. Читались молитвы, исполнялась музыка Гайдна, Пёрселла и Моцарта.

Немногие из тысячи людей, присутствовавших в соборе, знали, почему именно так построена траурная церемония. Этот поэт был родом из страны, в которой сильнее, чем преступная тирания, его угнетали царящие кругом уродство и вульгарность. Окружающие воспринимали это как нечто совершенно естественное, он же, уязвимый и требова-

1. Речь идет об Иосифе Бродском.

тельный, скрежетал зубами от гнева, который не мог сдержать. Напрасно он пытался защитить слух от месива слов, усиленных громкоговорителями, от лившейся из них липкой музыки романтических композиторов и близких ей по духу цыганских романсов. Эти звуки ассоциировались у него с всеобщей дряхлостью, с грязью и вонью вареной капусты. Наконец он нашел себе убежище на острове книг и пластинок, который выдумал вместе с несколькими друзьями. Они читали английских поэтов-метафизиков и слушали с трудом добытые пластинки с музыкой барокко.

Государство не любило поэта, поскольку явное его отвращение к окружающему трактовало на свой лад, политически. И он был изгнан. Свое изгнание он принял спокойно, потому что вдруг впервые в жизни очутившись среди людей, пейзажей, запахов, не вызывающих рвотных рефлексов, почувствовал себя хорошо. За границей он обрел большую славу и публично выступал в защиту поэзии и любого искусства, утверждая, что во всей истории человеческих взаимоотношений эстетика всегда предшествует этике. Он не собирался возвращаться на родину, и то, что он упокоится на родине Вивальди, справедливо.

Кристофер Робин

В апреле 1996 года мировая пресса сообщила о смерти в семидесятипятилетнем возрасте Кристофера Робина Милна, увековеченного в книге его отца А.А. Милна "Винни-Пух и все-все-все".

Мне, Винни-Пуху, приходится размышлять о вещах, слишком трудных для медведя, у которого в голове опилки. Я никогда не задумывался, что́ там, за нашим садом, где мы все живем — я, Пятачок, Кролик и Иа-Иа вместе с нашим другом Кристофером Робином. То есть мы продолжаем здесь жить, и ничего не изменилось, и я как раз чуть-чуть подкрепился, стоило Кристоферу Робину на минутку отлучиться.

Сова, а она очень-очень умная, говорит, что сразу за нашим садом начинается Время, это такой глубокий колодец: если упадешь в него, то летишь и летишь вниз, и неизвестно, что случится потом. Я немного волновался, как бы Кристофер Робин туда не упал, и, когда он вернулся, я спросил его о колодце. "Пух, — сказал Кристофер Робин, — я был в нем и падал, и, пока падал, менялся, ноги вытянулись, и сам я стал большой, надел длинные брюки, у меня выросла борода, потом я поседел, ссутулился, стал ходить с палочкой и наконец умер. Наверное, это мне снилось, потому что все было какое-то ненастоящее. Для меня всегда настоящим был только ты, Пух, и наши с тобой игры. А теперь я уж никуда не уйду, даже если бы меня стали звать обедать".

Красный зонтик

Глядя на пейзаж, можно подумать, что мы меняемся, а пейзаж остается неизменным. Но это вовсе не так: его хватает на одно поколение, от силы на два. У земного времени свои закономерности: деревья растут, и там, где раньше было солнце, сейчас тень; половодье оставило

мочаги с совсем другой растительностью; буря свалила старые деревья-великаны, а на их месте вымахал молодняк, но уже не грабы, а сосны. Однако самые большие перемены вносит человеческое время. В памяти может сохраниться сосновый бор, а от него уже нет и следа, даже пни выкорчеваны. Взгляд ищет пятна густой зелени, яблоневые, грушевые и сливовые сады, сквозь которые просвечивают крыши домов, коровников и овинов. Но ничего не сохранилось, сады вырублены, дома сожжены, и до самого горизонта расстилаются поля, которые вспахивают трактором.

Допустим, в этом краю прогуливается дух юной помещицы под красным зонтиком. На справедливое возражение — духи не ходят с зонтами — можно ответить: но что-то же происходит с множеством предметов, вышедших из употребления, ведь только некоторые из них попадают в антикварные лавки. И вот идет Лиля, а может быть, Ися, которая когда-то хаживала по артистическим кабаре и читала Пшибышевского. Она чувствует: что-то здесь неладно — ведь в места своей юности возвращаешься с надеждой, что если они и изменились, то ненамного, и их можно узнать. Она ищет парк, а попадает в заросли, в овраг, стоит на склоне, поросшем лопухами и осотом, и говорит себе, что где-то здесь должна быть беседка, в которой они с Витольдом целовались. Странно, думает она, все исчезло — и парк, и беседка, но, может быть, самое странное, что я никогда не встречаю Витольда у нас на том свете, и это, наверное, значит, что на самом деле я его не любила.

Пейзаж: или-или

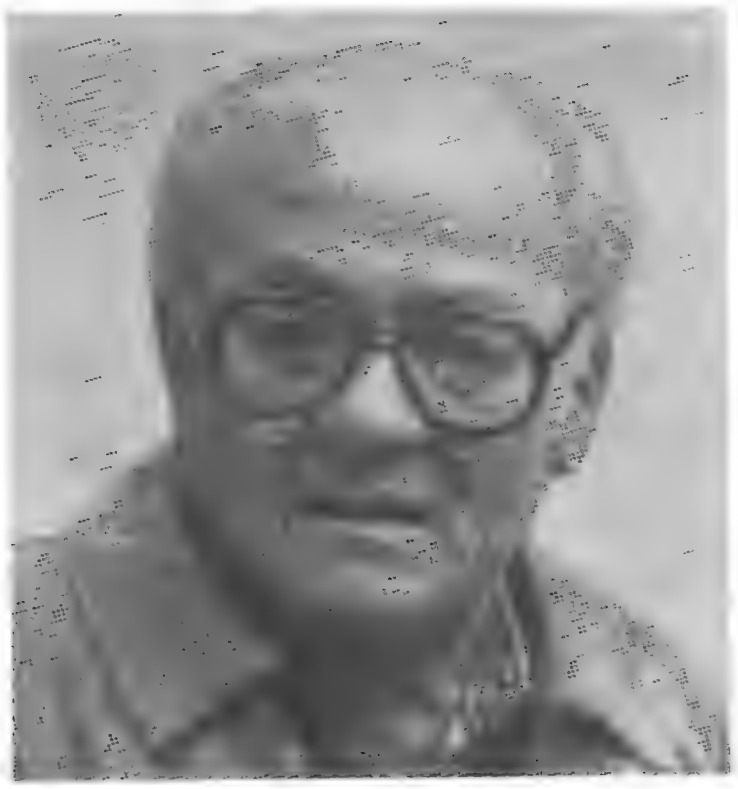
Даже самый страстный любитель природы не сказал бы ничего хорошего об этом пейзаже. Небо почти всегда синее, но земля бурая, сожженная солнцем, с редкими пучками такой же бурой пустынной растительности; голые горы, тут и там треснувшие, словно вспоротые огромным ножом, с сухой глиной в ранах-разрезах; скальные осыпи и пыль, клубы пыли при каждом порыве ветра. Таким был этот пейзаж когда-то. Сейчас он только иногда напоминает о себе, словно хребет застывшего в вулканической лаве динозавра. Человек создал здесь собственное, особое царство, будто прибыл с другой планеты. Многополосные бетонные шоссе сливаются, пересекаются, проходят одно над другим. Между их спиралями — аэродромы, площадки паркингов, причудливые белые строения, яркая зелень садов и парков. Все это города, разделенные небольшими промежутками неосвоенной земли, где виднеются бесплодные пригорки и овраги. Городские дома обращены к свету стеклянными стенами; стены раздвигаются, открывая путь во внутренний дворик и к плавательному бассейну. В кварталах магазинов и роскошных отелей множество галерей современного искусства — можно подумать, легкость этого искусства и яркость его красок особенно созвучны пристрастиям живущих здесь людей.

Не станем обманываться мыслью, будто первозданный пейзаж может оставаться нетронутым. Однако человек мог бы обойтись с ним иначе — не подчинить его себе, а остаться от него зависимым, подобно кочевникам или любым народам с невысокими требованиями к повсед-

невным удобствам. Не было бы акведуков, и воду черпали бы в вырытых там и сям колодцах. Не было бы паутины воздушных путей, одни ухабистые дороги. Кое-где пытались бы, без большого успеха, выжать что-нибудь из почвы, занимаясь попеременно то земледелием, то скотоводством. Недостроенные дома, ржавое железо поломанных машин, разваливающиеся заборы были бы здесь привычным зрелищем. Дома стояли бы прямо на запыленной земле, не окруженные газонами или цветниками, не осененные тенью деревьев. Без преувеличения можно сказать, что на месте прежней пустыни в этих местах царила бы мерзость запустения.

Вот вам предостережение, любители и защитники природы, к числу которых я отношу и себя. Какой путь мы выберем, помня о том, что первозданное состояние пейзажа уже невозможно?

Густав Херлинг-Грудзинский



Белая ночь любви

Театральная повесть

Перевод Алексея Михеева

...Илъ былъ онъ создан для того,
Чтобы побытъ хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..

Иван Тургенев. "Цветок"
(эпиграф к "Белым ночам"
Ф. Достоевского)

Брат и сестра

Живые лица! Надо изображать жизнь не такою, какая она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.

Антон Чехов. "Чайка"

ЛУКАШ Клебан вышел из дома в Бэйсуотере. К счастью, его врач, хороший окулист, жил и принимал пациентов на первом этаже — нужно было, опираясь на палку, лишь спуститься по нескольким ведущим к калитке ступенькам. Неужели причиной резкого ухудшения стал окончательный диагноз? Сейчас он видел хуже, чем в полдень, когда пришел на прием, а ведь теперь было только два. Серый воздух октября 1998-

© Copyright by Gustaw Herling-Grudziński and SW "Czytelnik", Warszawa, 1999
© А. Михеев. Перевод, 2000

го казался еще более серым, чем обычно. Из-за того, что дождь собирается? Или по той причине, что диагноз доктора Мэйхью перечеркнул даже слабую надежду?

Несмотря на сгустившуюся серость, он знал, как, держась за стены, добраться до кафе "Golden Bay". Это название всегда его смешило. "Золотой залив" в этой части Бэйсуотера – жутко мрачной, где на фасадах домов еще оставались следы сажи от старых фабрик!

Слабое зрение отнюдь не помогало ориентироваться в мутноватом окружении, и Лукаш доверился интуиции. В этом году он заглядывал в кафе часто – поскольку частыми стали визиты к окулисту; его привычный маршрут пролегал между столиков в угол к окну, где располагалась небольшая эстрада для вечернего оркестра. Сейчас, однако, он сбился с этого маршрута и, когда кто-то деликатно взял его под руку, почувствовал облегчение.

Незнакомец посадил его за столик в углу, склонился к нему и тихо сказал: "Sir Luke[1], я рад познакомиться с вами лично (sir – потому что имя его в прошлом году оказалось в королевском списке представленных к титулу). Когда-то благодаря вам в репертуаре лондонских театров появилось множество российских пьес. Грибоедов, Островский, Гоголь, Чехов, особенно в "The Sea-Gull" Theatre[2] . Вашу сценическую версию "Белых ночей" Достоевского я считаю шедевром. Помню этот спектакль и по сей день".

Лукаш вежливо его поблагодарил, но за столиком все же захотел остаться один. Он ждал Урсулу. В последнее время он опасался пользоваться общественным транспортом и избегал даже такси. В случае необходимости Урсула забирала его на своей машине в центр, а потом отвозила в их домик в Уимблдоне[3] . Хотя его пенсия после многолетней режиссерской работы в "The Sea-Gull" Theatre на Стрэнде[4] и была достаточно высока, но Урсула все равно каждый день ездила в театр, где занимала неофициальную должность помощницы по административной части со скромным окладом, который, впрочем, не был в домашнем бюджете лишним.

Он был старше Урсулы на восемь лет, то есть ей еще не исполнилось восьмидесяти. Выглядела она, однако, гораздо моложе – может быть, благодаря необычной и редко у кого встречающейся красоте старости. Худая, стройная, с почти прозрачным лицом, морщины на котором были незаметны, энергичная, как-то даже по-юношески подвижная и, самое главное, смотрящая на мир большими зелеными глазами, внимательными и полными любопытства; в ее облике не было ничего общего с грузным и отяжелевшим мужчиной, внешне крепким, но явно уставшим от жизни. Никому бы и в голову не пришло, что у них общий отец.

– Ну как? – спросила она, взяв в свои маленькие узкие ладони его широкую лапу.

– Вот так, – ответил он, с огромной нежностью утопив свой затуманенный взор в ее зеленых глазах. – Окончательный диагноз плохой.

1. Сэр Люк (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Театр "Чайка" (*англ.*).
3. Предместье Лондона.
4. Одна из главных улиц в центральной части Лондона, где расположены театры, фешенебельные магазины и гостиницы.

Мэйхью утверждает, что лечением этот процесс не остановишь. Он зашел слишком далеко — я уже на грани слепоты. По-настоящему помочь может только операция. А они не всегда удаются, велик риск совсем потерять зрение. Однако в Падуе вроде бы живет итальянский чудо-окулист. Это он оперировал почти слепую жену Сахарова. Вот его адрес и адрес его клиники.

Он пододвинул к ней карточку и надолго умолк. Потом снова заговорил, медленно и грустно:

— Вообще-то операции — трудной и опасной — ждут в среднем два месяца. После операции — три дня в больнице с завязанными глазами. А пока что? Сейчас октябрь, на операцию нельзя рассчитывать раньше чем перед Рождеством. А пока что? — повторил он. — Днем лежать дома в темных очках, гулять — нечасто и недолго, слушать, как ты читаешь вслух, пока тебе это не надоест, молча вспоминать прошлое, всю жизнь. Писать категорически воспрещается. Ну и принимать лекарства, которые в предоперационный период помогают, а могут и не помочь. Как видишь, со мной не оберешься хлопот; не знаю, справишься ли ты, хоть ты меня и моложе. Нужна будет домработница — по крайней мере на дневное время, до твоего возвращения из театра. Пока это возможно, ты не должна бросать "Чайку". Подвожу итог: меня все-таки настигла та немощная старость, которая тебя чудесным образом щадит.

Кафе в это время дня, как обычно, пустовало, лишь случайные посетители торопливо доедали дежурный обед.

Урсула не без труда помогла ему встать. Снова подбежал незнакомец со словами: "Sir Luke, sir Luke!" Машину она поставила рядом со сквером. Час пик еще не настал, так что уличное движение было вполне сносным. До Уимблдона они доехали к четырем, как раз перед ранними осенними сумерками.

Он сел, стараясь справиться с одышкой, в глубокое кресло рядом с выходящей в сад стеклянной стеной — спиной к Урсуле, лицом к саду. Несмотря на позднюю осень, листва на кустах и деревьях сохраняла интенсивный зеленый тон. Он удивлялся, что по-прежнему видит ясную и незамутненную зелень и что листья перед его глазами не утратили свой чистый цвет. Так же получилось и с огнем, когда Урсула разожгла камин и уговорила его пересесть. Он смотрел на огонь, медленно выползающий из-под кучки щепок и угольных брикетов, и воспринимал цвет во всей его чистоте. В разнородном окружении, в переплетении нечетких теней взгляд его терялся, однако цвета однородные — зеленый сад и красный огонь — остались ему подвластны. Эта мысль его порадовала — ведь в ближайшие два месяца ни на что больше ему смотреть не придется. Зелень сада, впрочем, вскоре исчезнет, останется только красное пятно в камине. А вот в спальне на втором этаже, в заваленном книгами кабинете рядом со спальней он мог бы... Мог бы что? Поднимать голову к изредка проясняющемуся осеннему лондонскому небу? А прописанные врачом темные очки? Он вздохнул и тихо пробормотал — скорее себе под нос, чем Урсуле: "Страшное дело — старость". Но она, похоже, услышала, потому что ответила смеясь: "Из обоих песок сыплется". Странно было слышать этот звучный смех женщины, которой через два года, в декабре 2000-го, исполнится семьдесят восемь. Ему-то уже было почти

восемьдесят пять, и с каждым днем он все сильнее ощущал тяжесть растущего, как горб, возраста.

Спал он этой ночью плохо, ворочался с боку на бок, и впервые в его сердце закрался типичный старческий страх перед смертью в одиночестве, хотя он и был старше Урсулы; она же, бдительная и заботливая, лежа рядом с ним, лишь прикидывалась спящей.

Уснул он под утро, утешившийся и спокойный, после того как несколько раз тихо всплакнул (Урсула это услышала) с ощущением облегчения. Проснувшись, решил, что работу над автобиографией организует совершенно не так, как планировал ранее: писать ничего не нужно, достаточно, если он расскажет ее — главу за главой — молча, причем в третьем лице. Самому себе можно рассказать все то, чего он никогда не доверил бы перу и бумаге. И зеленым глазам той читательницы, что спит сейчас рядом. "Стану безмолвным повествователем", — улыбнулся он своему решению.

Перед тем как уехать в театр, Урсула купила ему две пары темных очков и приготовила два лежачих места: в спальне — удобную постель, а в кабинете-библиотеке поставила давно не использовавшийся шезлонг, в том месте у стола, где до сей поры стояло вращающееся кресло. Его выбор пал на шезлонг, а постель он оставил для послеобеденного сна. Он был как-то странно воодушевлен и почти счастлив, хотя опасение, что темные очки закроют от него голубое небо и зелень сада, подтвердилось.

Begin from the beginning[1] . Он родился в Костроме в 1914-м в семье поляка (хотя и сильно обрусевшего, но все же остававшегося поляком), учителя математики в одной из костромских гимназий. Женой Матеуша (Матвея) Клебана была русская, Софья (Соня) Криспина, актриса местного театра. Познакомились они в Варшаве в 1910-м, когда приехавший туда костромской театр дал единственное представление ("Чайку" Чехова). Поселиться в Польше Соня отказалась, и Матеуш поехал за ней в Кострому, где вскоре получил место учителя. В Польше у него остались отец и младший брат, у которых было небольшое имение в Рыбицах, под Седльце. В брак они не вступали: она не хотела принимать католицизм, а он — православие. Лукаш родился накануне первой мировой и был окрещен в костромской церкви.

Революцию родители приветствовали, потому что сочувствовали эсерам. Сочувствие это заставило их в 1920-м бежать из России. Лукашу было тогда шесть лет, и он лучше говорил по-русски, чем по-польски. После того как отец внезапно умер, а младший брат эмигрировал в Америку, к Матеушу по наследству перешло имение под Седльце. Хозяином он оказался неожиданно хорошим, а учительство бросил. Семья поселилась в скромной, но ухоженной усадьбе в Рыбицах.

Нет, нет (подумал он), это не тот тон: стиль такого "безмолвного повествователя" похож на стиль статьи в биографическом словаре. Можно рассказывать о себе и своей жизни в третьем лице, можно таким образом даже исповедоваться, однако в беззвучном течении автобиографического рассказа должен биться личный пульс.

1. Начнем с самого начала (*англ.*).

Лишь теперь, в этот полдень, ясный и солнечный, что ощущалось даже сквозь темные очки, он осознал всю тоску пустого дома. За многие годы он успел отвыкнуть от этого чувства: дома, в праздники и выходные, он постоянно находился — в прямом и переносном смысле — бок о бок с Урсулой, а в его режиссерском кабинете в "The Sea-Gull" Theatre на Стрэнде практически не закрывались двери. Внезапно отрезанный от мира, лежа на застланной кровати в ожидании возвращения Урсулы из театра, он физически ощутил, что означают слова поэта "в четырех стенах моей боли". Выходя из дома, Урсула выключала внизу телефон и телевизор (вообще включавшийся редко), чтобы ему не нужно было спускаться вниз по лестнице. Наверху, правда, был проигрыватель с кучей компакт-дисков, однако слушать музыку не хотелось, и он лежал неподвижно, погружаясь время от времени в старческую дрему, а в моменты пробуждения возвращаясь к размышлениям о задуманном им безмолвном автобиографическом повествовании. Каким образом — не произнося вслух или не перенося на бумагу слова — вдохнуть в него жизнь? Как пробудить старые образы, забытые эпизоды, стертые временем черты знакомых лиц, некогда столь дорогих, а ныне поблекших и с каждым днем уходящих из памяти все дальше? Если я не смогу (продолжал думать он) преодолеть препятствия, постоянно возникающие перед слепнущим человеком на склоне лет, то воскресить полумертвое прошлое не удастся. А я действительно стремлюсь его воскресить. Да, стремлюсь, ведь в конце концов это единственный способ украсть у собственной жизни остатки "утраченного времени". И единственный способ не только вызвать у себя долгий, несущий облегчение плач (который может быть и без слез), но и вернуть ощущение радости (пусть и смешанной с печалью) на пороге неизбежного "вечного покоя".

Скрип ключа в замке входной двери его обрадовал. Урсула вернулась раньше обычного и привела с собой небольшого роста индуску, которую звали Мэри. Ее, уже давно ищущую работу, сразу удалось нанять через агентство на Стрэнде. Она окончила в Манчестере, куда приехала из Калькутты, курсы медсестер, прекрасно говорила по-английски, часто и приветливо смеялась. Ни молодая, ни старая, она выглядела в хорошо сидящем сари лет на пятьдесят. В агентство она приехала сразу с деревянным сундучком. Урсула отвела ей комнату рядом с кухней, за стеной гостиной. "Вот увидишь, это то, что надо, — сказала она Лукашу по-польски. — Мы поговорили в агентстве десять минут, и она меня очаровала".

Он перебрался из спальни в кабинет и сел в шезлонг. Все сомнения и страхи будто ветром сдуло.

Влюбленную в отца красавицу мать он помнил хорошо. Она "боготворила" (ее любимое слово) мужа и сына. Однако ему удалось заметить — несмотря на незрелость детских чувств, — что "боготворила" она их только в России, а после переезда в Польшу быстро к ним охладела. Актрисой она была фанатичной, что вовсе не подразумевало какого-то особого таланта; просто она "даже представить себе не могла" жизнь без театра. Позже, когда он, повзрослев, начал читать Чехова, мать напомнила ему Ирину Аркадину-Треплеву из "Чайки", безразличную ко всему, что не связано с театром. Семья? Семья была "превыше всего", но толь-

ко если не мешала сцене. В Рыбицах же семилетний Лукаш сразу увидел другую мать. Вроде бы она по-прежнему ласкала и целовала его, при каждой возможности бурно изливая свои материнские чувства, однако в них было больше актерства, чем искренности. Точно так же, не умея скрыть экзальтированные нотки фальши, она относилась и к мужу. Матеуш часто возил ее в Варшаву, где белые эмигранты из России старались воссоздать некое подобие творческой среды, предполагавшей среди прочего и театральные постановки. Однако слабые актерские способности Сони в сочетании с истерически "надрывной" игрой вызывали лишь жалость.

В конце концов случился тот страшный ночной разговор отца с матерью, в котором было все: любовные признания, вспышки гнева, угрозы, оскорбления, клятвы на коленях, новые слезы любви, и в итоге, на рассвете, — окончательный разрыв. Мальчик тихо сидел у дверей в своей комнате, слышал каждое слово и дрожал. Утром отец, хотя и пребывал в сильном волнении, все же уехал на пруды — чтобы не бросать ежедневные хозяйственные дела. Мать, зацеловав ребенка аж до боли и залив потоками слез, украдкой пробралась на конюшню и упросила кучера отвезти ее на бричке в Седльце. Оттуда, как выяснилось позже, она отправилась поездом до Варшавы. Похоже, что она заранее договорилась о визите в советское посольство. Дальше след обрывался. Отец, впавший в отчаяние и принявшийся искать утешение на дне бутылки, пытался писать родственникам в Кострому. В ответ он получил лишь несколько слов от невестки: "Sonia byla zdies' dwa dnia. Zatiem ujechala, nie znaju kuda"[1] . Уже тогда подобное известие звучало зловеще. Софья Криспина-Клебанова попросту исчезла. Лукашу она перед побегом из Рыбиц оставила двухтомник пьес Чехова с размокшим от слез, плохо читавшимся посвящением. Кое-как разобрать можно было лишь последние слова: "Luka, synok moj dorogoj, ty obiazatielno dolzen lubit' Antona Pawlowicza". Характерно, что писателя она назвала здесь по имени и отчеству. Ведь Чехова она никогда в жизни не видела.

Своеобразный траур сохранялся в рыбицкой усадьбе в течение всего бесконечно долгого, тяжелого года. Матеуш Клебан отправлялся в поле, на мельницу или на пруды, даже не заглядывая в комнату сына. Его опекала Куписова, бездетная вдова из близлежащей деревеньки. Еще затемно она приезжала на велосипеде, а домой возвращалась, закончив готовить ужин. Утром он занимался со своим репетитором, недоучившимся студентом по фамилии Щука; с ним же потом и обедал. После обеда катался на подаренном отцом пони, сидел с удочкой на берегу пруда или купался в речке. Несколькими словами они обменивались с отцом лишь тогда, когда тот возвращался домой на ужин, после которого, молча встав из-за стола (порой с помутневшими глазами), сразу шел в спальню.

Как-то ранней весной неуклюжая и довольно норовистая лошадка, перескакивая через канаву в роще, сбросила маленького наездника. Падая, Лукаш ударился о дерево ногой и в двух местах сломал ее. Нога

1. Русские слова и фразы здесь и далее даются в авторской транслитерации.

могла бы срастись хорошо, не будь врач больницы в Седльце коновалом. В конечном счете она срослась, но плохо. Теперь Лукаш был обречен хромать до конца жизни. Пока он лежал дома в постели, за ним ухаживала молодая фельдшерица. Сначала она приезжала в Рыбицы на велосипеде, потом стала оставаться на ночь. Регине, дочери еврейского торговца из Седльце, удалось скрасить одиночество Матеуша Клебана. Она была довольно красивая и стройная — но с лицом мертвенно-бледным из-за того, что в детстве много болела. Рыбицкий дом с появлением Регины наполнился жизнью. Лукашу было почти девять лет, когда она подарила его отцу дочку, а ему — сестричку. А вот как от фельдшера пользы от нее было немного. Прежним резвым и подвижным мальчиком Лукаш уже не стал и за пределы усадьбы, тяжело ковыляя, выходил редко.

Девочку назвали Урсулой и окрестили (вынудив мать согласиться) в рыбицком костеле. Вскоре Регина — как прежде Соня — исчезла, практически растаяла в воздухе. Ее отец поклялся, что не знает, куда она делась. Хотя затем с неохотой добавил: "Наверное, отправилась с друзьями в Палестину. И правильно, в Польше ей не было места". А ребенок? "Это не *наш* ребенок". Для "не нашего" ребенка пришлось искать кормилицу. Дочку Регина оставила так легко, будто инстинкт материнства у нее вообще отсутствовал. А у Клебана в свою очередь не было замечено особого отцовского инстинкта. Зато Лукаш с самого начала смотрел на маленькую Урсулу с восхищением и любовью.

Он встал с шезлонга и, спотыкаясь о валяющиеся на полу книжки, кое-как добрался до застекленных дверей балкона. Припав лицом к стеклу, смог разглядеть в осенней измороси зеленые пятна кустов, цвет которых был слегка приглушен темными очками. На мгновение ему показалось, что он смотрит на гладкую поверхность озера.

Собственно говоря (осознал он внезапно), уже, на пороге двенадцатого года жизни, я родился заново, почувствовав, как засыхает и отслаивается оболочка детства. В доме он фактически стал хозяином — отец появлялся редко, почти всегда навеселе, часто даже не возвращался на ночь; тогда говорили, что он "загулял" в Седльце. Ведение хозяйства было поручено управляющему, пану Витольду, человеку порядочному, семья которого вот уже два поколения была связана с семьей Клебанов. Деньги на жизнь и на неотложные нужды отец давал прямо в руки одиннадцатилетнему сыну. Лукаш уговорил Куписову поселиться у них в доме и отвел ей и няньке соседнюю со своей комнату, предназначенную для сестры. Он прогнал репетитора-недоучку и нанял вышедшего на пенсию преподавателя из седлецкой гимназии, который за соответствующую плату согласился через два дня на третий проводить в усадьбе целые сутки. Основательная учеба приносила свои плоды — каждый год Лукаш экстерном сдавал экзамены комиссии в Седльце; такая форма обучения была ему разрешена с учетом все еще неважного состояния его ноги.

А как обстояло дело с радостями молодой жизни — ведь телесный изъян лишил его обычных мальчишеских развлечений и забав? Он нашел две замены. Вначале — общество подрастающей Урсулки, подрастающей так быстро, что у нее уже резались первые зубки и она начала забавно выговаривать простые слова. А затем, на тринадцатом году жиз-

ни, — неторопливое погружение в царство двух томов, подаренных ему матерью на прощанье.

Чехов в руках тринадцатилетнего мальчишки! Несмотря ни на что (уверял он себя), я не вижу в этом ничего странного. Не будем обращать внимания (думал он вдогонку) на известное высказывание Толстого по поводу смерти Чехова: "Скромный и тихий, как девушка". Чехов был чем-то б)ольшим. Поэт самых простых чувств, со взглядом чрезвычайно взрослым и мудрым, но одновременно сглаженным доброй детской улыбкой. Старый и слепнущий sir Luke на пике своей мировой славы имел право сказать, что именно он с самой ранней юности, еще не познав всех чеховских глубин, и до самого конца своего жизненного пути, на котором он стал величайшим (по мнению критиков) постановщиком пьес Чехова, — что именно он, набираясь при помощи двух русских томов любви к автору "Чайки", одновременно жил любовью к своей единокровной сестре. Что это было, как это все сочеталось и переплеталось, он был не в силах объяснить. Он мог лишь сказать: было. Каждый день, каждый миг долгой, теперь медленно угасающей жизни. Даже... Его вдруг передернуло, он пошатнулся; еще чуть-чуть, и он навалился бы всем телом на окно, выдавил стекло и упал, наверняка бы покалечившись, на газон. "Не сейчас", —прошептал он; придет и этому время в его безмолвной — не проговариваемой, не пишущейся, а исключительно мысленной — исповеди. С трудом удерживаясь на ногах, он вернулся на свой шезлонг.

По поручению хозяйки в половине первого к Лукашу пришла Мэри. Она осторожно провела его вниз по лестнице до кухни, усадила за большой обеденный стол и поставила перед ним чайник, кувшин с молоком и тарелочку с бутербродами. Обедали в Уимблдоне вечером, когда Урсула возвращалась со Стрэнда.

Мэри действительно оказалась симпатичной особой, часто и заразительно смеявшейся, однако о чем с ней говорить, он не знал. В театре она никогда в жизни не была, хотя здание "The Sea-Gull" Theatre видела. Вдова. "Будь я родом из штата (тут она, смеясь, произнесла его название), меня бы уже не было в живых, потому что мой муж умер два года назад". Он посмотрел на нее вопросительно. Она пояснила, все еще смеясь: "Это единственный штат, в котором обязательна так называемая "конкремация": если умирает муж, то вместе с ним должны сжечь и вдову".

Ему вдруг стало нехорошо, и он попросил отвести его наверх, в спальню. Вытянувшись с помощью Мэри на постели, Лукаш сразу же провалился в крепкий сон без сновидений. Вернее, сновидение было, но только одно: море огня на пустом поле. Разбудила его уже Урсула. Тихонько присев в плаще на край постели, она взяла его ладонь в свою. Как же он любил этот жест преданности!

На пятнадцатый день рождения отец подарил ему неделю каникул в Варшаве с согласия его одинокой тетки, бывшей почтовой служащей, жившей на маленькую пенсию, но в большой, унаследованной от родителей квартире на Сенной. Тетка Евгения страдала от одиночества — хотя приходила в ужас от одной мысли пустить к себе жильцов, — и

визит Лукаша восприняла поэтому как праздник. "Я покажу тебе нашу столицу, — взволнованно говорила она, — а если после окончания школы ты приедешь учиться в Варшаву, уступлю тебе комнату бесплатно. Одной жить тяжело, я тут никого не знаю, а твой отец появляется у меня редко и остается не больше чем на два-три дня".

Она действительно старалась показать ему город, а сам он часто ходил в театры на дневные спектакли. Она готова была даже сопровождать его, хотя и предпочитала кино — "иллюзион", как его тогда называли. Подарок судьбы! На гастроли в Варшаву приехал театр из Москвы с несколькими спектаклями, среди которых были "Вишневый сад" и "Три сестры" Чехова. Бедная тетка Евгения героически боролась со сном рядом с раскрасневшимся от избытка чувств и даже впавшим в состояние некоего транса Лукашем.

Домой в Рыбицы он вернулся, еще не оправившись от транса. Сцена за сценой он описывал оба спектакля семилетней Урсуле, которая почти ничего не понимала, однако не отрываясь смотрела на рассказывающего и время от времени "показывающего" брата. Она была красивой и смышленой девочкой, хотя и унаследовала от матери бледность и склонность к меланхолии. В школу она не ходила, а училась дома под присмотром Лукаша.

Уже тогда я (удивлялся Лукаш) — не раз перечитавший два русских тома Чехова пятнадцатилетний мальчик, счастливый зритель двух варшавских спектаклей — осознал величие и своеобразие чеховского театра. Театр — это либо особый, живущий по своим законам мир, нечто вроде замкнутого космоса человеческой драмы, либо изолированный эпизод, вспыхивающая и быстро гаснущая искра. Действительно, кажется невероятным, что мне так рано, на пороге юношеского созревания, удалось ухватить главное. Может, это было сродни виртуозной игре вундеркиндов на фортепиано или скрипке? Только у них дар божий исчезает обычно так же быстро, как и появляется. А я уже тогда знал, что судьба указала мне дорогу, с которой я не сверну никогда.

Теперь, через столько лет, он пытался установить, что же именно молодой Лукаш смог понять сразу, а до чего ему удалось дойти, лишь повзрослев. Поразмышлять над этим он почему-то решил под музыку. Он включил давно молчавший проигрыватель, и кабинет на втором этаже наполнился звуками его любимых произведений. Лукаш был настолько ими поглощен и вдобавок настолько занят размышлениями о театре Чехова, что, когда в положенный час на пороге появилась Мэри, он рукой дал ей знак, чтобы она его не беспокоила.

Он слушал концерт Рахманинова со Святославом Рихтером, слушал Моцарта и Шуберта, слушал "Гольдберг-вариации" в исполнении Гульда и, наконец, "Сон в летнюю ночь" Феликса Мендельсона. Знатоком он не был, но музыку любил и гордился своим хорошим вкусом: ставя спектакли в театре "Чайка", он часто находил удачные музыкальные решения. Под впечатлением импровизированного концерта он снова — в который раз! — погрузился в стихию чеховского театра. Тихая музыкальность, исключительная простота, смутная тоска по уходящему времени, евангелический дух у далекого от религиозности писателя, "жизнь, как она представляется в мечтах" и в то же время изображаемая реалистично (с соблюдением чувства меры), но порой с болью и страданием, сни-

ходительная улыбка, ирония по отношению к попыткам представить "мир через две тысячи лет", пренебрегая происходящим здесь и сейчас, невероятная легкость в изображении нюансов человеческих отношений, мудрость без всякого намека на мудрствование – продолжать можно до бесконечности. Он вспомнил прочитанное где-то описание смерти доктора Чехова в Баденвейлере в 1904 году. "Tod?"[1] – спросил он немецкого врача. Не получив ответа, сказал жене: "Умираю", а врачу:"Ich sterbe"[2] – и попросил бокал шампанского. В этой сцене Лукаш видел сверхлаконичный конспект всей жизни писателя. "Жизнь прожить – не поле перейти", – написал в одном из стихотворений Пастернак. "Жизнь прожить – это перейти медленно и осторожно, на цыпочках, через все те годы, что отвела нам судьба", – написал бы Чехов. Как мог Шестов называть его "убийцей человеческих надежд"? Лукаш всегда стремился ставить чеховские пьесы в тональности музыкальной фразы, приглушенной и вместе с тем драматичной. И все же кое-что у любимого автора его не устраивало. Имел ли он право своей режиссерской волей что-либо изменить? Имел – потому что любил его. Такой подход вначале стал предметом бурной полемики, но впоследствии был встречен аплодисментами публики и получил признание критики. Однако в своей безмолвной автобиографии ему не хотелось опережать события. Когда придет время, он расскажет и об этом.

Относительно неплохая погода в воскресенье позволила им воспользоваться советом доктора Мэйхью "нечасто и недолго гулять". Осеннее солнце выглядывало из-за туч и пряталось обратно с регулярностью хронометра. Улицы заполнились набожными прохожими, спешащими в соборы и часовни. Целью короткой прогулки Лукаша и Урсулы был скверик на перекрестке, где под раскидистым деревом стояли две скамейки.

Лукаш шел очень медленно, неуверенно ставя ноги и всей своей тяжестью опираясь на руку Урсулы, – так, что ей приходилось слегка отталкивать его от себя. С того момента как окулист поставил окончательный диагноз, прошло совсем немного времени, а налицо была уже полная катастрофа. По всей видимости, прежде всего психологическая – как если бы лишь теперь его слепнущим глазам открылась вся правда.

Не в силах справиться с тяжестью его тела, она в очередной раз отстранилась, однако тут же снова крепко к нему прижалась. Они были похожи на влюбленную парочку.

Прогулка, которая раньше занимала десять минут, растянулась до получаса. Лукаш даже не сел на лавку, а просто упал на нее. И от усталости долго переводил дух.

– Дорогая, – придя в себя, сказал он, – мне очень мало известно о том, как ты жила без меня, когда я учился в Варшаве. Я тогда приезжал на каждые выходные, но ты рассказывала о себе немного и неохотно.

– Зачем это тебе теперь, когда прошло столько лет?

Он не стал посвящать ее в тайну своей безмолвной автобиографии, однако честно признался:

1. Смерть? (*нем.*)
2. Я умираю (*нем.*).

— Когда я часами лежу и не могу ни читать, ни писать, мне остается только копаться в прошлом, пусть даже и очень далеком.

Видимо, этот аргумент ее убедил, потому что она сразу же начала рассказывать, хотя (он был в этом уверен) явно не все. Нетрудно было, особенно ему, уловить в ее рассказе нестыковки, замалчивания, уход от скользких моментов.

— После твоего отъезда в Варшаву я почувствовала себя очень одинокой. Отец все больше пил, домой заглядывал редко, стал грубым, во всем доверял пану Витольду, а мне давал деньги только на хозяйство, как раньше тебе. Куписову я прогнала — она стала уже не нужна. Убиралась и готовила я сама. Учиться дальше сил не было; я только много читала. Иногда вечером приезжал пан Витольд и забирал меня к себе домой: он жил там со своим единственным сыном Богданом. Обычно мы играли в карты — не на деньги, конечно. Богдан, случалось, брал меня с собой на танцы. (Небольшая пауза.) Я очень скучала по тебе. И — представь — по матери, которой не знала. Странно, что обе наши матери исчезли без следа. У тебя-то хоть фотография осталась. Ах, какая же была тоска, как я ждала твоих субботних приездов!

Домой они добирались столь же долго — около получаса. Лукаш так утомился, что не стал обедать и сразу лег в постель. Он проспал, хотя и неспокойно, почти до вечера; Урсула поднималась наверх, но разбудить его не решилась.

С ног его свалила не столько усталость и внезапная сонливость, сколько полуобморочное состояние. "Значит, всё? — подумал он, проснувшись и глядя на пятно окна. — Не думал, что дело зашло так далеко. Неужели я умру первый?" С одной стороны, это означало, что он не останется в одиночестве. Но в одиночестве останется Урсула. Материальных проблем у нее, безусловно, не будет. Ей, конечно, помогут коллеги по театру, хотя пока она держится от них на определенной дистанции. Но не это главное. Главное — то, что за многие годы совместной жизни их нервные системы срослись в единое целое. Как разделить их, избежав страшной боли? Может быть, есть смысл в конкремации, рассказ о которой так его взволновал? В смешении двух испепеленных существ, полном и необратимом, окончательном и вечном?

И еще кое-что осознал он после аварийного звоночка обморока. Если ему и вправду обязательно нужно довести свою безмолвную автобиографию до конца, то нет смысла отвлекаться на мелочи.

Я утону в них, прежде чем смогу на пороге смерти увидеть всю свою жизнь. Я растворюсь в них, растеряю самое важное и буду раздавлен массой незначительных деталей. Уже сейчас — сколько всплыло в памяти лишних фактов и событий! Мне казалось, что перед тем, как взяться за кисть, следует хорошо загрунтовать холст. А так ли это? Разве наша жизнь не выстраивается из отдельных блоков, каждый из которых приобретает тем более отчетливый образ, тем более естественные очертания, чем сильнее он отличается от других, чем больше в нем мелких деталей, чем точнее он обтесывается резцом скульптора?

В это воскресенье он отказался спуститься вечером вниз, несмотря на настойчивые просьбы Урсулы. "Небольшой пост мне полезен", — ска-

зал он. Ему казалось, что бессонная ночь на пустой желудок облегчит переход к следующей главе.

Ночь, действительно оказавшаяся бессонной и невыносимо затянувшаяся, обманула его надежды и вовсе не облегчила переход к следующей главе, а, напротив, разбередила старые раны. Он вспоминал время перед получением аттестата зрелости в Седльце, тяжелое, с пересдачей нескольких экзаменов, с мучительным ощущением пустоты в голове, как будто все заученное вдруг бесследно выветрилось. На Урсулу он смотрел с каким-то обостренным вниманием и впервые — не как на любимую сестру. Скоро ей должно было исполниться четырнадцать, она внезапно расцвела, унаследованная от матери бледность исчезла, а смуглое, с легким румянцем лицо и верхняя половина тела свидетельствовали о преждевременно наступающей зрелости. В голове у нее загулял ветер, и она часто исчезала из дома на два-три часа; вернувшись, на расспросы не отвечала и с вызовом глядела ему прямо в глаза. По всей видимости, именно Урсула мешала ему в этот и без того нервный экзаменационный период. Он смутно осознавал какую-то перемену в своем отношении к сестре. Ведь раньше он мечтал уехать в Варшаву, чтобы поступить в театральный институт, теперь же его желание поутихло и он искал любого предлога, чтобы остаться после экзаменов в Рыбицах. Как на беду, почти совсем спившийся и редко появлявшийся дома отец внезапно опомнился, перестал пить и "гулять" в Седльце, частично отобрал у пана Витольда власть над хозяйством и включился в семейную жизнь. Никогда, ни одной минуты он не любил Регину, зато на Урсулу смотрел теперь с неизменной нежностью. Весомого предлога, чтобы остаться, Лукашу найти не удалось. Он сдал, хотя и с опозданием, экзамены, уехал к тетке в Варшаву и в возрасте двадцати двух лет записался на режиссерский факультет Института театрального искусства. Конец недели он проводил в Рыбицах. И с каждым новым приездом сплетни о "романе" Урсулы с сыном пана Витольда, Богданом, все больше травили душу.

В Варшаве расцарапанная ранка исподволь заживала. "Нельзя верить какой-то там сплетне, — убеждал он себя. — Ведь то, что я вижу в Рыбицах, опровергает всю эту пустую болтовню". Урсула всякий раз встречала его с неподдельной девчоночьей радостью, а провожала с такой грустью, что он до последнего момента затягивал свой отъезд на вокзал в Седльце.

Каким же приятным, легким, веселым и полным очарования городом была тогда Варшава! Я выучил наизусть "Песню для Варшавы" Либерта, и гвоздем в голове торчала строчка: "Здесь ни Запад, ни Восток". Именно это больше всего восхищало меня, наполовину русского, наполовину поляка. В институте я тоже быстро почувствовал себя как дома. Равного этому превосходному — высокопрофессиональному и богатому — учебному заведению не было, пожалуй, во всей Европе. Какие замечательные преподаватели! Институт был святыней театрального искусства, и с каждым днем я осознавал это все яснее. Я учился на режиссерском, но захаживал и на занятия других факультетов: правилами это не запрещалось. А не запрещалось потому, что в институте удалось создать атмосферу почти семейную. Даже флирт здесь был особенным: флиртовали, беседуя о театре. Кстати,

тут я отличался от других, отчего меня считали "чудаком": всю неделю я дожидался двух дней в Рыбицах...

Учение давалось ему легко, он жадно поглощал театральные знания, театр был у него в крови. Достойный сын экзальтированной русской актрисы, он все острее сознавал, что корни его — в России. Поляком он чувствовал себя даже меньше чем наполовину; его раздражали, с одной стороны, специфическая польская привередливость по отношению к окружающим и неоправданное легкомыслие, а с другой — склонность громко бить в национальный бубен и всячески выпячивать национальную гордость. Слушая лекции и занимаясь на семинарах своего замечательного учителя и выдающегося режиссера, который пропагандировал идею польского "монументального театра", про себя он инстинктивно повторял: все же я с ранней юности пил из иного источника, припадая к подаренному мне матерью евангелию от Чехова. К театру, чуждому по своей природе, по внутренней сути какой-либо монументальности, всегда настроенному на тихую ноту человеческой повседневности и в то же время глубоко волнующему, насколько волнующим может быть шепот любви — взаимной или неразделенной. В польском театре он этой ноты не слышал, а слышал национальные заклинания у Мицкевича, пророческие колокола у Красинского и трепетание ангельских крыл у Словацкого. Ему нравились одноактные пьесы Норвида, забавные издевательства Фредро, из более современных — театр Виткация, Мицинского и Ритнера, а из новейших — туманный театр Шанявского; Жеромского Лукаш терпеть не мог. Он наслаждался мастерством превосходных польских актеров, но сильно сомневался, способны ли актеры других стран хорошо играть в переводных польских пьесах. Хотя и драматургия большинства прочих народов была ничем не лучше: национально ограниченная, озабоченная лишь своими проблемами, непереводимая. За исключением греческих трагиков и Шекспира.

Греческие трагики и Шекспир — это, по сути, метатеатр, выходящий за рамки театра обычного, пусть даже самого оригинального и изобретательного. Театр уникальной широты и глубины, находящийся за пределами канонической "драматической ситуации" и ставящий самые кардинальные вопросы.

На третьем курсе была организована поездка десяти студентов и студенток на шекспировский фестиваль в Стратфорд-он-Эйвон. В эту группу попал и Лукаш. Им удалось увидеть три постановки: "Гамлета", "Макбета" и "Бурю". Лукаш читал Шекспира в польских переводах, но ему показалось, что он смог бы понять и оценить три этих представления и вовсе не зная текста. Здесь на сцене ощущались — в английских оригиналах и в исполнении шекспировских актеров — праисторические корни, извлеченные из праисторических глубин человечества; и существовали они в форме явных или подразумеваемых высказываний на некоем универсальном языке. Шекспир — как и греческие трагики — облек их в речевую оболочку той земли, по которой мы ходим, толком не понимая, по какой же мы ходим земле.

На обратном пути из Стратфорда они на сутки остановились в Лондоне. Им дали билеты на чеховского "Иванова" в "The Sea-Gull" Theatre на Стрэнде. В этот вечер Лукаш сидел на галерке того театра, в котором когда-то, в далеком будущем, ему доведется стать главным режиссе-

ром. Неожиданно ему пришло в голову, что в исполнении английских актеров тяжеловатая четырехактная драма выглядит вполне сносно, а временами постановка даже сохраняет верность духу Чехова. Возможно, причиной тому была особая, редко встречающаяся у других народов, английская сдержанность в словах и жестах? Может быть, именно такую сдержанность Чехов привил своему родному языку? Сегодня, вспоминая на краю могилы молодость и глядя сквозь приоткрытое по причине хорошей погоды окно на темно-зеленое пятно сада, он тихо прошептал: "Мысль еще не вполне зрелая, но для двадцатичетырехлетнего студента вовсе не глупая".

Когда в воздухе повисла черная и тяжелая туча войны, ему, значит, было двадцать четыре. Постепенно туча эта становилась все более отчетливой и все более пугающей: он нисколько не одобрял то высокомерное chwastowstwo, с которым его полусоотечественники готовились к победному маршу на Берлин.

В Институте театрального искусства для защиты режиссерского диплома нужно было подготовить короткую инсценировку. Его ближайший друг инсценировал новеллу Конрада "Завтра". Ему же декан факультета, великий режиссер Леопольд Гиллер, посоветовал взять "Белые ночи" Достоевского. Он согласился, быстро переделал повесть в пьесу, нашел на актерском факультете трех молодых исполнителей, но до спектакля дело не дошло. За неделю до дипломного представления, в начале июня 1939-го, было объявлено о досрочном завершении академического года. В середине июня у него еще оставались надежды на организацию дипломного показа "Белых ночей", но вскоре он понял, что пора возвращаться в Рыбицы. Отца дома он уже не застал, его призвали — по возрасту — на службу в обозе (в сентябре он погиб в бою под Коцком). Лукаш стал ждать мобилизационного предписания (чисто формального, с учетом его физической неполноценности) вместе со своим ровесником, единственным сыном пана Витольда, здоровяком-красавцем Богданом.

Лето 1939-го, будто назло стране, которой угрожает вражеское нападение, выдалось прекрасным. Таким прекрасным, каким только может быть лето в этой части Европы. Ясным, солнечным, хотя временами и с холодным ветром. Цветы цвели бурно и не собирались осыпаться. Подсолнухи вокруг рыбицкой усадьбы казались в этом году крупнее обычного и выглядели как золотые воинские щиты. Карпы в прудах грелись у самой поверхности воды и уходили на дно, лишь потревоженные чьими-либо шагами. Купы трав на перемычках между прудами разрослись больше обычного. Кони на лугах вдоль берега реки паслись спокойно и не вскидывали пугливо при любом постороннем звуке морды с подрагивающими ноздрями. Река все еще не вернулась в свое русло после весеннего половодья. С другого берега можно было босиком прошлепать до лесистого холмика, "ostrowka", на котором Лукаш любил лежать в густых зарослях папоротника. Словом, перед ожидавшимся ударом лето в Рыбицах выглядело совершенно беззащитным.

После того как отца забрали на войну, Лукаш стал чаще общаться с паном Витольдом. Природа была так дружелюбна по отношению к рыбицкому островку покоя, а на чистом небе так долго не появлялось ни

единого облачка, что трудно было поверить в приближение бури. На задах усадьбы, возле ухабистой дороги на Седльце, несколько лет назад пан Витольд разбил небольшой сад. Яблони уже дали первый урожай, а разросшиеся кусты крыжовника живой изгородью отделили сад от дороги. В саду, на гамаках, проводили дни Лукаш и Урсула. Все страхи и подозрения остались в прошлом. Когда Лукаш вернулся из Варшавы, она сразу же, смеясь и плача, бросилась ему на шею. К своему совершеннолетию Урсула стала по-настоящему красива. Лукаш восхищался ее стройной фигурой, ее расцветающим женским очарованием, не мог отвести глаз от длинных распущенных светлых волос и пышущего здоровьем лица, так не похожего на бледное и болезненное лицо ее матери, Регины. Уже тогда он не сомневался, что влюблен в нее. В сестру? При слове "сестра" его бросало в дрожь. "Ведь она же не совсем сестра, — повторял он с каким-то отчаянным упорством, — а только наполовину".

Под конец ноября Лондон внезапно накрыло волной пронизывающего холода, и было решено, что на день он станет перебираться вниз, в комнату с хорошим камином, поскольку стоявшая наверху газовая печь хоть и выглядела солидно, но грела слабо, и ночью удавалось спастись лишь под горой одеял. Наступил заключительный, подкрепленный конкретной датой этап ожидания. Окулист из Падуи, доктор Антинори, назначил операцию на 6 января (День трех волхвов, а для итальянцев — день Бефаны[1]) 1999 года. Урсула решила, что в Венецию, откуда до Падуи полчаса на машине, они поедут в середине декабря. В Венеции в это время года все было закрыто, для туристов наступал мертвый сезон, а труппы, приезжающие на гастроли в заново отстроенный театр "Ла Фениче", размещались в небольшом "театральном" отеле *Альберго "Гольдони"* в Дзаттере. Знаменитый Sir Luke, il grande regista del "Gabbiano" di Londra[2], и его энергичная жена из администрации "The Sea-Gull" Theatre без труда смогли заказать с 16 декабря двухкомнатные апартаменты. Лукаш как ребенок радовался звонкому слову gabbiano, по-итальянски — "чайка".

Успев хорошо освоиться наверху, к первому этажу Лукаш привыкал целых два дня. Естественно, не как хозяин, а как безмолвный повествователь. Нарушение уже сложившегося ритма жизни не лучшим образом сказалось на его работе над воображаемой автобиографией. Он раздраженно ходил по комнате и один раз даже упал, неудачно поставив трость. Мэри пришлось осторожно поднимать его с пола и столь же осторожно усаживать в кресло у камина.

Подлинную причину его раздраженности определить все-таки было трудно. Возможно, он не хотел самому себе признаваться в том, что воспоминания подвели его к событию, которое в дальнейшем, на протяжении многих лет, отзывалось в нем пусть и слабеющей, но все же так до конца и не утихшей болью. И он испугался нового прикосновения к незаживающей ране.

1. Бефана — мифологический персонаж, бродящий по земле с 1 по 6 января в облике страшной старухи, иногда доброй, а иногда злой.
2. Великий постановщик "Чайки" из Лондона (*итал.*).

День тогда уже шел к концу, и солнце опускалось к горизонту. Лукаш лежал на склоне пригорка среди высоких побегов папоротника, головой вниз, к зарослям аира на мелководье речного залива. На другой стороне достаточно широкой и глубокой в этом месте реки был большой и пустующий в это время дня луг, тянувшийся до самой земляной дамбы, которая, окружая пруды, служила границей всего рыбного хозяйства. Слева русло реки постепенно сужалось, и водный поток устремлялся к мельнице, невдалеке от которой стоял дом пана Витольда. В тишине уходящего летнего дня весь пейзаж будто замер, накрытый неподвижным, посеревшим от жары небом. Лежа на животе и всем телом прижавшись к земле, Лукаш радовался, что он снова дома, хотя, вспоминая в легкой дреме о новостях из утренней газеты, ощущал некоторое беспокойство. Было 27 июля. Тот, у кого еще оставались какие-то иллюзии, либо отличался безнадежной наивностью, либо прятался за стеной риторики, окрашенной национализмом.

Со стороны мельницы донеслись отдаленные голоса, и он узнал Урсулу и Богдана. Лукаш поднял голову и увидел, что они, держась за руки, идут к реке. Потом остановились и долго целовались. Лукаш застыл, ощущая, как колотится его сердце. Он не двинулся с места и остался в своем укрытии в густых зарослях папоротника. На берегу, у небольшой излучины, куда обычно ходили нырять, потому что там было достаточно глубоко, они расстелили на траве под деревом простыню и легли. Он видел, как они раздеваются, видел их наготу. И, парализованный, увидел все остальное. Потом, усталые, они отдыхали в полусне, теперь уже на некотором отдалении друг от друга. Видимо, Урсула спала крепче, потому что не заметила, как Богдан встал, быстро натянул плавки и прыгнул головой вниз в воду. И уже не вынырнул. Если бы Лукаш хотел, он мог бы в мгновение ока сбежать с пригорка и кинуться ему на помощь. Но он не хотел — он буквально прирос к земле в своем укрытии. Что могло случиться с Богданом? Внезапная судорога от перегрева на солнце? Запутался в корнях прибрежных деревьев? Затянуло в водоворот? Что бы там ни случилось, но когда Урсула проснулась и с криком прыгнула в воду, было уже поздно. И только тогда Лукаш сбежал с пригорка, не раздеваясь бросился в реку и вытащил тонущую на берег.

Позже седлецкая полиция пыталась воспроизвести ход событий. Урсула снова и снова повторяла одно и то же: “Мы купались, а я заснула на берегу”. “А Лукаш?” — спросил комендант полиции. Когда он сбежал, разбуженный криками Урсулы, с пригорка, где спал после обеда, то спасти смог только ее. Врач действительно констатировал внезапную судорогу, после которой тело подводным течением затянуло в переплетенные у дна корни дерева. Если бы помощь пришла раньше... “Если бы!” — вздохнул комендант полиции. На похоронах за гробом шел только пан Витольд; он был вдовцом и отцом единственного сына; других родственников в ближайшей округе не оказалось. За ним в некотором отдалении шли Лукаш и Урсула.

Эту дату он помнил; впрочем, забыть ее было трудно — 1 декабря 1939 года. Погода стояла паршивая, ше л дождь вперемешку со снегом и ледяными шариками града. Лукаш сидел в теплой конторе у окна, рядом с входной дверью. Визита пана Витольда он не ожидал.

Управляющий небрежно поклонился, скинул мокрую шубу и сел у яркого огня, вытянув перед собой во всю длину ноги в сапогах с голенищами. Он долго молчал, вглядываясь в пламя и растирая замерзшие руки. После чего сказал:

— Видите, какая складывается ситуация. В Рыбицах — отделение немецкой полиции, они оставили только одного полицейского-поляка. Но это для вас не новость. А вот вчера мне сказали, что сюда приезжает немецкий управляющий, чтобы вести дела вместе со мной. Вам как хозяину будут каждый месяц выплачивать определенную сумму. В Седльце уже определяют границы гетто. Вчера на рынке публично расстреляли двоих самых богатых еврейских торговцев, в том числе деда пани Урсулы. За грабительские цены, что народу очень понравилось. Скорее всего, часть седлецкого немецкого командования займет одно крыло вашей усадьбы.

Он замолчал, будто раздумывая, продолжать ли дальше. Решив продолжать, подвинул стул к столу, за которым сидел Лукаш.

— Вы знаете, моему покойному сыну очень нравилась пани Урсула. Я думаю даже, что не только "нравилась". В нем постепенно зарождалось и более глубокое чувство. По-моему, оно было не без взаимности. Поэтому я, отец Богдана, ощущаю ответственность и за вашу сестру. Вчера в одной седлецкой пивной, где люди добрым словом вспоминают вашего уважаемого отца, завязался разговор о матери пани Урсулы. Знаете, как это бывает: слово за слово, да злые языки... Моя семья всегда водила дружбу с семьей Клебанов. И это тоже имеет значение. Так вот: и наша дружба, и память о Богдане обязывают меня, как бы это сказать, ну, в общем, предостеречь вас. Пани Урсуле необходимо как можно быстрее отсюда исчезнуть.

Ни минуты не мешкая, Лукаш поехал в бричке на седлецкий вокзал. Единственный поезд в Варшаву, предназначенный для "местного населения", отправлялся в шесть вечера. К счастью, уже после наступления темноты. Поговорив с Урсулой, Лукаш понял, что она не ощущала ни малейшего беспокойства из-за возможной опасности. Свою мать она из памяти практически вычеркнула. И никто даже не сообщил ей о расстреле деда, который, впрочем, при жизни вовсе не стремился с ней встречаться.

На Сенную, к тетке Евгении, они приехали без предупреждения. Тетка была не в восторге от появления Урсулы, но необходимые приличия соблюла. Уже наступил комендантский час, и варшавскую "рекогносцировку" Лукаш отложил на следующий день. Немногие варшавские коллеги по театральному институту, ошеломленные молниеносным сентябрьским поражением, склонялись к тому, чтобы остаться в столице и присоединиться к тем, кто уже ушел в подполье. Лукашу повезло: он застал в Варшаве, в своей квартире на Сенкевича, Леопольда Гиллера. Оказалось, что тому негласно предложили руководить польским театральным центром в Гродно, и он уговаривал режиссеров, актеров и художников ехать с ним. "Поедем вместе, — сказал он Лукашу, — ведь мы в похожей ситуации (он намекал на Урсулу, имея в виду, с другой стороны, свою жену). Там обещают относительную свободу в выборе репертуара, жилье и сносные деньги". Долго Лукаш не раздумывал. Однако в Рыбицы он все же съездил — поговорить с паном Витольдом и забрать чемодан с самыми необходимыми для Урсулы и для себя вещами.

10 декабря они не без труда, через Малкиню и Белосток, добрались до Гродно. Гиллер уже развернул здесь свою деятельность. Лукашу и Урсуле отвели большую комнату с двумя окнами на первом этаже флигеля в полукруглом заваленном снегом дворике. Рядом жили две актрисы, а последнюю на этаже комнату занимал театральный художник с женой. В углу двора высилась поленница, а рядом — колода с топором. Напротив дома располагалось большое кафе, которому вскоре предстояло стать местом встреч польского театрального сообщества в Гродно.

Мэри с удивлением следила за ним в приоткрытую дверь, ведущую из кухни в гостиную. Он сам поднялся с кресла у камина, взбодрившийся и помолодевший, проворно и с явным удовольствием передвигался по комнате, не придерживаясь, как обычно, стен, практически не пользовался тростью и не торопился вернуться в кресло. При этом он беспрерывно повторял одно слово, которое она не могла понять и была бы не в состоянии повторить.

Словом этим было Гродно. Гродно, Гродно. Добравшись до гродненского раздела автобиографии, он заранее радовался тому, что ждет его в продолжающемся безмолвном повествовании.

Можно ли влюбиться в неизвестный город с первого взгляда? Оказывается, можно. В Гродно ему нравилось все, хотя — видит Бог — особых оснований для этого не было. Временами хотелось сказать: город построен так, чтобы нравиться, с некоей кокетливой скромностью. Они гуляли с Урсулой над Неманом, скользя взглядом по заледеневшим берегам, дружно отпрыгивали, когда с веток внезапно ссыпался снег, то и дело возвращались в зеленую с позолотой церковку, задерживались перед обветшалыми особняками, заходили в шумные заведения с новыми вывесками "Gorodskaja Stolowaja", где долго сидели за тяжелыми грязноватыми столами, зная, что выпить можно только пива, хотя и в больших количествах, и согревались в приподнятой атмосфере разноязыких бесед. В чем заключался секрет Гродно? Для Лукаша, возможно, в детских воспоминаниях о Костроме, а для Урсулы — в обретенном покое на фоне уже явившего себя образа войны. Местные жители были даже сверх меры сердечны, хотя оборотная сторона этой сердечности должна была показать себя в самом ближайшем будущем.

Церквушку они полюбили, хотя и не знали православных обрядов (крещенный в костромской церкви Лукаш не успел их освоить). Им просто нравилось рассматривать золоченые оклады икон, слушать время от времени пение басов и наблюдать за попами и дьячками. Верующих всегда было немного — обычно приходили старушки с пугливо бегающими глазами. Наверное, именно в гродненской церкви они начали подозревать, что за приятным фасадом кроется нечто иное.

Как-то раз они поехали в близлежащую деревню Соколки, где кузина Урсулы учительствовала в начальной школе и ждала с войны своего мужа, тоже учителя. Их восьмилетний сын постоянно молчал, а на его симпатичном личике прочитывался явный страх. Боялась и кузина, чего вовсе не скрывала, всем своим поведением давая понять, что визит родственников должен быть как можно более кратким.

Страх, хоть и тщательно маскируемый, постепенно выходил наружу и в самом Гродно; иногда за ним проглядывала недоброжелатель-

ность. Зачем все эти артисты приехали сюда из Варшавы? Что они, не знают, кто здесь у власти? Не знают, кому им придется служить и как их будут использовать теперь, после включения Западной Белоруссии в состав Советского Союза? Однако отношение к ним мало-помалу менялось. И не последнюю роль сыграл в этом именно "польский театральный Пьемонт".

Поначалу театральная программа разрабатывалась под руководством Леопольда Гиллера в кафе напротив дома, в котором жили Лукаш и Урсула. Так что на первых порах, вплоть до нового 1940 года, это кафе было центром польской театральной жизни в Гродно. Дискуссии о предлагавшихся для постановки пьесах чередовались с ежедневным обсуждением свежих, становившихся все более ужасными новостей из Варшавы. Демаркационная линия между оккупированными территориями пока не была зафиксирована строго, что означало ежедневный приток новых беженцев из-за Буга. Когда в один прекрасный день в Гродно появилась Великая Актриса и жена Гиллера, передвигавшаяся с помощью костыля – она была ранена в ходе сентябрьской кампании, – директор тут же предложил поставить "Коварство и любовь" Шиллера, пьесу, в которой она раньше блистала. На премьере, в конце февраля, актриса вышла на сцену в том же, что всегда, сценическом костюме, но с костылем. Вся публика сорвалась со своих мест и несколько минут ей аплодировала; это повторялось и на всех последующих спектаклях. Именно тогда, по мнению Лукаша, и произошел перелом. Артисты из Варшавы были в Гродно приняты.

Вскоре после премьеры "Коварства и любви" Гиллер освоился в директорском кабинете на задах театра, и кафе естественным образом утратило свою прежнюю роль. Оно вновь превратилось в обычное кафе, а театр (со столовой в подвале) начал притягивать прибывающих "с той стороны" и немногочисленных местных "работников искусств" (советский термин).

Гиллер вызвал меня к себе в первых числах марта, а точнее – 6 марта. И сразу спросил, что я хотел бы показать как молодой режиссер. Не раздумывая ни минуты, я ответил: свою дипломную работу, инсценировку "Белых ночей" Достоевского. Он одобрил мой выбор, но справедливо заметил, что вещь чересчур коротка и годится только для дневного спектакля; к тому же в Варшаве актеры для нее у меня были, а в Гродно их нет. На второе замечание я ответил, что хотел бы сыграть сам в паре с Урсулой. Он не слишком удивился – ему нравились нестандартные идеи. "Твоя сестра – не актриса, а у тебя есть физический недостаток". Я перебил его: "Урсулу я играть научу, а о том, хромает герой или нет, у Достоевского ничего не сказано". Гиллер засмеялся и вернулся к первому замечанию. Я ответил, что хотел бы одновременно поставить "Три сестры" Чехова, также с участием Урсулы. Он встал и сказал: "Хорошо" Он любил принимать решения быстро.

Шлепая по размокшему снегу домой, где его ждала Урсула, Лукаш немного испугался собственной смелости. Этот проект он с ней не обсуждал. Выслушав его, она пришла в восторг.

Он достал из чемодана подготовленную для защиты диплома собственную инсценировку "Белых ночей". Урсула читала ее еще в Рыбицах, и

хотя не сказала тогда ни слова, но ее молчание представляло собой достаточно красноречивый комментарий.

Герой повести, двадцатичетырехлетний петербургский мечтатель ("Белые ночи" были созданы в период miecztatielstwa Достоевского), одиноко живущий в жалкой каморке, скромный предшественник сердитого героя "Записок из подполья", в белую ночь сталкивается на мосту с плачущей семнадцатилетней девушкой. На этом месте год назад ей назначил свидание жилец, снимавший комнату в квартире, где она жила с бабушкой. Девушка его полюбила, и не без взаимности, однако вновь приехать из Москвы в Петербург, обзаведясь средствами, достаточными для создания семьи, он собирался лишь через год. Когда приходит срок, он не появляется в назначенном месте ни в первую, ни во вторую и ни в третью ночь, и все эти белые ночи Настенька утешается разговорами с одиноким петербургским мечтателем. В нем пробуждается любовь, да и девушка, разочаровавшись в мужчине, которого вот уже третью ночь напрасно ждет на мосту, отзывается на чувство мечтателя. И все уже, казалось бы, идет к рождению нового, на этот раз счастливого союза, когда внезапно появляется тот самый мужчина. Настенька бросается ему на шею, а затем прощается в слезах со ставшим вновь одиноким мечтателем, заверяя его в "вечной дружбе".

Прочитав теперь рукопись во второй раз, Урсула наконец высказала свое мнение. "Это невозможно, – сказала она. – У Достоевского тогда просто не было собственного опыта сентиментальных переживаний (подзаголовок "Белых ночей" гласил: Сентиментальный роман. Из воспоминаний мечтателя). На самом деле родилась вторая, настоящая любовь. Или тот, кого девушка ждет, не появляется вообще, или появляется слишком поздно. Первый вариант лучше. Я понимаю, сценическая переработка не допускает радикальных изменений в тексте. Но не вижу другого выхода – ведь это пьеса для двоих: для тебя и меня". Она говорила это со слезами на глазах. Лукаш согласился с ней и бросил Настеньку в объятия одинокого петербургского мечтателя. Это был первый решительный шаг режиссера, который позже осмелился "поправлять" и Чехова. Лукаш почувствовал, что наконец настал тот момент, когда можно заключить Урсулу в объятия. Изголодавшись за долгие минувшие годы, он целовал ее самозабвенно и жадно. Она обнимала и прижимала его к себе, дрожа от любовного нетерпения. Тогда они и стали любовниками. "Я твоя сестра и любовница. Я любила тебя всегда", – шепнула она на рассвете. Он верил в это, потому что очень хотел верить. "Нет, – ответил он, – ты моя сестра и жена. Я тоже всегда тебя любил" (что было истинной правдой). Так в Гродно они вступили в союз, сохранивший прочность до самого конца жизни. И так постепенно начала затягиваться рана, нанесенная смертью Богдана.

Урсула обладала врожденным и бессознательным актерским даром. В ходе двухнедельных репетиций она с каждым днем играла все лучше и лучше; зрелую женскую жажду любви ей удалось соединить с девичьим трепетом на пороге неведомого. Лукаш смотрел на нее с восхищением. Каждую ночь они ненасытно любили друг друга, а дни были посвящены оттачиванию ролей.

В конце марта состоялась премьера. Вся труппа во главе с Гиллером не жалела хвалебных слов. Но еще важнее было то, что публика — хотя и немногочисленная — не жалела ладоней. И с каждым очередным представлением народу приходило все больше и больше. Энтузиазм объяснялся, вероятно, двумя причинами. Зрители, большей частью молодые, будто догадывались, что на сцене перед ними — любовники, еще не остывшие от страстных объятий. К тому же в военное время с его страхами и тревогами, когда будущее представлялось чем-то зловещим и темным, особенно сильно звучал главный мотив повести Достоевского в инсценировке Лукаша: похвала мечтательству, бегству от реальности, тому самому упомянутому в эпиграфе тургеневскому цветку любви, стремящемуся "побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего".

Дневные спектакли вскоре стали давать ежедневно, а затем их перенесли и на вечер, после того как из репертуара сняли "эту ужасную халтуру" (определение Гиллера) "Как закалялась сталь". Театр смог стать практически самоокупаемым, а директор получил похвальную грамоту из Минского управления культуры. Благодаря этому он осмелился попросить разрешения поставить Чехова, которого советские чиновники от культуры не особенно любили. Директору дали письменное согласие, хотя ("пока") только на "Три сестры" — наверное, потому, что именно тогда, в 1940-м, Немирович-Данченко поставил "Три сестры" в Москве. Своим ассистентом Гиллер выбрал Лукаша, зная о его "чеховомании". Спектакль нужно было подготовить за несколько месяцев. Урсула получила роль Ирины, хотя для этой роли была слишком молода и ее предполагалось немного состарить гримом. "Белые ночи" — попеременно с "Коварством и любовью" — с успехом шли до конца мая. Начало репетиций "Трех сестер" назначили на сентябрь, сразу после летних отпусков.

Эйфория, охватившая Лукаша при работе над гродненским разделом автобиографии, не ослабла, а, напротив, становилась все сильнее. Мэри продолжала время от времени заглядывать из кухни в гостиную, чтобы — как просила ее Урсула — убеждаться, что "все в порядке". И все еще не переставала удивляться при виде немощного, полуслепого старика, который энергично кружил по комнате, лишь изредка садясь в кресло, что-то там бубнил себе под нос и, казалось, пытался стряхнуть с себя горб старости. Как-то раз, примерно в середине ноября, когда солнце (что в Лондоне, хоть и редко, но случается) чуть дольше задержалось между тяжелых, зимних уже облаков, он распахнул двери в сад и сошел по ступенькам вниз, явно намереваясь совершить короткую "оздоровительную" прогулку на свежем воздухе. Зрение, однако, не позволило ему уберечься от мелких препятствий, которые подстерегали его в запущенном саду: споткнувшись, он растянулся на пожухлой траве. Лбом он ударился об острый камень, почувствовал боль и понял, что идет кровь. Мэри потребовалось приложить немало усилий, чтобы помочь ему встать; она медленно довела его до дома, посадила в кресло и закрыла двери в сад. Когда она счищала налипшую на его одежду землю, Лукаш тяжело дышал, но на лице его все еще сохранялось выражение радости.

Лето 1940-го (вспоминал он) в небольшой деревеньке на берегу Немана, километрах в десяти от Гродно. Мы сняли у белорусских крестьян маленький домик вместе с Гиллерами, то есть с Леопольдом (мы

уже перешли на "ты") и его женой, Великой Актрисой, постепенно оправлявшейся от ран. Жарким июлем мы с Урсулой и Гиллером гуляли среди прибрежных зарослей или в густом лесу на другом берегу реки, куда нас на лодке перевозил местный рыбак. Передо мной как наяву вставали картины детства в Рыбицах, когда рыбалка и походы за грибами были лучшими развлечениями. Бывало, что мы с Урсулой уходили далеко от Гиллера и, все еще мучимые прежней любовной жаждой, страстно утоляли ее на вереске первой попавшейся поляны. Домой мы возвращались, поторапливаемые Гиллером, который беспокоился о жене. Вся территория, занятая за Бугом Советами, считалась небезопасной, хотя и относилось это прежде всего к Украине, а не к Белоруссии. Гродно и его окрестности попали в "мертвую зону": стихия войны бушевала где-то окрест, оставляя в покое клочок тихой водной глади. Это было мучительно — ведь к нам ежедневно поступали все более и более пугающие новости из Варшавы. К тому же мы отдавали себе отчет в том, что до поры закрытая "мертвая зона" рано или поздно должна открыться. Мы видели набитые людьми фургоны, которые бесшумно выезжали поздним вечером или ночью из ворот гродненской тюрьмы.

Именно тогда, во время летних каникул, на маленькой тенистой веранде молодой "чеховский маньяк" настойчиво убеждал Великого Режиссера в "необходимости серьезных поправок" в текстах непревзойденного Антона Павловича. "Лишь совершенно необъяснимым у такого тонкого, умного и музыкального драматурга дефектом зрения или слуха, — доказывал он, — можно объяснить привычку разрешать драматический конфликт при помощи выстрела в финале. Неужели Чехов действительно не видел сквозь свое старомодное пенсне, что "висящее на стене" в каждой его пьесе ружье самым грубым образом рвет и практически уничтожает ее тонкую, тщательно сотканную материю, разрушая в итоге все целое?" Поскольку к постановке готовились "Три сестры", разговор зашел о последней сцене этой пьесы, когда барона Тузенбаха, жениха Ирины, убивает на дуэли штабс-капитан Соленый. Узнав об этом, Ирина тихо плачет и повторяет: "Я знала, я знала". Зачем все это? Эпилог получился бы значительно более проникновенным и соответствующим чеховскому духу, если Ирине было бы суждено остаться старой девой в губернском городе (с постоянным рефреном сестер: в Москву! в Москву!), а Тузенбах попросту бы уехал, точнее — сбежал из этой провинциальной дыры. После чего Ирина и произнесла бы предназначенные для нее автором слова: "Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить..." Вот тогда получился бы не французский пустячок с револьверным выстрелом под занавес, а экзистенциальная драма.

Лукаш лихорадочно искал одобрения в глазах Гиллера. А Великий Режиссер все еще колебался. И только в конце августа, перед самым возвращением в Гродно, сказал: "Хорошо, попробуем".

Работа над "Тремя сестрами" началась в первых числах сентября, однако дело продвигалось с трудом. При распределении ролей возникли разногласия и споры, которые Гиллер грубо и решительно пресек, чем навлек на себя недовольство труппы. Трудно поверить, но для Великой Актрисы не нашлось роли. К счастью, финансовые проблемы застави-

ли возобновить "Коварство и любовь" с эффектной ролью для жены Гиллера. Вдруг зашевелились художники, увидевшие для себя в "Трех сестрах" новые возможности, а лишних денег для них в кассе театра не было. Лукаш, молодой ассистент Гиллера, с исключительным рвением взялся за "нюансировку", а поскольку одной из трех сестер была Урсула, на его активное вмешательство посматривали косо. Короче, все шло со страшным скрипом, и в ноябре до конца было еще далеко. Но премьера была обещана уже на Рождество, а репертуарные дыры заполнялись тем временем "халтурами" для заработка, подбрасываемыми из Минска и иногда из Москвы. Имелось также и препятствие личного характера, о котором в театре не знали. В конце сентября Урсула забеременела, а в ноябре у нее случился выкидыш. Все обошлось без осложнений, если не считать периодически случавшихся у Урсулы после выкидыша приступов плача. В труппе не знали, что произошло, и недоумевали, почему она плачет, – думали, из-за Лукаша, а дело было в приговоре врача, заключившего, что она, к несчастью, должна навсегда распрощаться с мыслью о материнстве.

И все же премьера состоялась в назначенный срок, то есть во второй день Рождества. Она без преувеличения стала триумфом. Поправка Лукаша (замеченная, кстати, немногими) придала пьесе бóльшую глубину, из-за отсутствия дуэли последние слова Ирины прозвучали с необычайно сильным ощущением vie manquée[1] , и в итоге перед публикой предстала волнующая и трогательная картина провинциального бытия. Музыкальность Чехова – о чудо! – обогатилась новыми тонами, а его пронизанная меланхолией мудрость вытеснила тот пресный реализм, которым, вопреки автору, наслаждался Станиславский.

Пьесу играли в Гродно и других городах Западной Белоруссии, но самая почетная награда ждала всех в Ленинграде. В середине мая 1941-го театр Гиллера пригласили показать спектакль ленинградской публике. Впоследствии выяснилось, что некий "театральный деятель" из Ленинграда дважды видел постановку в Гродно.

На гастроли в Ленинград мы поехали в мае 1941-го и пробыли там неделю, показав "Три сестры" дважды. Поклонники Чехова, хотя и отдавшие себе отчет в том, насколько часто и с какой шокирующей легкостью используются "выстрелы в финале", в первую минуту были все же обескуражены моей, если можно так сказать, поправкой. Однако они быстро пришли в себя и приветствовали этот вариант так, как если бы наконец увидели нечто, в глубине души уже давно ожидаемое. В "ампутированном" Чехове обнаружились новые достоинства, будто некая дополнительная перспектива открылась там, где итогом всему был, как правило, привычный и схематичный tupik. Ведь Чехов – как это ни странно для такого блестящего драматурга – не учел того, что традиционный "выстрел под занавес" ничего не решает. На сцене. В жизни, безусловно, да, но театральная условность требует абсолютно иного решения. Рискну высказать парадоксальное суждение: в театре, например, выстрел самоубийцы лишается драматичности – в этом можно убедиться на примере последней сцены "Иванова". Я понимал это уже

1. Загубленная жизнь (*франц.*).

тогда, но на практике применил только в лондонском "The Sea-Gull" Theatre.

В целом же, как показало общее собрание ленинградского Театрального общества, мое нововведение было принято с одобрением. На собрании этом произошел незначительный на первый взгляд инцидент, который я никогда не забуду. Кто-то из зала крикнул: "К выстрелам из пистолета мы теперь слишком привыкли — вот чего Чехов не мог предвидеть". "Кто это сказал?" — спросил внезапно побледневший председатель, повернувшись к той части зала, откуда донесся возглас. Это прозвучало как угроза, но я не знаю, имела ли она какие-либо последствия.

Организаторы гастролей польского театра из Гродно, желая и поблагодарить артистов, и особым образом отметить их визит, предложили сыграть "Белые ночи" в естественных декорациях. Местом действия стал уголок старого Петербурга — скверик со скамейкой, мостик через канал — в одну из настоящих белых ночей, приходящихся как раз на май. Небольшая толпа из случайных прохожих и уличных зевак превратилась во взволнованно молчащую публику. Получилось воистину необычайное представление! Лукаш и Урсула играли по-польски (Урсула не знала русского), с трудом сдерживая рвущиеся наружу эмоции, очарованные настоящей петербургской белой ночью, окутанные будто неземной вуалью, влюбленные друг в друга еще больше, чем это требовалось по тексту (в котором отсутствовал злополучный "третий"), растворявшиеся в атмосфере волшебного пейзажа и собственных чувств. Их последний, затянувшийся сверх всякой меры поцелуй на скамейке, более всего напоминавший счастливый финал какой-нибудь сказки, был встречен долгими и бурными аплодисментами.

После представления гродненскую труппу пригласили в ближайший ресторан. К Лукашу подсел известный и уже немолодой русский литературовед Л., незадолго до этого досрочно вышедший на свободу после семи лет лагерей. "Wam kak-to udalos' wozdierzatsia ot wsiej zloby "Zapisok iz podpolja", — сказав это, он огляделся по сторонам и загадочно добавил: — Wies' etot sowriemiennyj mir". "Странно, невероятно, — возбужденно шептал я в ответ, — работая над инсценировкой "Белых ночей", я все время напоминал себе о том, что их герой, петербургский мечтатель, — предшественник героя "Zapisok iz podpolja". "Prawilno, — заметил на это Л., — Настенька своей любовью избавила его от той день за днем накапливавшейся в нем злобы, которая иначе сыграла бы роль бикфордова шнура революции".

В Лондоне стало холодно, зачастили ливни, порой с мелкой ледяной крошкой, и бесконечно кружить по салону, присаживаясь время от времени в кресло рядом с горящим камином, Лукашу наскучило. В первый день декабря он сам попросил переселить его наверх. Урсула и Мэри положили ему в постель несколько одеял и зажгли газовую печку, однако и это не помогло: он промерз до костей и весь дрожал. Время от времени погружаясь в неглубокий сон, он терял границу между окружающей действительностью и поисками утраченного времени в безмолвной автобиографии. Перемешивалось все: в сновидениях его преследовал шум войны, а в моменты пробуждения он принимал стук лондонского дождя по стеклу за весеннее гродненское ненастье. Каждый раз, когда

Урсула, возвращаясь вечером со Стрэнда, садилась на его кровать, целовала лицо и прижималась к нему всем телом, в его просыпающемся сознании рождался зов: "В Венецию, в Венецию!" – бывший, впрочем, лишь эхом возгласа трех сестер: "В Москву, в Москву!" Звонкий смех Урсулы позволял ему хотя бы на миг задержаться в туманном и извилистом потоке времени.

Через три недели после возвращения из Ленинграда (немного успокоившись, продолжал он), 22 июня 1941 года, нас разбудили немецкие бомбы. Целились прежде всего в советский гарнизон и в немногочисленные фабрики, но бомбили также и центр, вслепую, чтобы вызвать в городе панику. Добиться этого оказалось несложно. Паника поднялась такая, будто все разом потеряли рассудок. Люди лишались элементарного чувства самообладания, не знали, что делать и куда бежать. Старожилы запирались в своих домах на все засовы. Что касается приезжих, то им надлежало мгновенно решить: на Восток или на Запад. Первый вариант мог устроить тех, кто так или иначе был связан с властью Советов, и у них, по сути, не имелось альтернативы (такой выбор сделали и многие из нашей труппы): на Восток, вместе с бывшим, а ныне спасающимся бегством начальством. На Запад же, то есть на другой берег Бута, прямо немцам в пасть, бежали те, кто не так сильно боялся гитлеровцев и кому было куда убегать. Толпы людей на городских улицах напоминали порой полчища крыс, попавших в огненное кольцо. Ясно было по меньшей мере одно: немецкие дивизии, покинувшие на рассвете свои приграничные базы, до Гродно доберутся к вечеру. "У нас в запасе еще целый день", – сказал Гиллер, деловитый и энергичный. Гиллеры приняли нас в свою компанию, и мы вчетвером решили возвращаться в Варшаву. Не берусь рассказать подробно, – отчасти потому, что Гиллер никого не посвящал в свои планы, – каким именно образом ему удалось так быстро организовать наше бегство. До Варшавы мы добрались, когда стемнело, и расстались на Театральной площади. У Гиллера, бывшего капитана запаса, остались знакомства в армейских кругах. Его квартира на Сенаторской, к счастью, стояла нетронутой. Мы же отправились на Сенную, к тетке Евгении. Даже не слишком любимую Урсулу она встретила с радостью, уже хорошо зная, что ждет одинокую и лишенную средств старую женщину в оккупированной Варшаве. Тетка отвела нам одну, самую большую, комнату, быстро смирившись с тем, что мы не только родственники, но фактически и супруги.

Гиллер и позже не оставил нас. В театральном кафе "Золотое на Злотой" он нашел для Урсулы место официантки; до Сенной оттуда было пять минут ходу, и она успевала вернуться домой незадолго до комендантского часа. Меня же Гиллер привлек к работе в подпольной театральной студии, располагавшейся в одном из пустующих университетских зданий на Северинове.

С некоторой опаской я отправился в Рыбицы поездом через Седльце. Однако беспокоиться было не о чем. Пан Витольд, добросовестно трудившийся вместе с новым немецким управляющим, человеком невредным, пообещал мне не только выплачивать небольшую "левую" сумму ежемесячно, но и – что было куда важнее – набивать мой рюкзак продуктами каждый раз, когда я буду приезжать в Рыбицы. Немцу он

представил меня как своего кузена, переехавшего в Варшаву из Кракова. Первый тяжелый рюкзак я забрал сразу. Тетка Евгения и Урсула не поверили своим глазам при виде масла, сыра, птицы и свежих карпов. С хозяйством у нас, таким образом, все наладилось. Благодаря Гиллеру нам удалось быстро раздобыть и фальшивые удостоверения личности. Что касается "внешнего вида" Урсулы, то он не вызывал подозрений.

К старческому истощению организма и прогрессирующей (остановленной лишь ненадолго) слепоте добавился еще один процесс — страшный, но, принимая во внимание его возраст, вполне естественный. Утром 3 декабря Урсула присела к нему на постель, чтобы попрощаться до вечера. Она что-то говорила ему, но он ничего не слышал: в ушах стоял ровный шум. Следя за ее губами, он с грехом пополам догадывался, о чем она говорит. Вне всякого сомнения, он терял слух. И это испугало его еще больше, нежели постепенная утрата зрения. "Я окончательно потеряю Урсулу! Для меня погибнет музыка!"

Она, похоже, не заметила на его лице ни тени испуга и, как обычно, склонилась к нему, чтобы поцеловать.

С постели он так и не встал ни в этот день, ни в последующие, вплоть до 15 декабря, дня отъезда в Венецию. Неужели связь с внешним миром совсем прервется? Он понял, что времени для завершения безмолвной автобиографии остается мало. Нужно идти напрямик, срезая углы! Нужно рассказывать только самое наиважнейшее! Комментарии, рассуждения, отступления — это привилегия людей хотя и старых, но угасающих не так быстро, сохраняющих сносное здоровье и тот (пусть и скромный) уровень физической кондиции, который они пока могут поддерживать. "This is not my case"[1] , — внезапно прошептал он по-английски.

Поэтому все три года оккупации вплоть до Варшавского восстания нужно пробежать быстро. То, что время это было для них относительно спокойным, вспоминается не без понятной неловкости. Вокруг облавы, аресты, казни, а они, как двое скромных служащих, жили по привычному распорядку. Утром Урсула бежала на Злотую, а перед комендантским часом возвращалась домой. Если не нужно было ехать в Рыбицы, он обычно шел на Северинов, на "тайные театральные курсы", как называли возглавлявшийся Гиллером кружок. Во второй половине дня он встречался со знакомыми, иногда заходил на Злотую, где время от времени помогал печатать на стоявшем в кладовке стеклографе нелегальные издания (литературные или театральные). С самого начала было ясно, что севериновская группа имеет прямое отношение к АК[2] . Гиллер играл в ней роль неформального лидера. Лукаша пытались привлечь к участию в военной переподготовке, но вскоре оставили в покое, приняв во внимание как его физический дефект, так и то, что еще во времена рыбицкой молодости он научился хорошо стрелять. Он подлежал мобилизации в день Икс и час Икс. Это подразумевалось само собой.

На Северинове весь первый год терзали Шекспира. К Шекспиру он относился со смешанным чувством восхищения и почти религиозного

1. Это не мой случай (*англ.*).
2. Армия Крайова — руководимая лондонским эмигрантским правительством подпольная военная организация, созданная в феврале 1942 года.

преклонения, однако близости к нему не ощущал. На севериновских встречах (абсолютно безопасных, несмотря на то что регулярные собрания группы молодых людей не могли остаться незамеченными) безоговорочно царил Ян Лисс, давний выпускник варшавского Института театрального искусства, отчасти эротоман, "чертовски" (как тогда говорили) умный, глубокий знаток английского Гения, которого он мог цитировать наизусть целыми страницами (и не только в польских переводах, но иногда, дабы поразить слушателей, на ужасном — по мнению Гиллера — английском). Лисс был помешан на теме "Шекспир и механизм истории", то есть на адаптации Шекспира к нашей эпохе. Лукаш, слушая его рассуждения, только пожимал плечами. Для него Шекспир был сродни Библии — в том смысле, что каждого своего героя он создавал будто заново, с чистого листа, в творческом порыве автора-демиурга. Лукаш, например, считал, что Шекспир вполне мог бы написать трагедию на сюжет жертвоприношения Богу Авраамом своего любимого сына Исаака.

Любовь в Варшаве была продолжением любви в Гродно. И даже стала сильнее, как это обычно бывает, когда страсти постоянно что-то угрожает. Дом на Сенной превратился для них в благословенный приют. Ночами они не чувствовали ни утомления, ни пресыщения, и даже напротив. Если теория Стендаля о кристаллизации любви была верна, то следовало ожидать появления целой колонии кристаллов. Лукаш все более укреплялся в убеждении, что причина тут лежит в скрещении чувств любовных с чувствами родственными. Он ощущал это и в сексуальном акте, в котором присутствовало нечто необузданное и непостижимое.

Через несколько месяцев после переезда в Варшаву Урсула, обычно проводившая свободные от работы дни в домашних женских хлопотах, рано утром поехала в город, к новым друзьям, пообещав вернуться перед самым комендантским часом. Лукаш согласился, напомнив лишь о том, что "безупречный" внешний вид и фальшивые документы — это еще не все. Урсула действительно вернулась за пять минут до комендантского часа, странно взволнованная, с красными от слез глазами. Лукаш ни о чем не спрашивал. Этой ночью она была еще более страстной, чем обычно, при каждом объятии повторяя: "Боже, как я тебя люблю, я никогда не могла бы любить никого так, как тебя". Его поразила какая-то упрямая настойчивость, с которой она произносила эту фразу.

Во время очередного визита Лукаша в рыбицкую усадьбу пан Витольд как бы невзначай сообщил ему: "Пани Урсула была здесь, на могиле Богдана. Просила вам ничего не говорить. Но скрыть этого я не могу — очень уж велик риск. Седльце — город небольшой, опознать знакомое лицо легко, а охотников на лакомую добычу здесь хватает".

Урсуле об этом разговоре с паном Витольдом он не сказал, заметив лишь — слегка обеспокоенно, — что вроде бы кто-то в Седльце недавно о ней спрашивал. Она побледнела, возможно догадавшись, о чем идет речь.

В конце июля 1944-го, приехав в Рыбицы на неделю (ночевал Лукаш у пана Витольда), он несколько раз выбирался на прогулки по берегу реки. Как-то он прилег позагорать там, где когда-то лежали, предаваясь любви, Урсула и Богдан. Взгляд Лукаша остановился на том месте, которое тогда служило ему убежищем. У него перехватило дыхание, будто

чьи-то руки, сомкнувшись на шее, пытались его задушить. С трудом поднявшись, он неуверенным шагом, слегка покачиваясь, поплелся к домику пана Витольда. Хозяин, к счастью, был на мельнице.

Через много лет в Лондоне он прочитал повесть Альбера Камю "Падение". В амстердамском баре "Мехико-Сити" парижский адвокат Жан-Батист Кламанс, "судья на покаянии"[1], каждый день пытается утопить в рюмке гнетущую его мысль о том, что когда-то он не прыгнул в Сену, чтобы спасти молодую девушку от самоубийства. Из глубин его памяти постоянно всплывает одна и та же сцена, он продолжает обвинять себя и мечтает о том, "чтобы вторично мне выпала возможность спасти нас с тобой обоих". В повести Камю есть такая фраза: "Я вам сейчас открою большой секрет, дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день".

Повесть произвела на Лукаша такое сильное впечатление, что он извлек из нее сценический монолог для постановки в "The Sea-Gull" Theatre. Правда, Лукаш постарался убрать из него все утонченное морализаторство, порой чересчур отдающее софистикой, и сосредоточился исключительно на проблеме вины, на ее невыносимой тяжести. Он был виновен, и нечего прятаться за двусмысленными исповедальными уловками, как герой Камю. А может быть, Урсула тоже чувствовала себя виновной? Может, две эти вины в сумме стали той крошечной песчинкой, вокруг которой и началась кристаллизация их любви?

"Я осознавал всю искусственность подобного объяснения: виновен был только я, но не Урсула. Однако расставаться с подобной мыслью все-таки не торопился".

Лукаш не отдавал себе отчета, почему Урсула видится ему в роли безмолвной парижской девушки, схватившейся за перила моста через Сену и уже готовой к самоубийственному прыжку. Какие для этого могли быть основания? Его собственная жестокость или подсознательное стремление ей отомстить? А может, тайная апелляция к тому Страшному суду, который происходит каждый день?

Во второй половине июля 1944-го я решил поехать на пару дней в Рыбицы. Наша кладовка почти опустела, а в воздухе ощущалось приближение каких-то важных событий (мы не знали, каких именно, но что-то явно назревало: либо — как в первую голову думали мы — восстание, либо наступление Красной Армии), так что желательно было запастись продуктами надолго. На этом настаивали обе мои женщины — и тетка Евгения, и Урсула.

Я приехал утром, и пан Витольд сразу же пригласил меня к себе; комната Богдана все еще оставалась свободной. Мой управляющий, имевший контакты с седлецкими аковцами, тоже был убежден, что "скоро что-то начнется". Через два-три дня он собирался взять на время машину и отправиться в Варшаву, так что я мог к нему присоединиться, захватив весь свой увесистый багаж.

Лукаш положил под голову еще одну подушку. Одеяла уже не согревали, и он лежал почти окоченевший. Пейзаж за окном постепенно размы-

1. Цитаты из повести А. Камю даны в переводе Н. Немчиновой.

вался, будто свету стало труднее пробиваться сквозь темные очки. "Только бы продержаться до Падуи", — бормотал он себе под нос. Чем меньше Лукаш видел за окном, тем более отрезанным от мира себя ощущал. Под любым предлогом он звонком вызывал Мэри.

Вести о приближающемся фронте опережали одна другую. Это означало, что дорога до Варшавы будет вскоре перекрыта. Боже, что станет с Урсулой? А с теткой Евгенией? От прежних планов пану Витольду, естественно, пришлось отказаться. Вместо этого он отправился в Седльце, откуда привез известие о том, что формируется небольшой отряд аковцев, который лесами, в обход, намеревается добраться до столицы. Командир согласился взять с собой Лукаша.

Мы вышли из Рыбиц чуть свет, стараясь держаться подальше от немецких постов. Поговаривали, что кто-то уже видел в лесах советские разведотряды. Нас было десять, кое-кто был одет в военный мундир, и каждый второй вооружен. Пытаясь ориентироваться по компасу, мы блуждали по сосновым чащобам, восстанавливая верный курс только на открытых полянах. Командир оказался самоуверенным недотепой. Лишь через несколько дней вечером мы увидели зарево и вспышки орудийных залпов на варшавских заставах. Было 1 августа. В моем воспаленном мозгу царила только Урсула, о тетке Евгении я едва помнил. Само же восстание я еще загодя называл "коллективным польским безумием", сохраняя при этом верность естественному чувству долга, хотя и без особой патриотической окраски.

Мы вошли в Варшаву со стороны Воли, петляя между большими домами. На углу улицы нас встретили немецкие пули, и на тротуаре остались двое убитых. Сразу после этого открылись ворота, и мы вбежали в типичный для района Воли двор. Здесь рядом с дровяным сараем, под обвалившейся каменной стеной можно было перевести дух. Этот район я хорошо знал. Мне удалось пробраться на Хлодную, а затем по Желязной я прошел до Сенной. Наш дом, хотя и не избежал серьезных повреждений, был цел. По разбитой лестнице, перепрыгивая через ступеньки, я добрался до нашей квартиры. Урсула сидела у тела тетки Евгении, которая вскоре после начала восстания умерла от инфаркта. Мы сжали друг друга в объятиях буквально над трупом. Нельзя было терять ни минуты: хотя дом еще стоял, но в любой момент мог рухнуть. Урсула предложила бежать в "Золотое на Злотой", поскольку кафе это располагалось в подвале. И хотя все подвальные анфилады и тупики в доме на Злотой были уже заполнены людьми, кое-где еще оставалось свободное место. К тому же здесь нас знали. Гиллер в довоенном мундире капитана командовал боевой группой. Накануне он овдовел: его жена, Великая Актриса, погибла, пытаясь в качестве связной пробиться на Маршалковскую.

(И все же, все же, все же... В моей безмолвной автобиографии я стараюсь уйти от описания Варшавского восстания. Но разве это возможно? Сердце не выдерживает, когда вспоминаешь о тогдашней глубокой общности, взаимопонимании, мужестве и героизме в сочетании с наивным оптимизмом, не имевшим под собой никаких реальных оснований. Трагическому величию — возможно, как никогда ранее в истории — неотступной тенью сопутствовало трагическое бессилие и неотврати-

мо надвигающееся поражение. И не важно, что именно делали такие, как я и как другие солдаты Гиллера; мы, скажем так, пытались сохранить хотя бы скромные остатки собственного воинского достоинства.)

Восстание нам в подвалах кафе удалось пережить чудом. Возможность раздобыть по случаю еды, уснуть лежа на боку или добраться до служившего туалетом изолированного подвального уголка — все это было поистине даром небес. Для боевых вылазок Гиллер находил все меньше и меньше добровольцев. И все чаще приводил назад далеко не полный состав отряда. Любовь в подвале была запрещена, однако запрет нарушался порой из-за простого чувства отчаяния. Тела скончавшихся, чаще всего стариков, мы выносили ночью и складывали у самой стены. По милости капризной судьбы пули нас щадили.

О чем и как тогда говорили? С тоской и горечью все ждали конца. Подробностей условий капитуляции мы так и не узнали; для нас она свелась к тому, что после многих проведенных в подвале дней и ночей мы вышли на свет Божий и увидели лежащий в развалинах город.

Нас, как скот, погнали в Германию с остановками в контрольных транзитных лагерях. Только бы не потерять Урсулу, только бы избежать разлуки! В Германии многих по дороге отправляли на работы в крестьянские хозяйства, а тех, кто добрался до конца пути, ждали полуразрушенные бараки под Мурнау в Баварии. В Мурнау Гиллеру удалось наладить контакт с пленными офицерами. Война вскоре закончилась. Мы взяли курс на Запад, навстречу Первой дивизии Мачека, минуя по дороге группы скелетов в лохмотьях, пробиравшиеся из освобожденных лагерей на Восток, к своим наверняка разрушенным домам и к остаткам (в лучшем случае) семей. На американских, английских, французских и советских солдат мы смотрели как на пришельцев с другой планеты.

Знаменитого Гиллера назначили руководителем театра Первой дивизии; нас же с Урсулой заботило только одно — как немедленно выехать в Англию.

В романе Пастернака "Доктор Живаго" под конец, как deus ex machina[1], появляется Евграф Живаго, всесильный генерал советской полиции, сыгравший роль благодетельного защитника остатков разбитого семейства. Для нас аналогичной фигурой оказался американский полковник Питер Клибэн, офицер связи, прикомандированный к Первой дивизии. Младший брат нашего с Урсулой отца проявил к нам трогательное внимание. Он не только отправил нас ближайшим транспортом в Англию, где первые дни мы провели в американской войсковой гостинице у Марбл-арч, но также помог найти большую и приличную комнату в центре Камден-тауна[2], внеся вперед плату (у нас пока не было ни гроша) за целых полгода. Улетая на следующий день в Штаты, он сказал: "За полгода вы наверняка сумеете устроиться в Лондоне самостоятельно". По-польски он говорил хотя и с заметным американским акцентом, но совсем неплохо.

Так начался лондонский период нашей жизни. Найти работу было вообще-то несложно, даже и без знания языка, но вот с part-time job,

1. Бог из машины (*лат.*).
2. Район Лондона.

работой на полдня, которая нам требовалась, дело обстояло хуже. Мы уже знали, что вторую половину дня должны посвящать, во-первых, урокам английского, а во-вторых, занятиям в Академии драмы, учебном заведении в Хоулборне, которое курировалось театром "The Sea-Gull". В конце концов нам это удалось. С семи утра до часу дня я мыл кастрюли, тарелки, вилки и ножи в отеле на Гайд-парк-корнер[1], а Урсула в эти же часы работала в камдентаунской прачечной. Курс Cambridge Proficiency[2] предоставлял возможность быстро и неплохо овладеть языком. В Академии драмы мы соприкоснулись с английским театром буквально вплотную. Директор "The Sea-Gull" Theatre Кеннет Мэддокс на занятиях в академии внимательно приглядывался к таким слушателям, как мы. Молчаливый и сосредоточенный, временами он напоминал терпеливого рыболова, часами ожидающего, когда дернется поплавок.

Итак, все вроде бы шло по намеченному плану, хотя подобный ритм жизни требовал серьезных физических усилий. Утром они с трудом продирали глаза, а вечером валились в постель, измученные уходящим днем. Неожиданно между ними появилась некая стеклянная стена, и причиной тому была не только усталость. Выросла ли стена по обоюдной вине, или же ее возвела Урсула? Скорее второе. В безмолвной автобиографии Лукаша этот продолжавшийся более трех лет период выглядел сущим кошмаром. Вначале он полагал, что все дело тут в навязанном Урсулой любовном воздержании, настолько суровом, что она встречала гневным блеском в глазах не только любую попытку приблизиться к ее постели, но и каждое произнесенное им ласковое слово. Если запретной становится не только любовь, но и простая нежность, можно говорить о необратимом кризисе. День за днем Урсула неуклонно превращалась в другую женщину. Колючую и недовольную, с грузом невысказанных претензий, ведущую себя порой просто вызывающе — так, без всякого повода она, например, вдруг начинала с теплотой вспоминать Богдана. Спустя много лет, когда все изменилось и вернулась прежняя любовь, он так и не смог понять, что же с ней в то время происходило. Не смог он избавиться и от настороженности человека, который, обжегшись на молоке, дует на воду: любой холодок в интонации, пусть даже незначительный и случайный, казался ему предвестием новых заморозков. Неужели в те годы у нее кто-то был? Совершенно точно — никого. Это скорее доказывало, что в нас порой скрывается несколько разных личностей. Личности эти могут себя так никогда и не проявить, однако могут внезапно и громко закричать неузнаваемым голосом, заглушить который сможет лишь возвращающаяся волна любви.

Профилактические капли доктора Мэйхью, которые Урсула закапывала ему в глаза утром и перед сном, постепенно переставали действовать. Зрение продолжало ухудшаться, о чем он знал; знала и Урсула, хотя категорически это отрицала. Проговаривание безмолвной автобиографии, и без того торопливое, теперь превращалось в нечто суматошное и хаотичное. Сохранятся ли его глаза в более или менее приличном состоянии до операции? В этом он не был уверен. Если не сохранятся,

1. Площадь в Лондоне; считается самым шумным и перегруженным перекрестком в Великобритании.
2. Специальный курс английского языка.

то свое безмолвное повествование он прервет. И не в том дело, что тени, обступавшие его все плотнее, были условием sine qua non[1] этой затеи. Если он ослепнет полностью, то все вообще потеряет смысл. Пока же он, напрягая спрятанные за темными очками глаза, кое-что мог видеть, и поэтому воспоминания его сопровождались пусть и тихим, но необходимым аккомпанементом. Прежде спешка заставляла его срезать углы. А теперь суматоха, которой уже сопутствовала паника, превратила его в стайера, у которого перед самым финишем начинают заплетаться ноги и которым овладевает искушение сойти с дистанции и растянуться на траве рядом с беговой дорожкой.

Однако он продолжал, и силы ему, возможно, придавало сознание, что финиш, пускай пока еще и не виден, все же неуклонно приближается.

К середине третьего года обучения в хоулборнской академии он овладел английским вполне прилично и однажды рискнул взять слово (сидящая рядом Урсула посмотрела на него искоса, явно перепугавшись). Обсуждали театр Чехова. Лукаш достаточно легко справился с изложением своей теории и краем глаза заметил, что Кеннет Мэддокс поднял взгляд и в настороженном ожидании застыл над своей удочкой.

Затем он пригласил Лукаша к себе в кабинет. "Я ничего не обещаю, но хочу дать вам шанс. Набросайте в свободное время варианты постановок "Иванова" и "Чайки". Если сумеете меня убедить, мы подпишем договор, вы станете нашим режиссером и получите актеров". Легко сказать — в свободное время. Однако согласился Лукаш сразу, хотя и поставил два условия. Сначала он покажет всей труппе свою инсценировку "Белых ночей" Достоевского. Вдвоем со своей женой Урсулой, практически без декораций. Хорошо было бы сделать это на языке оригинала, но жена плохо знает русский. Так что спектакль они сыграют по-польски, а все действие продлится не больше пятидесяти минут. Мэддокс спросил, какое отношение это имеет к Чехову. Лукаш ответил, что ему трудно объяснить, но для него это очень важно. Мэддокс кивнул в знак согласия.

Уговорить Урсулу оказалось нелегко. Она упрямо твердила: "Нет, нет", но в конце концов уступила.

Получилось так же, как в Гродно. Шепот зарождающейся любви ("чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего"), окутанный атмосферой, которая впоследствии стала одной из главных составляющих драматургии Чехова, привел зрителей академии и "The Sea-Gull" Theatre в восторг. Представление повторили еще дважды, каждый раз выдавая зрителям вместе с программой английский текст польской сценической версии. Оценки были получены самые высокие.

А Урсула, как и в период гродненских репетиций "Белых ночей", опять открылась Лукашу. После покаянных рыданий она вновь стала ему не только сестрой, но и женой. И на этот раз навсегда.

Позже, когда он подписывал контракт, было решено принять Урсулу в состав актерской труппы театра на Стрэнде; однако по причине

1. Непременное; без которого нельзя обойтись (*лат.*).

недостаточно хорошего знания языка она могла быть занята только в спектаклях Лукаша.

Добавить к этому можно лишь то (собрав последние силы, совершал Лукаш финишный рывок), что за сорок лет я поставил более ста классических и современных пьес авторов из самых разных стран (в том числе несколько польских), был признан — без ложной скромности — одним из наиболее выдающихся мировых режиссеров, а в 1968 году мне предложили место главного рèжиссера "The Sea-Gull" Theatre. Мы давно поселились в Уимблдоне, в доме, купленном нами в рассрочку (банковский кредит не потребовался) вскоре после подписания контракта. Меня называли Russian-born[1], затем я добился, чтобы это определение заменили на Polish-born[2], хотя справедливо было, по сути, и то и другое. Урсула отказалась от актерской карьеры и получила должность в администрации театра.

Мою безмолвную автобиографию следовало бы завершить своего рода моралью. Она связана с той ролью, которую сыграли в моей жизни "Белые ночи" и Чехов. (Я забыл упомянуть о том, что мои дебютные постановки "Иванова" и "Чайки" подверглись острой критике, постепенно — после восторженного приема их публикой — превратившейся в нечто противоположное: рецензенты вначале умолкли, а затем многие из них стали писать, что "именно так следует играть Чехова".) Но пора вернуться к морали, поскольку я уже действительно теряю силы. А мораль, по-моему, такова. Русские, осознанно или нет, считают любовь "прекрасной болезнью". Противоядием для этой "прекрасной болезни" служит любовь новая, затягивающая еще сильнее. Такой подсознательной веры в цèлительные свойства любви нет ни в какой другой литературе на свете. Впервые я заметил это в одном побочном мотиве "Белых ночей": петербургский мечтатель утешает Настеньку, а она, не отдавая себе в этом отчета, спасает его любовью от болезни одиночества (снимая синдром будущего podpolja) и сама в свою очередь пробивается из своей скорлупы на свет Божий благодаря его любви. Даже превосходная "Первая любовь" Тургенева (я всегда горячо, хотя и безрезультатно, мечтал адаптировать эту повесть для театра) представляет собой нечто вроде жестокой и болезненной хирургической операции, проведенной при помощи любовного скальпеля на взрослеющем юноше. В этом и кроется весь мой секрет. Насколько важную роль он сыграл в моей личной жизни, я уже рассказал.

В 1989 году я вышел — уже достаточно поздно — на пенсию. Я мог — и даже хотел бы — работать дальше, до последнего вздоха, если бы не прогрессирующая болезнь глаз. Удастся ли с ней справиться? Или она неизлечима? А может, после операции она все же отступит? Вскоре ответ будет получен. Переживая чувство, подобное моей любви к Урсуле, трудно отказаться от смешной мечты о бессмертии.

Я завершаю безмолвную автобиографию 13 декабря 1998 года. Послезавтра мы летим в Венецию. Со слуховым аппаратом, который Урсула купила мне вчера. Он помогает, но нужно еще научиться надевать его утром и снимать на ночь.

1. Русского происхождения (*англ.*).
2. Польского происхождения (*англ.*).

Лица Венеции

... самый диковинный из всех городов.

Томас Манн. "Смерть в Венеции"

Альберго "Гольдони", приличный трехэтажный "театральный отель", пока пустовал. На втором этаже никто не жил, в ресторане накрывали лишь несколько столиков в углу рядом с кухней. Их номер, красивый и удобный, находился на третьем этаже (в гостинице был лифт). Урсула распаковала багаж, повесила одежду в шкаф и отвела Лукаша вниз. Они зашли в бар и оттуда уже не выходили. Ужинать им не хотелось; вместо этого они постепенно опустошали бутылку виски (из которой, похоже, давно не наливали!). Когда около полуночи они, сильно набравшись, вернулись в номер, Урсула смогла скинуть только платье и залезла под одеяло в нижнем белье. Она быстро заснула, забыв, что вечером обычно помогает Лукашу раздеться.

Он снял пиджак и, надев теплый халат, сел в кресло у окна. Горела только одна лампа на ночном столике у его постели. Окно выходило на Дзаттере, а на другом берегу канала отчетливо вырисовывались контуры острова Джудекка с куполом большого собора. Когда-то там было венецианское гетто; теперь район выглядел пугающе заброшенным и грязным — казалось, горожане решили избавиться от него, не вмешиваясь в естественный процесс саморазрушения.

Лукаш дрожал от внезапно охватившего его волнения. Сквозь темные стекла очков он видел лучше, намного лучше, чем в Лондоне. Что произошло? Чем промыты его слепнущие глаза: сменой города, сменой пейзажа, сменой климата? Он снял темные очки и стал видеть еще лучше. Ему захотелось разбудить Урсулу, но он передумал, решив, что это лишь минутная иллюзия. Впрочем, нет, похоже, никакая не иллюзия. Лукаш с трудом справлялся с волнением. Он не ошибся. В прежние годы он был в Венеции частым гостем, а временами и подолгу здесь жил (один или с Урсулой), принимая участие в международных фестивалях и театральных конференциях, так что город знал неплохо. Он видел, действительно видел на другой стороне канала остров, на берег которого с шумом накатывали волны, видел бедную прибрежную улочку, видел величественный купол церкви делла Салуте. А фоном был шум. То есть и слышал он тоже лучше. Это, впрочем, можно было отнести на счет слухового аппарата, а вот обострение зрения действительно стало неожиданностью.

У него не было ни сил, ни желания перебраться в постель. Сначала он задремал, а потом, так и оставшись в кресле, крепко заснул. Первая венецианская ночь внезапно наполнилась динамикой возрождения, в ней зазвучали отголоски счастливого прошлого.

В предрассветных сумерках Урсула разбудила его поцелуем и словом "прости". Она винила себя за то, что ночь он провел сидя. А он загадочно улыбнулся, решив о своем "сюрпризе" пока не говорить.

В Падую они отправились утром, автобусом с привокзальной площади. Урсула не могла не заметить произошедшую с ним перемену. Его походка была бодрой, он без посторонней помощи сел в автобус, где уткнулся

в окно, чтобы не упустить ничего из проносящегося мимо пейзажа. К тому же, что совершенно невероятно, на его губах блуждала едва заметная улыбка.

— Лукаш?

— Я не хотел говорить тебе сразу. Чтобы не сглазить. Я лучше вижу и лучше слышу, будто внезапно помолодел. Может, теперь и операция уже не нужна?

Она взяла его под руку и сильно прижала к себе. Ее лицо посветлело.

— Это решит профессор Антинори.

Через полчаса автобус остановился на большой падуанской площади, которую многие (и не без основания) считают самой прекрасной площадью в мире. Выяснив, как добраться до улицы Сант-Антонио, находившейся где-то за Базиликой, они неторопливо отправились туда, по дороге заглянув и в Базилику, уже заполненную в это время дня людьми. Сквозь толпу они протиснулись в один из малых боковых приделов и молча опустились на колени перед залитым светом алтарем. Они не знали, как нужно молиться, и потому лишь мысленно повторяли сумбурные просьбы, в которых то и дело всплывали два слова: "помоги" и "сделай". Оба почувствовали огромное облегчение, а доносящееся от главного алтаря пение хора мягко обволакивало их, как высокие травы некогда в Рыбицах. Лукашу вспомнилось их любимое место в зарослях папоротника. Он крепко сжал раскрытые до того момента ладони и что-то неразборчиво пробормотал себе под нос. Урсула искоса бросила на него удивленный и слегка испуганный взгляд.

До старинного дворца, в котором знаменитый Антинори когда-то основал свою глазную клинику, нужно было пройти несколько сот метров. На этот день им был назначен первый прием. Принял их ассистент профессора, приятный молодой человек. С замиранием сердца Лукаш ждал, когда будет вынесен вердикт. "Это улучшение временное, такое наблюдается часто, — сказал ассистент, — а ваше общее состояние не изменилось. Улучшение может продолжаться вплоть до самой операции. Для подготовки к ней вам нужно будет прийти в клинику 6 января. Операция назначена на 7 января. Sir Luke, — добавил он по-английски, — для нас это большая честь".

Урсуле пришлось помочь Лукашу выйти из кабинета: он как-то сразу обмяк, и ноги под ним подкосились.

— Хочешь заглянуть в капеллу Джотто? — спросила она.

— Нет, нет, не сегодня, я снова вижу хуже. Поедем назад в Венецию.

На обратном пути он опустил голову на грудь и, похоже, задремал. В Венеции ей удалось вывести его из автобуса только с помощью водителя. К счастью, на пристани уже стояла моторная лодка. Доехав в лодке до Академии, они смогли оттуда пешком добраться до гостиницы в Дзаттере.

Он упал в кресло у окна, и вновь, как и накануне, у него обострилось зрение. Может быть, причиной тому была ясность венецианского воздуха, воды и неба, которые в Падуе становились серыми? Однако чем бы это ни объяснялось, — хотя бы и тем, что в гостиничном номере спало нервное напряжение, завладевшее им во время осмотра в клинике, — сейчас он в деталях мог разглядеть транспортные баржи, обгоняемые

пассажирскими судами, и хорошо слышал протяжные сигналы сирен. Он сразу почувствовал, как уходит прежняя подавленность, и уже иначе взглянул на стоявшую рядом Урсулу. "Попроси, чтобы обед подали в номер, — сказал он. — А после обеда мы пойдем выпить кофе во "Флориан". Ты помнишь "Флориан" на площади Святого Марка?"

Конечно же она помнила. В просторном, но уютном кафе ежедневно собиралось разноязыкое театральное братство, съезжавшееся раз в несколько лет на фестивали и творческие встречи в одном из пустующих зимой павильонов Бьеннале.

Главным образом зимой. Какими разными были венецианские зимы! Временами, хотя и не часто, сухие и прохладные, как теперь, не слишком солнечные, но просветленные постоянными и ясными воздушными потоками, идущими со стороны морской лагуны. Это были прекрасные зимы, без внезапных мимолетных ливней и затяжных дождей, заполнявших по колено водой всю площадь Святого Марка. Можно было бесконечно бродить по переулкам и берегам каналов, от одной campo[1] до другой, по дороге заходя в церкви или подолгу наслаждаясь фасадами венецианских дворцов, этими чудесами невероятно тонкой архитектурной инкрустации, с тайными волшебными садами, видневшимися за решеткой ограды. И "Флориан" — многолюдный и шумный во время международных встреч, старомодный, элегантный, ярко освещенный.

Сейчас в зале было лишь несколько человек. Один из них, увидев Лукаша и Урсулу, вскочил со стула и бросился к ним с криком: "Лука, Лука!" "Тонино!" — крикнула в ответ Урсула.

Тонино Тонини, самый знаменитый Арлекин в истории театра, волшебный "слуга двух господ" из комедии Гольдони, известный когда-то всему миру, теперь почти такой же старый, как Лукаш или по меньшей мере как Урсула, много раз приезжавший (с труппой венецианского театра) в "The Sea-Gull" Theatre. Невысокий, будто возраст прижал его к земле, однако полный энергии, как сжатая пружина: можно было подумать, что сейчас он совершит один из тех комичных пируэтов, которые когда-то так восхищали зрителей.

За столиком он оживился, много — изголодавшись по общению — говорил, им говорить не давал, смеялся, как и раньше, однако глаз знатока мог разглядеть за этим смехом его истинное лицо: лицо печального клоуна. Что может быть печальнее печали клоуна — не перестающего кривляться, хотя и выжатого до последней капли паяца?

Тонино жил в Венеции один, в просторных и изысканных апартаментах недалеко от Большого канала. Трудно сказать, помнили ли его еще. Он, во всяком случае, делал все, чтобы его забыли. Собственно он перестал жить привычной жизнью, выступая на сцене и общаясь со старыми друзьями, после того как двадцать лет назад от лейкемии умерла его единственная дочь, студенка медицинского факультета, а затем (месяца через три) вслед за ней ушла и ее мать.

В этом непрекращающемся потоке красноречия, чтобы не сказать трепа, в непроизвольной эквилибристике старого тела, в периодических взрывах напускной веселости чувствовалась какая-то цель. Тонино уже не мог переносить свое одиночество — о чем он в конце концов ска-

1. Площадь (*итал.*).

зал открыто — и умолял их, друзей из лондонского театра "Чайка", друзей, которых он "полюбил с момента первой встречи", переехать из гостиницы к нему. Они согласились почти не раздумывая. Если бы мы умели заглядывать в человеческие души, то в душах Лукаша и Урсулы увидели бы похожее чувство: потребность в чьем-то благожелательном присутствии в минуту тяжелого испытания.

На ближайшей к дому Тонино пристани Большого канала мало кто выходил на берег. Окружающие пристань дома производили впечатление неприступной крепости. Полтора десятка каменных ступенек вели к дверям, окованным железом, и предположить, что за ними скрываются богатые и изысканные апартаменты, было трудно. Внутри по обе стороны длинного и темного коридора располагались комнаты, залитые светом из окон, которые выходили на campo. В дом можно было попасть и оттуда, через ведущие с campo широкие двери. Две параллельные анфилады комнат упирались в широкий, засаженный цветами patio[1], над которым был натянут брезентовый навес. Старый стол и массивные лавки свидетельствовали о том, что в хорошую погоду patio мог служить столовой. В одной анфиладе комнат жил сам Тонино, а другую он предложил теперь своим гостям. Четыре большие комнаты были обставлены и тщательно убраны специально к прибытию Лукаша и Урсулы. По некоторым мелочам можно было догадаться, что раньше здесь жила вся семья: Арлекин с женой и дочерью. Оставшись в одиночестве, он перебрался в другое крыло дома, а это плотно закрыл и запер на засов. Было вовсе не удивительно, что у него такие апартаменты в са́мом сердце Венеции. Великий венецианский Арлекин считался одним из самых богатых актеров Италии — он и вправду был очень состоятельным, прежде всего благодаря гастролям. Покоряя публику во всем мире как несравненный интерпретатор комедий Гольдони, он и в жизни был слугой двух господ: жены и дочери. Судьба дала ему знак уйти со сцены и в одиночестве дожидаться смерти в этом наглухо закрытом для посторонних глаз уголке родной Венеции.

В прогулках по городу он стал их постоянным спутником, показывая, на правах коренного венецианца, такие закоулки и достопримечательности, до которых они во время своих прежних, обычно скоротечных приездов не добирались или на которые не обращали внимания. Узнав от Урсулы о цели теперешнего визита и о нависшей над Лукашем опасности (povero Luca![2]), Тонино взялся разыгрывать перед ним роль придворного шута, чтобы вывести его из подавленного состояния. И все же состояние это усугублялось: Лукаша бросало из одной крайности в другую — зрение то улучшалось, порождая радужные надежды, то ухудшалось (порой до полного мрака), приводя его в отчаяние. Отчаяние сводилось к одной мысли: "Я больше не увижу Урсулу". Чем яснее Лукаш осознавал, что от надежды до отчаяния один шаг, тем более эгоистичным становилось его отношение к Урсуле. С детских лет одержимый любовью, из-за которой он постоянно испытывал мучительное чувство вины, отторгаемый Урсулой первые три года их совместной лондонской жизни, теперь, уже на краю могилы, Лукаш был охвачен абсо-

1. Внутренний дворик (*исп.*).
2. Бедный Лука! (*итал.*).

лютно не соответствующей возрасту сентиментальной страстью. Урсула, стараясь по возможности ничем его не ранить, все же не могла избавиться от наплывающего порой страха. На его любовь она отвечала безоглядной взаимностью, хотя порой это бывало довольно обременительно.

С приближением Рождества пустынная до сей поры Венеция начала заполняться приезжающими как со всей Италии, так и из-за границы туристами; шумные толпы появились на площади Святого Марка и в ее окрестностях, у Дворца дожей, на мосту Вздохов, у тюрьмы Пьомби. Трудно стало найти свободное место в ресторане, а у магазинов выстраивались очереди. До начала карнавала было еще далеко, но предваряющие его репетиции отдельными ручейками там и сям вливались в широкий предпраздничный поток. На улицах часто встречались молодые люди в карнавальных костюмах, иногда парами, а иногда и целыми группами. В том, что касается моделей одежды, грима, актерской импровизации и постоянной готовности веселиться и танцевать, венецианская карнавальная фантазия всегда была неисчерпаемой. И если раньше венецианский карнавал служил для случайных партнеров неким промежуточным этапом на пути к альковным утехам, то теперь прежние ритуалы ухаживания ушли в прошлое, а безграничная свобода любви стала напоминать неистовства и безумства в духе Рио-де-Жанейро.

Когда они пробирались сквозь толпу, их часто останавливали. Точнее, останавливали, обнимали и целовали Тонино Тонини.

— Viva il nostro Arlecchino![1]

Когда под вечер они возвращались домой и Тонино наконец оставлял их одних, Урсула укладывала Лукаша (засыпал он хотя и быстро, но только после обязательного поцелуя), сама же, страдая в Венеции от неожиданной бессонницы, ложилась в постель с привезенной из Лондона книжкой. За окном стелилась зимняя венецианская ночь — тьма, приправленная серостью.

С собой она захватила недавно изданную в Лондоне книгу Тони Таннера "Venice Desired"[2]. Таннер, кембриджский преподаватель английской и американской литературы, собрал в ней подробные и благожелательные отзывы о городе, принадлежащие писателям девятнадцатого и начала двадцатого века. Лорд Байрон, Джон Рёскин, Генри Джеймс, Гуго фон Гофмансталь, Марсель Пруст, Эзра Паунд — все они кто в большей, кто в меньшей степени смотрели на мир через призму Венеции.

Однако можно ли вообще говорить о Венеции как о "призме"? Урсула, с ранних лет связанная — через брата, любовника и мужа — с театром, быстро поняла, что это слово хотя и эффектное, но все-таки не совсем подходящее. Ведь каждый писатель из антологии Таннера становился на какой-то период, а иногда до конца жизни, частью Венеции, что давало ему возможность увидеть одно из ее бессчетных лиц. Прав был Томас Манн, когда в новелле "Смерть в Венеции" писал о "самом диковинном из всех городов". Лица, лица Венеции. Не только у этого города в лагуне, но и у всех знаменитых городов есть множество разных лиц, но лишь здесь они исподволь проникают в глубину души тех, кто живет

1. Да здравствует наш Арлекин! (*итал.*)
2. "Венеция желанная" (*англ.*).

в Венеции постоянно или поселяется на какое-то время. Таннер смог без труда написать свою книгу, поскольку ему без труда удалось найти авторов, чье сердце пронзила стрела Венеции. Каждому из лиц Венеции, обращенных будто бы только к тебе, присуще свое, особое выражение. Это действительно "самый диковинный из всех городов", который нельзя сравнить ни с Лондоном, ни с Парижем, ни с Римом или Флоренцией. Как сказал один поэт: "Этот город построен только для меня".

Временами Урсуле казалось, что он построен и для нее, хотя вообще-то она была о себе скромного мнения. Урсула еще не успела хорошо узнать город, который многие сравнивали с живым существом, брызжущим жизнью и одновременно зараженным смертью. Она с волнением читала письмо Рёскина американскому историку искусств Нортону: "Я очень рад, что Вы занимаетесь Венецией. Это одна из прекраснейших тем. Однако для меня она была бы сейчас непосильной". Непосильной для автора "Камней Венеции"! Хотя Рёскин все-таки имел право так написать. Венеция быстро становится слишком обременительна для своих рабов.

Урсула заворочалась в постели, удивившись появившемуся в ее мыслях слову "раб". Ну вот. Хватило нескольких дней, чтобы почувствовать себя попавшей в рабство. Ощущение это, возможно, возникло потому, что ее окружало, затягивало, поглощало и в конце концов отторгало нечто, не свойственное никакому другому городу. Венеция становилась для женщин любовником, а для мужчин — любовницей, создавая при этом иллюзию, что любовь может быть вечной. Для Байрона, например, это была любовь плотская. Нигде и никогда он не предавался страсти так жадно и ненасытно. Им овладело нечто вроде любовного помешательства. В день у него иногда бывало по три женщины, причем из самых разных социальных слоев. Он верил, должен был верить, что это пламя уже никто не сможет погасить. Заманивая к себе женщин с улицы, красивых, но немытых и дурно пахнущих простолюдинок, он любил их так, будто свершался некий ритуал страсти, а не простое соединение тел. Ритуал, нарушить который невозможно.

О том, чем была в Венеции любовь, Урсула знала из книг. Сейчас же на собственном опыте — пусть и превратившись уже в старуху, сопровождающую своего старика, — она ощутила, что любовные флюиды витают здесь в воздухе подобно ядовитым, с гнильцой, летним испарениям лагуны, описанным в новелле Томаса Манна. Вновь и вновь, читая книгу Таннера, она убеждалась в абсолютной уникальности этого города.

"Камни Венеции", соборы, живопись, забавы архитектуры с капризным небом, золотые, сапфировые и яшмовые инкрустации, море, играющее всеми цветовыми оттенками, изгнанный из рая "райский город", мраморный лес построек — во все это глубоко погрузился, стараясь забыть о мире будничном и реальном, Джон Рёскин. Любовь к венецианскому царству искусств поглотила его так же, как Байрона — любовь к женщинам, проплывающим перед ним в нескончаемом хороводе. Рядом с Рёскином была его молодая жена, бедняжка Эффи, с которой он так и не насладился радостями брака. Байрона возбуждало открытое, гладкое и загорелое женское тело; Рёскина поражал "эротизм цвета", он был захвачен художественным совершенством скульптур, картин, фресок, архитектурных силуэтов, то притягивающих к себе, то отталкивающих,

словно бы в ритме сексуального акта. И пусть спустя годы Рёскин стал считать Венецию для себя "непомерно большой" (Венецию, непостижимый до конца шедевр), но, будучи однажды сражен ее величием, ничем меньшим удовлетвориться он уже не мог. Читая в книге Таннера о Рёскине, Урсула на какое-то время погружалась в иную любовь, столь не похожую на плотскую любовь Байрона и столь ей близкую. Этим, по сути, и объяснялось (думала она) неуловимое своеобразие Венеции — города единственного в своем роде: ее материальность обжигала смотрящие на нее глаза и прикасающиеся к ней ладони, а взгляд ее в то же время пытался догнать иллюзорный сон о самой себе. Венеция была городом разных, практически суверенных, независимых друг от друга элементов, мечтающих о том, чтобы слиться воедино. И отличало Венецию от других знаменитых городов, придавая ей неповторимый характер, именно то, что стремление это так и не осуществилось. Венеция осталась городом городов, неподвижным созвездием, каждая часть которого прочно крепится к своему фрагменту небесного свода. Уже перед самым рассветом, засыпая, Урсула вдруг вспомнила английского писателя, не попавшего в антологию "Венеция желанная". Много лет назад — когда театр "Чайка" намеревался ставить пьесу "Адриан VIII" Фредерика Рольфа, барона Корво, — ей предложили прочесть удивительную биографию этого автора под названием "The Quest for Corvo"[1]. Несчастный и вечно неудовлетворенный гомосексуалист, Рольф прожил долгую жизнь и умер в Венеции в нищете, оставив после себя книгу "The Desire and the Pursuit of the Whole". Жажда и поиск целого (то есть полноты), венецианская жажда и венецианский поиск. И поразительное очарование этого "самого диковинного города" основывалось именно на том, что жажда эта так и остается неутоленной, а поиск — безрезультатным.

Перед окончательным погружением в сон, убаюканная тишиной глубокой венецианской ночи, она вспомнила о том, на что обратила внимание еще утром. В хронике новостей культуры "Геральд трибюн" сообщала о завершении подготовки к открытию выставки, приуроченной к столетнему юбилею Борхеса, который мог считать себя сыном Венеции. Все, что осталось после смерти Борхеса, его молодая японская вдова тщательно подготовила для экспозиции в венецианском дворце на Большом канале. "Перед глазами зрителей возродится Венеция Борхеса, — писала газета. И продолжала: — Город, который в одной из новелл он назвал скрещеньем сумерек и хрусталя". "Был ли он уже слеп, когда сочинял эту новеллу?" — задумалась Урсула. И означает ли это, что такой странный симбиоз соответствует ви́дению слепца? И не таки́м ли явится Лукашу "самый диковинный из всех городов", многогранный и вечно искрящийся бриллиант в лагуне, если падуанского чудотворца постигнет неудача? Вечные хрустальные сумерки: с чем-то подобным можно жить, как жил еще много лет великий и слепой Борхес.

Перед тем как погасить свет, она еще раз посмотрела на Лукаша. Он лежал к ней спиной, и его грузное тело почти утопа́ло в мягкой постели. Урсула медленно придвинулась и прильнула к нему, как в молодые

1. "В поисках Корво" (*англ.*).

годы, когда хотела его разбудить, давая понять, что она открыта для атаки страсти. Беззащитная, готовая капитулировать, полная любви.

Назавтра был сочельник. День начался, по предложению Арлекина, поездкой в Лидо и на остров Сан-Джорджо. Затем, решив в конце концов устроить сочельник дома, они отправились на рынок. Атмосфера была праздничной: призывные возгласы торговцев, смех в толпе покупателей, стихийные выступления гуляющих в карнавальных костюмах. Тонино чувствовал себя как рыба в воде. Они бы не удивились, если бы он вдруг исчез и появился через несколько минут в костюме Арлекина.

Погода менялась. Часто выглядывало солнце, воздух был ясным, однако у самого горизонта начали собираться какие-то белые клубы. Туман? Венецианские знатоки метеорологии отвечали загадочно: может, да, а может, и нет; дня через три-четыре можно будет дать более определенный прогноз.

Когда с рынка принесли корзину с продуктами, эстафету по подготовке к праздничному ужину приняла экономка Арлекина, внушительных размеров дама из соседнего дома. Было так тепло, что стол решили накрыть в patio под открытым звездным небом, откинув брезентовый навес.

У Лукаша внезапно резко улучшилось настроение: Урсула давно уже не видела его таким, во всяком случае в последние месяцы в Лондоне. Тонино также, глядя на него, не верил собственным глазам и без конца потчевал его сытными блюдами и густым пьемонтским вином. Урсула не переставала удивляться. "Что случилось, что случилось?" — шумело у нее в голове. Возможно, именно от этого шума голова разболелась, так что после всех праздничных пожеланий она, сославшись на недомогание, отправилась в спальню. Заснула она сразу, но через час проснулась. Ее разбудило пение и веселые возгласы двух мужчин в patio. Впрочем, шум был не настолько сильным, чтобы помешать ей продолжить чтение "Venice Desired" Таннера.

Сначала был Генри Джеймс. Урсулу поразило название главы, в котором Таннер использовал словосочетание "постоянная изменчивость". Венеция была именно такой, все время меняющейся, складывающейся из образов рассеивающихся и мимолетных, всегда готовых уступить место другим. Это наверняка и имел в виду Томас Манн, когда называл ее "самым диковинным из всех городов". Образ обычных городов — и ярких, и бесцветных — складывается у нас постепенно: мы с каждым приездом узнаем их все лучше и лучше, привыкая к ним, словно к знакомым пейзажам. С "постоянно изменчивой" Венецией дело обстоит иначе. Конечно же, к ней мы тоже постепенно привыкаем, однако любой новый приезд напоминает встречу с любовницей, которую знаешь много лет, но которая на каждом свидании меняет свой облик. "А может быть (думаем мы), она вообще другая и мы просто не знаем ее, полагая, что знаем?" Именно это больше всего привлекало Урсулу в Венеции: элемент неопределенности и непредсказуемости в любви. К этому, по сути, она отчасти стремилась, когда в молодости отвергла Лукаша ради Богдана. Однако секретами "постоянной изменчивости" нужно владеть и нужно уметь ими пользоваться, а это вовсе не так просто. Той, кто всю жизнь

хранит верность одному мужчине, в Венеции наверняка будет чего-то не хватать.

Джеймс в Венеции восторгался прежде всего светом. Он называл его "всевластным чародеем" и "при всем уважении к Тициану, Веронезе и Тинторетто высшим по рангу художником, нежели они". Море и небо встречаются на середине пути, порождая ни с чем не сравнимый сплав.

С годами, однако, восхищение стало вытесняться все более и более усиливающимся холодом. Старая Венеция умирала, а возможно, уже и умерла. "От самого меланхоличного города осталось только одно: его собственная, прекраснейшая в мире могила. Только здесь прошлое отправлено на вечный покой с такой нежностью и с такой смиренной печалью воспоминаний. Только здесь реальность выглядит столь чужеродной, напоминая кладбищенскую толпу без погребальных венков". Когда Урсула читала эти слова, у нее колотилось сердце. Она сама ощущала нечто похожее, наблюдая игру красок грандиозной венецианской радуги — от торжественного гимна в честь света до бледнеющих и грустных оттенков декаданса, — однако выразить это в словах, подобно великому англо-американскому прозаику, ей вряд ли бы удалось. Джеймс к тому же открывал Венецию самую старинную, привлекая далекое прошлое к объяснению ее двойственности. Порой Венеция становилась для него таким же мифом, как Москва для чеховских трех сестер. А нельзя ли (спрашивала она себя) перенести в Венецию действие знаменитого рассказа Джеймса "The Altar of the Dead"[1]? Видимо, подспудно думая о такой возможности, Урсула настойчиво предлагала Лукашу идею инсценировки этого рассказа; она представляла себе одноактную пьесу по образу и подобию "Белых ночей" Достоевского — вместе они сложились бы в диптих о любви рождающейся и умирающей. Лукаш отказался наотрез — быть может, из-за нежелания обращаться к теме умирающего чувства. Хотя они вполне могли бы снова сыграть пьесу для двоих: он с цветами на ее могиле и она, точнее, ее призрак, блуждающий за мраморной завесой. А может, его испугала аллегория их собственной странной любви, воплощенной и в то же время постоянно ускользающей — но куда? Алтарь мертвых! Она жила в его объятьях расцветая, чтобы затем угаснуть и застыть любовным надгробьем. Но ведь он хотел жить и любить вечно! Его любовь никогда не остывала, никогда не считалась с тем, что должна рано или поздно состариться, умереть и превратиться в каменный памятник.

Голова ее тяжелела, а книга выскальзывала из рук. Урсула уже готова была заснуть, однако шумное общение Лукаша со своим венецианским другом — обрывки песен вперемежку с пьяными возгласами — не позволяло ей расслабиться и забыться. Она снова открыла книгу; название очередной главы, героем которой был Гуго фон Гофмансталь, сопровождалось интригующим подзаголовком "Ведь там всегда все были в масках". Маску Урсула давно считала квинтэссенцией Венеции.

И именно маска была темой всей главы. Таннер завершал ее замечанием о том, что по джойсовскому "Улиссу" можно реконструировать Дублин 1904 года. После чего добавлял: "Но вряд ли удастся реконструировать Венецию Гофмансталя, самоуничтожающуюся у него и как го-

1. "Алтарь мертвых" (*англ.*).

род, и как его характер". Венеция идеальная, почти абстрактная, лишенная и тела, и духа. Вся суть главы прочитывалась в подзаголовке. Андреас, герой неоконченной новеллы Гофмансталя, "едет в Венецию (на самом деле) потому, что люди там всегда скрываются под масками". Так что Гофмансталь представил Венецию как teatrum mundi[1] – не как колыбель театра или его исток, а как своего рода театральную форму жизни. Карнавальная маска плотно прилегает к лицу, практически срастаясь с ним и становясь новым лицом.

И действительно. Урсула подняла голову от книги; было тихо, слышался лишь размеренный плеск воды, бьющейся о берега Большого канала. Ее охватила внезапная дрожь: то ли страх, то ли тревога. Вдруг тишину нарушил отдаленный звук сирены, сопровождаемый пением и смехом; большая гондола постепенно приближалась к дому Арлекина, все громче звучала музыка, все отчетливее становились слышны перемежаемые хохотом непристойные куплеты. Гондола медленно проплыла мимо окон, были видны лица в масках, а на мачте развевался продолговатый флаг с надписью: СКОРО КАРНАВАЛ, ЖИЗНЬ – ЭТО ТЕАТР, А ТЕАТР – ЭТО ЖИЗНЬ. Когда гондолу накрыл на горизонте всплывший из глубин канала бархатный покров ночи, побежденная сном Урсула наконец выпустила из рук книгу; не выключив настольной лампы, она уткнулась лицом в подушку.

Разбудили ее звуки, больше всего напоминавшие пьяную уличную сцену. Это и вправду оказалась пьяная сцена, хотя и вовсе не уличная. Действие разыгрывалось между окном спальни и креслом Лукаша, в пяти метрах от постели Урсулы. "Тебе нельзя столько пить перед операцией!" – крикнула она, но Лукаш и Арлекин ее даже не услышали. Она посмотрела на часы: было уже три ночи.

Рядом с креслом Лукаша стоял ящик с вином, они пили без всякой меры, а пустые бутылки бросали в канал. Арлекин принес из своей комнаты (или из домашнего архива) множество масок. Они менялись ими, шутливо пикировались, после каждой стычки разражались хохотом и падали друг к другу в пьяные объятия. Арлекин разыгрывал перед Лукашем эффектные сценки, поражая своей прекрасно сохранившейся, несмотря на возраст, гибкостью и ловкостью. Большинство масок представляло собой головы птиц, искусно вырезанные из дерева и раскрашенные в их подлинные цвета. Лукаш долго не хотел расставаться с головой ворона, а Арлекин – с маской стервятника. "Барон Корво, барон Корво, барон Ворон!" – выкрикивал Лукаш, вспомнивший, видимо, об англо-венецианском писателе, который много лет работал здесь над книгами (почему им так и не удалось поставить "Адриана VIII"?), постоянно охотился на красивых местных мальчиков, терпеть не мог женщин, похвалялся – поскольку был католическим семинаристом – знанием литургии, под конец жизни написал свой шедевр "Жажда и поиск полноты", бедствовал, однако возвращаться из возлюбленной Венеции в ненавистную Англию не собирался и однажды утром скончался, сидя на постели и завязывая шнурки. Как и Урсула, Лукаш часто (и даже сейчас, когда был пьян) думал о навязчивой венецианской идее "полноты" (the whole). Не висела ли она в местном воздухе? Бисексуальному Арлекину

1. Театрализованный мир (*лат.*).

по душе пришлась старинная маска венецианской куртизанки, такой уродливой, что аж мурашки бежали по коже. Лукаш же из всего орнитологического богатства выбрал маску птицы, особенно ему дорогой: чайки. Прежде ему не приходило в голову, что внешняя мягкость сочетается в этой птице со скрытой агрессивностью. С чайкой на лице он и оставался до тех пор, пока наконец не заснул в своем кресле. Урсула принялась его раздевать. Они напоминали борцов, сошедшихся в схватке: ворочать Лукаша Урсуле удавалось с трудом, тем более что после попойки тело его заметно потяжелело. Снимая с Лукаша одежду, она целовала его, целовала его старческое тело, как когда-то в далеком прошлом, тихо повторяя: "И все-таки я тебя люблю".

Лукаш так и не встал с постели до самого начала января; его часто навещал Арлекин, кающийся и играющий роль покладистого слуги, преданного только одному из своих двух господ.

Урсула сидела рядом и читала ему вслух английские детективы, которые он всегда любил, и книги о театре из гостиничной библиотеки. Перед операцией зрение у него ухудшилось. Каждый раз, когда ему случалось задремать более или менее надолго, Урсула убегала в город с Таннером в руках. Иногда ее сопровождал все сильнее сокрушающийся Тонино-Арлекин.

Урсула внимательно наблюдала за Тонино. "Не могу его раскусить", — говорила она себе. Взять, к примеру, возраст. Судя по продолжительности карьеры, он был ее ровесником. Однако его юношеская гибкость, его балетная походка, артистичное владение телом — благодаря всему этому он выглядел значительно моложе. В манерах Тонино ощущалось некое мужское кокетство, и Урсула готова была поверить ходившим по Венеции слухам, будто, оплакав смерть дочери и жены, он порой позволял себе утехи особого свойства. То есть, говоря прямо, бисексуальность свою не сдерживал и ночи в опустевшем доме часто проводил не один.

Впрочем, вовсе не это возбуждало ее любопытство. Главной загадкой был Тонино-актер, величайший в мире исполнитель главной роли в комедии Гольдони — единственной роли на сцéне за все сорок лет актерской карьеры. В театральных кругах это вызывало и удивление, и восхищение. Удивление, поскольку он сам отказывался от любых прочих ролей, даже в пьесах самого близкого ему жанра — commedia dell'arte. Категорическое "нет". Он чувствует себя хорошо только в обличье Арлекина и хочет быть только им, хочет умереть "слугой двух господ". А восхищение — ибо роль эту он довел до абсолютного совершенства; и когда всем казалось, что уже ничего нельзя ни убавить, ни прибавить, внезапно появлялась новая деталь, некий неожиданный (или даже невероятный) штрих. Тогда он со смехом заявлял: "Вы считаете, что мой Арлекин завершен. А вот и нет, потому что я сам никогда, до самой гробовой доски, не буду завершен и отшлифован окончательно. Бог всегда придумает и подарит мне что-нибудь новое и до сей поры неизвестное".

Это звучало так убедительно, что все привыкли говорить: "Арлекин получил еще один сувенир от Господа Бога". Однако в серьезных дискуссиях дело не ограничивалось дружескими шутками. Тонино был пред-

ставителем редкого и даже уникального театрального жанра. Он имел полное право считать своим карнавальный лозунг "Жизнь — это театр, а театр — это жизнь". Он год за годом терял присущие ему индивидуальные черты, которые постепенно замещались чертами его сценического персонажа. Тонино Тонини переставал существовать, а на его месте возникал Arlecchino, servo di due padroni[1]. Возникал, ставя под сомнение саму идею театра. Ситуация, воссоздаваемая средствами драматургии, — всегда в той или иной степени отражение реальной жизненной ситуации. В разных формах: в стихии человеческих страстей, как у Шекспира, в трудноуловимой зеркальной игре между реальностью и вымыслом, как у Пиранделло, в покорном и скромном вслушивании в драму, вырастающую из обыденной жизни, как у Чехова. Но чему должен служить в театре — среди прочего и в commedia dell'arte — неизменный сценический образ, пусть и достигший совершенства, но все же неизменный (или меняющийся почти неощутимо)? Не сопряжено ли это неизменное совершенство с риском выхода за границы театра, туда, где актер из сценического персонажа превращается в персонаж реальной жизни, обладающий полным набором обыденных — как забавных, так и трагических — черт?

Венецианского Арлекина горячо любили. Со сцены он сошел неожиданно, в расцвете сил, попросту сказав: basta. Через несколько лет (уже после описываемых здесь событий) он столь же неожиданно сошел и с жизненной сцены, также в расцвете сил, оставив в завещании образец текста для своей надгробной плиты на венецианском кладбище: Arlecchino, sempre Arlecchino[2].

Может быть, театр — это своего рода монастырь? Но он не был таковым ни для Урсулы, ни для Лукаша. Он был их любовью и верой. Они преклоняли колена перед алтарем, произносили короткую молитву и, перекрестившись, шли дальше, не забывая, в чем воплощена для них самая высокая, хотя и далеко не всепобеждающая, любовь.

В гостиничной библиотеке Урсула нашла нашумевшую когда-то книгу английского театрального "реформатора" Гордона Крэга о "монументальном театре". В варшавские студенческие годы Лукашу уже приходилось с ней сталкиваться, поскольку ее высоко ценил Гиллер. Не зная английского, Лукаш просматривал выполненные Крэгом эскизы декораций. Они показались ему смешными. Любой "монументализм" выглядит в театре напыщенно и убивает его суть. Однако Лукаш не решился тогда вступить в спор с Гиллером, который как раз поставил по книжному рецепту лондонского миссионера одну знаменитую польскую национальную драму. "Театральный монументализм" был принят прохладно, поскольку считавшаяся "национальной" польская драма не вписывалась в своеобразную стилистику "декламирующих скульптур". Чтобы сохранить реноме "волшебника театра", бедному Гиллеру пришлось постараться как можно быстрее загладить свой промах. На помощь ему пришел "Наш городок" Торнтона Уайлдера — с актерами, меняющими декорации и расставляющими сценический реквизит. Эта хотя и не

1. Арлекин, слуга двух господ (*итал.*).
2. Арлекин и только Арлекин (*итал.*).

слишком изощренная уловка все же смогла отвлечь на себя внимание критики и публики.

Английская книга, которую принесла Урсула, заканчивалась своеобразным "венецианским проектом" (наверное, поэтому кто-то и подбросил книгу в гостиничную библиотеку). Идея новаторского проекта Крэга состояла в том, чтобы поставить "Лоренцаччо" Мюссе в Palazzo Ducale, Дворце дожей. Лукаш, sir Luke, внезапно загорелся (может быть, по причине болезни?) этой идеей, которую самому "новатору" так и не дали реализовать. Было 4 января. Он встал с постели, все еще слабый, и категорически потребовал отправиться во Дворец дожей на "осмотр площадки". Урсула и Тонино вели его под руки.

Они вели его, дрожа от страха. Пока Урсуле удавалось избегать художественных галерей со знаменитыми полотнами и фресками: она понимала, что увидит Лукаш немного, а невозможность увидеть больше серьезно его расстроит. Теперь же с самого начала, от Scala del Giganti[1] при входе во дворец, опасность этого проявилась в полной мере. Освободившись от посторонней поддержки, Лукаш уверенным шагом поднимался по высоким ступеням; казалось, он сам чувствует себя одним из гигантов. Не осмеливаясь ему мешать, они шли чуть позади, как пара телохранителей. "Эта лестница — хорошее место, — тихо бормотал он, обращаясь скорее к себе, нежели к ним, — для "Лоренцаччо" было бы в самый раз. — И, подумав, добавил: — Но нужно посмотреть и залы, нужно посмотреть и картины". Возможно, уже толком и не помня пьесу Мюссе, но тем не менее охваченный неожиданным порывом, он все убыстрял шаг. Не поспевая за ним, Урсула провожала его испуганным взглядом; Тонино бежал с ним рядом, как преданный пес.

Залы выглядели вполне подходяще. Урсула с путеводителем в руке читала их названия: Зал Совета десяти, Сенат, Зал Большого совета, Зал щита, Зал философов, — а Лукаш спокойно слушал, временами удовлетворенно улыбаясь. Идея английского театрального теоретика захватывала его все больше и больше. "Лоренцаччо, Лоренцаччо", — триумфально шествовал он под трубный глас этого имени.

Однако у картин случилась катастрофа. Урсула снова поясняла: Тинторетто, Веронезе, Бассано, Карпаччо, Тициан. Но этого ему не хватало. Он подходил к полотну совсем близко, вызывая неудовольствие смотрителей, пытался рассмотреть изображение, едва не касаясь холста ресницами, и пару раз даже пытался его потрогать. Отходил от картины Лукаш с явным раздражением, и теперь сопровождающим уже приходилось крепко его держать. Урсула пыталась его успокоить: "Лукаш, Лукаш, дома я все тебе расскажу". Это, видимо, рассердило его еще больше; быстрым шагом, увлекая за собой Урсулу и Арлекина, он вернулся на самый верх Scala del Giganti. Там он, собрав все силы, вырвался из объятий сопровождающих, вознамерившись спуститься самостоятельно, но... споткнулся и покатился вниз. Поднимающиеся наверх туристы поймали его на следующей лестничной площадке. Урсула склонилась над Лукашем, а Арлекин приподнял его голову; падая, Лукаш содрал кожу на лбу, и из ранки текла кровь. Прибежал дежурный санитар. К счастью, ничего страшного, если не считать многочисленных ушибов на всем

1. Лестница Гигантов (*итал.*).

теле, не произошло. После оказания первой помощи их отвезли домой к Арлекину. Похоже, что весь инцидент был следствием временного помрачения сознания с момента входа в Palazzo Ducale. А возможно, и с момента новой встречи — после многолетнего перерыва — с книгой Крэга.

Одними синяками дело не ограничилось. В таком возрасте любое наружное повреждение может сказаться на состоянии внутренних органов. Лукаш был не в силах даже приподнять голову, чтобы удобнее улечься на высоких подушках. Он наконец начал понимать, что его идея отправиться во Дворец дожей была безумием: он на время просто лишился рассудка. И Лукашу стало стыдно: он, режиссер с мировым именем, законодатель театральной моды, *гуру* для начинающих, позволил себе на старости лет клюнуть в Венеции на английскую приманку, которую пренебрежительно отверг бы любой молодой студент варшавского Института театрального искусства. Он лежал молча, постанывая временами от боли и опустив веки, чтобы не встречаться глазами с Урсулой и Арлекином. Однако даже взгляд из-под полуприкрытых век позволил ему оценить, насколько накануне операции ухудшилось его зрение: еще недавно он без труда мог прочесть большую неоновую вывеску Assicurazoni Generali[1] в глубине квартала, в каких-то трехстах метрах от квартиры Арлекина. Теперь же яркая надпись выглядела как заходящее за облака солнце.

Урсула сидела у его постели, поглаживала лежащую на одеяле руку, иногда вставала, чтобы поцеловать его в лоб и губы, — так она не только проявляла нежные чувства, но и пыталась отогнать тревожные предчувствия. Операция была назначена на седьмое января, а сегодня было пятое. Что делать, что делать? Она знала, что десятого января профессор Антинори улетает в Америку читать лекции в университетах. Они с бедным Лукашем оказались в тупике. Неужели напрасно ехали в Венецию и Падую и в Лондон придется возвращаться ни с чем?

За чашкой кофе в patio она поделилась своими опасениями с хозяином. Тонино пользовался в Венеции огромным уважением. Она уже успела понять, что всю общественную жизнь итальянцы выстраивают, по сути, на системе рекомендаций и протекций. Для Антинори и его команды было, безусловно, большой честью то, что к ним из Лондона приехал sir Luke; они прекрасно помнили, как много писала пресса о лечении и операции жены Сахарова. Однако все соображения такого рода в Италии быстро забываются. Куда важнее авторитет известных личностей. Арлекин нанес визит Антинори, который хотя и имел клинику в Падуе, но жил с семьей в Венеции. И уже ранним вечером Урсула провела их обоих в спальню, где лежал покалеченный Лукаш.

Знаменитый окулист довольно внимательно осмотрел своего пациента. По мнению врача, трогать Лукаша не стоило, поскольку переезд — по воде, а затем по суше — в Падую мог вызвать внутреннее кровоизлияние, а оно, пусть даже незначительное, сделало бы операцию невозможной. "Maestro, — обратился он к хозяину, — я могу отложить операцию, но только на один день. Оперировать будем 8 января. Накануне, с ваше-

1. Всеобщее страхование (название государственной страховой компании) (*итал.*).

го, maestro, позволения, мои сотрудники оборудуют здесь операционную. По дороге сюда я видел большой и хорошо освещенный patio. Если будет холодно, мы закроем его навесом. Но пока холодного января прогнозы нам не обещают".

Урсула и Тонино проводили благодетеля до пристани на Большом канале.

7 января ранним утром из Падуи приехала бригада профессора Антинори: молодой врач, ассистент и медсестра Ивонна. Уже к обеду операционная была готова, и они отправились обратно в свою клинику. 8 января, тоже с самого утра, должен был появиться Антинори.

До Лукаша доносились отголоски суеты в patio, он прикидывался спящим и крепко закрывал глаза, будто пытаясь таким способом лучше подготовиться к тому, что его ждет. Страха он не испытывал, хотя и понимал, как много зависит от этой рискованной попытки. Если операция окажется неудачной, то он никогда больше не увидит Урсулу и ему придется на ощупь убеждаться, что она по-прежнему рядом, днем и ночью. А если удачной — то он может прожить еще несколько лет, чтобы под конец бросить на нее прощальный взгляд. Мысли о том, что Урсула умрет первой и оставит его одного, Лукаш избегал и боялся. Многие годы, наверное еще с рыбицких времен, Урсула была источником его жизненной силы. Хотя и с перерывами, но все же. Насколько это объяснялось любовью, а насколько — привычкой? На склоне лет в привычку превращается и сама любовь. Удивляло его одно: поразительно сильный страх перед тем, что в эпилоге тебя ждет одиночество. Лукаш слегка улыбнулся: можно было бы сказать "в последнем акте", но "эпилог" он счел более подходящим словом.

Временами он проваливался в короткие, мимолетные сны, которые, что любопытно, сопровождались порой столь же короткими и мимолетными воспоминаниями. И вспоминались вовсе не какие-то важные события их жизни, скорее в голове, мгновенно исчезая, проносились отдельные образы. Молодые годы в Рыбицах: река, поле, мельница, усадьба, контора. Дорога к вокзалу в Седльце. Мелькнула оккупированная, а затем восставшая Варшава, чуть медленнее проплыли мытарства в Германии, затем, уже быстрее, — послевоенный Лондон и бедная, наполненная неприязнью Урсулы комнатка в Камден-тауне. Все относившееся к театральной учебе было затянуто туманной дымкой; зато из тумана вдруг всплыл момент их лондонского воссоединения в оправе "белых ночей". И все это время ныла под кожей старая заноза: излучина рыбицкой реки...

Не сумев справиться с мукой ожидания, Урсула оставила Лукаша на попечение Арлекина и выбежала на улочку, которая извилистым путем вела к Академии. С Лукашем Урсула не ходила по художественным музеям, теперь же, освободившись на пару часов, она позволила себе расслабиться перед своим любимым полотном. Перед загадочной "Грозой" Джорджоне, перед изображенной на картине парой, которая, когда на нее ни посмотри, всегда выглядит иной. Обнаженная женщина с младенцем казалась частью пейзажа, плодом щедрой земли, омытым дождем. Ах, все было бы по-другому, если бы она не потеряла в Гродно ребенка! А может быть, это и к лучшему? Может, ребенок от родственно-

го союза стал бы их вечной мукой? А был ли частью того же пейзажа опирающийся на длинную палку мужчина? И да, и нет. Как будто гроза не задела его. Он что-то символизировал — так же, как и обнаженная мать. Но что? Хотя главное на картине — все же пейзаж после грозы: свежий и ясный после дождя, плодородный и животворный пейзаж. Он не исчезнет никогда. Джорджоне удалось достичь того, к чему он наверняка стремился, — показать, что бессмертие природы и смертность человека неотделимы.

Урсуле редко случалось думать о Лукаше и о себе как о крепко связанных узами брака супругах. Да, конечно же, она его любила, и с каждым прибавляющим старости годом — все больше. Однако при этом чувствовала все яснее и яснее, что любовь эта складывается из двух чувств, одновременных и вместе с тем, казалось бы, несовместимых. Она была его женой и его сестрой. Но она не была его женой-сестрой. Когда-то она читала прекрасную новеллу о такой же паре, жившей много веков назад, и была потрясена не только эмоциональным драматизмом этого союза, но и тем, сколь ловко писательнице удалось представить грех как добродетель...

Ночь перед операцией отчасти напоминала утонченную психологическую пытку. Повернувшись спиной к окну, Лукаш слабеющим взглядом впивался в Урсулу, которая, не раздевшись, лежала на своей постели. Чтобы избавиться от неизбежной боли, она смотрела не на него, а в окно, за которым, подобно быстро плывущим облакам, отдельными полосами тянулся туман. По сводкам метеорологов, сгущающийся туман к утру мог накрыть всю Венецию, небо над которой в первые дни месяца было таким ясным.

На Лукаша периодически набегали волны неглубокого сна, то и дело выбрасывавшие его на островки воспоминаний. Островки эти, как и прежде, располагались где-то в его рыбицкой молодости. Может быть, в минуты опасности человек действительно всегда вспоминает свои первые важные поступки? Возможно, судьба заставляет нас вновь обратиться к неверным шагам, впоследствии обернувшимся серьезными ошибками? Хотя если говорить о Лукаше, то его молодые годы прошли пусть и не без печали — из-за родителей, — но все же намного лучше, чем у многих его ровесников. Если бы не сломанная и плохо сросшаяся нога, он был бы брызжущим энергией здоровяком, смелым и предприимчивым, полным жизненной силы. А часто ли молодой человек влюбляется в девушку сразу и на всю жизнь? Ну и пусть в сестру — у него на этот счет не было никаких предрассудков. Так почему же рыбицкие пейзажи и рыбицкая молодость вызывали у него теперь, на пороге смерти, внезапные и столь глубокие приступы меланхолии? Может быть, потому, что... Жизнью — и своей, и Урсулы — он управлял как опытный рулевой, что давало ему право испытывать не просто удовлетворение, а гордость. Однако все благолепие отравлялось существующей где-то подспудно и не желающей исчезать каплей яда. Люди любят друг друга, вместе живут, с годами их любовь становится все сильнее и глубже, но все же они почему-то никогда не срастаются настолько, чтобы сама мысль о расставании порождала страшные физические мучения. Может быть, из его жизни, в целом удавшейся, выпал

естественный для других процесс подготовки к смерти и к разлуке с самым близким человеком?

Урсула, не отрывая глаз от проплывающего за окном тумана, в своих воспоминаниях тоже (будто читая его мысли) скользила по ушедшим годам. Она не боялась расставания, она только хотела, чтобы он ее опередил, так как была уверена, что справится с одиночеством. Ее мучило нечто иное, что могло бы испугать Лукаша, если бы она ему в этом призналась. Она любила его, но чувство это временами уходило в тень. Порой она осознавала, что ее любовь не была столь же чистой и безоглядной, как его. Иногда ей на миг являлось иное обличье того же чувства. Такое, что его уже нельзя было назвать просто любовью. И именно это заставляло ее в последнее время все чаще вспоминать, что они все же брат и сестра. Впрочем, имело ли это сегодня хоть какое-то значение? Мужу скоро 85, жене — 77. Какой смысл на склоне лет переживать, что из всех заработанных в жизни денег половина оказалась подельными? Ведь все — или почти все — уже потрачено.

Лишь далеко за полночь Лукаш наконец заснул по-настоящему крепко; он дышал, смешно присвистывая, и во сне ощупывал руками те места, которые все еще болели после падения во Дворце дожей. Наверное, он к тому же еще был голоден, поскольку профессор строго-настрого запретил есть накануне операции.

Она встала и опустила жалюзи, инстинктивно опасаясь, что он может увидеть туман. Затем села на постель и, обняв его большую голову, покрывая поцелуями опухшие щеки и плотно закрытые глаза, зарыдала так громко и надрывно, что наверняка должна была его разбудить. Однако он спал крепко и поэтому не услышал, как прорывается сквозь плач странная молитва, в которой настойчиво повторяется его имя: “Лукаш, Лукаш, мой Лукаш, мой любимый Лукаш”.

На рассвете первой пришла Ивонна, разбудив Урсулу, которая открыла ей двери. Медсестра, молодая и симпатичная женщина, француженка, села в углу patio, вынула из сумки какие-то инструменты и разложила их на столике. Было еще рано, и она, развалившись на старовенецианской деревянной лавке и склонив голову на грудь, явно усталая и невыспавшаяся, задремала. Урсула посматривала на нее с неприязнью.

Ивонна походила на один из тех часто встречающихся в повествовании персонажей, кого можно сопоставить с ружьем на стене в чеховских пьесах: если автор его повесил, то под занавес оно обязательно выстрелит. Подобному персонажу в соответствующий момент надлежит сыграть важную роль, хотя зритель может и не связывать с ним таких, как с чеховским ружьем, ожиданий. Именно поэтому из всех сотрудников профессора Антинори только Ивонна названа здесь по имени.

Выпускница школы медсестер в Руане, она несколько лет назад приехала в Венецию на летние каникулы в составе туристской группы. А после каникул из сентиментальных побуждений осталась в Венеции, переехав затем в Падую, где профессор Антинори взял ее в свою глазную клинику. И хотя поначалу она, как и прежде в Венеции, старалась быть скрытной и осторожной, однако вскоре всем стало известно, что ей свойственна та слабость к мужчинам, благодаря которой женщина зарабатывает репутацию нимфоманки. Партнеров она искала главным

образом в Венеции где ее знали не так хорошо, как в Падуе, однако в падуанской клинике поговаривали о ее мимолетном романе с директором, который жил в Венеции с женой и уже взрослыми детьми.

На операцию она приехала рано, потому что провела бурную и бессонную ночь в маленькой венецианской гостинице. Нимфомания, как утверждают знатоки, на определенной стадии приводит не столько к сексуальному пресыщению, сколько к постоянно растущему физическому переутомлению. Тело будто постепенно отходит, отключается от личности. В запущенных случаях гипертрофированный сексуальный инстинкт атрофируется. Писатели любят использовать оборот "сексуальная скука". Но дело вовсе не в скуке. Происходит своего рода распад личности, одно из проявлений которого – прогрессирующая рассеянность.

Вот зачем и нужно было то самое чеховское ружье, висящее на стене, чтобы выстрелить в последнем акте. Неизвестно, что на самом деле произошло в кульминационный момент операции. Известно лишь, что Антинори внезапно зашипел как ошпаренный и грубо оттолкнул Ивонну от операционного стола. А погруженный в глубокий наркоз Лукаш даже не шелохнулся.

Несмотря на горячие просьбы, Урсуле не позволили находиться в patio. Из-за густого и влажного тумана перед началом операции над patio натянули брезентовый навес. После операции Антинори заклеил глаза Лукаша широким пластырем до самого темени, после чего забинтовал всю верхнюю часть головы. Повязку и пластырь он обещал снять через двадцать четыре часа, непосредственно перед своим отъездом в Америку.

После того как врачи ушли, Урсула попросила Арлекина снять брезентовый навес над patio и оставить ее одну со все еще не вышедшим из наркоза Лукашем.

Как случается порой в Венеции, густой туман, слегка рассеявшийся и даже пропустивший вниз немного анемичного солнца, затем, будто вздувшийся и вытесненный наверх, бережно окутал весь город белым покрывалом.

Сидя на высоком табурете у изголовья кровати, Урсула дважды пыталась положить голову на подушку рядом с головой Лукаша. Из этого ничего не вышло, и ей осталось лишь с болью смотреть на узкую полоску лица, не закрытую повязкой. Неизвестно почему, – ведь Урсула не была свидетелем сцены, разыгравшейся между Антинори и Ивонной, – но она была уверена, что иллюзиями себя тешить не следует. Если операция действительно оказалась неудачной, то перед ней лежит полумертвый любовник, муж и брат. Во что превратится их жизнь в Лондоне? Урсула оцепенела при одной мысли о том, что Лукаш больше не сможет ее *видеть*. Она попыталась представить себе остаток их жизни в Уимблдоне. Лукаш, которого Урсула и Мэри водят под руки, тяжелый и грузный, раздражительный и склонный к агрессивным вспышкам гнева по мельчайшему поводу. И все же! Все же, кто знает, может быть, именно теперь, когда до конца жизни ему суждено оставаться ее ребенком, она любила его сильнее, нежели раньше, когда они были и родственниками, и супругами. Урсула внезапно поняла, насколько переменчиво складывались их отношения, несмотря на казавшееся очевидным (за исклю-

чением небольших перерывов) постоянство. Их небольшая семья возникла, по сути, в полном отрыве от любых других родственных связей. Его русская мать-актриса пропала без следа в России, их общий отец погиб на войне, а ее мать — если она вообще еще жива где-то там в Израиле — никогда не пыталась отыскать свою дочь. Вот так, вдвоем, они и пойдут вместе — но вместе ли? — до самого конца. Размышляя об этом, она ощутила прилив невероятной нежности и снова принялась, повторяя его имя, целовать повязку.

Арлекин принес ей какую-то еду, но есть она не хотела. Для него это было хорошим предлогом, чтобы лишнюю минуту побыть вместе с ней в patio. Ей же его присутствие было ни к чему, и она лишь попросила, чтобы он прогнал с улочки под окном галдящую и поющую компанию в карнавальных костюмах. Сделать это ему удалось неожиданно легко. На своем обществе он не настаивал и ушел из patio к себе.

Урсула заснула, прислонясь к изголовью постели Лукаша. Проснувшись вечером, она перетащила из спальни большое удобное кресло. В нем она спала всю ночь и все утро, почти до полудня, время от времени пробуждаясь (и тогда перебираясь на табурет рядом с постелью), а затем снова погружаясь в сон, свернувшись калачиком под пледом в кресле. Неоновая вывеска Assicurazioni Generali все еще казалась расплывшимся красным пятном, и это означало, что туман пока не рассеялся.

Профессор Антинори, уже всецело поглощенный подготовкой к своему американскому путешествию, пришел позже, чем обещал, — только в два. На лице его прочитывалось кроме спешки что-то еще: не то смущение, не то тревога. Он разрешил Урсуле помочь ему снять повязку и отклеить пластырь, закрывавший глаза Лукаша после операции. Он также не только разрешил, но и настоял на том, чтобы в этом участвовал Арлекин, — вероятно, не желая оставаться один на один с пациентом и его женой. Антинори пришел без своей бригады, которая должна была забрать оборудование импровизированной операционной вечером.

Уже в течение двух часов, начиная с полудня, Лукаш жестами и телодвижениями давал понять, что постепенно выходит из наркоза. От полудня Урсула стояла у его изголовья и произносила какие-то обрывочные и бессвязные фразы, говорила что попало, веря в то, что любые слова, лишь бы они звучали нежно и ласково, обладают способностью усмирять боль. Когда наконец появился Антинори, она перешла к изножью кровати. Арлекин стоял сбоку, чуть поодаль.

Руки профессора быстро и ловко управлялись с многочисленными слоями бинта, и вскоре открылось лицо Лукаша с заклеенными пластырем глазами, лицо осунувшееся, небритое и очень старое; Урсула жалобно простонала: “poor Luke” и тут же: “бедный Лукаш”.

Пальцами в резиновых перчатках Антинори поочередно с двух сторон аккуратно отклеивал пластырь, время от времени останавливаясь и впрыскивая под повязку голубую жидкость. Минуты тянулись немилосердно медленно и казались Урсуле часами. Наконец появились закрытые глаза Лукаша. Закрытые крепко-накрепко, будто он никогда больше не собирался их открывать. Но тут же веки слегка дрогнули и разомкнулись. С заметным усилием, при помощи врача, Лукаш сел и несколькими рывками запрокинул голову. Урсула не ошиблась: на его лице была

улыбка. Слабым, но радостным голосом он воскликнул: "В Венеции белая ночь!" Урсула бросилась к изголовью и, приподнявшись на цыпочки, руками обняла его за шею. Он ответил ей тем же. Как когда-то в молодости, в Гродно, они жадно осыпали друг друга поцелуями, а их голоса сплелись в совместном возгласе: "В Венеции белая ночь!" Она первой дополнила это восклицание: "Белая ночь любви!" Антинори и Арлекин удивленно наблюдали: когда же это закончится? Потом Антинори деликатно отвел Урсулу в сторону и, обняв ее за плечи, шепнул на ухо: "Нам нет оправдания. Ваш муж слеп".

Два эпилога

Конец? Одному Богу известно, что такое настоящий конец.
А порой неизвестно и Ему.

Венецианский аноним, XVII век.

Жизнь есть сон

До венецианского аэропорта слепца вместе с Урсулой сопровождал Арлекин, которому разрешили пройти и до трапа самолета. Лукаш шел медленно и осторожно, высоко поднимая ноги. Голову он неестественно задирал вверх, будто, как прежде, благодарил со сцены публику за продолжительные аплодисменты. У трапа они остановились. После секундного замешательства Арлекин опустился на колени и губами прижался к руке Лукаша. Похоже, этот жест смутил его самого; забыв, во всяком случае, попрощаться с Урсулой, он быстро направился к зданию аэропорта. При входе на трап Лукаша взяли под свою опеку две стюардессы, которые проводили его до места у окна.

Самолет стартовал в полдень, с небольшим опозданием, дождавшись, видимо, того момента, когда туман немного рассеялся. Лукаш буквально прилип лицом к круглому окошку. И деликатно, но решительно высвободил свою руку из руки Урсулы. Она владела собой достаточно хорошо, чтобы вовремя перехватывать нескромные взгляды соседей. Однако со своими глазами, на которые навернулись слезы, справиться она не могла.

В голове непрестанно проносились вопросы: что будет теперь? чем станет для Лукаша его слепота? не отдалится ли он от нее, не уйдет ли из их жизни, спрятавшись за стеной темноты? Она уже определенно решила бросить работу в администрации "The Sea-Gull" Theatre, чтобы быть рядом с Лукашем днем и ночью. Выдержат ли они оба подобную близость? Материальных проблем у них не будет, и даже Мэри они смогут у себя оставить. Лукаш помимо пенсии получал со всего мира авторские отчисления за использование своих сценических идей; она же могла рассчитывать на приличное выходное пособие.

Но как при этом жить по разные стороны черной пропасти? Сможет ли он воспринимать ее старческую нежность, если не способен будет видеть оттенки выражения ее лица? И как научиться читать по его лицу?

В конце концов Урсула откинулась на мягкую спинку кресла и неожиданно провалилась в самые глубины сна. Она не слышала периодических сообщений о ходе полета и пропустила предлагавшийся обед.

Спала она крепко, без сновидений, будто отсыпаясь за все долгие бессонные венецианские ночи и полные нервного напряжения дни. Выпрямившись в кресле, она ни разу не склонила голову на плечо Лукаша, сидевшего неподвижно и будто привинченного к своему окошку. Видел он там то же самое, что и остальные пассажиры, — белую пустоту.

В мыслях он постоянно возвращался к завершившейся поездке, подробно вспоминал отдельные ее эпизоды, инстинктивно стараясь при этом не приближаться к порогу их жилища в Уимблдоне. Лукаш боялся возвращения, которое теперь, с учетом новых обстоятельств, было уже не возвращением, а приездом в некий чужой дом. Не в силах выразить это ощущение словами, он все же понимал: придется привыкать к тому, что знакомое окружение станет для него чужим. А Урсула? Изменилось ли что-нибудь после "белой ночи любви" в Венеции? Да. Впервые за много-много лет (и впервые с такой силой и ясностью) он почувствовал, что она его покинула. И не знал, где и как ему искать убежище от неотвратимого одиночества.

Внезапная гроза над Англией заставила самолет приземлиться в Гатуике[1]. Пассажирам был предоставлен поезд до Лондона. Урсула купила несколько английских газет и села в углу у окна, напротив Лукаша. Хотя он об этом и не просил, но газеты она принялась читать вполголоса. Лукаш, однако, сидел как глухой, снова уткнувшись в окно, заливаемое на этот раз дождем. Он снова вглядывался в белую пустоту, озвученную теперь стуком капель по стеклу. В купе было тихо, лишь парочка в противоположном углу время от времени прерывала свои затяжные поцелуи любовными признаниями. Когда проводник объявил, что поезд отправляется, молодой человек распахнул двери старомодного вагона и спрыгнул на перрон, не прекращая при этом своей пылкой тирады. Девушка махала ему рукой, пока поезд не тронулся, после чего уставилась на Лукаша и Урсулу. Взгляд ее был любопытным и даже нахальным; смутившись, Урсула прервала чтение, а Лукаш продолжал не отрываясь смотреть в окно. Урсуле почему-то стало немного стыдно — такое чувство нередко возникает у тех, кто опекает или просто сопровождает калек. "К этому тоже придется привыкнуть", — подумала она.

Двери домика в Уимблдоне им открыла Мэри, которую они предупредили о своем возвращении. Текст приветствия она, похоже, выучила заранее и теперь непрерывно его повторяла, что явно раздражало Лукаша. Our darling sir Luke. Welcome, welcome[2]. Поднявшись наверх, он лег в постель со вздохом облегчения. От ужина отказался. На ощупь обнаружил, что Мэри раздвинула их постели, о чем наверняка попросила по телефону Урсула. "Развод", — прошептал он. Впрочем, ни малейшего намека на боль он не почувствовал. Напротив, он чувствовал себя намного более умиротворенным, чем в Венеции. Дома, наконец-то дома. "Моя единственная задача теперь — быстро и спокойно умереть".

Еще какое-то время Лукаш думал над тем, не может ли он завершить свою безмолвную автобиографию именно сейчас, когда его сразила слепота. Но нет, нельзя ничего рассказывать, даже молча, если не видишь того, что тебя окружает. Он понимал, что это не так, но понимал также, что

1. Крупный международный аэропорт к югу от Лондона.
2. Наш дорогой сэр Люк. Добро пожаловать, добро пожаловать (*англ.*).

доля истины в этом соображении все же есть. Трудно объяснить почему, но картина окружающего мира придает повествованию, даже ненаписанному, дыхание жизни. В нем проснулся человек театра. Смогли бы играть на сцене слепые актеры, даже безошибочно разучив все свои движения? Нет, не смогли бы — их голосу не хватало бы глубины. Глубины? Да, в голосе без глубины есть какая-то фальшь, словам слепого трудно поверить, они пусты и бессодержательны. Вот какую цену пришлось заплатить за неудачную операцию. Оказывается, и говорить можно на ощупь.

Усталый, разбитый, уже почти не встающий с постели и не слишком обремененный общением с домашними, через неделю он внезапно почувствовал, что есть еще слабая искра надежды. После операции в Венеции он все время спал без сновидений. Но вдруг на рассвете (о том, что это рассвет, Лукашу сообщил телефонный будильник внизу, в комнате Мэри) он заснул как-то по-иному. Быстрый и живой сон вернул его в общество людей. Он *видел* их. Видел прежде всего Урсулу, молодую, улыбающуюся и вместе с тем волнующуюся, в Гродно на репетициях "Белых ночей". Тогда она стала его любовницей, его женой. Она обняла его руками за шею и легла рядом с ним, покорная и ждущая, а он видел мельчайшие жилки вокруг ее закрытых глаз. Сон продолжался одно мгновение, но волна счастья успела всколыхнуться в нем, подкатиться к пересохшему горлу. Пробудившись, он громко сказал в пустоту: "Жизнь есть сон. Во сне я не слеп". Толком не проснувшаяся Урсула завороча-лась и спросила: "Лукаш? Тебе что-то нужно?" А затем, уже в абсолютной тишине, он услышал — несмотря на прогрессирующую глухоту! — шорох шин на мокром асфальте; утренний автобус притормозил перед поворотом. Он восторженно улыбнулся своему великому открытию.

Чем дальше в лес сна, тем более разнообразными становились *виденья*. Хотя и оставались, к сожалению, обрывочными и хаотичными, будто жизнь играла в разбросанные кубики. Причем взятые из разных периодов, начиная от раннего детства и вплоть до приезда в Венецию, только до приезда.

Все это было где-то зарегистрировано, зафиксировано, будто на кинопленке, которую сон лишь проявлял. Временами пленка засвечивалась, а изображение получалось фрагментарным, рваным и с белыми пятнами в самых интересных местах. В кадр, например, не попала голова его матери-россиянки в тот момент, когда она бросилась с поцелуями к своему единственному малышу. К тому же практически весь фильм оказался немым и лишь изредка озвучивался невнятными голосами. Отдельные неясные слова доносились из-за дверей спальни, где между родителями произошел последний скандал. Из более поздних лет хорошо сохранились разве что рыбицкие пейзажи. И еще Урсула — подрастающая, расцветающая. А вот ее матери пробиться в сны так и не удалось.

Потом была учеба в Варшаве, война, бегство в Гродно, гастроли в Ленинграде, возвращение в Варшаву, восстание, дорога через Германию, Англия и Лондон, театр "Чайка" — все это, хотя и в отрывках, вперемешку и с нарушением всех законов времени, оказалось настоящим бальзамом на раны. "Жизнь во сне" превратилась для него в наркотик. Он инстинктивно скрывал это от Урсулы, которая днем могла теперь видеть его улыбающимся, спокойным, предупредительным и порой почти как

прежде нежным. А вот Мэри он в свою тайну посвятил, и теперь она в секрете от хозяйки покупала ему снотворные таблетки — на случай, когда механизм восстанавливающегося во сне зрения переставал работать или начинал пробуксовывать. Таблетки эти — а со временем их становилось все больше — он хранил в запиравшемся на ключ ящике ночного столика. Урсула была уверена, что он держит там свои личные документы и деньги.

Если бы его наблюдал врач, он непременно задумался бы над тем, в чем причина прогрессирующего ослабления организма. Возрастом объяснялось многое, но не все. Лукаш спал также и днем, все меньше ел и отказался от коротких оздоровительных прогулок. Он не выходил даже в сад. Их с Урсулой жизнь после долгих лет большой, сохранившейся до старости любви стала напоминать совместное пребывание малознакомых людей в доме престарелых. "Что-то должно случиться, дальше так продолжаться не может", — думала Урсула, временами погружаясь в отчаяние. Случилось через два года — тихо и незаметно. Врач, осматривая исхудавшее тело, констатировал, что смерть наступила на рассвете. Его удивила улыбка на лице покойника.

Стояла погожая осень, 23 октября 2001 года.

Она пыталась избавиться от этого чувства, ни за что на свете не хотела себе в нем признаться, однако оно жило и крепло где-то в самых дальних уголках ее души: смерть Лукаша она приняла со вздохом облегчения. Главным образом потому, что жизнь рядом с ним после возвращения из Венеции превратилась в сплошное мучение: с каждым днем он отдалялся от нее, смотрел на нее (если можно употребить здесь слово "смотрел") как чужой, с выражением неприязни на лице. Когда она помогала Мэри приносить наверх еду, он отодвигал тарелки в сторону без слова благодарности. Первое время она пробовала лечь ночью рядом, пытаясь деликатными ласками его расшевелить, однако он тут же переворачивался на другой бок. Впоследствии, правда, он перестал делать это столь демонстративно, но, похоже, лишь из желания соблюсти приличия. Он просто стал более покладистым, "чуть менее невыносимым", как она про себя это называла.

Она ломала голову над тем, что могло послужить причиной такой перемены. Неужели он считал ее виноватой в неудачной операции? Просто так, без всяких оснований? А может быть, на склоне лет он оглянулся и осознал, что их союз, союз брата с сестрой, был лишь иллюзией любви, а не настоящей любовью? И понял это только тогда, когда перестал и днем и ночью видеть свою любовницу-жену-сестру. Сначала она с возмущением гнала от себя эту мысль, вспоминая вплоть до самых интимных подробностей проведенные вместе годы. В их отношениях случались периоды охлаждения, однако через какое-то время обязательно возвращалась неподдельная страсть. Действительно ли она была неподдельной?

Постепенно сомнения начали охватывать и ее. Она обращалась к прошлому, вспоминала мимолетные и незначительные на первый взгляд эпизоды, тщательно их анализируя. Однажды она задумалась над памятной гродненской премьерой. Как можно было забыть, что именно она убедила Лукаша в необходимости "изменить" Достоевскому, переделать

его повесть? Не была ли эта переделка преднамеренной, придуманной лишь с целью отогнать призрак того "третьего", уже покойного, кто в самые юные годы посвятил ее в тайны физической любви? Разве после того, как он утонул, она не испугалась, что останется одна?

Так, копаясь в минувших годах, она возвращалась к некогда упущенным деталям, пересматривала шаг за шагом всю их жизнь с Лукашем. И за получившимся — вольно или невольно — фальшивым фасадом обнаруживала так называемую "другую правду". Вначале она закрывала на нее глаза, но затем стала все охотнее ее принимать. Ей хотелось иначе посмотреть на Лукаша, который в свою очередь ослепшими глазами уже видел ее иначе. Именно это наверняка и стало главной причиной того "вздоха облегчения" после его смерти, той постыдной реакции, от которой в мыслях она пыталась избавиться, но подсознательно с ней мирилась.

Будучи по натуре "чистюлей" (как шутливо называл ее Лукаш), после его смерти она стала еще более аккуратной, скрупулезной и педантичной. Мэри села за руль, и они, подводя черту под жизнью Лукаша, вместе объехали все официальные учреждения, а сразу после этого, что получилось само собой, вполне естественно, она взялась за организацию церемонии его похорон. В соседнем районе Саутфилдс она обнаружила небольшую церковь (основанную потомками белых эмигрантов и действующую ныне благодаря переселенцам из бывшего СССР), где заказала панихиду по православному Лукашу. После панихиды поп вместе с дьячком должны были помочь ей перевезти покойника на Центральное уимблдонское кладбище. Это кладбище она выбрала, поскольку там был свой крематорий, а они еще давно поклялись друг другу, что велят себя сжечь. Место для могилы она приобрела в дальнем углу кладбища, под густыми ветками старых вязов. Затем она дала большие некрологи в "Таймс" и "Телеграф", составив, кроме того, список лиц, которые "обязательно должны присутствовать на похоронах", и вручив его Мэри "для оповещения". В день похорон, 26 октября, они приехала из дома на кладбище не с Мэри, а с двумя молодыми актерами из театра "Чайка". Шел дождь. Вокруг могилы уже собралась, бесцеремонно оттеснив в сторону попа и дьячка, большая толпа: знакомые и поклонники знаменитого sir Luke'a, актеры и работники театра на Стрэнде, прочитавшие оба некролога любопытные, репортеры из газет и с телевидения, представители других английских театров и театров зарубежных, а также делегаты от муниципального совета Уимблдона. К Урсуле протиснулся Арлекин, прилетевший из Венеции и приехавший прямо из аэропорта. Рядом с Урсулой оставались и двое молодых актеров. Так, вчетвером, они и стояли у подножия настоящей горы цветов, по прихоти Царя Небесного щедро поливаемой дождем.

Надгробных речей, по ее желанию, не произносили. Она лишь попросила руководство театра на Стрэнде, чтобы двое актеров в погребальной тишине громко прочли два фрагмента из "Чайки". Фрагменты эти она отобрала сама, помня, что именно они послужили Лукашу отправной точкой для его раннего эссе о "Чайке": "космологическое" начало пьесы Треплева (его прекрасно произнес актер, игравший роль автора пьесы, вопреки замыслу Чехова, предназначившего этот текст для самой Чайки, Нины Заречной) и финальный монолог Нины-Чайки (его исполнила актриса): "Я теперь знаю, понимаю, что в нашем деле —

все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни". Все собравшиеся у гроба не сводили глаз с Урсулы, будто речь шла о ней. Однако поклонники "Чайки" понимали, что между "космологическим" шаржем начинающего драматурга и признанием несостоявшейся актрисы простирались огромные просторы чеховского мира; там присутствовал сам Чехов — тихий, застенчивый и спокойный, избегающий как навязчивого реализма, так и претенциозно-кокетливого умничанья, мелодичный в своей на удивление простой прозе, обладающий поразительной способностью соединять ощущение утекающего времени с осознанием вневременной значимости каждого человеческого поступка; иными словами, Чехов добрый и мудрый, благожелательный к людям и внимательно изучающий их сквозь круглые стекла пенсне, в своей скромной жизненной философии намного превзошедший "профессиональных" мыслителей.

Застывшее в неподвижности лицо Урсулы дрогнуло лишь раз: когда гроб с телом Лукаша под звуки траурной музыки стал медленно въезжать в печь крематория. Ее сотрясли спазматичные и сухие рыдания, сквозь которые пробивалось имя Лукаша. После всех сомнений и подозрений, после стыдливого вздоха облегчения любовь к нему вспыхнула теперь с новой силой.

Когда на площадке перед крематорием к Урсуле начали подходить с соболезнованиями, она вновь замерла, но как-то съежилась и обмякла; внимательные друзья расценили это как первый симптом процесса, который отчетливо проявил себя через год.

Двое молодых актеров отвезли ее домой в Уимблдон. Они хотели побыть с ней до вечера, однако Урсула предпочла остаться одна. Она выпила вместе с Мэри чаю и поднялась с ее помощью наверх. Там она легла, но не на свою кровать, а на кровать Лукаша. Хотя Мэри и постелила свежее белье, запах Лукаша выветриться еще не успел. "Боже, как я его любила", — тихо шепнула она. И не в силах ни заснуть, ни заплакать, лежала, вглядываясь в грязное небо над садом.

Каждое воскресенье, независимо от погоды, они с Мэри отправлялись на кладбище. На надгробной плите Урсула раскладывала принесенные цветы, а затем, если не было дождя, опускалась на колени и молилась (впервые в жизни), а в непогоду около часа сидела в построенной рядом с могилой беседке.

Не зная, чем заняться в пустые дни, она обязала Мэри каждое утро отвозить ее в "The Sea-Gull" Theatre, а к обеду забирать обратно. (Слабеющее зрение не позволяло ей самой водить автомобиль по лондонским улицам.) В театре на Стрэнде ее первое время принимали с распростертыми объятиями, предлагая якобы для консультации посмотреть разные документы; вскоре, однако, этот ритуал всем надоел, а сердечность сменилась вежливой и холодной предупредительностью. Осознав это, она гордо вычеркнула Стрэнд из своего ежедневного расписания. Она также перестала приглашать своих бывших коллег на воскресный послеобеденный чай. С Урсулой осталась лишь верная Мэри, нашедшая, к счастью, в индийском отеле на Глостер-стрит своего дальнего род-

ственника с семьей. Время от времени, с согласия Урсулы, она привозила в Уимблдон четверых его детей: двух девочек и двух мальчиков в возрасте от восьми до двенадцати лет. В Урсуле, видимо, пробудился глубоко запрятанный до сей поры материнский инстинкт — она полюбила всех четверых и нетерпеливо ждала, заполнив буфет пирожными, каждого их визита.

Поздним летом 2002 года она начала быстро худеть — скорее, даже таять — и терять память. После смерти Лукаша она собиралась привести в порядок его архив и какое-то время занималась этим очень старательно — пока не забыла о самом существовании архива, отвечая на напоминания Мэри о нем отсутствующим взглядом. Она вела чисто растительное существование, перестала по воскресеньям ходить на кладбище, утратила контроль над своим организмом и целиком отдала себя в руки добросовестной Мэри.

Однажды — это было в 2003 году — Урсула внезапно потеряла сознание. После этого она уже не вставала с постели Лукаша (на которой спала с самого дня похорон); ее поразила полная амнезия, она быстро теряла в весе, а ее тонкий голосок стал еле слышен. Как-то утром Мэри, будучи уверена, что в постели Урсулы нет, не обнаружила ее и в ванной; а когда она откинула одеяло, то увидела маленькое, свернувшееся в клубок мертвое существо, спрятавшее голову под подушку. Урсула умерла, не понимая, что умирает, 13 мая 2003 года. Ее похоронили рядом с Лукашем; на прощальной церемонии присутствовали только Мэри и четверо детей. Согласно завещанию, составленному в сентябре 2002-го, домик с садом в Уимблдоне, автомобиль, а также вся одежда Урсулы и Лукаша переходили в собственность Лондонского театрального общества, при условии, что неизменной хозяйкой в будущем приюте для престарелых актеров останется Мэри.

На смертном одре

До венецианского аэропорта слепца вместе с Урсулой сопровождал Арлекин, которому разрешили пройти и до трапа самолета. Лукаш шел медленно и осторожно, высоко поднимая ноги. Голову он неестественно задирал вверх, будто, как прежде, благодарил со сцены публику за продолжительные аплодисменты. У трапа они остановились. После секундного замешательства Арлекин опустился на колени и губами прижался к руке Лукаша. Похоже, этот жест смутил его самого; забыв, во всяком случае, попрощаться с Урсулой, он быстро направился к зданию аэропорта. При входе на трап Лукаша взяли под свою опеку две стюардессы, которые проводили его до места у окна.

Самолет стартовал в полдень, с небольшим опозданием, дождавшись, видимо, того момента, когда туман немного рассеялся. Лукаш буквально прилип лицом к круглому окошку. И своей широкой ладонью накрыл маленькую ручку Урсулы. Она же не без гордости обвела взглядом соседей. В ее глазах загорелись искорки нежности.

Чем станет для Лукаша его слепота? Ответит ли он на ее чувства так, как ей бы того хотелось? Теперь ее чувства, яркие и глубокие, стали иными, чем прежде. Их союз уже не был супружеским союзом старых,

многолетних любовников — снова, как в рыбицкой молодости, они стали братом и сестрой. Она все бросит — ведь им есть на что жить! — и превратится в его тень. Он же, превратившись в ее тень, будет смотреть на мир ее глазами. Смотреть? Да. Существует зрение, которое никакая слепота не может затмить. Зрение любви. Прежней, ушедшей, когда-то питавшейся, да и потом долгие годы поддерживавшейся слиянием двух тел; но также и новой, платонической, бестелесной любви, которая на пути к смерти угасает медленно, как горячие угли в золе, однако до самого конца продолжает греть, прореживая тьму струйками дыма. Она вспомнила, как после операции он воскликнул: "Белая ночь в Венеции!" Тогда она его поправила: "Белая ночь любви!" В этой жизни у них осталась — долгая ли, короткая? — белая ночь любви.

Внезапная гроза над Англией заставила самолет приземлиться в Гатуике. Пассажирам был предоставлен поезд до Лондона. Урсула купила несколько английских газет и села в углу у окна, напротив Лукаша. Когда она вполголоса читала ему газеты, он слушал внимательно и с улыбкой, как ребенок, зачарованный голосом матери, которая рассказывает ему сказку.

В уимблдонском домике их уже заждалась Мэри. Выпив вместе чаю, они поднялись наверх: Урсула шла впереди, держа его за руку и тихо повторяя по-польски простую фразу из прежних времен: "Наконец-то мы одни". Прижавшись друг к другу на сдвинутых вместе кроватях, они проспали в объятиях до утра следующего дня, отсыпаясь за всю Венецию, как отсыпаются после изнурительного похода в горах.

Этот последний период их жизни, когда они вновь почувствовали себя братом и сестрой, был в каком-то смысле самым счастливым. Они почти не расставались, а если и расставались, то ненадолго, вновь стали навещать старых лондонских друзей и принимать их в Уимблдоне; оказалось, что Мэри любит музыку, и по вечерам они часто выбирались на концерты. Лукаш достаточно окреп, чтобы в погожие дни выходить с Урсулой на прогулки.

Неожиданным и важным событием стал визит, который нанес им польский посол в Лондоне. Он привез официальное сообщение о том, что в Седльце решено увековечить заслуги знаменитого земляка и его жены. Не поднимая шума, практически тайком местный скульптор создал скульптурную композицию, посвященную Лукашу и Урсуле. И если, несмотря на преклонный возраст, они соберутся приехать на родину, то получат звания почетных граждан города. Посол вынул из папки большую фотографию скульптуры (которой все еще никто не видел) и положил ее на столик перед Урсулой. Скульптура выглядела неплохо, хотя и несколько помпезно. Урсула разглядывала фотографию внимательно и с некоторой гордостью на лице. "Ты сидишь на лавочке под деревом, сгибающимся под порывами ветра, а я смиренно расположилась у твоих ног, глядя на тебя с восхищением". И со смехом добавила: "Все правильно". Посол пояснил: "Скульптура будет стоять в фойе нового, только что построенного здания театра".

Они поехали в Седльце в мае 2001 года. Усадьба в Рыбицах сохранилась, рыбные пруды — тоже, только на месте лесопилки стоял теперь Дом культуры. Вместе с актерами театра они прогулялись по полям, а затем

переехали через реку на заросший лесом островок. Уставший Лукаш сел отдохнуть под сосной; казалось, он смотрит на крутую речную излучину.

В Седльце Урсуле сначала показали новый район, который построили на развалинах старого еврейского квартала, превращенного во время войны в гетто. Она стояла в задумчивости, слегка дрожа; наконец Лукаш, обняв ее за плечи, повел на рыбицкую дорогу. Их собирались отвезти в Рыбицы на машине, однако Лукаш отказался и отправился туда пешком. С вложенным ему в руки большим посохом он был похож — когда шел уверенным и широким, несмотря на хромоту, шагом — на мифического слепого пророка. Урсула едва за ним поспевала.

В старой усадьбе, где теперь разместилась районная управа, им выделили небольшие апартаменты из двух комнат, бывших когда-то детскими. Они провели там, большей частью на веранде, практически бессонную ночь, детально описывать которую не стоит. Она стала печатью, удостоверяющей их связь с незапамятных времен детства.

На следующее утро они вернулись на машине в Седльце. Церемония была скромной, людей собралось немного; мэр города, несколько смущенный, вручил им почетные дипломы и, опять же не без смущения, произнес небольшую речь. Лукаш ответил одной фразой: "Хорошо перед смертью ступить на землю, в которой твои корни". После их отъезда в буфете седлецкого Дома культуры заспорили, откуда он взял эту фразу. Из Шекспира? Или из Чехова? Спор продолжался много лет, однако истина так и не была установлена.

Польское путешествие должно было их взбодрить и омолодить, однако через месяц после возвращения у Урсулы впервые начались боли. Лукаш был в панике. Может случиться то, чего он больше всего опасался. Он останется одиноким — слепым и одиноким.

Каким образом они приняли свое решение, неизвестно. Известно лишь то, что официально констатировал коронер на основании показаний Мэри: много раз — до того момента, когда ранним утром 22 октября 2001 года она обнаружила их, слившихся в последнем объятии (его тело все еще крепкое, а ее — сожженное рентгеновскими лучами) после смертельной дозы снотворного, — она слышала за дверью их разговоры. Говорили они по-польски, поэтому Мэри ничего не понимала. Она запомнила только одно слово, да и то по причине его сходства с английским: "конкремация". Когда ее попросили уточнить значение этого слова, она подробно описала соответствующий обычай. Вердикт гласил: "Двойное самоубийство по обоюдному согласию".

В полдень 26 октября шел мелкий, но затяжной дождь, и на Центральном уимблдонском кладбище собралась под раскрытыми зонтиками огромная толпа желающих попрощаться с покойными. Помимо известности великого режиссера и его жены, интерес, конечно же, вызывал и сам факт двойного самоубийства. Рядом со свежевыкопанной могилой стояли два металлических гроба, которые должны были перенести в крематорий.

В торжественной, ничем не нарушаемой (если не считать постукивающих по зонтикам капель дождя) тишине погребальной церемонии слово взял недавно назначенный директор "The Sea-Gull" Theatre, молодой и талантливый театральный критик Десмонд Макгуайр. Свою

блестящую речь он построил на обнаруженном недавно в архиве театра "Чайка" небольшом эссе, которое sir Luke накануне своей отставки не захотел или попросту не успел опубликовать. Эссе называлось "Чехов – Кафка – Беккет". Начав со знаменитого "космологического" ви́дения Чехова ("...все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь"), sir Luke остановился на "Превращении" Кафки (отметив, что стоило бы сделать его сценическую версию) и закончил образами людей-эмбрионов в пьесах Беккета. "Я хотел бы подчеркнуть, – отметил выступающий, – что в будущем 2002 году наш театр покажет лондонской публике плоды новаторского соединения этих трех авторов". Раздались аплодисменты, хотя, в отличие от итальянских траурных церемоний, у англичан не принято провожать покойников овациями.

Два гроба медленно въезжали в печь крематория под величественные звуки музыки Баха (если верить Мэри, "любимого композитора моих хозяев"). Сама Мэри стояла на площадке перед крематорием, будто ожидая, что в отсутствие родственников соболезнования будут высказывать ей. Подобная идея, однако, никому в голову не пришла. И напрасно: когда через несколько дней после похорон было оглашено завещание Лукаша и Урсулы, оказалось, что дом в Уимблдоне с садом, автомобилем и гаражом унаследовала именно Мэри; ей предписывалось каждое воскресенье, независимо от погоды, убирать и украшать цветами их могилу.

А поскольку сразу после смерти хозяев Мэри перевезла из гостиницы на Глостер-стрит в Уимблдон четверых детей своего родственника, отдав их в близлежащую школу, то на кладбище она каждое воскресенье ходила в обществе всей четверки. Если погода выдавалась хорошей, а под густыми ветками старых вязов не было других посетителей, они становились вокруг могилы в кружок, брались за руки и напевали. Что именно? В пении детей периодически повторялся английский рефрен: "They remarried in the mortal carpet"[1]. Мэри вторила им на одном из индийских наречий, скорее всего – на языке того штата, в котором конкремация все еще была обязательной. Впоследствии выяснилось, что индийский рефрен был значительно длиннее своей английской версии: "Умершие, воссоединившиеся в повторном союзе на смертном одре, пусть любят друг друга во веки веков. Живые, что воздают им должное, танцуя, пока не сгорит до конца погребальный костер, пусть продолжают жить во имя вечной любви, которую смерть не в силах победить. Во имя любви, открывающей путь к новой, иной жизни".

Февраль – июнь 1999

1. Они воссоединились на смертном одре (*англ.*).

От редакции

Когда верстался этот номер, из Неаполя пришло печальное известие о кончине Густава Херлинга-Грудзинского. В мае он успел последний раз побывать на родине, где был принят со всеми почестями, подобающими классику современной польской литературы.

Рышард Капущинский

Черное дерево

Фрагменты книги

Перевод С. Ларина

От автора

Я провел в Африке не один год. А впервые попал туда в 1957-м. В последующие сорок лет всякий раз, когда представлялся случай, снова возвращался в эти края. Я много путешествовал. Однако избегал официальных маршрутов, дворцов, важных персон и большой политики. Любил ездить на попутных машинах, странствовать по пустыне с кочевниками, гостить у крестьян тропической саванны. Их жизнь — тяжкий труд, мучения, которые они переносят с удивительной стойкостью и смирением.

Таким образом, это книга не об Африке, но всего лишь о некоторых людях оттуда, о встречах с ними и совместно проведенном времени. Африканский континент слишком велик, чтобы его можно было описать. Это сущий океан, отдельная планета, многообразный, необъятный космос. Лишь крайне упрощая, ради удобства мы говорим: Африка. На самом же деле Африка — это только географическое понятие и ничего больше.

Черные кристаллы ночи

В конце дороги, по которой мы едем, виден катящийся за горизонт солнечный шар. Когда минуту спустя он исчезнет и перестанет нас ослеплять, мгновенно наступит ночь и мы окажемся наедине с тьмой. Краем глаза я заметил, что водитель "тойоты" Себуйя начинает нервничать. В Африке водители опасаются ночной езды — тьма их тре-

© Copyright by Ryszard Kapuściński, 1998
© С. Ларин. Перевод, 2000
Полностью книга будет опубликована в издательстве МИК.

вожит. Они боятся ее настолько, что часто после захода солнца ехать отказываются. Я наблюдал за ними, когда они тем не менее вынуждены были отправляться в путь в ночное время. Вместо того чтобы смотреть прямо перед собой, они начинают нервозно поглядывать по сторонам. Их лица напряжены, черты заостряются, на висках выступают капли пота. Хотя на дорогах выбоины, ямы, колдобины и ухабы, они, вместо того чтобы сбросить газ, прибавляют скорость, летят сломя голову, лишь бы добраться до места, где есть люди, где слышны голоса и виден свет. Во время ночных поездок они ни с того ни с сего впадают в панику, ерзают, съеживаются за рулем, словно кто-то обстреливает машину.

— Kuna nini? — спрашиваю я (на языке суахили это означает: что-то случилось?). Они никогда не отвечают, только мчат дальше в тучах пыли под громыхание старого, расхлябанного кузова машины.

— Hatari? (Какая-то опасность?) — спрашиваю я опять через некоторое время. Снова молчание, на вопрос не обращают внимания.

Они чего-то боятся, единоборствуют с каким-то демоном, которого я не вижу и не знаю. Для меня эта тьма сохраняет определенные и четкие очертания: она мрачная, почти черная, знойная, душная и — если мы остановимся и Себуйя заглушит мотор — полная тишины. Но я убежден: по мнению Себуйи, в том, что касается темноты, — я абсолютный профан. Мне не дано знать, что день и ночь — это две совершенно разные действительности, два мира. Днем человек способен как-то контролировать окружающую его среду, он может худо-бедно существовать, держаться, даже жить спокойно, зато ночь делает его беззащитным, отдает во власть врагам, прячет во тьме силы, которые посягают на его жизнь. Поэтому скрытая в душе и подавляемая днем тревога ночью оборачивается внезапным страхом, навязчивым кошмаром. И как важно тогда оказаться среди людей! Присутствие других приносит облегчение, успокаивает нервы, снимает напряжение.

— Нара? (Здесь?) — спрашивает меня Себуйя, когда у дороги мы видим деревеньку из глинобитных домов. Мы в западной Уганде, неподалеку от Нила, и направляемся в сторону Конго. Уже темнеет, и Себуйя страшно нервничает. Я понимаю, что не смогу уговорить его продолжить путь, и соглашаюсь переночевать здесь.

Местные жители встретили нас без энтузиазма, даже с неприязнью, что для этих мест странно и необычно. Но Себуйя извлек пачку шиллингов, и вид денег, столь непривычный и соблазнительный для этих людей, решил дело: нам приготовили подметенную, устланную травой мазанку. Себуйя быстро заснул, а меня вскоре разбудили проворные и агрессивные насекомые. Пауки, тараканы, жуки и муравьи, уйма каких-то мелких и деловитых бесшумных созданий, которых зачастую не видно. Однако, ощущая, как они ползают, цепляются, щекочут и щиплют, я никак не мог заснуть. Долго ворочался с боку на бок, пока наконец, измученный и сломленный, не вышел из мазанки и не сел, прислонившись к стене. Луна ярко светила, и ночь была светлой, серебристой. Царила тишина, ибо в этих краях редко появляется машина, а зверье давно перебито и съедено.

Неожиданно послышались какие-то шорохи, шаги, потом топот босых ног. И — тишина. Я огляделся, но сперва ничего не увидел. Через

минуту шорохи и звуки шагов повторились. Потом вновь наступила тишина. Я начал всматриваться в купы редких кустов, обвел взглядом стоящие в отдалении зонтичные акации, торчащие среди буша одиночные валуны. Наконец разглядел группу из восьми мужчин, которые несли на обычных, сплетенных из веток носилках прикрытую каким-то полотнищем человеческую фигуру. Их манера передвижения не могла не привлечь внимание. Эти люди шли не прямо вперед, а пробирались, крались, маневрировали; притаившись за кустом, оглядывались и затем перебегали к следующему укрытию. Они кружили, петляли, продвигаясь украдкой, словно имитировали сцену охоты. Я смотрел на их полунагие тела, порывистые движения, на все это странное, загадочное поведение. Наконец они надолго исчезли из моего поля зрения где-то за склоном холма; вокруг меня снова царила тихая, светлая неподвижная ночь.

На рассвете мы двинулись дальше. Я поинтересовался у Себуйи, знает ли он, как называется племя из той деревушки, в которой мы ночевали.

— Они называют себя амба, — ответил он. А через минуту присовокупил: "Kabila mbaya" (это примерно означало: плохие люди). Добавить к этому еще что-нибудь он не пожелал: здесь люди избегают зла даже как темы разговора, предпочитают не вторгаться в эту сферу, не будить лиха, пока оно тихо. В дороге я думал о ночном событии, случайным свидетелем которого стал. Эти загадочные зигзаги и повороты носильщиков, их тревога и спешка, вся эта ночная мистерия таила в себе недоступную мне загадку. Что-то за всем этим скрывалось. Но что?

Такие люди, как амба и их единоплеменники, убеждены, что миром правят сверхъестественные силы. Это конкретные силы, духи, у которых есть свои имена и вполне четкие функции. Они придают направление и смысл событиям, решают нашу судьбу, определяют решительно все. Поэтому в том, что происходит, нет ничего случайного, случайность просто исключена. Возьмем такой пример. Себуйя едет на машине, попадает в аварию и гибнет. Почему именно Себуйя попал в аварию? Ведь в тот день по дорогам всего мира катили миллионы автомашин, которые благополучно добрались до цели, а вот Себуйя в результате аварии погиб. Белые начнут доискиваться разных причин. Например, предположат, что у машины отказали тормоза. Но такой ход мысли ни к чему не приведет, ничего не прояснит. Ибо почему именно у Себуйи отказали тормоза? Ведь в тот самый день во всем мире у миллионов машин тормоза были в полном порядке, а вот у Себуйи они оказались неисправными. Почему? Белые, ход размышлений которых — верх наивности, скажут: Себуйю подвели тормоза, ибо он загодя не потрудился проверить их и привести в порядок. Но почему именно Себуйе следовало об этом подумать? Ведь в тот самый день миллионы и т.д., и т.п.

Итак, мы видим, что сам характер мышления белого человека заводит его в тупик. Более того! Белые, установив, что причиной аварии и гибели Себуйи явились неисправные тормоза, составят протокол и закроют дело. Хотя с этого момента расследование только и должно начаться! Ибо Себуйя погиб, потому что кто-то навел на него порчу. Это ясно как день. Однако мы не знаем, кто был исполнителем злой воли, а это нам и надлежит теперь выяснить.

В самых общих чертах — это дело рук колдуна. Колдун — всегда злой человек, и руководствуется он только дурными побуждениями. Есть два вида колдунов. Англичане называют представителей одного из них witch. Witch — опасная личность. Ни его вид, ни поведение не выявляют его дьявольской натуры. Он не носит особых одежд, при нем нет реквизита чернокнижника. Он не изготовляет микстур, не производит ядов, не впадает в транс и не творит заклятий. Такого рода колдун пускает в ход врожденную психологическую силу. Это одна из отличительных черт его индивидуальности. То, что он творит зло и приносит людям несчастья, — не следствие его дурных наклонностей. Он не получает от этого удовольствия. Он просто таков от природы.

Если мы оказываемся с ним рядом, достаточно того, что он посмотрит на нас. Случается, кто-то глядит на нас внимательно, пристально и долго. Это может быть колдун, который как раз в тот момент насылает на нас свои чары. Если же мы от колдуна далеко, то для него это вовсе не преграда. Он способен вершить колдовство на значительном расстоянии, даже на другом конце Африки или еще дальше.

Колдун второго вида — более кроткая, слабая и не столь демоническая натура. Если witch уже родился как олицетворение зла, как дьявол во плоти, то sorcerer (так по-английски называется этот менее грозный тип) — кудесник-профессионал, для которого наведение чар — результат приобретенного навыка; это ремесло и источник его существования.

Чтобы наслать на кого-либо болезнь, или накликать другие напасти, или же умертвить, witch не нуждается ни в каких вспомогательных средствах. Дабы поразить и уничтожить свою жертву, ему достаточно направить на нее свою адскую всесокрушающую волю. Болезнь вскоре свалит нас с ног, а затем быстро наступит смерть. Sorcerer не наделен такой губительной силой. Чтобы нас уничтожить, ему необходимо прибегнуть к разного рода магическим приемам, тайным обрядам, ритуальным жестам. Например, если ночью, пробираясь через густой буш, мы теряем глаз, то вовсе не потому, что случайно напоролись на торчащую и неразличимую ветку. Ведь в мире ничего случайного не происходит! Просто кто-то из наших врагов решил нам отомстить и с этой целью отправился к колдуну. Колдун слепил из глины фигурку — наше подобие — и шипом можжевельника, смоченным куриной кровью, выковырял у нее глаз. Тем самым он вынес приговор нашему глазу, направил на него свои чары. Достаточно однажды ночью, пробираясь через густой кустарник, наткнуться глазом на ветку — это будет свидетельством того, что некий наш враг, задумав месть, обратился к специалисту своего дела. Теперь наша задача — выяснить, кто этот враг, и заказать колдуну ответную месть.

Если Себуйя погиб в результате аварии, то для его семьи самое важное — не проблема исправности тормозов (они никакого значения не имеют), главное для них выяснить: его смерть — дело рук колдуна-дьявола (witch) или же проделки обычного чародея-ремесленника (sorcerer). Вот основной вопрос, и именно в этом направлении будет вестись длительное и запутанное следствие, в которое окажутся втянутыми ворожеи, старцы, знахари и т.д. Результаты следствия приобретут колоссальное значение! Ибо если Себуйя погиб от чар колдуна-дьявола, то это трагедия для семьи и рода, поскольку его проклятие падет

на всю общину и смерть Себуйи – лишь предуведомление, вершина айсберга: родственникам остается только ждать неизбежных болезней и смертей. Если же Себуйя погиб, как того пожелал чародей-ремесленник, это не так уж страшно: последний способен уничтожать только отдельных индивидов, поражать только единичные цели, и, следовательно, семья и клан могут спать спокойно.

Зло – это проклятие мира, и потому от колдунов, которые служат его агентами, носителями и распространителями, я и мой клан должны держаться как можно дальше: само их присутствие отравляет воздух, разносит заразу, ведет к тому, что жизнь становится невыносимой, превращается в свою противоположность – смерть. Если умер кто-то из близких, сгорел дом, пала корова, я корчусь от боли или лежу обессиленный, сраженный приступом малярии, мне понятно, чт)о произошло: кто-то наслал на меня чары. Поэтому, если у меня есть силы, то я сам, а если чересчур ослаб, то моя деревня или клан начинает искать виновника-колдуна. Этот колдун ex definitione[1] должен жить и действовать среди других, в другой деревушке, в другом клане или племени. Наша нынешняя подозрительность и неприязнь по отношению к Иному, к Чужаку восходит к этому страху наших племенных прапрапредков, которые видели в Другом, в Иноплеменнике носителя зла, источник несчастий. Ведь боль, пожар, эпидемия или засуха и голод возникали не сами собой. Кто-то должен был их наслать, распространить, размножить. Но кто? Не самые близкие, не мои, не наши, потому что наши – хорошие: жизнь возможна только среди хороших людей, а ведь я жив. Значит, виновники – посторонние, Чужаки. Поэтому, мечтая о мести за наши обиды, за понесенные нами потери, мы вступаем с ними в конфликты, затеваем распри, ведем войны. Словом, если с нами случилась беда, источник ее не в нас, он где-то вовне, снаружи, вне меня и моего сообщества, далеко, в среде Иных.

Я давно уже забыл про Себуйю, про нашу поездку в Конго и про ночь, проведенную в деревушке амба, когда спустя много лет в Мапуту мне в руки попала книга о мире волшебства в Восточной Африке, а в ней – отчет антрополога Эдварда Уинтера об исследованиях, которые он проводил среди племен амба.

Амба, утверждает Уинтер, образуют крайне своеобразное сообщество. Это правда, что, подобно другим народностям континента, они тоже чрезвычайно серьезно трактуют существование зла и угрозу чар, а потому боятся и ненавидят колдунов. Но вопреки всеобщему убеждению, что колдуны обитают среди чужих, действуя извне, издалека, амба утверждают, будто чародеи есть среди них самих, в их семьях, в их деревушках, что они – интегральная часть народа. Такая уверенность приводит к тому, что сообщество амба распадается, ибо его членов гложет ненависть, взаимная подозрительность, губит общий страх: брат опасается брата, сын – отца, мать – собственных детей, так как любой может оказаться колдуном. Амба отвергли столь удобную и спасительную точку зрения, будто враг – это некто посторонний, чужеземец, человек

1. По определению *(лат.)*. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

иной веры или иного цвета кожи. Нет! Амба охвачены мазохистской идеей, живут в муках и унижении, убежденные, что враг — среди них, что в данный момент он может находиться под крышей твоего дома, спать рядом с тобой, есть из той же миски. Особая трудность вдобавок состоит в том, что, собственно, невозможно определить, как колдун выглядит. Ведь его никто не видел. О существовании колдунов нам известно благодаря тому, что результаты их деятельности налицо: они вызвали засуху, и поэтому нечего есть, все время возникают пожары, многие люди больны, постоянно кто-то умирает. Ergo, чародеи трудятся не покладая рук, обрушивая на нас сплошные несчастья, неудачи, трагедии.

Амба неграмотны, и вряд ли они читали книгу, автор которой утверждает, что с течением времени борьба будет обостряться и врагов будет все больше и больше. Однако они сами на основании собственного опыта пришли к подобному выводу. Не могли они также вычитать, что в какой-то иной точке земного шара враждебное окружение будет стремиться засылать своих агентов в здоровое сообщество и разваливать его изнутри. А ведь в случае с амба именно так все и произошло.

Амба, которые составляют единое, компактное сообщество, живут в маленьких деревушках, разбросанных среди скудного буша, и хотя они признают, что колдуны — неотъемлемая часть их сообщества, тем не менее часто обвиняют соседнее поселение своих же сородичей, что колдун, который наслал несчастья, живет, затаившись, именно там. Тогда той деревушке, на которую падает подозрение в содеянном зле, объявляют войну. Подвергшаяся нападению деревенька обороняется, а подчас предпринимает ответные действия. В результате амба ведут между собой постоянные войны, которые окончательно ослабляют их, делая беззащитными по отношению к внешним агрессорам из других племен. Амба, однако, настолько поглощены собой, что даже не замечают подобной опасности. Парализованные призраком внутреннего врага, они неудержимо скатываются в пропасть.

Несмотря на отчуждающую их друг от друга подозрительность и враждебность, тот гнетущий фатум, который над ними навис, объединяет их в сообщество, вынуждает быть солидарными. Если, к примеру, я удостоверюсь, что затаившийся в моей деревушке колдун изводит меня, я переберусь в другую, и пусть даже моя деревушка находится с нею в состоянии войны, мне не откажут в гостеприимстве. Ибо колдун и в самом деле способен погубить человека. Допустим, он начинает разбрасывать на дорожках, по которым мы ходим, камешки, листочки, перышки, прутики, дохлых мух, волоски обезьяны или манговую кожуру. Достаточно наступить на такую пустяковину, чтобы тотчас же заболеть и умереть. А ведь на каждой тропке может оказаться подобная чепуха — что ж, практически и шагу нельзя ступить? Да, нельзя. Человек боится даже выйти из своей хижины, так как тут же, на пороге, может валяться кусочек коры баобаба или отравленная можжевеловая колючка.

Колдун стремится замучить нас до смерти — вот чего он добивается. Вдобавок против него нет лекарства, непонятно, как защищаться. Одно спасение — бегство. Вот почему тащившие на носилках больного люди, которых я увидел в ту ночь, пробирались сквозь кустарник украдкой, убегали. Колдун наслал на кого-то чары, человек заболел, и болезнь

послужила сигналом, что его собираются умертвить. Поэтому родные под покровом ночи пытались спрятать жертву от глаз колдуна, дабы тем самым сохранить несчастному жизнь.

Хотя никто не знает, как выглядит колдун, нам о нем известно многое. Он передвигается только ночью, принимает участие в шабашах, на которых выносятся приговоры всем нам. Мы спим, а там решают, какую беду на нас наслать, о чем мы и не подозреваем. Колдун способен перемещаться в любое место с колоссальной скоростью, быстрее молнии. Он обожает человеческую плоть и кровь. Он молчит, поэтому нам неведом его голос. Нам незнакомы черты его лица, форма головы.

Но, возможно, когда-нибудь на свет появится человек с таким взглядом и такой силой воли, что он сможет, пристально всматриваясь в ночной мрак, заметить, как мрак этот начинает густеть, уплотняться, собираться в черные кристаллы, из которых явственно сложится безмолвная и мрачная физиономия чародея.

Колодец

Кто-то будит меня, я ощущаю осторожное, мягкое прикосновение. Лицо, склонившееся надо мной, темное; я вижу белый тюрбан, настолько светлый, что он почти светится, словно натертый фосфором. Еще ночь, но вокруг все в движении. Женщины разбирают шалаши, дети подбрасывают хворост в костер. В этой суете чувствуется нервозность, состязание со временем: успеть сделать как можно больше, прежде чем взойдет солнце и начнется жара. Надо быстро свернуть ночной привал и двинуться в путь. Эти люди не ощущают никакой связи с местом, где пребывают. Сейчас они отсюда уйдут, не оставив следов. В песнях, которые они поют по вечерам, постоянно будет повторяться рефрен: "Моя отчизна? Моя отчизна там, где дождь идет".

Но до вечера пока далеко. Сначала нужно подготовиться в путь. Прежде всего необходимо напоить верблюдов. Это долгая процедура, так как они способны выпить огромное количество воды, как бы про запас, что не под силу ни человеку, ни какому-либо другому существу. Затем мальчишки доят верблюдиц, наполняя кислым, чуть горьковатым молоком плоские кожаные бурдюки. Потом из колодца пьют овцы и козы. А их, может, штук двести. За этими стадами приглядывают женщины. Наконец, пьют люди: первыми — мужчины, после них — женщины и дети.

И вот на горизонте появляется первая лучезарная полоса — предвестник дня и призыв к утренней молитве. Молятся мужчины, омыв лица пригоршней воды, причем это омовение требует такой же сосредоточенности, как и молитва: ни одна капля, подобно любому слову Божьему, не должна быть утрачена.

Затем женщины подают мужчинам по чашечке чаю. Этот чай с сахаром и мятой — густой, как мед, и питательный; в пору засухи, когда еды не хватает, им обходятся в качестве дневного рациона вплоть до следующей чашки — за ужином.

Восходит солнце, становится светло, а это уже крайний срок для того, чтобы двинуться в путь. Первым следует верблюжье стадо, кото-

рое ведут мужчины и подростки. Дальше в тучах пыли теснятся овцы и козы. И сразу же за ними — женщины и дети. В такой очередности обычно шествует масса людей и животных, но на этот раз в самом конце идут еще Хамед со своим ослом и я в придачу. Хамед — мелкий торговец из Берберы, в гостиничке которого я заночевал. Когда он сказал мне, что отправляется со своими родственниками к брату в Лас-Анод, я попросил его прихватить меня с собой.

Но где Бербера, а где Лас-Анод? Оба местечка в северном Сомали. Бербера на берегу Аденского залива, а Лас-Анод на плато Хауд. Мои сотоварищи молились утром, обратясь на север, то есть в сторону Мекки, имея солнце по правую руку, в то время как теперь, когда мы отправляемся в путь, оно слева. География здешнего мира — сложная, хаотичная, но не дай бог что-нибудь напутать, в этих пустынных краях любая ошибка смерти подобна. Тот, кто когда-либо побывал здесь, знает, что это самые скверные места на свете. Но только тот, кто сам все изведал в тех краях, поймет, о чем я говорю. Ибо день в сухую пору, особенно в полуденные часы, — сплошной невыносимый кошмар. Мы в самом деле жаримся на огне. Вокруг в самом деле все пылает. Даже тень — и та горячая, даже ветер — раскаленный. Словно бы рядом движется разогретый космический метеорит, своим термическим излучением обращая все в пепел. В такую пору люди, животные и растения застывают, цепенеют. Наступает молчание, воцаряется мертвая, звенящая тишина.

И вот именно в такую пору мы бредем по пустынному бездорожью навстречу тому слепящему аду, каким здесь оказывается самый пик раскаленного дня, навстречу тому мучительному испытанию зноем и усталостью, от которого нет ни защиты, ни укрытия. Все молчат, словно их внимание и энергия полностью поглощены переходом, хотя это — будничное занятие, монотонная рутина, просто образ жизни. Лишь время от времени слышны удары палки по бокам ленивой верблюдицы или покрикивания женщин на бестолковых коз.

Около одиннадцати колонна замедляет движение, а потом останавливается и рассыпается. Каждый теперь стремится спрятаться от солнца. Единственная возможность — это укрыться под растущими кое-где раскидистыми акациевыми деревьями, плоские лохматые кроны которых имеют форму зонтов: там есть тень, там сохраняется частица прохлады. Ибо помимо этих деревьев, вокруг только песок и песок. Там и сям какие-то единичные колючие, растопыренные кусты. Купы выгоревшей, жесткой травы. Выпушки серых ломких мхов. И только изредка — торчащие из земли камни, выветрившиеся валуны, беспорядочные скальные россыпи.

— Не лучше ли было остаться там, возле колодца? — вконец измученный, спрашиваю я Хамеда. Мы только третий день в пути, а я уже не в силах идти дальше. Мы сидим опершись о сучковатый ствол дерева, в узком кружке тени, настолько кургузом, что в нем еще умещается только голова ослика, а все туловище его жарится на солнце.

— Нет, — ответил он, — с запада идут огадены, а у нас мало сил, чтобы им противостоять.

В этот момент я понял, что наше путешествие — не просто перемещение с места на место: перемещаясь, мы участвуем в борьбе, в посто-

янных опасных маневрах, в единоборстве и стычках, которые в любой момент могут плохо кончиться.

Сомалийцы составляют единый народ. Их несколько миллионов, у них общий язык, история, культура. Одна территория. И одна религия – ислам. Около четверти этого сообщества живет на юге и занимается земледелием, выращивает сорго, кукурузу, фасоль и бананы. Но большая часть – скотоводы, кочевники. Я теперь как раз среди них в центре громадного полупустынного пространства, где-то между Берберой и Лас-Анодом. Сомалийцы делятся на несколько крупных кланов (таких, как Исаак, Даароод, Дир, Хавыйе), а те, в свою очередь, на меньшие кланы, которых десятки, а те – на родственные группы, которых сотни, даже тысячи. Отношения, союзы и конфликты в этих сообществах и родовых общинах составляют историю сомалийского общества.

Сомалиец рождается где-то в пути, в шалаше или же прямо под открытым небом. Ему не суждено знать место своего рождения, оно нигде не зафиксировано. Ни один сомалиец не сможет сказать, что он родом из того либо иного села или города. Его личность удостоверяется только связью с родней, с родственной группой, с кланом. Когда встречаются двое незнакомых людей, они начинают разговор с вопроса: "Кто ты?" – "Я соба из семьи Ахмеда Абдуллаха, а эта семья принадлежит к группе Мусы Арайе, а та группа – из клана Хасана Сеида, а тот клан – часть кланового союза Исаак" и т.д. После такого представления второй, в свою очередь, сообщает детали своей принадлежности, определяет собственные корни, и обмен этой информацией продолжается долго – он чрезвычайно важен, так как оба незнакомца пытаются установить, связывает ли их что-то или разделяет, падут ли они друг другу в объятия или кинутся один на другого с ножами. То, что эти люди рассказывают о себе, личная симпатия или антипатия значения не имеют, их взаимоотношения (дружеские или враждебные) зависят от отношений, какие сложились в данный момент между обоими кланами. Человек как отдельный, обособленный индивид здесь словно бы не существует, в расчет он принимается только как частица того или иного рода.

Когда мальчику исполняется восемь лет, он удостаивается большой чести: впредь ему предстоит вместе с друзьями опекать верблюжье стадо – главное сокровище сомалийских номадов. У них все измеряется ценой верблюда – богатство, власть, жизнь. Жизнь прежде всего. Если Ахмед убьет кого-нибудь из другого рода, род Ахмеда обязан выплатить компенсацию. Если убил мужчину – сто верблюдов, если женщину – пятьдесят. В противном случае – война! Без верблюда человеку не выжить. Он питается молоком верблюдицы. На ее спине переносит свой дом. Только благодаря этому животному он способен создать семью: чтобы получить девушку в жены, ее роду требуется возместить утрату – в верблюдах. Наконец, расплачиваясь верблюдами за причиненный кому-то ущерб, он спасает свою жизнь.

Стадо, каким владеет каждая родственная группа, состоит из верблюдов, овец и коз. Земледелием заниматься здесь невозможно. Сухой, раскаленный песок ничего не родит. Таким образом, только стадо – источник существования. Но животным необходимы вода и пастбища.

Однако даже в дождливую пору их мало, а в засушливый период большинство пастбищ исчезает вовсе, а пруды и колодцы мелеют или в них начисто пропадает вода. Наступает засуха и голод, идет падеж скота, масса людей умирает.

Теперь юный сомалиец начинает познавать свой мир. Учится в нем жить. Эти одиночные акациевые деревья, эта растрепанная дернина, эти слоноподобные баобабы становятся знаками, которые говорят ему, где он находится и куда должен идти. Эти высокие скалы, отвесные каменные сдвиги, торчащие скальные навесы служат ему ориентирами, указывают направление, не позволяя заблудиться. Но этот пейзаж, который поначалу кажется узнаваемым и понятным, быстро лишает его уверенности в себе. Ибо оказывается, что одни и те же места, одни и те же лабиринты и композиции окружающих его знаков выглядят иначе, сожженные сушью, и иначе, когда в период дождей покрываются пышной зеленью, что те же самые расселины и скальные откосы приобретают одну форму, глубину и цвет в горизонтальных лучах утреннего солнца, а в полдень, под отвесными лучами – другую. Тогда мальчик поймет, что всякий знакомый ландшафт таит в себе уйму различных и меняющихся сочетаний и что необходимо знать, когда и в какой очередности эта смена происходит, что́ означает, что́ ему говорит, от чего предостерегает.

И это первый его урок: что мир говорит, и говорит на разных языках, которые необходимо изучать. Но по мере того как идет время, подросток усваивает и второй урок: он познает свою планету, свою карту и указанные там пути-дороги, их движение, очертания и направления. Ибо, хотя на первый взгляд вокруг ничего не заметно, кроме голых, безлюдных пустошей, в действительности эти земли пересекают многочисленные маршруты и тракты, тропы и большаки, правда неразличимые на песке и скалах, однако же прочно отпечатавшиеся в памяти людей, издавна там странствовавших. И тут начинается большая сомалийская игра-борьба за то, чтобы уцелеть, выжить. Поскольку эти дороги ведут от колодца к колодцу, от пастбища к пастбищу. Так вот, в результате извечных войн, конфликтов и раздоров у каждой родственной группы, у каждого сообщества и клана появились свои традиционные маршруты, колодцы и пастбища. Ситуация выглядит более или менее сносной, когда случается год обильных дождей и сочных лугов, а стада невелики и нет слишком большого прироста населения. Но пусть только наступит засуха, что бывает часто, пусть только исчезнут травы, а колодцы опустошатся! Вся эта за долгие годы мастерски сотканная сеть тропинок и дорог, проложенная так, чтобы кланы обходили друг друга стороной, не соприкасаясь и не мешая друг другу, тотчас оказывается ненужной, ослабевает и рвется. Начинаются лихорадочные поиски колодцев, в которых еще сохранилась вода, попытки добраться до них любой ценой. Люди отовсюду гонят стада к тем немногим местам, где еще осталась кое-какая трава. Пора засухи становится периодом лихорадки, напряженности, ярости и стычек. Тогда у людей проявляются самые дурные свойства: недоверчивость, коварство, алчность, ненависть.

Хамед говорит мне, что их поэзия часто повествует о трагедии и гибели тех кланов, которые, пересекая пустыню, не смогли добраться до

колодца. Такое драматическое путешествие продолжается днями, даже неделями. Сперва начинается падеж овец и коз. Они способны выдержать без воды всего несколько дней. Потом наступает очередь детей. "Потом дети, – произносит он, но ничего не добавляет. Ни того, как реагируют матери и отцы, ни как происходят похороны. – Потом дети, – повторяет он и снова замолкает. Стало так жарко, что даже говорить трудно. Как раз миновал полдень, и дышать нечем. – Потом погибнут женщины, – продолжает Хамед минуту спустя. – Тем, что выжили, нельзя задерживаться надолго". Если бы они после каждой смерти останавливались, то никогда не добрались бы до колодца. Одна смерть повлекла бы за собой целую цепочку смертей. Клан, который был в пути, который существовал, исчез бы где-то по дороге. Никто уже не смог бы установить, куда направились эти люди. Я пытаюсь вообразить себе эту дорогу, которой нет, то есть которой не видно, а на ней – кучу людей и животных, все редеющую и редеющую. "Еще какое-то время продолжают жить мужчины и верблюды". Верблюд способен выдержать без воды три недели. И может много пройти – пятьсот километров, а то и больше. Все это время у верблюдицы еще будет чуть-чуть молока. Эти три недели – верхняя граница жизни мужчины и верблюда, если на земле они останутся одни. "Одни на свете!" – воскликнул Хамед, и в его голосе почувствовался ужас, поскольку это именно то, чего сомалиец не в состоянии себе представить: оказаться на земле в одиночестве. Человек и верблюд идут дальше в поисках колодца с водой. Идут все медленнее, все с большим трудом, так как земля, по которой они идут, объята жаром солнца, отовсюду полыхает зноем, вокруг горят и сверкают – камни, песок, воздух. "Человек и верблюд умирают одновременно", – сказал Хамед. Этот момент наступает тогда, когда человеку уже негде взять молока. Вымя верблюдицы пусто. Оно сухое, потрескавшееся. Обычно у кочевника и животного еще хватает сил дотащиться до какой-то тени. Позже их находят: они лежат мертвые в тени или там, где человеку только почудилась тень.

– Я знаю об этом, – прервал я Хамеда, ибо сам наблюдал подобное в Огадене. Мы ездили на грузовиках по пустыне, разыскивая погибающих кочевников, чтобы забрать их в лагерь в Годе. Я испытывал шок всякий раз, как только мы обнаруживали умирающих сомалийцев и гибнущих вместе с ними верблюдов: люди ни за что не хотели расстаться со своими животными, хотя их ждала верная смерть. Я находился там с группой молодых спасателей из гуманитарной организации "Сейв". Они силой отрывали кочевника от верблюда – а это были уже только два скелета – и забирали проклинающего их человека в лагерь. Впрочем, ненадолго. Люди эти ежедневно получали по три литра воды на все: на питье, готовку, стирку. И в качестве дневного рациона полкило кукурузы. А раз в неделю кулечек сахара и кусок мыла. Так вот, сомалийцы ухитрялись еще экономить на этом, продавая и кукурузу и сахар шнырявшим в лагере торговцам, собирали деньги на приобретение нового верблюда, а потом убегали в пустыню.

Они не могли жить иначе.

У Хамеда это не вызывает удивления. "Такова уж наша натура", – говорит он, без тени смирения, а, наоборот, с оттенком гордости. Натура – это нечто такое, чему не следует противиться: нельзя пытаться

ее исправить или сделать что-то, дабы от нее не зависеть. Натура — это от Бога, а значит, она совершенна. Засуха, зной, пустые колодцы и смерть в пути — тоже прекрасны. Без них человек не ощутил бы потом истинной прелести дождя, божественного вкуса воды и животворной сладости молока. Скот не способен был бы радоваться сочной траве, упиваться благоуханием луга. Человек не знал бы, что значит стоять под струей холодной, кристально чистой воды. Ему и в голову не пришло бы, что это все равно как оказаться на седьмом небе.

Три часа дня. Зной спадает. Хамед поднимается, отирает пот, поправляет тюрбан. Он идет на собрание с участием всех взрослых мужчин. Собрание называется шир. Сомалийцы не терпят над собой никакой власти, не признают никакой иерархии. Единственная власть — именно такое собрание, на котором каждому предоставлено право голоса. На сегодняшнем собрании будут выслушаны сообщения, полученные от детей-разведчиков. Ибо детям отдыхать не положено. С утра они рыщут по окрестностям: нет ли поблизости клана, обладающего большой и грозной силой? Где расположен ближайший колодец, до которого у нас есть шансы добраться первыми? Можем ли мы спокойно двигаться дальше, уверенные в том, что никакая опасность нам не грозит? Все эти дела будут поочередно обсуждаться. Шир — это полный сумбур, ссоры, крики, бедлам. Но в конце концов будет принято важнейшее решение: в каком направлении следовать дальше. Тогда мы выстроимся в извечно установленном порядке и тронемся в путь.

Леденящее пекло

Пилоты еще не успели заглушить двигатели, а к самолету уже несется толпа. Подают трап. Мы сходим по нему вниз, сразу оказываясь в гуще запыхавшейся плотной массы людей, которые добежали до лайнера и теперь проталкиваются, хватают нас за рубашки, напирая изо всех сил. “Passport? Passport?” — раздаются чьи-то назойливые голоса. И тотчас, тем же грозным тоном: “Return ticket?” А потом другие, резко: “Vaccination? Vaccination?” Эти требования, эта атака настолько внезапны и ошеломительны, что, подталкиваемый, стиснутый, сбитый с толку, я совершаю одну ошибку за другой. Мне говорят: паспорт — и я послушно достаю его из сумки. Сразу же некто вырывает его у меня и куда-то с ним исчезает. Мне говорят: обратный билет — и я показываю, что он у меня имеется. А через секунду уже и билета не вижу. То же происходит со свидетельством о прививках: кто-то выхватил его у меня из рук и мгновенно улетучился. Я остался без документов! Что делать? Кому жаловаться? К кому обратиться за помощью? Толпа, которая настигла меня возле трапа, внезапно рассеялась, растворилась. Я остался один. Минуту спустя ко мне подошли двое молодых людей. Представились: “Зейдо и Джон. Мы будем тебя охранять. Без нас ты погибнешь”.

Я ни о чем не спрашивал. Подумал только: “Как здесь чудовищно жарко!” Перевалило за полдень, влажный, липкий воздух висел неподвижно — такой плотный и раскаленный, что нечем было дышать. Только бы выбраться отсюда, доехать до города, где хоть чуточку прохлад-

нее! "Где мои документы?" — стал я кричать в раздражении и отчаянии. Я терял над собой контроль — в такую жару люди становятся нервными, озлобленными, агрессивными. "Постарайся успокоиться, — посоветовал мне Джон, когда мы садились в его машину, стоящую перед похожим на барак зданием аэропорта. — Сейчас ты все поймешь".

Мы ехали по улицам Монровии. По обеим сторонам проезжей части торчали черные обуглившиеся останки сожженных, разрушенных домов. Немногое здесь сохраняется от такой уничтоженной постройки: все, включая кирпичи, жесть и уцелевшие балки, тотчас же будет разграблено. В городе десятки тысяч бежавших из буша, у них нет крыши над головой, эти люди ждут, когда граната или бомба разнесет чей-нибудь дом. Они сразу набрасываются на такого рода добычу. Из материалов, которые унесут с собой, они соорудят какой-нибудь шалаш, будку или просто навес, укрывающий от солнца и дождя. Город, который, как можно предположить, был вначале застроен простыми небольшими домами, ныне, заставленный этими кое-как сколоченными коробками, стал совсем убогим, обрел вид чего-то временного, напоминает лагерь кочевников, которые остановились здесь на минуту и опять двинутся дальше, впрочем, не очень понятно куда.

Я попросил Джона и Зейдо отвезти меня в гостиницу. Не знаю, имелся ли какой-то выбор, но они, не проронив ни слова, доставили меня на улицу, где стояло двухэтажное обшарпанное здание с торчащей над ним вывеской "El Mason Hotel". Вход в гостиницу пролегал через бар. Джон открыл дверь, но не смог сделать ни шагу дальше. Внутри в искусственном разноцветном полумраке и удушающе густом смраде стояли проститутки. Фраза "стояли проститутки" не отражает, однако, сути дела. В небольшом помещении не меньше сотни девиц жались друг к другу, потные, усталые и настолько стиснутые, сдавленные и утрамбованные, что невозможно было не только проникнуть внутрь, но даже, кажется, просунуть туда руку. Механизм срабатывал таким образом: если клиент открывал дверь с улицы, повышенное давление внутри бара, как из катапульты, выстреливало девицу прямо в объятия ошарашенного посетителя. Через мгновение ее место уже занимала следующая.

Джон попятился и стал искать другой вход. В маленькой комнатушке сидел приветливый, вполне пристойной наружности молодой ливанец — владелец заведения. Он был хозяином этих девиц и этого разваливающегося строения с осклизлыми, заплесневелыми стенами, на которых сползавшие вниз почерневшие потеки выстроились в безмолвную процессию длинных, худых, в плащах с капюшонами призраков, химер и духов.

— У меня нет документов, — признался я ливанцу, который лишь улыбнулся.

— Пустяки, — сказал он. — Здесь мало у кого есть документы. Документы! — рассмеялся он и многозначительно взглянул на Джона и Зейдо. Явно я показался ему пришельцем с какой-то иной планеты. На той, что называлась Монровия, скорее думали, как дожить до следующего дня. Кого волновали документы? — Сорок долларов за ночь, — изрек он. — Но без еды. Поесть можно за углом. У сирийки.

Я сразу же пригласил туда Джона и Зейдо. Старая, недоверчивая, все время настороженно поглядывавшая на дверь женщина могла предло-

жить единственное блюдо — шашлык с рисом. На дверь она смотрела, так как никогда не знала, кто войдет: клиенты, чтобы перекусить, или грабители, чтобы отобрать у нее выручку. "Что мне делать? — спрашивала она нас, подавая тарелки. — Я уже совсем потеряла покой и все деньги. Жизнь загублена", — заявила она без тени отчаяния, просто чтобы нас проинформировать. В баре было пусто, с потолка свисал бездействующий вентилятор, летали мухи, в дверях то и дело возникал новый нищий с протянутой рукой. За грязным оконным стеклом тоже теснились нищие и пялились на наши тарелки. Какие-то мужчины в лохмотьях, женщина на костылях, дети, которым миной оторвало руку либо ногу. Здесь, за этим столом, над этой тарелкой непонятно было, как себя вести, что делать.

Мы долго молчали. Наконец я спросил, где мои документы. Зейдо ответил, что я разочаровал чиновников на аэродроме, так как предъявил все необходимые бумаги. Лучше было бы, если б у меня ничего при себе не оказалось. "Дикие" авиарейсы доставляют сюда разного рода авантюристов. Ведь это край золота, алмазов и наркотиков. У многих из этих типов нет ни виз, ни документов о прививках. На таких и зарабатывают: они платят, чтобы их впустили. На это и живет обслуживающий персонал аэродрома: у правительства нет денег, и зарплату люди не получают. Их нельзя назвать взяточниками. Они просто-напросто голодают. Мне тоже придется выкупить свои документы. Зейдо и Джон знают, где они и у кого. И могут все уладить.

Явился ливанец и дал мне ключ. Смеркалось, и он спешил домой. Мне он тоже посоветовал отправляться к себе. Вечером, по его словам, не следует одному бродить по городу. Я вернулся в гостиницу с черного хода, поднялся на свой этаж. Внизу, при входе, и на лестнице ко мне привязывались какие-то оборванцы, заверяя, что ночью будут меня охранять. Произнося это, протягивали руку. По их тону я понял, что, если не дам ничего, они явятся ночью, когда я буду спать, и прирежут меня.

Я заметил, что в моей комнате (№ 107) единственное окно выходит в мрачный, зловонный внутренний двор-колодец, откуда шел одуряющий запах. Я зажег свет. Стены, кровать, тумбочка и пол были черными. Черными от тараканов. Мне приходилось жить со всевозможными насекомыми, и я даже приучил себя спокойно и миролюбиво воспринимать тот факт, что мы обитаем среди миллионов и миллионов мошек, комаров, прусаков и блох, среди бесчисленных полчищ ос, пауков, жужелиц и скарабеев, среди туч слепней и москитов, в клубах прожорливой саранчи, но на этот раз меня поразило не столько даже количество тараканов (тоже, правда, потрясающее), сколько их размеры, величина каждой находившейся здесь особи. Это были тараканы-гиганты, размером с черепаху, темные, блестящие, покрытые щетиной и усатые. Что способствовало их росту? Чем они питались? Их чудовищная величина меня буквально парализовала. Раньше я не задумываясь давил всяких москитов и мух, блох и пауков, но сейчас столкнулся с иной проблемой: как справиться с таким гигантом? Что с ним сделать? Раздавить? Но чем? Как? При одной мысли об этом мне стало не по себе. Они были слишком велики. Я почувствовал, что не смогу с ними бороться, даже не решусь попробовать. Более того, ошеломленный необычайными размера-

ми этих тараканов, я стал наклоняться над ними и прислушиваться: не издадут ли они какой-нибудь звук? Ведь многие из таких крупных тварей переговариваются самыми разными способами: пищат, скрипят, хрипят, похрюкивают, — почему бы и таракану не отозваться? Обыкновенный, нормальный слишком мал, чтобы мы его услышали, но эти громадины, среди которых я оказался? Подадут ли они голос? Какой-то сигнал? Но в комнате царила тишина: все они молчали — безмолвные, безголосые, загадочные.

Зато я заметил другое: сколько бы раз я ни наклонялся над ними, рассчитывая что-нибудь услышать, как они поспешно отступали, сбиваясь в кучу. Я снова наклонялся, и реакция оказывалась точно такой же. Совершенно ясно: тараканы брезговали человеком, пятились от него с отвращением, воспринимая его как существо исключительно неприятное, отталкивающее.

Я мог бы приукрасить эту сцену и описать, как, разъяренные моим присутствием, они накидываются на меня, окружают и атакуют, а я впадаю в истерику, дрожу от страха, — но это была бы неправда. На самом деле, если я не приближался к ним, они оставались безучастными, передвигались вяло и сонно. Изредка перебегали с места на место. Иногда выползали из щели, потом снова в ней скрывались. Вот и все.

Я знал, что меня ждет трудная и бессонная ночь (ко всему прочему, в комнате было чертовски душно и жарко), и потому достал из сумки свои заметки о Либерии.

В 1821 году неподалеку от моей гостиницы (Монровия находится на берегу Атлантического океана, на полуострове, напоминающем Хель[1]) пришвартовался корабль, доставивший из США некоего Роберта Стоктона, агента Американского общества колонизации. Стоктон, приставив местному племенному вождю — царьку Питеру — пистолет к виску, вынудил того продать за шесть мушкетов и ларец с бусами землю, на которой Общество намеревалось поселить тех рабов с хлопковых плантаций (главным образом из штатов Виргиния, Джорджия, Мэриленд), которые получили статус свободных граждан. Общество колонизации носило либеральный и благотворительный характер. Члены его считали, что исправить причиненное рабством зло можно, лишь отправив бывших невольников на земли, откуда происходили их предки, — в Африку.

С того времени корабли ежегодно доставляли из США очередные партии рабов, которые начали селиться в районе нынешней Монровии. Они не составили крупного сообщества. Когда в 1847 году была провозглашена Республика Либерия, насчитывалось шесть тысяч человек. Возможно, что общее число так никогда и не превысило полутора десятков тысяч: это менее одного процента всего населения страны.

Поразительны судьбы и поведение этих переселенцев (они называли себя Americo-Liberians — американо-либерийцами). Еще вчера они были чернокожими париями, бесправными рабами на плантациях в южных штатах Америки. В большинстве своем они не умели ни читать, ни писать и не владели никаким ремеслом. Их отцов некогда похитили в Африке, в кандалах доставили в США и продали на невольничьих

1. Хельский полуостров расположен на Балтийском побережье Польши.

рынках. А теперь они, потомки тех несчастных рабов, сами до недавнего времени рабы, оказались в Африке, на земле предков, в их мире, среди сородичей с общими корнями и тем же цветом кожи. По воле либерально настроенных белых американцев их теперь переправили сюда и предоставили самим себе, бросив на произвол судьбы. Как они себя поведут? Чем займутся? Вопреки ожиданиям своих благодетелей, пришельцы не целуют вновь обретенную землю и не бросаются в объятия живущим здесь африканцам.

Эти американо-либерийцы по собственному опыту знают только один вид общественного устройства — рабовладельческий, ибо таковой существовал в южных штатах Америки. Поэтому их первое начинание на новой земле — воспроизведение подобного общества, с той лишь разницей, что хозяевами положения теперь будут они — вчерашние рабы, а рабами — местные племена, покорив которые пришельцы станут ими повелевать.

Либерия — это сохранение рабовладельческого строя по воле самих рабов, которые не хотят разрушать несправедливую систему, а жаждут сохранить ее и развить, чтобы использовать в собственных интересах. Совершенно ясно, что порабощенный разум, исковерканный опытом рабства, разум, "рожденный в неволе, закованный с пеленок", не способен и вообразить мир, где все свободны.

Значительная часть Либерии покрыта джунглями. Непроходимыми, тропическими, влажными, малярийными. Там обитают небольшие, бедные и плохо организованные племена (более могущественные, с сильными военно-государственными структурами чаще всего жили на широких, открытых пространствах саванны. В африканских джунглях из-за тяжелых климатических условий и отсутствия дорог подобные кланы возникнуть не могли). И вот в этих регионах, традиционно занимаемых местными, коренными обитателями, начинают селиться заокеанские пришельцы. Взаимоотношения между ними с самого начала складываются скверные, враждебные. Американо-либерийцы первым делом заявляют, что только они — граждане этой страны. Остальным, то есть девяноста девяти процентам населения, отказывают в этом статусе, в этом праве. Согласно принятым законам, оставшаяся часть — всего лишь tribesmen (члены племен), люди, лишенные культуры, дикари и язычники.

Но чаще всего оба сообщества живут в отдалении друг от друга, поддерживая редкие спорадические контакты. Новые господа предпочитают держаться поближе к побережью, к тем поселениям, которые они там возвели (самое крупное из них — Монровия). Только через сто лет после провозглашения Республики Либерии ее президент (им в ту пору был Уильям Табмен) впервые совершил поездку в глубь страны. Выходцы из Америки, не отличающиеся от местных ни цветом кожи, ни физическим строением, стремятся как-то подчеркнуть свое отличие и превосходство. В крайне знойной и душной атмосфере, царящей в Либерии, мужчины даже в будни ходят во фраках и камзолах, носят котелки и белые перчатки. Женщины, как правило, вообще проводят почти все время дома, но если и выходят на улицу (до середины XX века в Монровии не было ни асфальта, ни тротуаров), то в жестких кринолинах, париках и шляпах с искусственными цветами. Все это избранное, высшее

общество живет в домах, представляющих собой точную копию усадеб и особняков, какие строили себе белые владельцы плантаций на американском Юге. Американо-либерийцы еще и замкнуты в своем религиозном мире, недоступном для местных африканцев. Эти пришельцы — ревностные баптисты и методисты. На новой земле они возводят свои простые храмы. Здесь они проводят все свободные часы, распевая гимны и слушая соответствующие церковному календарю проповеди. Со временем эти храмы станут местом светских встреч, разновидностью закрытых клубов.

Задолго до того как белые африкандеры ввели апартеид (то есть систему сегрегации и дискриминации) в Южной Африке, эту систему в середине XIX века придумали и воплотили в жизнь потомки черных рабов — властители Либерии. Уже сама природа и непроходимые джунгли способствовали тому, что между туземцами и пришельцами возникла естественная, разделяющая их, благоприятствующая сегрегации граница, незаселенная, ничейная территория. Но этого было мало. В крохотном ханжеском мирке Монровии действует запрет тесных контактов с местным населением, прежде всего запрет на браки. Делается все, чтобы "дикари знали свое место". С этой целью правительство в Монровии определяет каждому из племен (а число их достигает шестнадцати) место, где ему дозволено находиться, — типичный homeland[1], созданный белыми расистами для африканцев, только несколькими десятилетиями позже, в Претории. Всех, кто выступает против этого, сурово наказывают. На места бунтов и сопротивления Монровия направляет военно-полицейские карательные экспедиции. Вождям непокорных племен рубят головы, мятежный люд убивают или заключают в тюрьму, деревушки уничтожают, а урожай сжигают. По извечному установившемуся в мире порядку и здесь все экспедиции, походы и локальные войны служат одной цели: захвату рабов. Ибо американо-либерийцам нужны рабочие руки. И действительно, уже во второй половине XIX века они в своих хозяйствах и мастерских начнут использовать собственных рабов. А также продавать их в другие колонии, прежде всего в Фернандо-По и Гайану. В конце двадцатых годов XX века мировая печать разоблачает этот механизм, официально применяемый правительством Либерии. Лига Наций выражает протест. Под ее давлением президент Чарльз Кинг вынужден подать в отставку. Но на деле, только уже втихую, подобная практика продолжается и в наши дни.

С первых дней поселения в Либерии черные выходцы из Америки думали, как сохранить и укрепить свои властные позиции в новой стране. Сначала они не допустили рядовых граждан к участию в правительстве, лишив их гражданских прав. Жить им позволили только в указанных каждому племени регионах. Потом пошли еще дальше — ввели однопартийную систему власти. За год до рождения Ленина, а именно в 1869 году в Монровии образовалась True Whig Party[2], которая, получив в Либерии монополию на власть, будет ее сохранять сто одиннадцать лет, то есть до 1980 года. Руководство этой партии, ее политбюро (National Executive[3]), с самого начала решает все вопросы: кто будет

1. Родная земля, родина *(англ.)*; здесь: резервация.
2. Партия истинных вигов *(англ.)*.
3. Национальный исполнительный комитет *(англ.)*.

президентом, кто войдет в состав правительства, какую политику будет проводить это правительство, какая зарубежная фирма получит концессию, кого назначат начальником полиции, кого почтмейстером и т.д. — никого не пропуская, до самых нижних ступеней. Лидер этой партии мог быть президентом республики или наоборот — та и другая должности рассматривались как взаимозаменяемые. Только будучи в рядах этой партии, человек мог чего-то достичь. Противники же ее пребывали или в тюрьме, или в эмиграции.

С ее лидером, а в шестидесятые годы и президентом Либерии Уильямом Табменом я однажды встретился лично.

Эта встреча произошла весной 1963 года в Аддис-Абебе, во время первой конференции руководителей африканских государств. Табмену было тогда около семидесяти. Он ни разу в жизни не летал самолетом — боялся. За месяц до начала конференции он отплыл на корабле из Монровии, добрался до Джибути, а оттуда на поезде проследовал в Аддис-Абебу. Это был небольшого роста тщедушный жизнерадостный господин с сигарой во рту. На щекотливые вопросы он отвечал длительным зычным смехом, который заканчивался громкой икотой, после чего его одолевал приступ свистящей, судорожной одышки. Он трясся, таращил слезящиеся глаза. Сбитый с толку и напуганный собеседник умолкал и не смел больше приставать с вопросами. Табмен стряхивал пепел с одежды и, успокоившись, вновь скрывался за густым облаком сигарного дыма.

Он был президентом Либерии двадцать восемь лет. Табмен принадлежал к редкой уже ныне категории царьков, которые правят своими странами, как помещик имением: всех знает, все решает сам. (Ровесник Табмена Леонидас Трухильо был диктатором Доминиканской Республики в течение тридцати лет. Во время его господства церковь организовала коллективное крещение — Трухильо передавал священнику новорожденных, которые появились на свет в Доминиканской Республике. Со временем он сделался крестным отцом чуть ли не всех своих подданных. ЦРУ так и не смогло найти добровольцев для организации покушения на диктатора — никто не хотел поднять руку на своего крестного отца.)

Табмен ежедневно принимал около шестидесяти человек. Сам подбирал кандидатов на все должности в государстве, решал, кому предоставить концессию, кого из миссионеров впустить в страну. Всюду расставлял своих людей; у него была приватная полиция, которая доносила ему о том, что происходит в той или иной деревушке. Но ничего существенного там не происходило. Страна являла собой маленькую, забытую африканскую провинцию, на песчаных улицах Монровии, в тени ветхих трущоб дремали за своими лотками толстые перекупщицы, слонялись терзаемые малярией псы. Иногда перед воротами правительственного дворца дефилировала группа людей с огромным транспарантом, на котором можно было прочесть: “Грандиозная манифестация в знак благодарности за тот прогресс, какой произошел в стране в результате замечательного правления президента Либерии д-ра У. Табмена”. Перед теми же воротами останавливались и музыкальные ансамбли из провинции, чтобы своим пением восславить величие президента: “Табмен отец, отец для всех / отец всего народа / Дороги строит он везде/

в дома проводит воду/ Он накормить готов всегда/ всех нас/ о да, о да!" Охранники, укрывавшиеся от солнца в сторожевых будках, аплодировали поющим энтузиастам.

Наибольшее почтение вызывало, однако, то обстоятельство, что президента охраняли добрые духи, которые наделили его сверхъестественной силой. Если бы кто-нибудь попытался поднести Табмену отравленный напиток, бокал с напитком распался бы в воздухе. Пуля террориста не могла бы его поразить: металл расплавился бы в полете. У президента был запас трав, помогающих ему одерживать победу на любых выборах. Кроме того, у него имелся некий аппарат, который позволял увидеть все, что где-либо происходило; любая оппозиция теряла смысл: ее бы своевременно разоблачили.

Табмен умер в 1971 году. Президентский пост занял его друг, вице-президент Уильям Толберт. Насколько Табмена привлекала власть, настолько Толберта прельщали деньги. Он был ходячей коррупцией. Торговал всем — золотом, автомобилями; в свободные минуты — паспортами. Его примеру следовала вся элита, потомки черных американских рабов. Когда же на улицы вышли люди с требованием дать им хлеб и воду, Толберт приказал открыть огонь. Его полиция убила сотни людей.

12 апреля 1980 года на рассвете группа солдат ворвалась в покои президента и четвертовала Толберта в постели. У него вырвали внутренности и вышвырнули их во двор, на съедение собакам и грифам. Солдат было семнадцать человек. Командовал ими двадцативосьмилетний сержант Сэмюэл Доу, малограмотный парень из крохотного, обитающего в джунглях племени Кран. Такие, как он, гонимые нищетой люди издавна стекаются из своих деревушек в Монровию в поисках работы и денег. На протяжении тридцати лет (с 1956-го по 1986 год) население столицы Либерии возросло десятикратно — с 42 до 425 тысяч. И такой скачок произошел в городе, где нет ни промышленности, ни транспорта, где лишь в немногих домах имелось электричество и еще реже — водопровод.

Чтобы из джунглей попасть в Монровию, необходимо проделать многодневный путь в тропиках по бездорожью. Это под силу только молодым, сильным парням. Именно такие и приходили в города. Но им здесь ничего не светило: ни работы, ни крыши над головой. С первого же дня они пополняли ряды байайе — армию молодых безработных, бесцельно слоняющихся по всем главным улицам и площадям африканских городов. Существование подобной армии — одна из причин хаоса на континенте: это из ее рядов за жалкие гроши, часто только за одно обещание накормить местные атаманы рекрутируют свое воинство для борьбы за власть, для устройства переворотов и развязывания гражданских войн.

Доу, как и Амин в Уганде, был именно таким байайе. И, подобно Амину, вытащил в этой лотерее счастливый билет — попал в регулярную армию. Можно было подумать, что он достиг вершины своей карьеры. Но оказалось, что амбиции его этим не ограничивались.

В случае с Либерией переворот Доу — не простая замена коррумпированного царька-бюрократа недоучкой в мундире. Это было вместе с тем кровавое, жестокое и карикатурное восстание угнетенных полувольничьих масс из африканских джунглей против ненавистных им правителей — бывших рабов с американских плантаций. Итак, перево-

рот произошел как бы внутри мира рабов: нынешние невольники восстали против бывших рабов, силой навязавших им свое господство. Все происшедшее, казалось бы, подтверждает весьма пессимистический и трагический тезис, что в каком-то смысле — если говорить хотя бы о ментальности или культуре — из мира рабства нет выхода. Или же что поиск выхода чрезвычайно труден и — непременно — долог.

Доу немедленно объявил себя президентом. Тотчас же приказал убить тринадцать министров правительства Толберта. Экзекуция тянулась долго, на глазах многолюдной, падкой на зрелища черни.

Новый президент то и дело выявлял заговоры с целью покушения на свою жизнь. Он утверждал, что таковых было тридцать четыре. Заговорщиков он расстреливал. Однако то, что Доу оставался жив и продолжал управлять страной, свидетельствовало, что его охраняют заклятия и несокрушимые силы — и что это дело рук колдунов из его деревушки. Можно было стрелять по нему — пули просто останавливались в полете, падали наземь.

Немногое можно сказать о его управлении страной. Он находился у власти десять лет. Государство просто остановилось в своем развитии. Света не было, магазины закрылись, на немногочисленных дорогах замерло движение.

Собственно говоря, Доу плохо понимал, что ему следует делать как президенту. Поскольку у него была по-детски пухлая физиономия, он приобрел большие очки в золотой оправе, чтобы выглядеть солиднее и респектабельнее. Он был страшно ленив, поэтому целыми днями просиживал в своей резиденции, играя с подчиненными в шашки. Много времени он проводил также во внутреннем дворе, где жены охранников из президентской гвардии готовили на кострах или занимались стиркой белья. Он разговаривал с ними, шутил, подчас брал какую-либо из них в постель. Не зная, как поступать дальше и как после убийства стольких людей избежать мести, выход он видел только в одном: окружить себя людьми из родного племени Кран. Для чего и стянул в Монровию уйму своих соплеменников. Власть из рук богатых и светских коренных американо-либерийцев, успевших тем временем бежать из страны, перешла к нищему, неграмотному и напуганному своим новым положением племени лесных людей, которые, внезапно вытащенные из своих сплетенных из лыка и веток шалашей, впервые увидели такие вещи, как городские дома, автомобили или ботинки. Они понимали: единственный способ уцелеть — это устрашение или ликвидация подлинных либо потенциальных врагов, то есть всех тех, кто не принадлежит к племени Кран. Поэтому горстка этих еще вчера нищих темных людей, стремясь удержаться у кормила столь доходной власти, что нежданно-негаданно свалилась им в руки, сразу же начинает терроризировать население. Они истязают, издеваются, вешают сограждан без особой причины. "Почему тебя так изукрасили?" — спрашивают соседи человека, покрытого синяками. "Они установили, что я не принадлежу к племени Кран", — отвечает несчастный.

Понятно, что в создавшейся ситуации страна только и ждет, как бы избавиться от Доу и его людей. Помощь приходит от некоего Чарльза Тейлора, бывшего сподвижника Доу, который, как утверждал последний,

украл у него миллион долларов, уехал в Соединенные Штаты, там попался на каких-то махинациях, угодил в тюрьму, но бежал и неожиданно объявился в Республике Берег Слоновой Кости. Оттуда, сколотив группу в шестьдесят человек, в декабре 1989 года он выступает против Доу. Доу мог бы легко его уничтожить, но послал против него армию своих босоногих соплеменников, которые, — вместо того чтобы бороться с Тейлором, — едва покинув Монровию, принялись грабить и красть что и где придется. Весть о марше этой "грабь-армии" молниеносно разнеслась по джунглям, и перепуганное население в надежде спастись начало перебегать к Тейлору. Его войско стремительно росло и уже через полгода оказалось под стенами Монровии. В лагере Тейлора начались распри: кому брать город и как поделить трофеи? Начальник штаба, тоже бывший человек Доу, Принс Джонсон порывает с Тейлором и формирует собственные вооруженные силы. Теперь уже три армии: Доу, Тейлора и Джонсона — сражаются в самом городе за право завладеть им. Монровия превращается в груду руин, целые кварталы охвачены пламенем, улицы усеяны трупами.

Наконец в ситуацию вмешиваются страны Западной Африки. Нигерия направляет на кораблях десантные части, которые высаживаются в порту Монровии. Доу узнает об этом и решает навестить нигерийцев. Взяв свою охрану, он на "мерседесе" отправляется в порт. Девятое сентября 1990 года. Президент едет через истерзанный, опустошенный, разграбленный и опустевший город. Добирается до порта, но здесь его уже ждут люди Джонсона. Они открывают огонь. Гибнет вся президентская охрана. Сам Доу получает несколько пулевых ранений в ноги и не может бежать. Его хватают, связывают руки за спиной и волокут на пытки.

Джонсон, заинтересованный в рекламе, приказал детально запечатлеть сцену пыток. На экране мы видим Джонсона: он сидит, прихлебывая пиво. Рядом стоит женщина, которая обмахивает его и отирает пот со лба (царит страшная жара). На полу сидит связанный Доу, истекая кровью. У него изуродовано лицо, глаз почти не видно. Рядом топчутся люди Джонсона, зачарованные видом истязаемого диктатора. Это отряд, который уже полгода бродит по стране, грабя и убивая, однако вид крови неизменно приводит их в состояние экстаза, в исступление. Молодые парни толкаются, каждый жаждет получше все увидеть, насладиться зрелищем. Доу сидит в кровавой луже, голый, мокрый от крови, пота и воды, которой его окатывают, чтобы он не терял сознания; голова его распухла от ударов. "Принс! — бормочет он, обращаясь к Джонсону по имени (ведь они — коллеги; люди, которые борются друг с другом и опустошают страну, Доу, Тейлор и Джонсон, — коллеги). — Прикажи только ослабить веревки на руках. Я все скажу, только ослабьте путы!" Скорее всего, веревки так крепко стянули Доу руки, что это причиняет ему больше страданий, нежели перебитые пулями ноги. Но Джонсон кричит на Доу, орет на местном, креольском диалекте, многое понять невозможно — понятно лишь требование назвать номер банковского счета Доу. Всякий раз, когда в Африке хватают диктатора, главная цель следствия, избиений, пыток — номер его личного счета. По здешним представлениям, политик — синоним главаря преступной банды, который обогащается, участвуя в торговле наркотиками и оружием, и переводит деньги на счета в зарубежных банках, ибо знает, что его карьера

недолговечна, что рано или поздно придется бежать и на что-то надо будет жить.

— Отрежьте ему уши! — кричит Джонсон, обозленный тем, что Доу не хочет говорить (хотя тот заявляет, что хочет!).

Солдаты швыряют президента на пол, придавив сапогами, а один штыком отхватывает ему ухо. Слышится звериный рык боли.

— Второе ухо! — требует Джонсон. Полная сумятица, все возбуждены, ссорятся, каждому хочется откромсать президенту ухо. Снова слышится вопль.

Президента приподнимают. Доу сидит, в спину ему упирается солдатский сапог, безухая, залитая кровью голова падает на грудь. Теперь Джонсон, собственно, уже не знает, как поступить дальше. Приказать отрезать Доу и нос? Руку? Или ногу? Он явно в замешательстве. Происходящее начинает ему надоедать. "Уберите его отсюда!" — приказывает Джонсон солдатам, которые подвергнут президента дальнейшим истязаниям (также зафиксированным на пленке). Истерзанный Доу жил еще несколько часов и умер от потери крови. Когда я был в Монровии, видеокассета, запечатлевшая предсмертные муки президента, была самым ходовым товаром на видеорынке. Однако в городе мало у кого имелись видеомагнитофоны, да и свет часто отключали. Чтобы увидеть пытки (полная демонстрация записи продолжается два часа), людям приходилось напрашиваться в гости к более состоятельным соседям или же отправляться в те бары, где кассету крутили без перерыва.

Те, что пишут о Европе, недурно устроились. Писатель может, к примеру, поселиться во Флоренции (или поселить там своего героя). И все — остальное за него выполнит история. В его распоряжении неисчерпаемый запас тем: творения старых архитекторов, которые возвели флорентийские храмы, скульпторов — авторов необыкновенных изваяний, богатых горожан, что могли позволить себе построить щедро украшенные ренессансные каменные дома. Все это можно описать, не сходя с места или совершив краткую прогулку по городу. "Я остановился на Пьяцца дель Дуомо", — пишет автор, оказавшийся во Флоренции. А дальше может последовать многостраничное описание того изобилия вещей, шедевров искусства, творений человеческого гения, которые всюду его окружают, которые он видит везде и в которые погружен. "А теперь я иду по Виа дель Корсо и Борго дельи Альбици в сторону музея Микеланджело, чтобы непременно увидеть барельеф Мадонны делла Скала", — продолжает наш автор. Как ему хорошо! Достаточно того, что он идет и смотрит. Окружающий его мир сам ложится под перо. Можно написать целую главу об этой краткой прогулке. Тут такое многообразие всего, такая пышность, такое изобилие! Возьмем Бальзака. Возьмем Пруста. Страница за страницей тянутся реестры, ведомости, каталоги вещей и предметов, спроектированных и созданных тысячами мебельщиков, резчиков, сукновалов и каменщиков, умелыми, ловкими, прилежными руками которых построены в Европе города с их улицами, возведены и оборудованы изнутри дома.

В Монровии пришелец оказывается в совершенно иной ситуации. Похожие, с виду убогие и запущенные домишки тянутся километрами, улицы переходят одна в другую, квартал сменяется кварталом столь

неприметно, что только усталость, какую вскоре начинаешь ощущать в этом климате, послужит для нас сигналом, что мы переместились из одной части города в другую. Внутреннее убранство домов (кроме нескольких вилл известных людей и богачей) столь же убого и однообразно. Стол, стулья или табуретки, железная супружеская кровать, пальмовые или поролоновые подстилки для детей, гвозди в стене в качестве вешалок для одежды, какие-то, чаще всего вырезанные из цветных журналов, картинки. Большая кастрюля для приготовления риса и меньших размеров — под соус, кружки (под воду и чай). Пластмассовый таз для мытья, который в случае бегства (что в последнее время не редкость, ибо то и дело завязывается перестрелка) используется в качестве тары для поклажи, переносимой женщинами на голове.

Это все?

Более или менее.

Проще и дешевле всего построить дом из оцинкованной рифленой жести. Дверь заменяет ситцевая занавеска, оконные проемы невелики, в период дождей, который здесь бывает продолжительным и тягостным, их заслоняют кусками фанеры или толстого картона. Такой дом на протяжении дня раскаляется как печь, от стен пышет жаром, крыша потрескивает и чуть ли не плавится на солнце, поэтому с рассвета до сумерек никто не отваживается войти внутрь. Едва начинает светать, и первый же проблеск зари выгоняет всех, еще заспанных, обитателей дома на улицу, где они и останутся до вечера. Они высыпают во двор мокрые от пота, расчесывая волдыри от укусов москитов и пауков, спеша заглянуть в горшок, не осталось ли там со вчерашнего дня капельки риса.

На улицу и соседские дома посматривают без любопытства и надежд.

Может быть, и следовало бы чем-нибудь заняться.

Но чем? Что тут можно делать?

Утром я прошелся по Керри-стрит, на которой расположена и моя гостиница. Это центр, самый центр города, торговый район. Но далеко не уйдешь. Везде под стенами домов сидят группы байайе — праздных, голодных парней, которым не на что рассчитывать: в жизни им ничего не светит. Они заговаривают со мной только для того, чтобы спросить, откуда я, или же предложить себя в качестве гидов, или попросить, чтобы я устроил им стипендию в Америке. Они даже не жаждут получить доллар на хлеб, а сразу метят высоко — в Америку.

Через сотню метров я уже оказываюсь в кольце мальчишек с опухшими физиономиями и мутным взглядом; у кого нет руки, у кого — ноги. Они попрошайничают. Это бывшие солдаты из мальчишеских отрядов Чарльза Тейлора. Тейлор рекрутирует детей, дает им оружие, а также снабжает наркотиками. И, когда они находятся под действием наркотиков, бросает их в бой. Одурманенные пацаны ведут себя как камикадзе, устремляются в гущу сражения, прут прямо под пули, подрываются на минах. Когда они настолько привыкают к наркотикам, что становятся малопригодными, Тейлор избавляется от них. Некоторые добираются до Монровии и заканчивают свою короткую жизнь где-нибудь в канаве, на свалке, истерзанные малярией, холерой или шакалами.

Собственно, неясно, почему Доу отправился в порт (чем и спровоцировал собственную гибель). Возможно, запамятовал, что он — прези-

дент. Ведь десять лет назад Доу сделался им, по сути, совершенно случайно. С группой из шестнадцати однополчан, таких же, как и он, кадровых унтер-офицеров, Доу отправился в резиденцию президента Толберта узнать, когда им выплатят просроченное денежное довольствие. Никого из охраны они не встретили, а сам Толберт спал. Воспользовавшись случаем, они закололи его штыками. И Доу, старший по званию в этой группе, занял президентское место. В Монровии низший офицерский состав особым уважением не пользуется, но тут все начали с ним раскланиваться, аплодировать, протискиваться сквозь толпу, чтобы пожать ему руку. Доу это понравилось. Он быстро усвоил кое-какие вещи. Например, что на разного рода вечерние сборища следует вместо полевого мундира надевать темный двубортный костюм. Что едва на горизонте замаячит противник, нужно немедленно напасть на него и убить. Однако обучиться всему Доу не успел. Он не знал, в частности, как поступить, если давние соратники — Тейлор и Джонсон — захватят всю страну, займут столицу и начнут осаду его резиденции. У Тейлора и Джонсона были свои бандформирования, и оба, соперничая друг с другом, рвались к власти (которая продолжала оставаться в руках Доу). Разумеется, при подобных устремлениях и речи быть не может ни о каких программах, ни о какой демократии или суверенности. Речь идет только о том, в чьих руках казна. Доу держал казну десять лет. Тейлор и Джонсон имели право заявить: хватит! Более того, прямо об этом говорили. "Мы всего лишь хотим, — повторяли они в десятках интервью, — отстранить от власти Сэмюэла Доу. На следующий же день воцарится мир".

Доу не способен был ничем на это ответить, он просто растерялся. Вместо того чтобы действовать вооруженным или мирным путем, он ровным счетом ничего не делал. Укрывшийся в своей резиденции, он плохо понимал, что происходит вокруг, хотя уже три месяца в городе шли ожесточенные бои. И вот кто-то сообщает ему, что в порт прибыли нигерийские войска. Как президент республики он мог официально поинтересоваться, что это за иноземные части вторглись на территорию его страны. Он мог потребовать, чтобы командир этих десантников явился в его резиденцию для объяснений. Ничего такого Доу не делает — в этом сказалась натура младшего офицера-разведчика, сержанта-наблюдателя. Он сам выяснит, что там происходит! Садится в машину и едет в порт. Но разве он не знает, что эта часть города захвачена Джонсоном, который намерен его четвертовать? И что президенту страны не пристало ехать, дабы представиться командиру иностранной воинской части?

А может, он действительно не знал? Или знал, да только его подвело воображение: не подумав, он поступил безрассудно. История часто — результат безрассудства, плод человеческой глупости, ущербное дитя умопомрачения, идиотизма и безумия. В таких случаях ее вершат люди, которые не ведают, что творят, более того — не желают этого знать, отвергают разумные варианты с омерзением и негодованием. Мы видим, как они устремляются навстречу собственной гибели, как сами готовят себе силки, как завязывают себе петлю на шее, как тщательно и многократно проверяют, достаточно ли надежными окажутся эти силки и петли.

Последние часы Доу позволяют нам взглянуть на историю в той ее точке и в тот момент, когда она близка к полному распаду. Достойная и возвышенная богиня превращается в свою кровавую и жалкую карикатуру. Вот палачи Джонсона ранят в ноги президента страны, чтобы он не смог убежать, хватают его, заламывают и связывают руки. Они будут истязать его десять с лишним часов. Происходит это в небольшом городке, в котором существует законное правительство. А что в это время поделывают министры? Чем заняты остальные чиновники? Где полиция? Президент подвергается истязаниям прямо рядом с домом, в котором расположились нигерийские солдаты, прибывшие в Монровию для защиты легальной власти. И эти солдаты никак не реагируют? Происходящее их не волнует? Мало того! В двух-трех километрах от порта расквартированы несколько сотен солдат отборной президентской гвардии, единственная задача и смысл существования которой — охрана главы государства. Между тем этот глава утром с кратким визитом отправился в порт, проходят долгие часы, а о нем ни слуху ни духу. И солдаты даже не поинтересуются: что же произошло с президентом? Куда он подевался?

Впрочем, вернемся к сцене, в ходе которой Джонсон допрашивает президента. Джонсон хочет узнать, в каком из банков находится личный счет Доу. Доу стонет, у него нестерпимо болят раны, за час до этого он получил десятка полтора пуль. Он что-то — непонятно что — бормочет. Разъяренный Джонсон приказывает немедленно отрезать Доу уши. Зачем? Разумно ли это? Разве Джонсон не понимает, что кровь зальет президенту слуховые каналы и разговаривать с ним станет еще труднее?

Чувствуется, что эти люди ничего не в состоянии сделать, что обстоятельства оказываются выше их понимания. Они совершают ошибку за ошибкой, а потом, взбешенные, пытаются наверстать упущенное. Но можно ли что-то исправить криком? Издевательствами, убийствами?

После смерти Доу война продолжалась. Тейлор воевал с Джонсоном, и они оба — с остатками либерийской армии, а с ними со всеми — интервенты из нескольких африканских государств, которые призваны были восстановить порядок в Либерии. В результате длительных боев эти части заняли Монровию и ближайшие пригороды столицы, оставив прочие районы страны Тейлору и подобным ему атаманам. По столице еще можно было передвигаться, но стоило отъехать на 20—30 километров, как на дороге возникал блокпост с солдатами из Ганы, Гвинеи или Сьерра-Леоне. Задерживали всех подряд — дальше ехать запрещалось.

А дальше начинался ад, куда даже вооруженные до зубов солдаты соваться не решались. Там была вотчина либерийских атаманов. Этих атаманов, которых немало и в других странах Африки, на континенте принято называть "лордами войны" — warlords [1].

"Лорд войны" — это бывший офицер, экс-министр или партийный функционер либо еще какой-нибудь жаждущий власти и денег, лишенный совести, но обладающий силой жестокий субъект, который, используя развал государства (к чему сам же приложил и прилагает руку), хочет выкроить для себя собственное, неформальное мини-государство и

1. Военачальники, военные диктаторы *(англ.)*.

установить там диктаторское правление. Чаще всего "лорд войны" использует в этих целях свой клан или племя, к которому принадлежит. Такие вояки — сеятели племенной и расовой ненависти. В этом они никогда не признаются. Они всегда заявляют, что руководят некими движениями или партиями общенационального характера. Чаще всего это будет какое-нибудь освободительное движение или же движение в защиту демократии либо независимости. Ниже подобных идеалов они не опускаются!

Выбрав название, "лорд войны" начинает формировать армию. С этим проблем не возникнет. В любой стране, в любом городе наберутся тысячи голодных и безработных парней, мечтающих попасть в такую армию. Ведь вождь снабдит их оружием, а кроме того, что немаловажно, они почувствуют себя членами некой общности. Чаще всего их caudillo[1] не станет платить им жалованье. Он скажет: у вас в руках оружие, сами прокормитесь! И больше им говорить ничего не надо — они будут знать, как поступать дальше.

С оружием тоже нет проблем. Стоит оно гроши, и всюду его навалом. Кроме того, у "лордов войны" есть деньги. Они либо, будучи министрами или генералами, запускали лапу в государственную казну, либо получают доходы, оккупируя экономически прибыльную часть страны, где есть шахты, заводы, леса для вырубки, морские порты, аэродромы. Например, Тейлор в Либерии или Савимби в Анголе занимают районы, где находятся алмазные копи. Многие войны в Африке можно было бы назвать алмазными. Война за алмазы велась в провинции Касаи в Конго и годами продолжается в Сьерра-Леоне. Впрочем, не только алмазные копи приносят деньги. Дороги, реки тоже обеспечивают недурной доход: можно расставить блокпосты и со всех подряд взимать плату.

Неисчерпаемым источником обогащения для "лордов войны" служит международная гуманитарная помощь бедному голодающему населению. С каждого транспорта берут столько мешков зерна и столько литров масла, сколько заблагорассудится. Ведь тут господствует право, которое гласит: кто с оружием, тот первый и ест. Голодные получают только то, что останется. Международные организации оказываются перед выбором: если ничего не дать грабителям, они вообще перекроют поставки голодающим, и те умрут. Поэтому атаманов снабжают всем, что их душа пожелает, в надежде, что хотя бы какие-нибудь крохи попадут к тем, кто страдает от голода.

"Лорды войны" — это одновременно и причина и следствие кризиса, в постколониальную эпоху постигшего многие из государств Африканского континента. Если мы слышим, что какая-то страна в Африке утрачивает стабильность, можно быть уверенными, что там тотчас же появятся "лорды войны". В Анголе, в Судане, в Сомали, в Чаде — всюду и везде они у власти. Чем занят "лорд войны"? Теоретически он воюет с себе подобными. Но это вовсе не обязательно. Чаще всего он грабит жителей собственной страны. Такой человек — полная противоположность Робин Гуду. Робин Гуд, грабя богатых, помогал бедным. Этот же грабит бедных ради личного обогащения и содержания своей банды. Мы

1. Военачальник, вождь *(исп.)*.

живем в мире, где нищета одних обрекает на смерть, других превращает в монстров. Первые — жертвы, вторые — палачи. Иных нет.

Жертвы тут же, под боком. Не надо далеко ходить: это мирные жители близлежащих деревень и местечек. Войско "лорда" — банды полуголых, обутых в драные "адидасы" кондотьеров — беспрестанно рыщет по землям своего хозяина в поисках съестного и поживы. Для этих озверевших, голодных и часто зависимых от наркотиков бедняков любая добыча хороша. Горсть риса, изношенная рубаха, обрывок одеяла, глиняный горшок — всё это желанные объекты, предметы, которые представляют ценность, при виде которых дрожат руки, загораются нехорошим блеском глаза. Но люди стали опытнее. Едва разносится весть о приближении вооруженных банд, как вся округа хватает манатки и обращается в бегство. Именно этих людей, растянувшихся километровыми колоннами, видят по телевизору жители Европы и Америки.

Присмотримся к ним повнимательнее. Чаще всего это женщины и дети. Ибо "лорды войны" сражаются с самыми слабыми. С теми, кто не в состоянии защищаться, кто бессилен, так как невооружен. Обратим внимание и на то, что́ эти женщины несут с собой. На голове у них узел или миска, в которых самое необходимое — мешочек риса либо пшена, ложка, нож, кусок мыла. Больше ничего. Этот узелок, эта миска — все их состояние, все, что они нажили, богатство, с которым они вступают в XXI век.

Количество таких "лордов войны" растет. Это новая сила, новые властители. Они отхватывают себе лакомые куски, самые богатые районы страны, а это приводит к тому, что государство, даже если и сохранится, окажется слабым, бедным и беспомощным. Поэтому государства пытаются защищаться, создают объединения и союзы для борьбы за самосохранение. Вот почему в Африке редки межгосударственные войны: страны объединены одними и теми же невзгодами, они едут в одной колымаге, равно обеспокоенные своей судьбой. Зато много войн гражданских, то есть таких, когда военные диктаторы делят страну между собой и грабят население, разворовывают природные ресурсы и недра.

Но случается, "лорды войны" осознают: все, что можно было разграбить, уже разграблено и источник обогащения исчерпан. Тогда начинается так называемый процесс мирного урегулирования. Созывается конференция противоборствующих сторон (так называемая warring factions conference), подписываются соглашения и устанавливается дата выборов. В ответ Международный банк предоставит им всякого рода займы и кредиты. "Лорды войны" станут еще богаче, чем были, ибо от Международного банка можно получить значительно больше, нежели от своих голодных собратьев.

В гостиницу явились Джон и Зейдо. Они повезут меня в город. Но сначала мы пойдем выпить, ибо с самого утра досаждает жара. Даже в эту пору в баре уйма людей, они боятся ходить по улицам, а здесь чувствуют себя в относительной безопасности. Африканцы, европейцы, индусы. С одним я уже успел познакомиться раньше. Джеймс П., колониальный чиновник на пенсии. Чем он здесь занимается? Он не отвечает на

вопрос, улыбается, делает рукой неопределенный жест. За липкими колченогими столиками сидят вакантные проститутки. Черные, заспанные, очень красивые. Хозяин, ливанец, наклоняется ко мне через стойку и шепчет на ухо: "Это всё воры. Мечтают сколотить капитал и податься в Америку. Тут собрались торговцы алмазами. Они скупают их за гроши у "лордов войны", а потом русскими самолетами доставляют на Ближний Восток". "Русскими?" — недоуменно переспрашиваю я. "Да, — говорит он, — поезжай на аэродром. Там стоят русские самолеты, которые вывозят алмазы на Ближний Восток: в Ливан, Йемен, Дубай — туда главным образом".

За время нашей беседы бар внезапно опустел. Стало тихо, просторно. "Что случилось?" — спросил я ливанца. "Они заметили, что у тебя фотоаппарат. Предпочли убраться, не хотят попасть в объектив".

Мы тоже вышли на улицу. Нас тотчас же облепил влажный горячий воздух. Не знаешь куда и деваться. Внутри здания — жарко, снаружи — тоже. Невозможно идти, невозможно сидеть, лежать, ехать. Такая температура парализует всякую энергию, восприимчивость, любопытство. О чем думается? Как протянуть день. Ну, утро уже позади. О, даже за полдень перевалило. Наконец-то близятся сумерки. Но с их приходом не станет легче. Сумерки такие же душные, клейкие, осклизлые. А вечер? Вечер источает нагретую, удушающую мглу. А ночь? Ночь окутывает нас мокрой горячей простыней.

К счастью, множество проблем можно решить прямо возле гостиницы. Итак, сперва поменять деньги. В обращении только один номинал — одна банкнота: пять либерийских долларов. Это примерно пять американских центов. Пачки этих пятидолларовых бумажек лежат на уличных лотках — для обмена. При желании что-нибудь купить приходится таскать с собой целую сумку денег. Но наша сделка проста: у одного из столиков мы обмениваем деньги, у следующего — покупаем горючее. Бензин продают в литровых бутылках, все автозаправки закрыты, существует только черный рынок. Я наблюдаю за тем, сколько горючего покупают люди: литр-два, не больше — нет денег. Джон богат, он покупает целых десять литров.

Мы отправляемся в путь. Интересно, что Джон и Зейдо собираются мне показать? Сперва мне демонстрируют все самое внушительное. Самые внушительные — американские объекты. В нескольких километрах от Монровии начинается обширный металлический лес. Мачты, мачты. Массивные, высокие, а из них прорастают, устремляются еще выше разветвления, отростки, сети антенн, стержней, проводов. Эти конструкции тянутся километрами, в какой-то момент мне начинает казаться, что мы очутились где-то в мире science fiction, закрытом и непостижимом, на другой планете. Это ретрансляционная станция "Голоса Америки", вещавшая на Европу, Африку и Ближний Восток. Построенная еще в доспутниковую эпоху, во время второй мировой войны, ныне она бездействует, покинутая, изъеденная ржавчиной.

Потом мы отправляемся на другой конец города, к месту, откуда открывается вид на громадную равнину, плоские бесконечные луга, перерезанные бетонной взлетной полосой. Это аэропорт Робертсфилд, крупнейший в Африке и один из самых больших в мире. Теперь он пуст,

разрушен, закрыт (функционирует только маленький аэродром в черте города, на который приземлился я). Здание аэровокзала разрушено, взлетная полоса вся в воронках от снарядов и бомб.

Наконец, самый крупный объект, государство в государстве — каучуковая плантация Файерстоуна. Но туда сложно подъехать — то и дело мы натыкаемся на военные блокпосты. Возле каждого — шлагбаум, приходится останавливаться. Останавливаться и ждать. Через какое-то время из будки или из-за мешков с песком выходит солдат. Начинает расспрашивать: а кто? а что? Замедленные движения, скупые односложные слова, бесцветный, непроницаемый взгляд, сосредоточенная задумчивая физиономия — все это призвано прибавить серьезности и авторитета особе и функциям часового. "Можно ли ехать дальше?" Прежде чем ответить, часовой утрет пот с лица, поправит оружие, оглядит машину со всех сторон. Джон принимает решение вернуться: мы не успеем добраться, куда хотели, до вечера, а с наступлением темноты движение на всех дорогах запрещено и нам придется туго.

И вот мы снова в городе. Меня везут в сквер, где лежат остатки взорванного и уже успевшего зарасти травой памятника президенту Табмену. Памятник взорван по приказу Доу, дабы продемонстрировать, что господство бывших американских рабов кончилось, а власть в свои руки взял угнетенный либерийский народ. Здесь если что-то однажды будет разрушено, разбито, уничтожено, в таком виде и останется. По дороге нам попадаются проржавевшие обломки машины, врезавшейся в дерево: автомобиль разбился несколько лет назад, и искореженный кузов тут так и валяется. Если на шоссе рухнет дерево, его не станут убирать, будут обходить его полем, протопчут новую тропку. Недостроенный дом так и будет стоять, разрушенный не будет восстановлен. Подобное происходит и с этим памятником. Реставрировать его никто не собирается, но и обломки убрать не хотят. Сам акт разрушения венчает дело: если даже какой-то материальный след сохранился, он не имеет ни значения, ни веса, а потому не заслуживает внимания.

Чуть дальше, неподалеку от порта и моря, мы остановились на пустыре у страшно вонючей кучи отбросов. Я увидел, как по ней бегают крысы. В воздухе кружили грифы. Джон выскочил из машины и затерялся среди стоящих поблизости покосившихся шалашей. Через минуту он появился с каким-то стариком. Мы последовали за ним. Меня била дрожь, так как крысы без опаски шныряли прямо под ногами. Задыхаясь от вони, я зажал нос пальцами. Наконец старик остановился и, указав на гниющую гору, что-то произнес.

— Он сказал, — перевел мне Зейдо, — что здесь бросили труп Доу. Где-то в этом месте.

Чтобы подышать лучшим воздухом, мы поехали на реку Святого Павла. Река служила границей между Монровией и миром "лордов войны". Через реку был переброшен мост. На стороне Монровии нескончаемой чередой тянулись шалаши и палатки лагерей для беженцев. Был здесь и большой рынок — колоритное царство темпераментных и возбужденных торговок. Людям с другого берега реки, из недр ада, из мира, где господствуют террор, голод и смерть, разрешалось переходить на нашу сторону за покупками только при условии, что оружие они оставят там,

у входа на мост. Я смотрел, как они, уже перейдя мост, останавливаются, полные недоверия и неуверенности, удивленные, что существует нормальный мир. И как они протягивают вперед руки, словно перед ними нечто материальное, к чему можно прикоснуться.

Там же я заметил человека, который расхаживал совершенно голый, но с автоматом Калашникова на плече. Люди расступались перед ним, огибали его. Наверное, он был сумасшедший. Сумасшедший с автоматом Калашникова.

Дыра в Ониче

Онича! Мне всегда хотелось увидеть Оничу. Есть названия магические, которые вызывают заманчивые, колоритные ассоциации. Например: Томбукту, Лалибэла, Касабланка. К их числу относится и Онича. Онича — городок в восточной Нигерии, где расположен самый большой африканский рынок, возможно даже крупнейший в мире. В Африке четко разграничиваются два понятия: рынок-базар и то, что мы называем торговым центром или крытым рынком. Торговый центр — это постоянно действующий объект, нечто, имеющее архитектурную форму, в меру плановую застройку, группу постоянных торговцев, достаточно стабильную клиентуру. Там есть устойчивые ориентиры: вывески известных фирм, таблички с фамилиями солидных коммерсантов, яркие рекламы, декоративные витрины. Рынок же — это абсолютно другой мир. Это стихия, спонтанность, импровизация. Это народное гулянье, спектакль на открытом воздухе. Мысль о рынке, который прежде всего сфера и царство женщин, не оставляет ни одну женщину ни на минуту. Еще дома — в деревне или местечке — она думает о том, как отправится на рынок. Для того, чтобы купить что-то или продать. А может быть, и то и другое. Обычно рынок расположен далеко, поход туда занимает целый день, если не больше, и долгая дорога позволяет всласть наговориться (идут целой группой), обменяться мнениями, посудачить.

А сам рынок? Это место торговли, но и место встреч. Он помогает убежать от рутины обыденной жизни: это минута отдыха, светской жизни. Отправляясь на рынок, женщины надевают лучшие платья, а еще до этого одна другой тщательно делают прически. Поскольку на рынке одновременно с покупками происходит и непрерывная демонстрация моды — скромная, непроизвольная, импровизированная. Если присмотреться к тому, что́ большинство этих женщин продает или покупает, трудно избавиться от ощущения, что товар здесь только предлог для установления или поддержания контактов. Вот женщина продает три помидора. Или несколько кукурузных початков. Или кружку риса. Какая от этого прибыль? Что на вырученные гроши можно купить? Однако же на рынках проводят целые дни. Приглядимся к такой женщине внимательнее. Она сидит и все время разговаривает с соседками, они о чем-то спорят, поглядывают на снующих мимо людей, высказывают свое мнение и комментируют происходящее. Потом, проголодавшись, обмениваются продуктами и кушаньями, которые принесли на продажу, и тут же их съедают. Как-то я наблюдал такую сцену на рыбном рынке в Республике Мали, в Мопти. На крошечном песчаном пятачке в убийствен-

ную жару сидели примерно сотни две женщин. У каждой было несколько мелких рыбешек на продажу. Я не заметил, чтобы кто-нибудь жаждал их купить. Никто их не осматривал, не спрашивал цену. Однако торговки сидели довольные, беседовали, громко о чем-то спорили, занятые собой, отсутствующие для мира. Думаю, что если бы в тот момент возник вдруг какой-то покупатель, его встретили бы с неудовольствием, ибо он помешал бы этим женщинам прекрасно проводить время.

Крупный рынок — это огромная толпа, страшная давка. Люди жмутся друг к другу, толкаются, давятся, задыхаются. Насколько хватает глаз — целое море будто высеченных из куска базальта голов, ярких разноцветных нарядов.

И в эту стихию еще вторгаются грузовики. Да, потому что грузовики должны доставить товар. Традиционные правила продвижения этих машин таковы, чтобы по возможности никого не покалечить, ничего не раздавить. Итак, грузовик вначале въезжает в толпу на глубину метра. Въезжает медленно, сантиметр за сантиметром, шаг за шагом. Женщины, стоящие или сидящие на его пути, свалив свой товар в корзины, в тазы, в подолы и расталкивая соседок, молча и послушно отступают перед бампером надвигающейся машины, чтобы минутой позже, словно волны, рассеченные носом корабля, вернуться на свое место.

Африканский рынок — это, на взгляд европейца, гигантская барахолка. Средоточие рванины и старья. Горы дешевки и безвкусицы. Ничто не представляет здесь большой ценности, ничто не привлекает внимания, не вызывает изумления, не будит желания это приобрести. В одном конце рынка го́ры одинаковых пластмассовых желтых и красных ведер и тазов, в другом — тысячи идентичных маек и парусиновых туфель, еще где-то — пирамиды разноцветных рулонов ситца, ряды блестящих нейлоновых платьев и пиджаков. Только в подобном месте замечаешь, как обильно наводнен мир третьесортной продукцией, как он утопает в стихии кича, подделки, безвкусицы и убожества.

И вот наконец у меня появилась возможность поехать в Оничу. Теперь, уже сидя в машине, я старался представить себе, как все это будет выглядеть в чудовищно увеличенном виде, многократно умноженном до масштабов крупнейшего рынка мира. Моего водителя звали Оменка. Он принадлежал к разряду хитрых ловкачей. Воспитанный в условиях того достатка, который присущ этому богатому нефтью району, он знал цену деньгам, знал и то, как вытянуть их из своих пассажиров. В первый день нашего знакомства, прощаясь, я не заплатил ему ни гроша. Он удалился, даже не сказав "до свидания". Мне это было неприятно: я не терплю холодных, формальных отношений между людьми. В следующий раз я дал ему 50 найр (местная валюта). Он попрощался, даже улыбнулся и протянул мне руку. Ободренный, в следующий раз я дал ему 100 найр. Он сказал: "До свидания", усмехнулся и подал руку. При очередном прощании я дал ему 150 найр. Он сказал: "До свидания", улыбнулся, поблагодарил и сердечно, обеими руками сжал мою ладонь. Затем я повысил ставку и уплатил ему 200 найр. Он попрощался, улыбнулся, обнял меня, попросил передать привет семье, заботливо поинтересовался моим здоровьем. Не хочется долго рассказывать — короче, дело дошло до того, что я засыпал его найрами, и в результате мы никак не могли расстаться. У Оменки каждый раз дрожал от волнения голос, и он со слезами на

глазах клялся мне в вечной преданности. Я же получил то, чего хотел, даже с избытком: сердечность, тепло, доброту.

Итак, мы с Оменкой ехали в Оничу, двигались в северном направлении (если принять за отправную точку залив Бенин), минуя местечки Аба, затем Оверри и Ихиале. Край этот вечнозеленый, сырой и густо населенный. Часть жителей занята на добыче нефти, часть обрабатывает поля маниоки и кассавы, часть сбивает с деревьев и продает кокосы, некоторые гонят самогон из бананов и проса. Кроме того, все занимаются торговлей. В Африке существует деление на фермеров и скотоводов, на солдат и чиновников, на портных и механиков, но гораздо важнее другое, то, что всех объединяет, — торговля. Разница между африканским и европейским обществом, кроме прочего, состоит и в том, что в последнем существует разделение по профессиям, по специальному образованию, по степени владения своим ремеслом. В Африке этот принцип соблюдается в очень небольшой степени. Здесь — особенно в наши дни — один человек выполняет с десяток разных дел, чаще всего кратковременных, и, бывает, не очень серьезно ими занимается. Зато трудно найти кого-нибудь, кто не соприкоснулся бы с самой обширной стихией и страстью Африки — с торговлей.

И рынок в Ониче — точка, где сходятся все дороги и пути торгующей Африки: именно здесь они встречаются и пересекаются. Онича привлекала меня еще и потому, что это единственный известный мне пример рынка, который создал и развил собственную литературу: Onitsha Market Literature[1]. В Ониче живут и творят десятки нигерийских писателей, публикуемых дюжинами местных издательств, которые располагают собственными типографиями и книжными магазинами. Литература эта самая разнообразная: любовные романы, поэмы и скетчи (позже исполняемые на подмостках многочисленных бродячих театров), бульварные комедии, простонародные фарсы и водевили. Здесь уйма дидактических наставлений, пособий типа "Как влюбиться?" или "Как излечиться от любви?", множество душещипательных историй, таких, как "Мэйбл, или Сладкий мед, который растаял" либо "Любовные игры и несбывшиеся надежды". Все направлено на то, чтобы умилять, вышибать слезу, а также поучать и давать бескорыстные советы. Литература призвана приносить пользу, считают авторы из Оничи и через посредство рынка находят обширную, жаждущую переживаний и мудрых нравоучений аудиторию. У кого нет денег на дешевый шедевр (или же у того, кто не умеет читать) есть возможность выслушать его изложение за гроши, заплатив мизерную цену за билет на авторский вечер, какие часто проводятся здесь же, в тени палаток с апельсинами или ямсом и луком.

За несколько километров до Оничи шоссе плавно сворачивает в сторону города. Уже на повороте стояли машины: видно было, что впереди пробка и придется ждать, тем более что другого въезда в город с этой стороны не было. Здесь начиналась Огута-роуд, ведущая к прославленному рынку. Но пока мы вместе с еще несколькими грузовиками застряли в длиннющей пробке. Прошло полчаса, потом час. Мест-

1. Оничинская рыночная литература *(англ.)*.

ным водителям ситуация было явно знакома, ибо они беззаботно улеглись в придорожном кювете. Но я спешил, мне предстояло еще сегодня возвратиться в Порт-Харкорт в трехстах километрах отсюда. Шоссе было узкое, однорядное, наша машина оказалась втиснутой между другими автомобилями без шансов на маневр. Я решил отправиться пешком вперед, чтобы понять причину возникновения этой неподвижной пробки. Стояла жара, какая бывает в Африке в полуденные часы, поэтому я едва плелся. В конце концов мне удалось добраться до цели. Теперь я уже находился в черте города. По обеим сторонам улицы тянулись каменные, крытые ребристой ржавой жестью приземистые дома и лавки, в тени широких веранд сидели за своими машинками портные, женщины стирали и развешивали белье. В одном месте улица была запружена людьми, там царило оживленное движение, ревели моторы, раздавались крики и восклицания. Протиснувшись сквозь толпу, я увидел посреди улицы громадную яму. Большую, широкую, глубиной в несколько метров. У нее были отвесные, обрывистые края, а дно заполнено мутной, грязной водой. Улица здесь оказалась настолько узкой, что дыру эту невозможно было объехать, и каждый, кто хотел проскочить в город на машине, вынужден был сначала ухнуть в яму, погрузиться в ее болотистые воды в расчете на то, что его потом как-нибудь вызволят из беды.

И вот как это выглядело. На дне ямы по колеса в воде стоял огромный грузовик, доверху набитый мешками с земляными орешками. Толпа полуобнаженных подростков разгружала машину, карабкаясь с мешками наверх, на мостовую. Другая группа прилаживала к грузовику тросы, чтобы вытянуть его из провала. Еще несколько человек суетились в воде, пытаясь подложить под колеса доски и балки. Те, у кого силы иссякли, выбирались наверх передохнуть. Здесь уже рядком выстроились женщины, продававшие разнообразную еду: рис в пряном соусе, лепешки из кассавы, печеный ямс, суп из земляных орешков. Другие торговали лимонадом местного производства, ромом, банановым пивом. Какие-то мальчишки предлагали сигареты и жвачку. Наконец, когда все было готово и мешки с орехами выгружены, начали вытаскивать грузовик. Часть подростков, подгоняемая криками зевак, тянула за веревки машину, другие плечами подпирали борта. Грузовик упирался, пятился, чуть ли не вставал на дыбы. Но в результате общими усилиями его вытащили, поставили на асфальт. Зеваки аплодировали, радостно хлопали друг друга по спине, а дети плясали и били в ладоши.

Не прошло и минуты, как следующая ожидающая своей очереди машина ахнула в бездонную яму. Я заметил, однако, что на этот раз извлечением ее занимались совершенно другие люди. Они принесли с собой собственные веревки, цепи, доски и лопаты. Те, что трудились возле предыдущей машины, куда-то ушли. Работа оказалась непомерно трудной: спасателям пришлось иметь дело с исключительно тяжелой машиной — гигантским "бедфордом". Его вынуждены были извлекать из ямы постепенно, с перерывами. При каждой передышке начиналась долгая дискуссия: какой метод вызволения окажется наиболее эффективным. "Бедфорд" соскальзывал назад, его двигатель выл как безумный, кузов угрожающе клонился набок.

После каждой машины дыра все больше углублялась. Дно сплошь покрыла водянистая клейкая жижа, в которой колеса буксовали вхолостую, хлюпая и забрасывая всех комьями грязи и гравием. Я подумал, что, прежде чем наступит наш черед плюхнуться на дно ямы с болотистой водой, два-три дня простоя нам гарантированы. Любопытно, сколько потребуют спасатели за вызволение нашей машины? Но сейчас куда важнее был вопрос, как выбраться из этой ловушки. Я уж и думать перестал о рынке в Ониче, о его красочной стихии и ярмарочной, лубочной литературе. Я жаждал поскорее убраться отсюда, мне необходимо было вернуться. Но сначала я пошел взглянуть на окрестности вокруг дырявой и плотно запруженной Огута-роуд. Посмотреть, на что они похожи. Разведать, что и как. Послушать, что говорят люди.

Сразу бросалось в глаза, что яма служит центром местной жизни: дыра привлекала людей, интриговала, побуждала их к инициативе, к действию. В обычно сонном и безжизненном закутке предместья, где на улицах дремлют безработные и бродят стаи бездомных, терзаемых малярией собак, спонтанно, благодаря этой кошмарной яме, образовалась динамичная, полная движения и шума зона. Дыра обеспечила занятием безработных: они организовали бригады спасателей и зарабатывали на жизнь, извлекая из ямы автомашины. Женщинам, владелицам передвижных закусочных, она поставляла клиентов. Из-за дыры, перекрывшей движение и заблокировавшей улицу, в пустовавших прежде окрестных лавчонках появились покупатели поневоле — пассажиры и водители из ожидающих возможности проехать машин. Обрели дополнительный спрос на свои товары также уличные торговцы сигаретами и прохладительными напитками.

Более того, на близлежащих домах я заметил свежие, неумело, от руки выполненные надписи “Hotel”: это для тех, кто вынужден был, дожидаясь своей очереди, здесь заночевать. Ожили местные мастерские по ремонту автомобилей — водители могли, воспользовавшись простоем, устранить повреждения, подкачать шины, подзарядить аккумулятор. Прибавилось работы портным и сапожникам, появились парикмахеры, я заметил шустрых знахарей, предлагавших травы, змеиные шкурки, петушиные перья и готовых исцелить в один момент любого. В Африке всем этим занимаются на ходу, в движении, одновременно с поисками клиента, и если представляется такая оказия, как дыра в Ониче, туда тотчас же устремляются толпы народу. Равно оживилась и светская жизнь: окрестности дыры сделались местом встреч, бесед и споров, а дети получили площадку для игр.

Проклятие для едущих в Оничу водителей обернулось избавлением для обитателей Огута-роуд и всего того района, названия которого я не знаю. Подтвердилась поговорка, что нет худа без добра: всегда обнаружатся люди, которым эта беда — во благо, она открывает им перспективу и даже оказывается основой их существования.

Люди долго не позволяли засыпать эту дыру. Я это знаю, поскольку, когда спустя годы с волнением рассказывал в Лагосе о том, что со мной приключилось в Ониче, мне равнодушно отвечали: “Онича? Да там всегда так”.

Под сенью дерева в Африке

Вот уже и конец моего путешествия. Во всяком случае, конец некоего фрагмента моих записок. Еще меня ждет — уже на обратном пути — краткий отдых под сенью дерева. Дерево растет в деревеньке, которая зовется Адофо и находится неподалеку от Голубого Нила, в эфиопской провинции Уоллега. Это громадное, с густой листвой вечнозеленое манговое дерево. Те, кто странствует по плоскогорьям Африки, по бескрайним просторам Сахеля и саванны, видят постоянно повторяющуюся удивительную картину: на бескрайней, выжженной солнцем песчаной почве, на равнинах, покрытых иссохшей, пожухлой травой и редко растущими сухими и колючими кустами, вдруг возникает одинокое раскидистое дерево. Его буйная крона такая свежая и зеленая, что уже издали на линии горизонта отчетливо заметно яркое пятно. Листья, хотя нет и следа ветра, колышутся и шелестят. Откуда взялось такое дерево в этом мертвенном лунном пейзаже? Почему оно выросло именно в этом месте? И почему только оно одно? Откуда оно черпает влагу? Подчас случается проделать многокилометровый путь, прежде чем мы повстречаем еще одно такое же.

Возможно, здесь когда-то росло множество деревьев, целый лес, но их вырубили и сожгли, уцелело лишь одно это манговое дерево. В округе все заботятся о его сохранности, понимая, насколько важно, чтобы оно жило. Ибо возле каждого из таких одиноких деревьев располагается деревушка. Собственно, уже издалека заметив подобное дерево, мы можем смело двигаться в его сторону, зная, что найдем там людей, немного воды, а то и еду. Эти люди сохранили дерево, так как без него не могли бы жить: под здешним солнцем человеку, чтобы выжить, необходима тень, а дерево — обладатель и хранитель этого сокровища.

Если в деревне есть учитель, место под деревом играет роль школьного класса. По утрам здесь собираются все деревенские дети. Нет разделения по возрасту, кто хочет — приходит. Учительница или учитель прикрепляет к стволу напечатанный на листе бумаги алфавит. Прутиком показывает буквы, а дети смотрят и повторяют. Они должны вызубрить их на память, им нечем и не на чем писать.

В полдень, когда небо становится белесым от зноя, в тени дерева укрываются все, кто может: дети и старики, а если в селении есть скот, то и коровы, овцы, козы. Полуденную жару лучше переждать здесь, нежели в глиняной хижине. В ней тесно и душно, а под деревом вольготнее и больше надежды на сквозняк.

Дневные часы самые важные: старики собираются под деревом на совет. Манговое дерево — единственное место, где они могут встретиться и поговорить, так как в деревне нет достаточно просторного помещения. Люди на такие собрания ходят охотно, африканцы — коллективисты по природе, они полны желания участвовать во всем, что составляет общественную жизнь. Решения принимаются сообща, совместными усилиями разрешаются споры и ссоры, всем миром устанавливают, кто и сколько земли получит под обработку. По традиции любое решение должно приниматься единогласно. Если у ко го-то иное мнение, большинство будет убеждать упрямца до тех пор, пока он не изменит свою позицию. Это длится часами, до бесконечности, поскольку отли-

чительная черта таких споров — безудержная болтовня. Если в деревне кто-то с кем-то поссорился, то суд, собравшийся под деревом, не станет устанавливать истину, он займется исключительно улаживанием конфликта, примирением сторон, признав правоту каждой из них.

Когда день завершается и сгущается темнота, присутствующие прерывают собрание и расходятся по домам. В темноте нельзя спорить, в ходе дискуссии необходимо видеть лицо выступающего, чтобы понять, соответствует ли выражение его физиономии тому, что он говорит.

Еще через какое-то время под деревом собираются женщины, приходят старцы и любопытные ребятишки. Если есть дрова, разводят костер. Если есть вода и мята — заваривают густой, крепкий чай. Наступает самое приятное время, которое я люблю больше всего: рассказы о событиях дня, в которых мешаются факты и выдумка, забавные истории и истории, вызывающие страх. Что это за зверь подавал утром голос в кустах, такой темный и злой? Что за диковинная птица пролетела высоко в воздухе и исчезла? Дети загнали крота в яму. Яму разрыли, но крота не обнаружили. И куда только он подевался? В продолжение этих рассказов люди начинают вспоминать, что когда-то давно слыхали от стариков об удивительной птице, что действительно пролетела мимо и скрылась, а кто-то помнит, как еще прадед говорил ему, будто издавна что-то темное подает голос в кустах. С каких пор? Да с незапамятных. Ибо за пределами человеческой памяти нет ничего. История — это то, что сохранила память.

Африка, кроме исламского Севера, не знала письменности, история здесь всегда была устным преданием, легендой, передаваемой из уст в уста, коллективным мифом, безотчетно творимым у подножья мангового дерева в глубоком вечернем мраке, в котором звучат лишь дрожащие голоса старцев, ибо женщины и дети, заслушавшись, молчат. Поэтому вечерняя пора так важна — ведь это время, когда сообщество задумывается, кто оно и где его корни, осознает свое отличие и непохожесть на других, определяет свое лицо. Это время беседы с предками, которые, правда, уже отошли, но вместе с тем остались и ведут нас дальше по жизни, защищая от злых сил.

Вечерняя тишина под деревом только кажущаяся. В действительности она заполнена множеством самых разных голосов, звуков и шумов. Они доносятся отовсюду — с высоких ветвей, из ближайшего буша, из-под земли, с неба. Лучше в такую минуту быть ближе друг к другу, ощущать чье-то присутствие рядом — это придает бодрости и отваги. Африканец все время чувствует угрозу. На этом континенте природа обретает такие чудовищные и агрессивные формы, надевает такие опасные, пугающие маски, расставляет такие ловушки и строит такие подвохи, что человек живет с ощущением неуверенности в завтрашнем дне, в страхе и тревоге. Все здесь выступает в преувеличенной, необузданной, истерически-неестественной форме. Если буря — то от ударов грома сотрясается вся планета, а молнии разрывают небеса в клочья; если ливень — с неба низвергается сплошная стена воды, которая вот-вот затопит нас и вдавит в землю; если засуха, то такая, что не оставляет ни капли влаги, и мы умираем от жажды. В отношениях "природа — человек" нет ничего эти отношения смягчающего, никаких компромиссов, промежуточных состояний, градаций. Все время только противостоя-

ние, борьба, бой не на жизнь, а на смерть. Африканец — это человек, который от рождения до кончины пребывает в боевой готовности, сражается с исключительно недоброжелательной природой своего континента, и уже сам факт, что он живет и способен выстоять, — его величайшая победа.

Итак, наступил вечер, мы сидим под большим деревом, какая-то девушка подает мне стаканчик чая. Я слушаю людей, лица которых, четко очерченные и лоснящиеся, словно вырезанные из черного дерева, сливаются с неподвижной тьмой. Я мало понимаю из того, что они говорят, но их голоса серьезны и взволнованны. В их словах ощутимо сознание ответственности за историю собственного народа. Они призваны хранить и развивать ее. Никто не может сказать: прочтите нашу историю в книгах. Ведь такие книги не написаны, их не существует. Нет иной истории, кроме той, которую можно здесь и сейчас рассказать. И никогда не будет такой, какие в Европе именуются научными и объективными, — ведь африканская история не знает ни документов, ни письменных источников, а каждое поколение, слушая пересказываемые ему версии, изменяет и переиначивает их, преобразует и приукрашивает. Но благодаря этому свободная от архивной пыли, лишенная жестких хронологических рамок история обретает здесь свою чистейшую, кристальную форму — форму мифа.

В мифах вместо дат и точных временных характеристик — дни, месяцы, годы — фигурируют другие понятия, такие, как “давно”, “очень давно”, “так давно, что никто уже ничего не помнит”. В этих терминах можно все сформулировать и расположить согласно временной иерархии. При этом время не будет развиваться по прямой линии, но, подобно нашей Земле, станет размеренно двигаться по кругу. В такой концепции времени нет понятия “развитие”, его заменяет понятие “статичность”. Африка — это вечная статика.

Уже поздно, и все расходятся по домам. Начинается ночь, а ночь принадлежит духам. Где, например, собираются колдуньи? Известно, что они проводят свои сборища и советы на ветвях, укрывшись в листве. Лучше не мешать им и убраться подальше от дерева, колдуньи не выносят, чтобы за ними подглядывали или подслушивали их. Они способны быть мстительными, преследовать, насылать порчу, причинять боль, сеять смерть.

Итак, место под манговым деревом будет пустовать до рассвета. С рассветом на земле одновременно возникнут солнце и тень от дерева. Солнце разбудит людей, которые тотчас же начнут прятаться от него, искать спасительную тень. Удивительно, но это правда: человеческая жизнь зависит от такой эфемерной и хрупкой штуки, как тень. Поэтому дерево, отбрасывающее ее, больше, нежели просто дерево, — это сама жизнь. Если в макушку ударит молния и манговое дерево сгорит, людям негде будет укрыться от солнца и негде собраться. Лишенные такой возможности, они не смогут ничего решить, ни о чем не договорятся. Но прежде всего не смогут рассказывать свою историю, которая существует только́ передаваемая из уст в уста во время вечерних сборищ под деревом. Из-за этого они быстро утратят знание о своем вчера, забудут его. Стану́т людьми без прошлого, то есть — никем. Лишатся того, что их объединяло, рассеются, каждый пойдет своим путем, в одиночку. Но

одиночество в Африке невозможно, одинокий человек не просуществует и дня, он обречен на гибель. Поэтому, если молния расщепит дерево, погибнут и люди, которые жили в его тени. Недаром говорится: человеку не дано пережить свою тень.

Наряду с тенью другая величайшая ценность — вода.

— Вода это все, — говорит мудрец Оготеммели из племени догонов, живущего в Мали. — Земля образовалась из воды. Свет — тоже. И кровь.

— Пустыня научит тебя одному, — сказал мне в Ниамее странствующий торговец. — Есть нечто, чего можно желать и любить больше, чем женщину. Это вода.

Тень и вода — две легкие, изменчивые субстанции, которые появляются, а затем исчезают неведомо куда.

Две формы жизни, две ситуации... Любого, кто впервые окажется в американском супермаркете, в этих гигантских, бесконечных malls[1], поразит богатство и разнообразие собранных там товаров, наличие всевозможных предметов, какие только человек изобрел и создал, а затем доставил, разложил и расставил, чтобы клиенту ни о чем не надо было думать: за него уже заранее подумали, и теперь все, что нужно, готовое, у него под рукой.

Мир рядового африканца иной — это убогий, самый простой и примитивный мир, сведенный к нескольким вещам: к одной рубашке, одной миске, горсти зерна, глотку воды. Богатство и разнообразие этого мира выражаются не в материальной, вещественной форме, осязаемой и зримой, но в тех символических ценностях и значениях, какими наделяются самые обыкновенные предметы, для непосвященных незаметные по причине своей обыкновенности. Вот петушиное перо: его можно считать фонарем, освещающим дорогу во тьме, а капля оливкового масла — это щит, что прикрывает от пуль. Вещь приобретает символический, метафизический смысл, поскольку так решил человек, который своим выбором возвысил ее, перевел в иное измерение, в высшую форму бытия — в трансцендентность.

Когда-то в Конго я был приобщен к таинству: мне разрешили посетить школу, где мальчика готовят к посвящению в мужчину. После окончания этой школы подростки становятся взрослыми мужчинами, получают право голоса на собраниях клана, могут создать семью. Европеец, посещающий эту крайне важную в жизни африканца школу, недоумевает и протирает глаза. Как это! Ведь здесь же ничего нет! Ни парт, ни доски! Несколько колючих кустов, пучки сухой травы, вместо пола — серый, пеплообразный песок. И это школа? Однако молодые люди преисполнены гордости и взволнованы. Они удостоились высокой чести. Ведь здесь все опирается на общественную договоренность, трактуемую крайне серьезно, все основывается на акте глубокой веры: по традиции считается, что место, где сейчас пребывают эти подростки, — та самая школа клана, которая выводит их в жизнь, а стало быть, место привилегированное, почетное и даже святое. Пустяк становится чем-то важным, поскольку мы так решили. Силой своего воображения мы совершили помазание, возвеличили этот пустяк.

1. Торговые ряды; крупные торговые центры *(англ.)*.

Достойным образцом такой возвышающей трансформации может служить, например, и грампластинка Лешины. Женщина по имени Лешина жила в Замбии. Ей было около сорока лет. Она торговала на улицах местечка Серендже. Ничем особенным она не выделялась. Это было еще в шестидесятые годы, и в разных уголках земли попадались граммофоны с ручкой. У Лешины тоже был такой граммофон с одной-единственной заигранной пластинкой. На ней было записано выступление Черчилля 1940 года, где он призывал англичан к жертвам и самоотверженности в связи с войной. Женщина выносила граммофон во двор и крутила ручку. Из металлической, окрашенной в зеленый цвет трубы вырывалось хриплое, низкое, гулкое ворчание и булькание; в голосе еще можно было уловить патетические нотки, но слова были недоступны пониманию и лишены всякого смысла. Собиравшейся во дворе и со временем все увеличивавшейся группе зевак Лешина объясняла, что это голос бога, назначающего ее своей посланницей и наказывающего всем беспрекословно ей подчиняться. К ней потянулись толпы людей. Ее приверженцы — в основном беднота, без гроша за душой — воздвигли в буше молельню. В начале каждого богослужения гудящий бас Черчилля повергал их в экстаз и транс. Но африканские лидеры стыдятся подобных религиозных манифестаций, и президент Кеннет Каунда направил против Лешины войска, которые убили несколько сотен ее ни в чем не повинных приверженцев, а танки обратили в прах слепленную из глины святыню.

Находясь в Африке, европеец видит обычно лишь внешнюю ее оболочку, далеко не всегда, впрочем, самую любопытную и, возможно, наименее существенную. Его взгляд скользит по поверхности, не проникая вглубь и как бы не признавая того, что за каждым предметом может быть скрыта некая тайна и что она есть также и внутри его. Но европейская культура не подготовила нас к таким странствиям в глубины, к истокам других миров и культур. Ведь драма культур, в том числе и европейской, в прошлом заключалась в том, что первые взаимные контакты чаще всего были сферой деятельности людей самого низкого пошиба — воров, солдатни, авантюристов, преступников, работорговцев и т.д. Изредка попадались и другие энтузиасты — почтенные миссионеры, одержимые путешественники и исследователи, но тон, стандарт, атмосферу на протяжении столетий создавал и поддерживал разбойный, интернациональный по своему составу сброд. Разумеется, этот сброд и думать не думал о постижении других культур, об уважительном к ним отношении, о поисках общего языка. В большинстве своем это были темные, тупые наемники, неотесанные и грубые, часто безграмотные. Их интересовал только захват, грабеж, резня. В результате разные культуры вместо того, чтобы познавать друг друга и сближаться, становились друг другу враждебны, а в лучшем случае — оставались безучастными. Представители этих культур, за исключением вышеупомянутых авантюристов, выдерживали дистанцию, избегали и боялись друг друга. Из-за такой монополизации межкультурных связей темными людьми взаимоотношения складывались хуже некуда. Человеческие контакты устанавливались на основе самого примитивного критерия — цвета кожи. Расизм сделался идеологией, согласно которой люди определяли свое место в миропо-

рядке. Белые — Черные: в таких взаимоотношениях обе стороны часто ощущали себя скверно. Приведу пример. В 1894 году англичанин Лугард во главе небольшого отряда продвигается в глубь Западной Африки, чтобы захватить королевство Боргу. Первым делом он хочет встретиться с самим королем. Но на встречу является королевский посланец и заявляет, что властитель не может его принять. Этот посланец, беседуя с Лугардом, непрерывно сплевывает в подвешенную у него на шее бамбуковую плошку: сплевывание — это избавление и очищение от последствий общения с белым человеком.

Расизм, ненависть к инаким, презрение и стремление их уничтожить уходят своими корнями в колониальные отношения в Африке. Там все уже было придумано и опробовано на столетия ранее, нежели тоталитарные режимы трансплантировали этот мрачный и позорный опыт в Европу XX века.

Еще одним следствием монополии на контакты с Африкой вышеупомянутой касты темных людей стал тот факт, что в европейских языках не появилось лексики, позволяющей адекватно описывать другие, неевропейские миры. Целые обширные сферы жизни Африки не только не были исследованы, но часто оставались вовсе незатронутыми в силу определенной ограниченности европейских языков. Как описать мрачное, зеленое, душное царство джунглей? Все эти сотни деревьев и кустов — как они называются? Мне известны такие названия, как "пальма", "баобаб", "эуфорбия", но как раз эти деревья в джунглях и не растут. А гигантские, с десятиэтажный дом исполины, встречающиеся в Убанги и Итури, — как называются они? Как именовать многочисленных насекомых, которые здесь кишмя кишат и постоянно на нас нападают и кусают? Иногда можно отыскать латинское название, но что оно объяснит рядовому читателю? И это только лишь сложности, связанные с ботаникой и зоологией. А вся обширная область психики, верований, ментальности здешнего люда? Любой европейский язык богат, но богатство его проявляется в описании собственной культуры, в изображении своего мира. Когда же он пытается вторгнуться в область чужой культуры и описать ее, обнаруживается его ограниченность, неразвитость, семантическая немощь.

Африка — это тысячи ситуаций. Самых разных, несхожих, крайне противоречивых. Кто-то скажет: "Там идет война". И будет прав. Кто-то другой объявит: "Там царит мир". И тоже будет прав. Ибо все зависит от того, где и когда.

В доколониальную эпоху, а значит, не столь уж и давно, в Африке существовало свыше десяти тысяч крохотных государств, королевств, этнических союзов, федераций. Историк, ученый из Лондонского университета Рональд Оливер в своей книге "Африканский опыт" (Нью-Йорк, 1991) обращает внимание на распространенный парадокс: принято говорить, что европейские колониалисты произвели раздел Африки. "Раздел? — недоумевает Оливер. — Это было жестокое, огнем и мечом осуществленное объединение! Из десяти тысяч племен осталось пятьдесят".

Но многое из этой мозаики — пестрой, переливчатой картины, составленной из камешков, косточек, ракушек, деревяшек, бляшек и лис-

точков, – сохранилось. И чем пристальнее мы в эту картину всматриваемся, тем отчетливее видим, как частицы мозаики на наших глазах меняются местами, изменяют очертания и расцветку, пока не возникнет зрелище, ошеломляющее своим непостоянством, игрой и богатством красок.

Несколько лет назад я провел канун Рождества Христова с друзьями в Национальном парке Микуми в глубине Танзании. Вечер был теплый, тихий, безветренный. На поляне посреди буша под открытым небом стояло несколько столов. На столах – жареная рыба, рис, помидоры, местное пиво помбе. Горели свечи, светильники, керосиновые лампы. Царила приятная, непринужденная атмосфера. Как это бывает в Африке в таких случаях, было много рассказов, шуток, смеха. Среди гостей находились министры правительства Танзании, послы, генералы, вожди кланов. Миновала полночь. Внезапно я почувствовал, как непроницаемая тьма, обступившая освещенные столы, колеблется и гудит. Это продолжалось недолго. Шум быстро нарастал, и вот за нашими спинами из глубины ночи вынырнул слон. Не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас оказываться с глазу на глаз со слоном не в зоопарке, не в цирке, но в африканском буше, там, где слон –грозный властелин мира. При виде его человека охватывает смертельный ужас. Слон-одиночка, оторвавшийся от стада, это часто зверь в состоянии амока, разъяренный агрессор, который набрасывается на деревушки, крушит хижины, убивает людей и скот.

Слон оказался действительно огромным, у него пронзительный, сверлящий взгляд, и он не издает ни звука. Мы не знаем, что творится в его могучей башке, что он выкинет через секунду. С минуту он стоит на месте, а потом начинает прохаживаться между столов. За столами – мертвая тишина, все сидят замерев от страха, парализованные. Пошевелиться нельзя: вдруг это вызовет его ярость, а он прыткий, от слона не убежишь. Вместе с тем неподвижно сидящий человек беззащитен – он запросто может погибнуть, растоптанный ногами исполина.

Слон между тем прогуливается, поглядывает на накрытые столы, на светильники, на онемевших людей. По его движениям, по покачиванию головы видно, что он колеблется, все еще не может принять решение. И это тянется, тянется до бесконечности – воистину целую леденящую вечность. В какой-то момент я ловлю его взгляд. Слон смотрел на нас внимательно, тяжело, была в его глазах какая-то глубокая, застывшая угрюмость.

Наконец, несколько раз обойдя столы и поляну, слон покинул нас, ушел прочь, растаял во мгле. Когда гудение земли прекратилось и мрак перестал колыхаться, кто-то из сидящих возле меня танзанийцев спросил: "Видел?" – "Да, – ответил я, еще не совсем придя в себя. – Это был слон". – "Нет, – отозвался тот. – Дух Африки всегда принимает обличие слона. Ведь слона не может одолеть ни один зверь. Ни лев, ни буйвол, ни змея".

Все тихо разошлись по хижинам, а подростки погасили на столах свечи. Еще стояла ночь, но близилась самая ослепительная минута в Африке – миг, когда занимается утренняя заря.

Тадеуш Ружевич

Из книги "Мать уходит"

Перевод Асара Эппеля

Сейчас

СЕЙЧАС, когда я пишу эти слова, мама не сводит с меня глаз. Добрые и заботливые, они спрашивают "что тебя тяготит, сынок?.." Улыбаюсь, говорю "ничего, мама... всё в порядке...", "и все-таки, — повторяет она, — что тебя тяготит, скажи?" Отворачиваюсь, гляжу в окно...

Всевидящие глаза матери взирают на рождение, на жизнь, после смерти глядят с "того света". Даже если сына превратили в орудие убийства или в зверя-убийцу, глаза матери глядят на него с любовью... глядят.

Когда она отводит их от своего ребенка, тот сбивается с пути и пропадает в мире, где нет участия и любви.

Завтра День матери. Не помню, существовало ли в моем детстве такое календарное число... Когда я был маленький, всякий день в году бывал днем матери. Каждое утро было днем матери. И полдень, и вечер, и ночь.

Знаешь, мама, я могу сказать только тебе, только тебе на старости лет могу сказать, потому что теперь я старше тебя... я не отваживался говорить,

© Copyright by Tadeusz Różewicz, Stanisław Różewicz and Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o., Wrocław, 1999
© А. Эппель. Перевод, 2000

когда ты была жива... я поэт. Я боялся этого слова, ни разу не назвал себя так при отце... не знал, позволительно ли вообще произнести такое.

Я входил в поэзию как в свет, а сейчас готовлюсь уйти во тьму... я преодолел пешком страну поэзии видел ее оком рыбы крота птицы ребенка мужчины и старика, оттого так нелегко вымолвить эти два слова: "я поэт", и подыскиваешь другие, чтобы сообщить "сей факт" миру, матери. Конечно, мать знает. Говорить такое отцу мне и в голову не приходило... никогда я не сказал отцу "папа... отец... я поэт"... не знаю, обратил бы он внимание на мои слова... он был настолько весь в себе... что переспросил бы (читая газету, обедая, одеваясь, чистя ботинки...) "ты (Тадик) что-то сказал?"... "чепуху" опять какую-нибудь" "а еще что скажешь?"... я ведь не мог заявить громче "папа, отец... я поэт"... он оторвался бы, наверно, от тарелки, газеты... поглядел бы удивленно, а может бы, не поглядел, только кивнул бы и сказал "хорошо... хорошо" или не сказал бы ничего. Я написал стихотворение "Отец" (в 1954 году) "Сквозь мое сердце идет постаревший отец..." не знаю, читал ли отец эти строки, он ни разу ничего не сказал... да и я не читал их отцу... сейчас 1999 год... и я говорю так тихо, что родителям не разобрать моих слов "мама, папа, я поэт"... "знаю сынок" отвечает мать "я всегда это знала" "говори громче не слышу" говорит отец...

Обетования поэта

Много раз я обещал матери, что позову ее в Краков, что покажу Закопане и горы, что съездим к морю. Мама так и не увидела Кракова. Не увидела ни Кракова, ни гор (с Морским Оком посередке), ни моря. Я не сдержал слова... Со дня ее смерти прошло почти полвека... (вообще-то меня все меньше интересуют календарь и часы). Почему я не привез ее в Краков, не показал Сукенницы, Мариацкий костел, Вавель... Вислу?

Вот так! Сын жил в Кракове... молодой "многообещающий" поэт... и этот поэт, сочинивший столько стихов о матери и о всех матерях... не привез маму в Краков ни в 1947 году, ни в 1949-м... Никогда она мне этого не вспомнила, никогда за это не пеняла.

Мама не видела Варшавы. Мама никогда не летала на самолете, не плыла на корабле. Никогда я не был с ней в кондитерской, в ресторане, в кофейне, в театре, в опере... на концерте... Я был поэтом... Сочинил поэму "Рассказ о старых женщинах", сочинил стихотворение "Старая деревенская женщина идет вдоль моря"... Я не отвез маму к морю... не посидел с ней на берегу, не протянул янтарный камушек или ракушку. Ничего... И она никогда не увидит моря... и никогда я не увижу ее лица и глаз и улыбки, когда она станет глядеть на море... поэт. Разве тот поэт, кто с сухими глазами пишет скорбные плачи, потому что должен совладать с их формой? Должен положить жизнь ради "безупречности" формы... Поэт — человек без сердца? А сейчас эти причитания перед публикой на книжной ярмарке, на торжище поэзии, на бирже литературы. И даже нет утешения, что на "том свете" мама идет по Плантам, по Кракову, к Вавелю... Имеется ли в "небесах" море, у которого сидят наши матери в бедных пальтишках, салопах, старых туфлях и шляпках?.. а я и сейчас пишу — с сухими глазами — и "правлю" эти мои убогие скорбные плачи...

В *середине жизни*

Прошло шестьдесят лет с начала второй мировой войны.

Мне 77, 78 лет. Я – поэт. В начале дороги я не мог поверить в чудо... что когда-нибудь стану поэтом... бывало, ночью, растревоженный сонными страхами и удручениями, я спасался мыслью стремлением "буду поэтом" разгоню страхи темноту смерть... Войду в свет поэзии, музыку поэзии. Тишину.

Сейчас когда я пишу эти слова спокойные внимательные глаза матери глядят на меня. Они глядят с "того света" из тех краев в которые я не верю. На свете опять война. Одна из ста какие беспрестанно идут с конца второй мировой до сегодняшнего дня...

Мир, какой я пытался выстроить полвека, рушится! Снова под развалинами домов больниц храмов погибает человек и Бог, погибает человек и надежда, человек и любовь.

Когда-то в 1955 году я написал стихотворение "В середине жизни"...

После конца света
после смерти
я очутился посреди жизни
я сотворял себя
строил жизнь
людей зверей пейзажи

это стол говорил я
это стол
на столе лежат хлеб нож
нож необходим для разрезания хлеба
хлебом насыщаются люди
человека надо любить
я учился ночью и днем
что́ надо любить
отвечал человека

поэт! состарился стоит у "гробового входа" а сам так и не понял что нож необходим для отрезания голов для отрезания носов и ушей для чего служит нож? для отрезания голов... где-то там, далеко? близко? а для чего еще необходим нож? для отрезания языков говорящих на другом языке вспарывания животов беременным женщинам для вырезания грудей кормящим для отрезания гениталий для выковыривания глаз... что еще можно увидеть в телевидении? что прочитать в газетах? что услыхать по радио?

для чего служит нож
служит для отрезания вражеских голов
служит для отрезания голов
"женщинам детям старикам"
(Так пишут в газетах
последние сто лет...)

сейчас когда я пишу эти слова спокойные глаза матери глядят на меня
на мою руку на покалеченные эти слепые слова
глаза наших матерей проницающие сердца и мысли есть наша совесть
исполненные любви и страха
глаза матери
судят нас и любят
мать глядит на сына когда он учится ходить и потом когда избирает путь,
глядит когда сын уходит, окидывает взглядом жизнь и смерть сына

может быть эти мои слова дойдут до матерей оставляющих детей на помойках или до детей забывших своих родителей в больницах и богадельнях

я помню, мама сказала
только один раз... мне было пять лет... только раз в жизни
она сказала нам "вот уйду от вас... непослушных... пойду себе и больше не вернусь"... трое малых мальчишек были непослушные... никогда не забуду страх и темное отчаяние в какие ввергласъ наша троица... помню как у меня упало сердце (да именно так "у меня упало сердце") и я оказался в пустоте в темноте... только один раз мама сказала это и до сегодняшнего дня я помню отчаяние и слезы...
но мама не ушла она была с нами и будет...
сейчас когда я пишу эти слова... испытующие глаза матери смотрят на меня

я поднимаю голову, гляжу... не могу найти дороги, падаю, поднимаюсь, слова исполненные ненависти и трупного яда взрываются раздирают любовь веру надежду... я открываю рот чтобы что-то сказать "человека надо любить" не поляка немца серба албанца грека итальянца еврея... надо любить человека... белого черного красного желтого
знаю, что мои убогие скорбные плачи лишены "хорошего вкуса"...
и знаю, что́ именно из вещей этого мира останется... что останется?!

Великий гениальный смешной Норвид сказал:
Из вещей этого мира останутся только две
Только две: д о б р о т а и п о э з и я... и более ничего...

Великий Дон Кихот! Осталось Ничего. И если мы люди не спохватимся и не возделаем беспредельное это Ничего то... то что?! скажи, не бойся! что совершится... мы уготовим себе на земле такое пекло, что Люцифер покажется ангелом, правда, ангелом падшим, но не лишенным души, склонным к гордыне но снедаемым тоской по утраченному небу исполненному меланхолии и печали... политика станет кичем, любовь порнографией, музыка шумом, спорт проституцией, религия наукой, наука верой.

И увидим мы "стопы, пробитые гвоздями, убегающие с планеты".

На *переэкзаменовку*

Помню учительницу "по религии", веселую полную даму с глянцевыми черными глазами, черными волосами, смуглой кожей и необыкновенно белыми зубами. Помню ее имя – пани Крищинская. Она учила меня Закону Божьему, катехизису и готовила к первому причастию. Это было в 1928 году. Тяжелое время, ожидалась миллионная безработица. Что из того, что "по религии" у меня была пятерка. На праздничную одежку денег не имелось. В каждодневном школьном к причастию идти не положено. Мама решила, что пойду через год. Это была катастрофа. Я жутко плакал. И тогда мама, как всегда, нашла выход. В шкафу лежал белый костюмчик, в котором три года назад ходил к причастию Янушик; надо было привести одежонку в порядок и слегка подогнать. А значит, только белые чулки, ботинки и свеча... Я еще повсхлипывал, хотя все уладилось. Самое же главное, предстояло идти к исповеди, святому причастию, покаянию. "Очистка совести" происходила несложно. Перечень грехов был невелик: нечистота, обжорство, чревоугодие, праздность, ложь, гнев. Первым моим исповедником стал ксендз Картузик разумеется его звали иначе, ксендз Белявский, но в нашем детстве почти у всех были прозвища не псевдонимы но имена придуманные нами, а случалось и старшими. Ксендз ходил в синем картузе и отсюда конечно Картузик. Итак я занялся очисткой совести. Это была первая исповедь, исповедь всей восьмилетней жизни. Главное внимание отводилось грехам лжи праздности чревоугодия и нечистоты – в помыслах в словах и поступках. Поминались нескромные выражения и взгляды... "дурные забавы". Я был невероятно набожный. В основном молился Господу Иисусу, коленопреклоненному в Гефсиманском саду. Про себя я называл его Боженька с большим животиком, но однажды, вглядевшись в картинку, разглядел, что Боженька молится у камня, через который перекинуты его одежды, а получается как большой живот. В пятницу я постился, ел только сухой хлеб и пил воду. Наша старшая кузина Зося Райс по прозвищу Игла звала меня "наш маленький святой". Разумеется "маленький святой" как все святые знал слабости и грехи... порой в пятницу бывал искушаем кусочком колбасы или шкваркой, порой овладевали им не совсем чистые мысли, когда видел на улице собачью свадьбу или петуха, топчущего во дворе курицу... Чревоугодие... это изюминки, выковыриваемые из пирога, поедание сахара из сахарницы, квадратик халвы за десять грошей... Я исповедался, получил отпущение грехов и "покаяние"... пять "Отче наш" и пять "Богородице Дево"... Ночью мне захотелось пить, и я раза три глотнул воды... а потом не мог уснуть, переживая, что согрешил... с утра меня охватило такое смятение, что перед святым причастием я решил пойти "на переэкзаменовку". С трепетом в сердце признавался я в своих опасениях... но ксендз Картузик развеял их, махнув рукой и улыбнувшись.

С грехами бывали сложности меньшие и большие. Прегрешения с течением лет видоизменялись, росли, принимали различную форму и цвет. Точно гласные в стихах Артюра Рембо. "А" черное "Е" белое "И" красное... На восьмом десятке старый человек снова возвращается к грехам детства... чревоугодие обжорство пьянство праздность и "нечистота"... Я подвел кузину Иглу и не стал "маленьким святым"... Только вот не знаю соберусь ли на "переэкзаменовку".

Сейчас когда я пишу эти слова глаза Матери глядят на меня. В них вопрос, который она никогда мне не задала.

Кшиштоф Кеслёвский

Случай

Киноновелла

Перевод С. Тонконоговой

НАДО ли нам что-то знать о Витеке Длугоше до того, как он появится перед нами на вокзале в Лодзи, бегущий за поездом с сумкой на плече? Или все, что происходило с ним до тех пор, мы увидим лишь три года спустя, когда только что стартовавший самолет начнет трясти и несколько событий из жизни промелькнут в его меркнущем сознании?

Он пережил длинную череду будничных дней и обыкновенных чувств. Пережил и высокие минуты, и многое из того, что произошло с ним в жизни (так он, по крайней мере, думал), могло произойти только с ним одним, и каждая минута — и самая обычная, и не совсем — оставила в нем какой-то след. Ведь, по сути дела, немало зависит от того, кто и каким тоном говорит нам "не горбись" за завтраком и какой вкус мы ищем всю жизнь, чтобы напоследок понять: это вкус булки с посоленным весенним помидором, съеденной на теплом ветру на балконе серого дома.

Допустим, Витек родился в июне пятьдесят шестого в Познани. Отец его, инженер с "Цегельского"[1] , вполне мог погибнуть в тогдашнем хаосе, но не погиб, всего лишь ночевать не пришел, и у матери с огромным торчащим животом, не находившей себе места от волнения, начались схватки за две недели до срока. С трудом, под пулями, дотащилась она до больницы и там, среди немыслимой кутерьмы, родила в коридоре двух мальчиков, после чего, прежде чем на нее успели обратить внима-

© Marta i Maria Kieślowskie, 1998
© С. Тонконогова. Перевод, 2000

1. 28 июня 1956 г. на машиностроительном заводе "Цегельский" (тогда им. Сталина) в Познани вспыхнула забастовка, которую поддержали другие предприятия города. Забастовку жестоко подавили силой оружия, несколько десятков человек были убиты, многие ранены. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

ние, в том же коридоре скончалась. Брат Витека, Ян, умер две недели спустя, хотя врачи и сестры сделали, как говорится в таких случаях, все от них зависящее: ведь события, подобные познанским, сплачивают людей, придают им силы.

Отец Витека нашел их на следующий день; гордость организатора забастовки смешалась в нем с болью человека, потерявшего жену, и с радостью мужчины — было ему уже под сорок, — у которого родился сын. Это был первый контакт отца с врачами и больницей, и, возможно, поэтому, остро переживая свою вину за ту ночь, когда он, одержимый политикой и верой, не пришел домой, отец пожелал, чтобы Витек стал врачом. Вера куда-то испарилась, политика сама выскользнула из рук, да он и не пытался ее удерживать, зато осталась уверенность, что помочь человеку можно только, когда ему больно, причем когда боль эта — телесная.

Допустим, так оно могло быть. Человек немногословный, отец не посвящал сына в подробности той ночи, но Витек с годами все больше убеждался, что сам все видел и все запомнил, хотя и видеть не мог и тем более помнить. Но как в таком случае объяснить возникавшую перед глазами отчетливую картину? Женская нога в изодранном чулке... какого-то человека волокут по полу, за ним тянется кровавая полоса... И как объяснить тот факт, что он столь же отчетливо видит завернутого в пеленку, вынутого из соседней кроватки младенца? И все это спрятано где-то глубоко и ни разу не высказано вслух.

Как-то Витек попытался было, засыпая с ощущением абсолютной чистоты после первой исповеди, рассказать об этом отцу, но, верно, не сумел — ему тогда было только восемь лет — найти подходящих слов; отец лишь внимательно взглянул на него и сказал строже обычного: "Спи, сынок". И поцеловал его, обдав противным табачным перегаром. Утром, встав как всегда пописать, он увидел, что отец спит при зажженном свете, приоткрыв рот, с капелькой слюны на губе.

О матери они почти не говорили. Витек знал только, что отец познакомился с нею на курсах французского в конце 40-х годов, что была она моложе отца на пятнадцать лет; на какой-то фотографии он с удивлением обнаружил, что она не была красива, а однажды, делая уроки, заметил, что отец присматривается, как он пишет восьмерку в примере 19 – 8 = 11. Витек и потом так писал восьмерку, соединяя два кружочка, — возможно потому, что отец тогда сказал: "Правильно... одиннадцать... Мама тоже так писала восьмерки". А может, все равно писал бы так, даже если бы отец ничего не сказал. Но он сказал. А позже — кажется, Витеку в тот день исполнилось четырнадцать, и уже решено было, что он станет врачом, — отец пригласил его на праздничный обед в ресторан и, когда они сидели за столом, ни с того ни с сего сказал, что мать всегда мешала мороженое с кофе, так как горячее хорошо есть с холодным, а белое с черным. На десерт они ели любимый Витеком творожник. Достаточно ли столько знать о матери?

Учился он на пятерки, и гордость распирала его до тех пор, пока он не заметил — в четвертом, кажется, классе, хотя догадывался уже давно: отец не одобряет отличных отметок. Он вроде бы радовался, похлопывал сына по плечу за пятерки при переходе из класса в класс, покупал ему велосипед или лыжи, но всякий раз застывал на мгновенье, продолжая, впрочем, улыбаться и шутить. В седьмом классе Витек подрался со старшеклассником — а дрался он редко и не слишком умело, — так вот,

исступленно колошматя того парня, он, забывшись, врезал и вмешавшемуся в драку учителю. Рассек ему губу, заработал сниженную оценку по поведению и уже до самого конца года не мог заставить себя отвечать ему по математике. И жене этого учителя, историчке, тоже не мог отвечать, хотя прекрасно знал предмет. Кое-как решал примеры, наобум брякал даты, так что в свидетельстве об окончании года оказалось полно троек, после чего он убедился — будучи вполне к этому готов, — что отца обрадовало снижение его школьных полетов. Правда, на этот раз отец ничего Витеку не купил, был суров, покачал головой над свидетельством, но Витек видел, что он доволен. Позже, за год до смерти, отец признался ему, что не выносит отличников, и в жизни тоже, что сам он учился прекрасно, но всякий раз, принося из школы отличные характеристики и награды, чувствовал, как его отец — "то есть твой дед", добавил он, — понемногу от него отдаляется. Сказал он Витеку это, а также многое другое в лодзинской больнице, ночью, много позже отведенных для посещения часов, в прокуренной комнате, где стоял телевизор. Витек мог допоздна оставаться в этой больнице — здесь же отец потом и умер — благодаря близости отца со спокойной сорокалетней докторшей по имени Кася. Как-то, в промежутке между пребываниями отца в больнице — Витек был уже студентом первого курса мединститута, — неожиданно отменили занятия, и, придя домой раньше обычного, он застал их в весьма недвусмысленной ситуации. Докторша стояла, опершись о стол: юбка задрана, колготки спущены, — а отец в пижаме стоял перед ней на коленях, уткнувши голову меж ее бедер. Мутный взгляд полуприкрытых глаз докторши при виде Витека вдруг прояснился, и без единого движения, одними глазами она дала ему знак выйти. Разумеется, потом они никогда об этом не говорили. Впрочем, Витек не почувствовал ни отвращения, ни враждебности, он просто вернулся в "Гражданский" пить пиво с приятелями, но картинка запечатлелась в памяти. Надеюсь, эта картинка не будет компрометировать его отца.

В двенадцать лет Витек впервые — в летнем лагере — увидел и познал то, что ксендзы называли грехом. Сперва увидел: в первый же день, в спальне, перед тем как погасить на ночь свет, один из мальчишек, которые были знакомы еще по Варшаве, вдруг крикнул: "Ну, ребята, поехали!" — сбросил с себя одеяло и принялся онанировать. Он был рыжий, звался Краснухой и делал это потом ежедневно. Кто-то пытался ему подражать, но при всех ни у кого не получалось, и до конца срока Краснуха один выполнял свой публичный ритуал. Витек почувствовал зависть, сам точно не зная к чему: то ли грешить захотелось, то ли поскорее стать таким же взрослым, и вот, однажды утром, внимательно наблюдая за Краснухой и дождавшись, пока тот за завтраком откусит первый кусочек хлеба, сказал ему:

— Ты даже рук не вымыл.

— Ну и что? — удивился Краснуха.

— После вчерашнего... "ну, поехали"...

— Ну и что? — повторил Краснуха. — Гляди-ка сюда.

И облизал палец правой руки.

У Витека тогда болел зуб, он плохо спал ночью, ворочался и вдруг очнулся от тягостного полусна, пошел в туалет и там, в летней тишине — где-то вдалеке лаяла собака, — сам себе удивляясь, сделал то, что Краснуха делал в спальне, перед тем как гасить свет. После чего надолго позабыл о зубе, но почувствовал слабость и прислонился к стене. Вернув-

шись в постель, он заснул и спал без сновидений до самого утра. Потом привык к этому наркотику, и еще в лагере ему не раз случалось в течение дня запираться в туалете или в пустой спальне.

В том же лагере Витек подружился с Даниелем. Даниель был из Лодзи, но жил в другом районе. Они нашли общий язык — отец Даниеля тоже был инженером. Говорили о разном, о девчонках, о молодой воспитательнице, но Даниель сразу же предупредил: "Ты со мной не дружи, я скоро уеду". "Куда?" — поинтересовался Витек, и Даниель ответил: "Далеко". Потом они повсюду ходили вместе. Именно Даниель придумал сказать Краснухе: "Ты даже рук не вымыл", да постеснялся, и это сделал Витек. За неделю до окончания каникул к Даниелю приехал отец, велел ему собраться, и они уехали. Даниель попрощался с молодой воспитательницей — она поцеловала его — и с Витеком.

— Я думал, мы уедем далеко, — сказал ему Даниель, — а теперь папа говорит, что всего-то в Данию. Я тебе напишу.

Они не знали, как попрощаться, с минуту постояли в нерешительности, потом неловко подали друг другу руки, и Даниель записал адрес. Казалось бы, Витек должен был почувствовать обиду, тоску по другу, которого он лишился, и неприязнь к тем, кто его отнял, но нет, он не ощутил ни сильной тоски, ни особой неприязни, — наверно, потому, что с трудом привыкал к людям.

Потом он как-то услышал, что, говоря о нем и не зная, как его описать, один воспитатель сказал молодой воспитательнице: "Ну, невзрачный такой, товарищ того еврейчика". "А, знаю", — сказала воспитательница и ушла.

Еще пару раз он слышал, что́ люди говорят о нем за его спиной, и всякий раз после этого немного менялся. Как-то летом — было ему тогда семнадцать, и он уже познал вкус женщины — он нечаянно подслушал у озера разговор двух девушек в лодке.

— Ноги стройные, — сказала одна.

— Да, но крутит задом.

Витек подумал, это они о ком-то из подружек, но девушки вдруг заметили его, и он понял, что речь шла о нем. Он перестал вилять бедрами, дома поставил перед собой зеркало и долго вырабатывал мужскую походку.

В старших классах гимназии он должен бы увлечься политикой. Действительность, разумеется, его не устраивала, и в выпускном, возможно, классе он с приятелями учредил тайное правительство. Решено было стремиться к свержению существующих порядков и в духе истинного социализма бороться за власть. Витек стал министром здравоохранения и разработал систему по-настоящему бесплатного медицинского обслуживания, без взяток и частной врачебной практики. Чтобы расширить круг знаний в "своей" области, он сблизился с молоденькой медсестрой из поликлиники. Знакомство с нею он использовал в личных целях, полагая, что делает это ради идеи, — так, возможно, оно и было. Если медсестра дежурила во второй половине дня, они встречались утром; Витек тогда пропускал два урока и не давал ей уснуть, расспрашивая о структуре поликлиники. "Заговор" раскрыли, в дело чуть было не вмешалась милиция, но дирекции школы удалось замять неизбежный скандал. Шестерых членов правительства во главе с премьером раскидали по разным школам. Когда состоялось специальное заседание педсовета, Витека отрядили подслушивать. Конечно же, это скорей вхо-

дило в компетенцию министра внутренних дел, но тот сдрейфил, и Витек несколько часов кряду провел в котельной, приложив ухо к трубе — так до него явственно доносились голоса из учительской. Он узнал о себе, что обладает способностями руководителя, которых, однако, будучи слишком замкнутым, реализовать не сумеет. Еще он узнал, что парень он смышленый, соображает лучше, чем предусмотрено программой, и педсовет в затруднении: какой бы предлог найти для его перевода в другую школу? Премьера как-то застукали в гардеробе с молодой вахтершей — это хорошо. Министр культуры и просвещения читал на уроке истории "Таймс" — тоже неплохо. Председатель комитета развития государственного сельского хозяйства (такой титул носил министр сельского хозяйства) частенько смывался с уроков в разные сельхозкооперативы. У министров промышленности и обороны были низкие оценки по предметам, входящим в аттестат зрелости, и только у Витека нельзя было найти никаких изъянов.

— Хоть бы он курил, что ли, — вздохнул директор.

В конце концов его все же перевели в другую школу за эпизод с побитым учителем, который теперь истолковали ни больше ни меньше как неспособность к адаптации, агрессию. По дороге домой Витек купил пачку сигарет и с тех пор так и не бросил курить. Отец застал его в клубах дыма, раскритиковал дешевые сигареты "Спорт" и повысил ему месячное содержание на сто злотых.

Чтобы Познань могла отойти в область предания, им надо было оттуда уехать, и в начале шестидесятых они переселились в Лодзь. Старшая сестра отца жила там в огромной квартире, оставшейся после кончины мужа, который был заместителем одного из первых послевоенных воевод; эту квартиру, замуровав двери, без особого труда удалось переделать в две меньшие по размеру и вполне удобные. Витек не мог понять, что общего у сестры с братом, даже родственной теплоты он не замечал в их отношениях. Тетка была коммунисткой еще с предвоенных времен, куда более радикальной, чем ее муж; деятельная, энергичная, она состояла в разного рода комитетах и комиссиях. После смерти зам. воеводы ее должны были выдвинуть в депутаты, но оказалось, что по разнарядке ей, как кандидату женского пола, надлежит баллотироваться не в своем избирательном округе, на что она из принципа не пожелала согласиться. Чтобы замять дело, она потом раз за разом возглавляла избирательные комиссии, и, впервые придя на выборы, Витек отдал свой голос под присмотром собственной тетки. С той поры она стала обращаться к нему на вы: "Будьте так добры, Витек, — звонила она ему по внутреннему телефону, — принесите мне варшавские газеты, если они у вас есть".

Отец после познанского взлета оторвался от политики, взял обратно свое заявление о приеме в партию, которое подал в ноябре пятьдесят шестого, и с возрастом, судя по всему, становился все более горячим сторонником многопартийной системы. С теткой он не разговаривал по целым дням, заслышав условный телефонный звонок, делал вид, что его нет дома, и игнорировал выборы, которыми она активно занималась.

Думаю, Витек обратил внимание на Ольгу в мае, на втором курсе мединститута. Случилось это в анатомичке; она встала как-то так, что яркий свет окружил ее голову странным ореолом. Когда ассистент разрезал живот лежащей на столе женщины, Ольга закрыла глаза. Освещенная сзади, она почти не была видна, но Витек все же разглядел веснуш-

ки на ее веках. Она сдирала ногтем лак с металлической спинки кушетки — спинку красили много раз, лак легко поддавался — словно бы в такт звукам, доносившимся от стола. Витек знал Ольгу уже почти два года, внешность у нее была весьма заурядная, ноги, вероятно, некрасивые — иначе зачем бы ей постоянно носить брюки? Работала она в студенческом комитете, и Витек покупал у нее билеты в театр. Теперь, однако, он смотрел на нее совсем другими глазами. Внимание приковывало странное выражение ее лица; под конец вскрытия она облизнула языком пересохшие губы, но лицо — вдруг понял Витек — по-прежнему выражало страстность. После занятий она снова заглянула в анатомичку.

— Что с тобой было? — спросил он, когда она вышла.

— Было заметно?

— Заметно...

— Что?

Витек не знал, как ответить; слово "страстность" казалось ему неуместным. Он сказал, что она ему понравилась, и это было правдой. Оля рассмеялась:

— Та баба на столе учила меня в начальной школе. Я ее ненавидела, и мне представилось, что я сама ее кромсаю.

Вот такой, пожалуй, может быть Оля.

Стало ясно, что они выйдут вместе. Они пошли выпить пива, но не в дешевый "Гражданский", а в "Гранд". Вечером, в студенческом клубе, в комнате комиссии по культуре, от которой у нее был ключ, Оля отдалась ему так естественно, словно они уже много лет занимались этим именно в этой комнате и на этом ковре. Снизу доносилась музыка — там проходил конкурс студенческих джазовых оркестров.

В их отношениях с виду ничего не изменилось. Они не разговаривали, не ходили в кино. Только время от времени глядели друг на друга, не в силах оторваться. Витек чувствовал нарастающее возбуждение. Оля исчезала, ощутив на себе его взгляд, писала на листочке время и адрес — а потом он находил ее в квартире подруги, в брюках и блузке на голое тело, и они предавались любви с пылом, ранее Витеку неведомым. После чего могли целую неделю, а то и две не перемолвиться ни словечком.

Пожалуй, именно в это время, а может, чуть раньше Витек должен начать сомневаться в своем медицинском призвании. Участвуя в весьма циничных разговорах однокурсников, он и сам порой был, как они, циничен, хотя скорей рисовался. Чтобы соответствовать... И все же откровенный цинизм приятелей чем-то ему импонировал. Витек видел, как мучается отец — который теперь чаще бывал в больнице, чем дома, — понимал, что, если бы не сорокалетняя докторша, отца давно бы не клали в больницу, чтобы не портить показателей; он боялся будущей ответственности, абсолютно не понимал Оли, да и многих других из своего окружения. Словом, все яснее сознавал: он делает не то, что должен делать. Но при этом не знал, что же именно он должен делать.

Отец страдал, он стал еще неразговорчивее, но Витек чувствовал, что он по-прежнему наблюдает за ним и в душе оценивает. По взгляду отца, по его настроению, по тону голоса он понимал, когда отец одобряет что-то в его жизни, а когда нет, и все чаще, хотя и молча, соглашался с его мнением. Его преследовала мысль, что отец хочет что-то ему сказать, но откладывает это на последнюю минуту. И он стал подстерегать эту минуту. Тревога за отца постепенно сменилась ожиданием. Не прозевать бы. Успеть. Он все чаще звонил домой и, услышав голос отца,

клал трубку — нельзя же было спрашивать каждые два-три часа: "Как себя чувствуешь, папа?" При этом он сознавал, что класть трубку велит ему чувство, называемое стыдом. Каникулы он провел в Лодзи.

Осенью Оля вернулась позже обычного, она гостила с родителями у родственников в Киеве, и в первый же день, это было в ноябре, их взгляды пересеклись. Два часа спустя Витек вбежал на лестницу в доме ее подруги, но в последний момент спустился обратно, к автомату. После нескольких гудков отец взял трубку. Витек хотел уже повесить свою, но отец спросил:

— Витек?

— Да, — сказал Витек.

— Меня забирают в больницу, здесь Кася. Я хотел тебе сказать, а то... можешь не успеть. Но ты ничего не должен.

— Папа... чего я не должен?

— Ничего. Ничего не должен. Я хотел, чтобы ты это знал.

Отец положил трубку. Витек поехал домой. Отца не было. Он поехал в больницу, но не успел. Спокойную сорокалетнюю Катажину, без белого халата, он увидел возле больницы на скамейке. Сел рядом.

— Он велел тебе сказать, что ты ничего не должен, — сказала она: ведь они, вероятно, уже давно перешли на ты. — Говорил, что это бессмысленно, потому что все равно больно.

— Он чувствовал боль?

— Нет. Физическую — нет... Но он не хотел...

Как должны выглядеть похороны в ноябре? Должен лить дождь, печальные, потерявшие листву деревья должны символизировать людскую печаль. Но было резкое осеннее солнце, а листья в том году долго не опадали. Витек машинально бросил горсть земли и без единой мысли в голове ждал, пока все уйдут. Он знал: то, о чем нужно подумать, придет позже, и, когда остался один, в уме сложилась фраза, которая, очевидно, возникла много раньше, чем он ее осознал. "Встретимся там, и ты все мне скажешь". "Все мне скажешь, когда встретимся там". "Когда встретимся там, ты все мне скажешь". Он опустился на колени под бременем этой фразы в разных ее стилистических вариантах и успел еще со страхом подумать, что у кого-то эта фраза уже складывалась подобным образом. Он напряженно припоминал, у кого именно, даже представил себе прекрасную амазонку, которая дивным майским утром мчится... когда тетка — она пережидала, видно, пока ксендз уйдет, — встала над ним и положила руки на его поникшие плечи.

— Не обольщайся, — сказала она, позабыв об уважительной форме. — Там ничего нет.

Он заплакал только на улице. Побрел на вокзал, было уже темно, оперся головой о стену будки в самом конце перрона и плакал, еще храня в себе ту фразу и амазонку майским утром. Подошел железнодорожник из службы охраны с зажженным фонарем, осветил стену.

— Никак нужду справляли? — спросил он.

Витек отодвинулся, стена была сухая.

— Ваше счастье, — сказал охранник.

Спустя несколько дней Витек, по-моему, должен был пойти к декану. В коридоре и вестибюле мединститута он почувствовал себя чужим, избегал встреч с товарищами. Боялся разговоров, соболезнований. Даже спрятался за угол, чтобы пропустить группу проходивших мимо сокурсников. Декана не было, пришлось ждать в его кабинете, Витек

вынул заранее написанное заявление с просьбой об академическом отпуске, положил его на стол, потом перенес на маленький столик, за которым сидел. Вошел декан в белой докторской куртке, сразу направился к холодильнику, достал два кефира. Один поставил перед Витеком, другой открыл, сел напротив и молча прочитал заявление.

— Вы на четвертом курсе?

— Да.

— Вы пейте, пейте.

Витек открыл свой кефир, отхлебнул немного и стал ждать.

— Что, перестали чувствовать призвание? — со смешком спросил декан.

— Да.

— И...?

Он смотрел на Витека из-под очков, сощурив глаза и немного откинув голову, готовясь вылить себе в рот остатки кефира из пакета.

— У меня отец умер... Он хотел, чтобы я стал врачом, а когда умирал, сказал, что уже не хочет...

Декан отставил кефир.

— Мне надо это обдумать, — закончил Витек, не зная, что еще сказать. Декан подписал бумагу и приложил вынутую из футляра печать. Взглянул на Витека.

— Смотрю я на вас и думаю, что вы вернетесь.

Разумеется, все могло сложиться иначе. Сын декана в то утро приехал из Франции и привез с собою дюжину изданных в Париже польских книжек. Если бы таможенник на границе велел ему открыть чемодан, то декан, вполне вероятно, не предоставил бы Витеку академический отпуск. Но таможенник был занят змеиными шкурками, которые обнаружились в багаже возвращавшихся из Индии киношников.

Стал ли он более свободным? Если бы его спросили, он ответил бы: да.

Чувствовал ли себя при этом еще более потерянным? Да.

Уже с сумкой, он без очереди протиснулся к кассе вокзала.

— У меня варшавский через минуту, — буркнул и, не слушая протестов, торопливо сгреб сдачу. Разогнался от самой двери, в переходе услышал, что поезд тронулся, припустил что было силы и, едва переводя дух, вскочил в вагон уже набравшего скорость поезда. Ладно, допустим, что вскочил.

Но ведь поезд с тем же успехом мог тронуться на семнадцать секунд раньше. В этом случае Витек тоже погнался бы за ним, на середине перрона был бы всего в нескольких шагах от поручней вагона, но расстояние стало бы стремительно увеличиваться, и Витек, поняв, что не догонит, постепенно замедлил бы бег.

И с тем же успехом уже известный нам педантичный охранник мог бы в тот день быстрее выпить свой послеобеденный чай и, пока Витек покупал билет, оказаться на перроне, с которого отправлялся скорый до Варшавы. Увидев бегущего с неудобной, болтавшейся на плече сумкой, он — по долгу службы, из уважения к порядку, но и желая добра догонявшему поезд парню, — встал бы сперва к нему спиной, а когда тот приблизился, внезапно обернувшись, поймал бы его в раскрытые объятья. Витек задыхался бы от ярости. А охранник внимательно бы к нему присмотрелся. “Вы тут намедни нужду справляли, — сказал бы он, — а теперь ишь чего надумали — на ходу в поезд вскакивать”. Но охранник

пил чай по обыкновению долго. Заметим, что ни время чаепития, ни момент отправления поезда от Витека не зависели. Он пришел на вокзал в определенный час, в определенную секунду; дальше все могло сложиться по-разному. Но сложилось так, как сложилось, и он вскочил в поезд. Ну ладно.

Витек помахал отдалявшейся Лодзи. Верно, думал, что никогда уже сюда не вернется, и, тяжело дыша, в поезде, который сумел догнать и который теперь увозил его из города, пальцем начертил крест на запотевшем от дыхания стекле. Хотя город этот по сути не сделал ему ничего плохого, он вполне мог так думать, потому что надеялся, именно надеялся, а не предчувствовал, что там, куда он едет, ему удастся обрести то, что мы называем смыслом и что теперь для него означало новый, еще неведомый образ жизни. Допустим, так он думал. Это вполне вероятно, раз он машинально начертил крест на запотевшем от собственного дыхания стекле.

Поездом, как всегда, в Варшаву ехало много народу.

В тамбуре последнего вагона, глядя, как Витек рисует крест, усмехнулся Вернер. Ему было за пятьдесят, он закуривал сигарету "Спорт". Не вскочи Витек в этот поезд, он никогда бы не встретил Вернера, а Вернер, должно быть, расположился к нему, увидев, как он бежит, тяжело дыша, а потом рисует этот крест. "Вам повезло, — сказал он. — Могли ведь и не успеть". Витек кивнул без особой уверенности; так они познакомились. А потом молча сидели друг против друга. Вернер что-то записал в истрепанном блокноте, может, о странноватом парне, зажатом между двух дюжих мужчин. У парня был затуманенный, абсолютно отсутствующий взгляд. А может, — кто его знает? — запись эта касалась Витека, хотя, скорее всего, ни к парню, ни к Витеку она не имела никакого отношения. Перед Скерневице парень вдруг вскочил, но один из мужчин быстрым, привычным движением усадил его на место. Спустя минуту ситуация повторилась.

— Да бросьте вы, — сказал Вернер, — ему же в уборную надо.

Мужчины глянули в их сторону, но парню позволено было выйти. Когда поезд остановился, Витек пошел за ним следом и сказал ему, выходившему из туалета: "Мотай отсюда". Парень посмотрел на него и молча вернулся на свое место меж двух опекунов, проигнорировав глупое предложение обрести свободу.

— Что, не пожелал бежать? — усмехнулся Вернер.

Оба уже поняли, что парень — наркоман; поговорили немного о свободе: Вернер утверждал, что люди порой не хотят свободы, добровольно от нее отказываются, и объяснил Витеку, улыбаясь то ли сам себе, то ли своим воспоминаниям, что такого рода случаи описаны Кафкой. Кафка считал, продолжал Вернер, что есть люди, об истинных потребностях которых власти знают лучше, чем они сами. Все это время Вернер держал во рту незажженную сигарету и, когда в ходе разговора Витек спросил, почему он не курит, ответил, что это купе для некурящих.

Только на вокзале в Варшаве до Витека дошло, насколько бессмысленным был его внезапный, неподготовленный приезд в Варшаву. Дяди, которого он никогда в глаза не видел, дома не оказалось, он на несколько лет уехал в Иран строить какое-то предприятие, и Витек, едва успев разогнаться для новой жизни, вынужден был затормозить. Вернер стоял у телефонной будки, слышал разговор, видел, что Витек пал духом, и

предложил ему ночлег. После минутного колебания, вызванного, как правильно расценил это Вернер, страхом перед такого рода знакомствами — в поездах, на вокзалах и в барах, — Витек с облегчением согласился. Здесь же им встретился Бузек — человек крепкого, может, даже слишком крепкого телосложения, который будет играть важную роль в этом повествовании. Он спросил, из Лодзи ли поезд, они подтвердили; судя по всему, он пришел встретить кого-то, но не дождался. Направляясь к автобусу, Витек увидел, как Бузек со злостью пнул багажную тележку, которая покатилась к краю платформы и чуть было с нее не свалилась.

В квартире, состоящей из большой комнаты и маленькой кухонной ниши, Вернер выпил чекушку, явно не первую в своей жизни. После третьей, кажется, рюмки, он принялся рассказывать о себе, почувствовав, верно, что этот светлый паренек будет слушать его с интересом и, возможно, даже что-то поймет. Так на самом деле и было. Вернер был удивительным человеком, а его жизнь оказалась еще интересней его самого.

Он ходил, сгибая ноги в коленях, щадя ступни, отбитые в начале пятидесятых.

— Когда лупят по пяткам, потом до конца жизни так ходишь, — сказал он; от очередной рюмки его передернуло.

Во время войны он уверовал в равенство и справедливость — навсегда. Потом реальная жизнь многократно подсовывала ему шанс разувериться в этом, но он предложенными возможностями не воспользовался. Сдружился с молодой супружеской парой, как и он коммунистами, и сразу же влюбился в жену приятеля. Полюбил, как и уверовал, — навсегда, а когда приятеля арестовали за шпионаж, с глубочайшей убежденностью втолковывал его жене, что ей нельзя оставаться женой шпиона. Вернер был таким чистым человеком, что она ему поверила. Они стали жить вместе. Только когда арестовали и его, она засомневалась — не ошибка ли это? А коль скоро ошиблись, осудив Вернера, то могли ошибиться и осудив ее мужа? И вот они оба сидели, а она приходила к ним в тюрьму, и они встречались в коридоре, когда шли на свидание с ней — бледной более обычного, ожесточившейся. Вернер вскоре признался во всех предъявленных обвинениях. Он верил, что партии необходимо его признание. (Именно с того времени у него болели ноги, и он осторожно жевал вставными зубами, чтобы не повредить слабых с детства десен.) Встречаясь вот так, в коридоре тюрьмы, оба в конце концов поняли, что тот, кто выйдет первым, останется навсегда с этой бледной, любимой ими женщиной. И ждали: кто выйдет первым. Первым вышел муж. А еще через несколько месяцев Вернер поселился в комнате, которую никогда с тех пор не покидал и которая позволяла ему жить в уверенности, что он равный, но не первый среди равных.

— Она белая была, — говорил Витеку Вернер. — Вся белая. Светлый пушок над губой и возле уха, некрасивые руки. Белые руки с толстыми пальцами — она не смогла снять кольца, когда взяли Адама... Раз его взяли, значит, он и вправду шпион, так я ей объяснял...

Время от времени Витек набирал номер, который диктовал ему Вернер, и когда в трубке отзывался мужской голос, просил к телефону Кристину. Потом он передавал Вернеру трубку и деликатно выходил в ванную, обозревая там облезлую кисточку для бритья с засохшими остатками пены и видавшую виды бритву.

Вернер понимал: его идеалы не реализованы, но был убежден и старался убедить Витека, что кто-нибудь когда-нибудь их реализует. Даже

выразил надежду, что, быть может, это сделает его, Витека, поколение. Они говорили до поздней ночи. Становилось холодно. Вернер кутался в одеяло, сидя на стуле и барабаня пальцами по столу, а Витек, уже улегшись, из дальнего угла комнаты рассказывал ему об умершем отце. Вернер переставал барабанить по столу, и у Витека впервые за много лет возникло ощущение, что кто-то слушает его и хорошо понимает.

Ясно, что он задержался у Вернера. От случая к случаю работал в студенческом кооперативе, а Вернер целыми днями сидел дома. Что-то почитывал, что-то пописывал, вечерами вынимал из бумажника истертую фотографию, но ни разу не показал ее Витеку.

— Не следует думать о прошлом слишком уж конкретно, — говорил он, потому что это была фотография Кристины тридцатилетней давности. Несколько дней кряду он собирал чемодан — старательно, скрупулезно, — готовясь надолго отбыть в Южную Америку по приглашению приятеля военных времен, тоже коммуниста. Перед самым отъездом он взял Витека на свою лекцию. Входя в зал, представил его Адаму: "Пан Длугош. После четырех курсов медицинского в академическом отпуске". — "Усомнились в своем призвании? — спросил Адам, и Витек узнал голос из телефонной трубки ("Можно попросить Кристину?"). — Вернер уезжает, так что, если вам что-то понадобится, милости прошу, звоните".

Оба вошли в зал и сели у дверей. Вернер начал было читать по своим заметкам, но вскоре отложил их в сторону — у него было достаточно времени как следует обдумать то, что он считал нужным сказать.

Говорил он об идее, которая для его поколения была светочем, вселяла надежду на то, что мир можно устроить справедливей и мудрей. "Это стремление, а оно и старше Маркса и моложе Маркса, — подобно наркотику, — говорил он. — Сперва приносит радость. Свет близок, и человек верит, что достигнет его. А к концу жизни наполняет горечью, потому что становится ясно, как снова отдалился свет. Но в одном я могу вас уверить, — продолжал Вернер. — Жизнь без этой горечи, без этой надежды была бы жалкой..."

Витек, как и все в аудитории, жадно вслушивался в слова Вернера, и Адам снова пристально взглянул на него.

Недели две спустя Витек провожал Вернера в аэропорт. В переходе им встретился человек, заметив которого Витек обернулся, раздумывая, откуда он его знает? Они не были знакомы, хотя на самом деле встречались: хорошо сложенного мужчину в комбинезоне механика звали Бузек и какое-то время назад он на вокзале спрашивал про поезд из Лодзи. Уже в аэропорту Витек, которому жгла карман визитная карточка, врученная ему Адамом перед лекцией, сказал о ней Вернеру. Тот улыбнулся отстраненной улыбкой — такую же улыбку Витек заметил у него два дня тому назад в Лазенках, когда Вернер издалека показал ему Кристину. Она прогуливалась с внучкой в дальней аллейке, а потом прошла мимо них; Витек хотел встать и уйти, но Вернер его успокоил: Кристина близорука, а очков не носит. И в самом деле, она окинула их рассеянным взглядом и направилась дальше, и тогда только Вернер встал и пошел за ней; Витек уже издали увидел, как он склонился, целуя ей руку. Теперь Вернер улетел; Витек проследил, как мощный самолет оторвался от земли, гул моторов достиг его слуха лишь минуту спустя.

Знакомство или, пожалуй, дружба с Вернером оказалась для Витека столь важной, что он ощутил какую-то пустоту, но, помня улыбку Вернера в аэропорту, долго не решался позвонить Адаму. Наконец все же

позвонил, и Адам тут же предложил ему работу в молодежной организации.

– Если вы прониклись тем, о чем говорил Вернер...

– Проникся... – признался Витек и приступил к работе. Обязанности у него были не бог весть какие: добывать билеты, оказывать помощь спортивным секциям, разрешить конфликт в плохо отапливаемом студенческом общежитии, когда студенты отказались посещать лекции и сидели в темной холодной столовке, закутавшись в одеяла... Может, именно в этом общежитии он и встретил Чушку – свою несостоявшуюся любовь в выпускном классе? Может, ее хмурый взгляд при свете свечи в столовке и побудил его сделать то, что он сделал? Так или иначе, он разыскал ее, а ранним утром, едва забрезжило, Чушка тихонько встала с постели, оделась и уже хотела уйти, когда почувствовала на себе взгляд Витека.

– Глупо, правда?

– Почему?

– Ты же ничего ко мне не чувствуешь.

Это была правда, и Витек спросил:

– Почему мы не пошли в постель, когда нам было по семнадцать?

– А ты не знал, как это делается.

– Не знал...

Она засмеялась, легко коснулась его лица, а потом вдруг надавила ему на нос, так что выступили слезы.

– Вдобавок у нас разные знакомые, – сказала она и вышла, а Витек, потирая нос, прислушивался к звукам, доносившимся с лестничной площадки. Он знал, что они еще встретятся.

Ну а теперь займемся Бузеком.

На аэродроме Окенце, когда иностранный экипаж входит в свой уже проверенный самолет, Бузек обычно здоровается с командиром корабля, касается рукой начертанного на дверце номера и тихо говорит: "Жук жужжит в жнивье". Много лет уже Бузек повторяет свое заклинанье. Както он заколебался, промолчал – проверили двигатель и нашли неисправность. С того времени экипаж ночующего в Варшаве самолета ожидает, пока Бузек произнесет свое магическое: " Жук жужжит..." Он и в этот раз сказал то, что должен был сказать, и молоденькая стюардесса спросила:

– Пан Бузек, а вы никогда не ошибаетесь?

– Только женившись, ошибся, – ответил он. Быть может, это прозвучало как недвусмысленное предложение, хотя Бузек не имел такого намерения.

Витека вызвали к Секретарю. В больнице для наркоманов, над которой шефствовала их организация, вспыхнул бунт. После истории со студентами из общежития Витек прослыл специалистом по строптивой молодежи, к тому же никто из руководства не мог поехать в больницу, поскольку именно они направили туда молодых врачей, которым наркоманы отказали в послушании. Посовещавшись, решили, что поедет Витек.

– Но что я там должен делать?

– Утихомирить их. Любой ценой. Мы будем ждать у телефона. Звони, – сказал Секретарь; Витека быстро ввели в курс дела, объяснив, чем было вызвано решение о шефстве.

Близ небольшого серого здания больницы Витек отделился от группы стоявших там людей. У милицейской машины с радиоустановкой были зажжены фары. Витек подошел к закрытым дверям. "Сунь удостоверение", — сказал кто-то изнутри. Он подчинился. Двери отворились, Витек вошел; длинноволосый парень тотчас задвинул за ним все засовы. Знаком велел следовать за ним. Они миновали проходную, в которой сидели двое таких же парней и девушка, прошли по коридорам, которые напоминали и больницу, и школу, и интернат одновременно. В вестибюле сидели, лежали, бродили длинноволосые или коротко стриженные парни и не слишком озабоченные своим внешним видом девицы. Они провожали глазами идущих. Стриженый парень с довольно мутным взглядом загородил им дорогу.

— Из Варшавы, — сказал проводник. Тот отошел.

В большой комнате — дежурке? учительской? — стояли диван, стол, стулья и раскуроченный шкаф с какими-то папками: в нем явно что-то искали; один из углов был отгорожен решеткой. Дверца проволочной клетки была заперта, внутри сидели трое молодых мужчин и женщина. Двое мужчин были в белых халатах. Проводник впустил Витека в комнату и тотчас вышел. Трое парней, похожие на тех, из коридора, расположились вокруг стола, на котором стояли канистры с бензином.

— У нас еще десяток таких, — сказал один, показывая на канистры.

— Заполыхает мигом.

Витек не знал, как себя вести. Подошел к столу, пожал руку каждому из ребят, сказал, кто он и откуда.

— Позвони, что ты здесь, — сказал тот же парень, явно старший у них. Витек позвонил, сказал, что велели, и прибавил, что пока ничего не знает. И подсел к столу.

— Как в Америке, — сказал старший и рассмеялся. — С тех пор как вы нас опекаете, двое парней и девушка дубанули.

— Это как?

— Она отравилась, а те двое — удавку на шею. Одного из них четыре дня держали в этой клетке.

Витеку разрешили поговорить через решетку с директором центра. Они сидели в клетке с утра: трое врачей — двое мужчин и женщина — и воспитатель. Есть им давали. По их словам все, что они делали, шло во благо опекаемым ими наркоманам. А те требовали, чтобы центру вернули статус больницы, чтобы они могли выходить отсюда во второй половине дня и по воскресеньям, требовали отменить шефство молодежной организации и взять на работу нормальных врачей и учителей. Старший открыл канистру, облил себе руку бензином и поджег. Выждал несколько секунд и спокойно погасил.

— Мы не боимся, — сказал он и снова хихикнул. — Как в Америке.

Витек хотел поговорить со всеми. Они вышли в вестибюль. Витека обступили, заговорили разом — взволнованно, сбивчиво. Девушка запела. Рефреном повторялось: "Да, мы другие, и вы не хотите нас знать. Да, мы другие, но нас не удастся сломать...", песню прервал чей-то крик: "Удирают! Смылись!" Все увидели недавних узников, удирающих через двор, молодая женщина прихрамывала: верно, повредила ногу, прыгнув с невысокого второго этажа. Несколько наркоманов вбежали в большую комнату и выскочили оттуда, плеская бензином из канистр.

— Не лейте! — крикнул Витек. — Ведь я же у вас!

Его заперли в проволочной клетке. И он, в общем-то, почувствовал себя хорошо в роли заложника — было в этом что-то благородное. Ему дали телефон, и он смог позвонить, сообщить условия. По его мнению, с ребятами надо согласиться, поскольку — заявил он по телефону — они правы. Старший вырвал у него трубку и объявил, что они ожидают известий до восьми утра. А потом подожгут. Наркоманы принесли тазы из подвалов, перелили в них бензин и расставили по всему дому. Старший взял один из тазов и плеснул оттуда Витеку на ноги. Витек отскочил к стене. Парень вынул спички, зажег сигарету, не спеша нагнулся...

— Не бойся, это вода, — сказал он, гася сигарету в луже. — Я просто попробовал.

Ночью кто-то опять играл на гитаре и угостил Витека косяком с марихуаной, но он ничего не почувствовал. Ему дали второй — ощущение было как после двухсот граммов. Зазвонил телефон: предложили применить силу; Витек отказался. Нельзя применять силу против тех, кто прав, объяснил он. Его спросили, не боится ли он, Витек ответил, что нет. Правда же состояла в том, что он чувствовал себя хорошо именно потому, что боялся.

— Раз мы допустили ошибку, — закончил он разговор, — надо отступить.

Вскоре после этого по телефону сообщили о согласии принять условия. Витеку предстояло лишь договориться о том, что выходить из центра можно будет только по персонально выписываемым пропускам. К утру должна была прийти соответствующая бумага. Напряжение спало, двери клетки открыли, но Витек остался в центре до утра.

В Варшаве его пригласил к себе Адам. В его квартиру входили прямо из лифта, отпирая специальным ключом обычные вроде бы двери шахты.

— Этот случай дает тебе хорошую исходную позицию. И то, что ты проявил слабость, тоже хорошо, — сказал Адам, когда они уселись в большой уютной комнате. Говорили о больнице и наркоманах.

— Я испугался.

— Понятно, но минуту слабости тоже ведь можно использовать... Ты — слабый — становишься на одну доску с ними... Они теряют бдительность, и преимущество сразу же оказывается на твоей стороне. Только зря ты сказал, что они правы. При них.

— Но они и в самом деле были правы.

— Но зачем же при них-то? Надо знать, когда есть смысл признавать чужую правоту. Если в результате повышается твой авторитет, престиж, легче добиться уступок.

— Я хотел, чтобы по справедливости, — упорствовал Витек.

— Это хорошо, но ты туда пришел как официальное лицо. Будь ты сам по себе, один...

— Я и был один.

— Ну не совсем, — улыбнулся Адам. — А телефон? Ты ведь знал, что в случае чего можешь позвонить, что за твоей спиной — власти, милиция... Иначе ты бы просто струсил.

Витек умолк.

Адам на минуту вышел и вернулся с маленькой электробритвой. Он сильно оброс и теперь, бреясь журчавшей машинкой, втолковывал Витеку, что в ситуации, какая сложилась в больнице, сантименты не важны. Важно уладить дело. А чтобы его уладить, надо знать способы. Тогда все получится.

В комнату из темного коридора вошла женщина с чашками на подносе. Витек сидел к ней спиной, и только когда Адам сказал: "Крыся, пан Длугош" и Витек поднялся, он увидел, что женщина эта — Кристина. Она поставила чай на низкий столик и вышла. Адам заметил, как смутило Витека ее появление. Отложив бритву, он спросил:

— Это не ты звонил нам год назад, до того как Вернер уехал?

— Я.

— Когда-то мы с Вернером очень дружили.

— Да, он мне говорил.

Адам задумчиво смотрел на него. Что мог понять этот молодой парень из пьяного монолога Вернера, — вероятно, думал он, — если даже сам он мало что понимал теперь, столько лет живя совсем иной, куда более легкой для понимания жизнью?

— У нас с ним ведь все могло получиться ровно наоборот. Освободись он раньше — был бы на моем месте, а я — на его.

— Вы полагаете, это случайность?

Но Адам не хотел говорить ни о каких случайностях. К тому же ему вполне хватило краткой минуты возврата к далекому прошлому.

Бузек вернулся во второй половине дня.

— Верка! Верка! — звал он, проходя по комнатам маленького загородного домика. Отец копался в огороде за домом.

— Ты Верки не видел?

— Она ушла около двенадцати, больше не видел.

Бузек подошел поближе; отец выглядел радостным, оживленным.

— Чего это ты такой довольный?

— Возвращаюсь в больницу.

— Как это?

— А так. Шефство отменили, и теперь будет, как прежде, обычная больница. Двое ребят повесились, девушка из окна выпрыгнула, вот они и отменили. Парень Агаты повесился, той, что сочиняла песни. Помнишь, я рассказывал...

Все чаще перед мысленным взором Витека — когда он засыпал и просыпался — возникал образ коротко стриженной блондинки. Всякий раз, когда ему звонили, но никто не отзывался на его "алло?", он представлял, как Чушка осторожно кладет на рычаг телефонную трубку. Несколько раз он ходил к общежитию — безрезультатно, пока однажды не увидел ее: она попятилась и чуть не наткнулась на него, когда на перекрестке зажегся красный свет. И обнаружилось, что те шесть лет, которые прошли со дня их последней встречи в выпускном классе, и те несколько месяцев после ночи в квартире Вернера были для них потерянным временем. И Витек почувствовал дикую ревность к тому времени, к знакомым Чушки, к ее случайным, недолгим связям. Обреченный выслушивать подробности обо всех этих мужчинах и юнцах, Витек обгрыз себе ногти до крови, корил себя за каждого, кто когда-либо коснулся Чушки. Она переселилась к нему; оказалось, это и в самом деле она звонила и клала трубку, когда Витек говорил "алло?".

Весной Чушка привела его на большую лодочную станцию на Висле. Она руководила харцерской дружиной[1]. Харцеры занимались не

1. Харцерство — польская юношеская организация.

только ремонтом лодок, но и развозили по стране в ярких своих рюкзаках нелегальную литературу. Витек взял одну из таких книжек. Открыл. Прочел вслух: "Какой же будет Отчизна? Совсем другой – справедливой, благородной, разумной, будет служить примером для всей Европы..." Книга стоила двести злотых, и печать была вполне приличная.

Как-то в воскресенье отец Бузека вернулся домой с рукой на перевязи. Он утверждал, будто вывихнул руку, поскользнувшись на ступеньках, натертых мастикой, но Вера, темноволосая тридцатилетняя жена Бузека, увидела в ванной, как отец размотал бинт и сменил повязку на нехорошей колотой ране. Заметила она и фиолетовые дырки между большим и указательным пальцами. И сказала Бузеку. Бузек вскочил с постели. Вера последовала за ним. Бузек набросился на отца, стал выпытывать, кто это сделал, отец отказался отвечать, и Бузек заподозрил, что это, вероятно, дело рук кого-то из торчков. Отец упорно молчал; а Вера пожалела, что рассказала Бузеку об отцовской руке, которая выглядела так, словно кто-то только что выткнул из нее вилку.

В молодежной организации время от времени устраивались выборы, и на очередном предвыборном собрании приглашенный на него Адам выступил с яркой, встреченной аплодисментами речью. В просторном вестибюле живо обсуждали, как мудро и смело он говорил. Адам подошел к группке, в которой стоял Витек, и отозвал его в сторону. Они встали у окна.

– Тебя, наверное, выберут, – сказал Адам.

– Ну, не знаю.

– Очень важно, с кем ты на минутку отходишь в сторону.

Витек, взбудораженный предстоящими выборами, которые сулили ему новую должность, и этим разговором у окна, к тому же воодушевленный блестящим выступлением Адама, рассказал ему о харцерах, с которыми встречался на пристани.

– Энтузиасты! Мне бы таких ребят.

– Да, я о них слышал, – кивнул головой Адам. – Газетенки, кажется, разносят.

– Книжки. И неплохо напечатанные.

Он спохватился, лишь услышав в ответ, что такого рода информация необходима, она помогает выработать правильную позицию; впрочем, Адам тотчас переменил тему.

– Летишь в июле на встречу с французами?

– Это зависит от сегодняшних выборов.

Адам отошел к другой группке, оставив Витека, внезапно охваченного сомнениями и немного удивленного собственной болтливостью.

Недели через две вернулся Вернер. Чушка съехала накануне. Самолет прибыл поздно ночью. Вернер, странно молчаливый, смотрел из окошка такси на темные улицы города... Витек собирался следующий день провести с ним, но ранним утром его разбудил телефон. Звонила Чушка.

Он встретился с ней на улице Агриколы, недоумевая, чем вызван столь ранний звонок, но она тут же пояснила:

– Нашли книжки в лодках. Забрали двух моих ребят. Ликвидировали типографию... Все разом.

Они медленно шли в гору, и Витек краем глаза заметил остановившийся возле них автомобиль. Из него вышли двое мужчин, один назвал

фамилию Чушки, другой попросил у Витека удостоверение личности. Прочел фамилию, сличил фотографию и почему-то сказал:

— А, это вы.

Он вернул Витеку удостоверение, после чего они вместе с Чушкой сели в машину и повернули вниз по Агриколе.

Витек припомнил свой разговор с Адамом у окна просторного вестибюля и пошел в бар на Кошиковой. Заказал две порции водки, выпил. Потом заказал еще три. Вернувшись поздно вечером, внезапно зажег свет в квартире. Вернер сидел у стола, закутавшись в одеяло.

— Погаси свет! — сказал он.

— Нет! — крикнул Витек. — Ты убедил меня, что есть вещи, в которые можно верить! Я тебе поверил! Я тебе поверил!

— В чем дело? — спросил Вернер.

Витек объяснил, в чем дело. Что забрали ребят. Что на его глазах взяли его девушку. И что незадолго до этого он сказал про книжки Адаму. Сам сказал.

— Такое нельзя откладывать, — сказал Вернер и позвонил Адаму. Тот, услышав голос Вернера, ответил, что Кристины нет дома.

— У нас дело. Можно прийти?

Раздеваться они не стали. Витек даже не присел. На столе царил беспорядок, какой сопутствует дорожным сборам. Кристина уехала с внучкой в Рабку.

— Он рассказал тебе о каких-то харцерах, — начал Вернер, — их арестовали, нашли литературу, он полагает, что информация пошла от него.

Адам подошел к письменному столу.

— Наивные вы люди, — сказал он и набрал номер. Поговорил с кем-то о вчерашнем заседании, затем спросил про харцеров. Представил это дело как не стоящее внимания — собеседник, кажется, с ним соглашался — и, положив трубку, взглянул на Витека.

— Надеюсь, их выпустят. Ну что, все в порядке?

Но Витек — он по-прежнему стоял не снимая куртки — вовсе не считал, что все в порядке.

— Это борьба, — сказал Адам.

— С харцерами?

— И с ними тоже!

Вернер покачал головой. Адама, должно быть, это разозлило — он понимал, что Вернер имеет в виду, — и резко повысил голос:

— Тебе что-то не нравится? Тогда почему ты не с ними? Почему не разносишь книжек?

— Насмотрелся на борцов. Хватит, — сказал Вернер.

— Нет, не потому. Они тебе ненавистны. Ты стоял себе в сторонке и думал, что этого достаточно, что ты чист. Но тут появились они, и ты понял, что нет, не так уж чист, и оправдание для себя труднее найти.

— Да. Я ни вас не люблю, ни их.

— Однако же когда случилось что-то конкретное, ты пришел сюда!

Витек в разговор не вмешивался, а эти двое распалялись все больше. Вернер машинально играл лежавшим на столе брелком на длинной золотой цепочке, Адам схватил его, цепочка лопнула, брелок остался в руке Адама. Они успокоились на миг, вспомнили о Витеке.

— Ты видел, что там внутри? — спросил Вернер.

— Нет, — Адам смотрел на брелок. — Я никогда его не открывал.

Он с трудом отыскал замочек, открыл.

— Покажи ему, — сказал Вернер.

Адам повернул к Витеку золотую вещицу. Внутри была любительская фотография всей троицы: Адам, Кристина и Вернер. Молодые. Улыбающиеся...[1]

Бузек навестил отца в больнице. Рука не заживала. Бузек был человеком чести; нагнувшись над кроватью, он сказал:

— Я знаю, чьих рук это дело.

— Откуда? А где Вера? — спросил отец: он знал, что Вера действует на сына успокаивающе.

— Снова поехала в Лодзь. Мне надо ее встретить, — сказал Бузек, ожесточась еще больше.

Чушку выпустили на следующий день, но она то ли не захотела, то ли не смогла встретиться с Витеком. Однако в аэропорт его проводила. В автобусе рассказала, как с ней обращались в КПЗ, а когда они вышли, Витек спросил:

— Как они допрашивают? Что делают? Тебя били?

— Да нет же. А ты что, никогда не сидел?

— Так сложилось.

— И уже никогда не сядешь, верно? — Чушка пронзила его взглядом. — Скажи, ты не имеешь никакого отношения к тому, что меня отпустили?

Витек замялся. И тут его окликнули коллеги из молодежной организации, тоже улетавшие во Францию.

— Я подожду здесь, — сказала Чушка.

Витек поздоровался. Он знал не всех. Лысеющего блондина удержал за руку.

— Мы знакомы...

— Да, — сказал блондин. — По больнице.

— Верно, — подтвердил Витек. Это был директор центра для наркоманов, которого заперли тогда в клетке.

— Старик, я очень тебе благодарен. А там, знаешь, скандал на скандале.

— Что-нибудь серьезное?

— Парень, один из бунтарей, пырнул врача вилкой. А вчера приехал сын того врача, ну и врезал парню...

К ним подошел руководитель группы. С паспортами в руках. Раздал их. Витек взял свой паспорт и хотел вернуться к Чушке, но руководитель задержал его.

— Возникли сложности, — сказал он. — Начались беспорядки. Стачки в Свиднике, что-то в Люблине. Там наши люди. Шеф отменяет поездку. Отправитесь туда.

Он пересчитал всех глазами и задержал взгляд на низеньком бородатом деятеле.

— Шеф попросил Юрека объяснить во Франции ваше отсутствие. Материалы у тебя?

Юрек кивнул, а Витек не стал больше ждать. Подошел к Чушке.

— Я не еду, — сказал он, радостно улыбаясь. Чушка посмотрела на него по-прежнему холодно и отчужденно.

1. В фильме этой сцены нет. Там Витек вбегает в служебный кабинет Адама, набрасывается на него, дает ему пощечину. Кто-то спрашивает: "Вызвать милицию?" — "Нет! — кричит Адам. — Вышвырните отсюда этого мерзавца! И никому ни звука!"

— Не ищи меня больше, — сказала и ушла.

И Витек остался один со своей радостью, с улыбкой, сползающей с лица.

Так могла бы сложиться судьба Витека Длугоша, если бы ему удалось догнать поезд, отправлявшийся из Лодзи в Варшаву. Возможны какие-то варианты, но коль скоро он вскочил в поезд, все произошло именно так. Ведь в последнем вагоне стоял Вернер, и он улыбнулся, увидев, как Витек чертит пальцем крест на запотевшем от дыхания стекле. Ну а если бы Витек не вскочил?

Если бы наш знакомый охранник с железной дороги быстрее выпил в тот день свой послеобеденный чай и оказался на перроне, а увидев, что за поездом мчится студент с болтающейся на плече сумкой, схватил бы Витека в объятья — и по долгу службы, и желая ему добра? Витек, верно, задыхался бы от ярости, а охранник узнал бы в нем того малого, которого он застукал недавно на том же перроне, и сказал бы ему: "Вы тут намедни нужду справляли, а теперь ишь чего надумали, на ходу в поезд вскакивать".

Допустим, было так. Теперь они стояли на перроне. Витек снова вырвался из рук охранника, но тот с воплем помчался за ним и схватил его, порядком уже вымотанного, — может, даже с помощью прохожих — в самом конце перрона. Витек до тех пор вырывался, бледный от ярости, пока машина с радиоустановкой, вызванная сослуживцами охранника, не положила всему этому конец.

В милиции Витек и не подумал раскаяться. Как некогда в истории с учителем, так и сейчас он не смог выдавить из себя сколь-нибудь вразумительных объяснений. Сказал, что умер отец, что позарез понадобилось ехать в Варшаву; это, видимо, все же возымело действие, наказание ему назначили довольно мягкое — неделю общественных работ. Однако он не оценил этого, полагая, что наказан несправедливо. Среди задержанных был парень, который предоставил свою квартиру профессору из Варшавы. Этот профессор не читал уже лекций в обычном университете, но в разных городах Польши находились охотники его послушать. Лекции затягивались до поздней ночи, на них приходило много народу, и соседи посчитали, что нарушается гарантированное им конституцией право на отдых. Среди тех, кто был осужден на принудительные работы за пьянство и ночные дебоши, эти двое заметно выделялись; неудивительно, что их потянуло друг к другу. Копая ямы под цветы, которым надлежало изобразить огромного орла на высоком откосе стадиона, они нашли старую бутылку, а в ней листок бумаги, на котором под датой "1957 год" было написано: "Мы — студенты четвертого курса. Через двадцать лет Владек станет вице-премьером, Сташек — министром, Кароль — главным редактором, а Янек будет жить за границей и зарабатывать сто тысяч долларов в год. Бутылку выроем в апреле 1977 года." Был уже май, значит, никто так и не вырыл бутылки, раз она продолжала лежать в земле. Засовывая бумажку обратно, они увидели несколько строк на другой стороне: "Откопал в 1975 году. Каждый вечер благодарю Бога, что у вас не получилось. Янек." Они вложили листок в бутылку, а бутылку закопали. К концу недели Витек знал уже в Лодзи многих из окружения Марека.

Разумеется, он посетил ближайшее занятие подпольного университета: Серьезный молодой человек в черном облачении, с белым твердым воротничком священнослужителя, целый вечер посвятил принципу "не

прибегай к насилию" , причислив его к важнейшим общественным нормам. Когда все встали со своих мест, обнаружилось, что ксендз сидит в инвалидной коляске. Витек вызвался сам отвезти его. На вокзале у них выдалось немного времени, и Витек захотел узнать, означает ли принцип "не прибегай к насилию", что достаточно не убивать и не красть — и можно считать себя порядочным человеком. Так между ними — в ночной особой настроенности — завязался разговор о вере и Боге.

— Нет, недостаточно, — сказал ксендз. — Веру нужно завоевывать: сомнения придают ей особую ценность. — Он вручил Витеку семь тысяч злотых, собранных на свободные профсоюзы. Витек не знал, что с ними делать; ксендз дал ему записку с адресом.

Назавтра он пошел по этому адресу. На дворе и на лестнице ему встретились какие-то гогочущие амбалы. В квартире среди перевернутой мебели и разбросанной утвари он увидел одинокую старую женщину.

— Пришли, принесли цветы... — рассказывала женщина. — От имени рабочих, мол... Благодарили за то, что помогаю им, когда они теряют работу, когда их выкидывают... Было приятно, я начала варить кофе, и вдруг самый высокий схватился за стол... Опрокинул... Все продолжалось пять минут.

— Испугались, наверно?

— Нет, — сказала женщина. — Мне ведь жизнь подарена. Врачи определили срок — три года после операции, а я живая, хотя уже двенадцать прошло. Раз Господь Бог даровал жизнь мне, нельзя бояться. Знаешь, что сказала мать Тереза из Калькутты, когда ее спросили, что можно дать человеку перед смертью? Веру в то, что он не один-одинешенек. Минуту назад я была одна. А тут пришел ты, и я уже не одна.

— Вы и в самом деле думаете, что это Бог? — спросил Витек. — Что это он даровал вам жизнь?

— А кто же? — удивилась женщина.

Лодзь готовилась к приему Харриса — известного английского целителя. Марек предложил Витеку поработать в общественном комитете, который организовал приезд. Харрис принимал пять тысяч больных ежедневно, собирался пробыть здесь три дня, так что надо было сперва выбрать пятнадцать тысяч из значительно большего числа страждущих, а затем с точностью до минуты препроводить их к Великому Целителю. На каждого пациента Харрис отводил по нескольку секунд. Организаторы-добровольцы и члены комитета трудились не покладая рук. Одна группа занималась непосредственно больными, другая — пропусками; кандидаты в пациенты представляли медицинские справки, каждому больному назначалось точное время приема, причем в график включались и те, кого привозили из больницы на "скорой", и те, кого доставляли на носилках. Витек столкнулся с таким множеством человеческих трагедий, таким множеством людей, нуждающихся в помощи и надежде, что самозабвенно взялся за работу. Как член штаба, он получил два номерка с правом посещения целителя и не знал, что с ними делать. Тетка, верная своим принципам, категорически отказалась — она считала происходящее данью суевериям, а Харриса шарлатаном, — и Витек отдал оба номерка спокойной сорокалетней Катажине, рассудив, что, постоянно занятая лечением людей, она сможет распорядиться ими с наибольшей пользой.

Когда Харрис уехал, Витек ощутил пустоту. Он обратился в службу занятости, и ему предложили работу санитара, дав понять, что, имея за пле-

чами четыре курса мединститута, он сможет выполнять и более серьезные обязанности. Но Витек не захотел возвращаться к тому, от чего недавно бежал и во что давно уже не верил. Он пошел работать в типографию. Пустоту, как видно, ощутил не он один из тех, кто занимался Харрисом. Однажды Марек с товарищем принесли ему домой большую пачку. В ней оказались книги; спустя несколько дней они втроем должны были развезти их по стране. Витек воспользовался свободной субботой и отвез книги в Санок. Принял их похожий на хиппаря парень, который вот уже несколько лет как поселился в Бещадах. Витек пробыл у него воскресенье, увидел, как люди, не так давно покинувшие город, пытаются в глуши найти подходящий для себя образ жизни: кто-то разводит овец, кто-то подался в дровосеки. Поговорив с ними, Витек понял: то, что они делают, подходит только им. Признав, что жизнь этих людей красива необычайно и их тяжкий труд достоин уважения, Витек ночным поездом уехал оттуда.

В нем крепла уверенность, что кто-то ждет книги, которые он развозит. Это приносило удовлетворение. Поскольку работал он в типографии, возникла идея поручить ему печатать книги. Витек согласился. Он познакомился с сыном своего декана, который, впрочем, уже не был его деканом, поскольку Витек спустя год не вернулся в институт. При этом он по-прежнему хорошо относился к декану и не любил, когда его сын, осуждая отца, бросал резкие слова в его адрес. Витек не был столь ригористичен и принципиален. Когда типографию неожиданно прикрыли, обнаружилось, что Витек, хотевший продолжить свою нелегальную деятельность, не может ни у кого узнать адрес другой типографии. Еще он заметил, что на встречах — на них пели песни под гитару и читали стихи — все меньше людей выказывают ему дружеское расположение.

Примерно тогда же он решил окреститься. Что именно подвигло его на это, Витек точно не знал: то ли зрелище великого страдания, которое ему довелось наблюдать в очередях к Харрису, то ли разговор о Боге тогда, на вокзале, а может, и то, что однажды, придя на могилу отца, он увидел склонившуюся над соседним холмиком молодую женщину, которая долго молилась, а потом распрямилась с просветленным, спокойным, невольно приковывающим внимание лицом. Он преодолел много трудностей, окрестился и, когда остался один в костеле, начал, опустившись на колени, молиться — по сути, впервые в жизни.

— Я сделал все, — вполголоса обратился он к Богу. — Окрестился. Теперь я здесь. И прошу Тебя: будь! Только об одном и прошу Тебя: чтобы Ты был. Никогда ни о чем Тебя не стану просить, только будь!

На одной из вечерних встреч, в большой квартире психиатра, где сильным голосом пел песни щуплый блондин, он увидел темноволосого парня, своего сверстника. Когда тот в толчее проходил мимо него, Витек тихо его окликнул: “Даниель...”

Юноша остановился. Он не узнавал Витека, но это и вправду был Даниель. Они вспомнили летний лагерь, Краснуху и молодую воспитательницу; по лицу Даниеля было видно, что все это ожило в нем; вышли они, как и положено, порознь, Витек немного подождал на углу и увидел подходящего к нему Даниеля с женщиной лет тридцати.

— Моя сестра, — сказал Даниель.

— Вера, — сказала женщина.

— Витек, — сказал Витек.

Даниель приехал на похороны давно уже расставшейся с отцом матери, которая тихо скончалась в маленькой квартирке на окраине Лод-

зи. Соседи нашли ее только спустя несколько дней, обнаружив под дверью четыре бутылки со скисшим молоком. Веру мы уже знаем. Это она сказала Бузеку, что рана его отца, которую она минуту назад увидела в ванной, выглядит так, словно из его ладони вытащили вилку.

Они пошли к Витеку домой, и Даниель ночь напролет рассказывал про свою Данию. У него там было все, отец строил автострады, но оба, а особенно он, Даниель, не могли избавиться от пронзительной тоски и ощущения, что они где-то слишком далеко. Даниель говорил, как по-датски будет "кофе" и " молоко", как сказать: "Я приехал в Лодзь неделю назад на похороны матери, а завтра должен уехать и не знаю, когда вернусь", а под утро все заснули на одной тахте. На рассвете Витека разбудил тихий плач. Это Даниель, уткнувшись лицом в плечо сестры, плакал во сне, а может, наяву. Утром Витек проводил их на вокзал. Пока Даниель покупал билеты, он спросил Веру:

— Приедешь в Лодзь?

— Через месяц. Ровно через месяц.

— Я хотел бы с тобой встретиться...

Даниель вернулся с билетами. Вера первой высунулась из окна вагона и сказала: " Разыщи меня".

В том месяце Витеку снова принесли книжки.

— Мы думали, ты причастен к провалу типографии, — сказал Марек, — но теперь знаем, что нет.

Витек очень болезненно воспринял это подозрение. Книги он разнес, но на вопрос, будет ли продолжать работать в типографии, ответил, что не хочет.

Он нашел Веру спустя месяц. Они пошли на "Дзяды"[1], а выйдя, долго молчали. Потом Вера сказала, что у них потрясающая история.

— У кого это "у них"?

— У вас, у тебя, у всех.

Она спросила, знает ли Витек что-нибудь о своих предках. Он знал. Они сражались в восстаниях. Дед — участник "чуда на Висле"[2], а отец бился с немцами под Познанью, в армии генерала Кутшебы[3].

— А я ничего не знаю, — сказала Вера. — Мама мне не рассказывала, а я не успела спросить. Я ниоткуда. Ты, наверно, не понимаешь, что значит "ниоткуда".

Витек остановился.

— Я тут живу неподалеку, — сказал он. — Твой поезд уходит через час. Хочешь, чтобы я тебя проводил, или обождешь у меня?

— Я могу сегодня не ехать. Пойдем к тебе, — сказала Вера спокойно.

Она осталась в Лодзи на несколько дней. Снова должен был приехать Харрис, и Витек оказался в числе организаторов его приема. На этот раз Харрис намеревался пробыть в Лодзи всего один день, а желающих оказалось больше, чем в прошлый раз. Витек снова зашел к тетке с пропуском, но тетка снова отказалась, а когда он выходил от нее, придержала его за плечо.

— Она еврейка? — спросила тетка, показывая на дверь его комнаты.

1. "Dziady" — народный обряд поминовения умерших. Так называется неоднократно инсценировавшаяся драматическая поэма Адама Мицкевича, являющаяся символом освободительного движения для многих поколений поляков.
2. "Чудом на Висле" в Польше называют разгром польскими войсками Красной армии в 1920 г. под Варшавой.
3. Тадеуш Кутшеба (1888—1947) в сентябрьской кампании 1939 г. участвовал со своей армией в ожесточенной битве с немцами на реке Бзуре.

— Да, — сказал Витек.
— Многие из них были великими коммунистами.
— Знаю, тетя.

[204]
ИЛ 8/2000

Вера уехала, когда развернулась активная работа. На вокзале в Варшаве ее ждал Бузек. У него было странное выражение лица, глаза блестели, он словно бы не замечал жену. Сказал, что уже третий день ее ждет, но чувствовалось, что это мало его трогало.

— Я же звонила, — сказала Вера.

Бузек не ответил; только когда они встали в очередь на такси, он наклонился к ней.

— Я знаю, кто это тогда отцу...
— И что?
— Получит по заслугам.

Бузек засмеялся. Вера взглянула на него.

— Я ничего не сделала с маминой квартирой, — сказала она.
— А чем же ты занималась?
— Изменяла тебе.

Подъехало такси. Бузек втолкнул в него Веру.

— Поезжай домой, — сказал он. — Жди там.

И захлопнул дверцу. Подъехало другое такси.

— На Медову Гуру, — оказал он водителю.

Так сложилась бы судьба Витека, если бы охранник с железной дороги раньше выпил чай в тот день несколько лет назад. Может, он еще теснее связался бы с теми, кто печатал книжки и бюллетени, а может, и нет. Может, собирал бы деньги с надежных людей и, скрупулезно пересчитав их, отдавал организаторам сбора средств. Может, участвовал бы в специальных богослужениях и с высоко поднятой головой выходил из костела, гордясь тем, что он делает для людей во имя лучшей жизни. Но, возможно, он сделал бы только то, о чем мы узнали, прочитав эти несколько машинописных страниц. И ничего больше.

Ну а если бы в тот день поезд тронулся на семнадцать секунд раньше, а охранник проканителился бы со своим послеобеденным чаем? Тогда, припустив вдогонку за поездом, Витек какое-то время бежал бы всего в нескольких шагах от поручней последнего вагона, но постепенно поручни бы отдалялись, а Витек терял скорость. Так ведь тоже могло быть, и, ради последнего рассказа о Витеке, допустим, что так оно именно и было.

Отдышавшись, он пошел обратно, волоча неудобную сумку. У выхода в город его ждала Ольга. Витек не ожидал этого; бледный от усталости, он бросил сумку на землю.

— Откуда ты взялась?
— Вот, взялась.

Она подняла сумку и подхватила его под руку.

На другой день, уже одетая, она спросила его — он еще лежал в постели:

— Поедешь в Варшаву?
— Сегодня нет.
— А вообще?

Ольга осталась. Она приносила покупки, варила суп, словно бы не замечая, что Витек фактически бездельничает. Потом относила суп тетке, а позже тетка стала приходить к ним обедать. Три месяца спустя они

обвенчались. Через год Витек вернулся в институт, окончил его — Ольга уже работала в больнице, ее устроила туда Катажина; вечерами, положив ей руку на живот, он мог почувствовать, как шевелится их ребенок. Потом он стал работать на "скорой ", а тетка сидела с ребенком, снова полная энергии, снова нужная. Не раз и не два ему удавалось спасти жизнь человеку. Это входило в его обязанности, но потом он несколько недель чувствовал себя счастливым. В институте он остался в должности ассистента, декан, вручая ему контракт, покачал головой. По воскресеньям он иногда ездил со студентами бесплатно лечить людей в окрестные деревни. Ольга, когда могла, тоже ездила с ними. В Лодзь приехал Харрис; они посылали к нему своих пациентов, но вечером Витек пародировал Великого Целителя, вознося руки над головой Оли. У Оли по-прежнему часто болела голова, он нежно целовал ее, и боль утихала. Она, как и в студенческие годы, была спокойная, рассудительная днем и, как в студенческие годы, агрессивная ночью.

Витеку удалось спасти девушку из общежития, окруженного толпой воинственных баб, когда на рассвете в подъезде был найден мертвый младенец. Он засвидетельствовал, что ни одна из обитательниц этого скромного, стоявшего на отшибе Дома студента не рожала накануне ребенка. Когда бабы разошлись, он вернулся в общежитие и сказал девушке, что она обязана явиться в милицию. И не стал проверять, пошла ли она туда, не сомневаясь, что она незамедлительно это сделает.

Как-то его вызвали в деревню к старой женщине, которую родные хотели отдать в дом престарелых; со двора доносился какой-то странный стук. Когда ему удалось убедить сорокалетнюю дочь старушки, что нет ничего хуже дома престарелых, он вышел во двор и увидел, откуда доносится этот стук. Между сельхозмашин стоял парнишка; он подбрасывал кверху и ловил тринадцать костяных шариков. Витек как завороженный смотрел на него, пока паренек не почувствовал на себе взгляд и не обернулся.

— Как вы это делаете?

— Десять лет уже упражняюсь, — сказал парень.

— И что?

— И ничего. Никто в мире так не умеет. Американец подбрасывает девять шариков, русский десять, а я тринадцать.

Несколько дней спустя Ольга застала его поздним вечером на кухне. Он стоял неподвижно, сжимая в руке яблоко. Раздумывал, сможет ли поймать его, подбросив высоко вверх.

Когда Ольга родила второго ребенка, он работал в больнице. Дежурства на "скорой" брал не ради денег, а по привычке, из потребности заниматься своим делом. Докторскую защищал и специализировался по кардиологии. Был в числе врачей, которых допустили на операцию профессора Барнарда, брата знаменитого хирурга из Кейптауна. Пациенты знали, что коньяк он не принимает; в их доме полно было цветов, даже зимой. Декан попросил, чтобы он заменил его в Ливии на научной конференции. Сам он не хотел хлопотать о заграничном паспорте, так как знал, что ему откажут: недавно арестовали его сына — деятеля оппозиции. "Подумайте, — сказал ему декан. — Это, быть может, единственная возможность на долгие годы вперед..." — "Полечу", — сказал Витек. Отъезд он отложил на два дня: хотел быть дома в день рождения жены. "Я очень люблю жену", — признался он служащей авиалиний. Она нашла свободное место на рейс через Париж и перебронировала билет.

За несколько дней до отъезда он пошел с Ольгой на "Дзяды". Заметил в публике темноволосую девушку. Кого-то она ему напомнила. Он внимательно присмотрелся к ней, она взглянула на него, возможно, ей он тоже кого-то напомнил. У Ольги было дежурство, поэтому она со старшим сыном проводила Витека только на вокзал. Витек выглянул в окно.

— Успел? — спросила Ольга.

— Успел.

Он высунулся в окно и перед самым отправлением поезда поцеловал жену и сына.

Экипаж иностранного лайнера не увидел среди проверяющих двигатели своего любимого механика.

— Где Бузек? — спросил один из пилотов молодого специалиста в комбинезоне.

— Не пришел, — ответил тот. — Что-то, должно быть, случилось. Звонили из милиции.

— Что именно?

— Не знаю, — крикнул в ответ механик. Пилот сел в самолет, проверил, все ли в порядке. Механик поднял кверху большой палец.

Перед началом своего первого заграничного путешествия Витек выпил рюмочку коньяка за компанию с коллегами из других мединститутов. На хорошем французском спросил стюардессу, сколько времени длится полет. Стюардесса с улыбкой ему ответила. Витек пристегнул ремни.

Самолет стартовал и, скрывшись за низкими тучами, вспыхнул вдруг неестественно ярким светом. Только через несколько секунд раздался сильный грохот, а чуть погодя вниз посыпались железные обломки, вращаясь в воздухе перед фиксирующей происходящее камерой.

Кадр из фильма

Витек на собрании молодежной организации наливал себе из бутылки содовую и вдруг замер со стаканом в руке.

Витек, регулирующий длинную очередь к Харрису у костела, так же внезапно прервал работу и неподвижным взглядом уставился вдаль.

Славомир Мрожек

Моя автобиография

Перевод С. Макарцева

МОЖЕТ ли моя биография заинтересовать человека, который никогда раньше даже не слыхал о моем существовании? На слонов я не охотился, не был ни агентом внешней разведки, ни любовницей Джона Кеннеди. Я не совершил ни одного, даже самого банального преступления и извращенцем тоже никогда не был. Ну а если в моей биографии нет ничего пикантного, чем же я смогу заинтересовать широкую общественность? Я всего только жил в этом мире. Пережил вторую мировую войну, немецкую оккупацию Польши, сталинский коммунизм и его продолжение, но тут хвалиться нечем, миллионам людей удалось то же самое. Нет ничего исключительного и в моей эмиграции, которая длится вот уже 27 лет.

Даже мне самому эти четки моей памяти, это простое перечисление фактов не слишком интересно. Один за другим, один за другим... Может быть, порвать нитку, рассыпать бусинки и брать наугад по одной? Вздохнуть, улыбнуться или поморщиться, отбросить бусину, взять другую и так далее? Конечно, можно и так, приемов хватает, только мне этого недостаточно. Прежде чем начать рассказ, я сам должен понять, для чего я его начинаю, и тогда любой прием потеряет значение.

Я начинаю – с надеждой, что по ходу рассказа проявится форма и смысл прожитой мною жизни. Не хотелось бы думать, что в ней был только хаос и случайные стечения обстоятельств.

Я родился 29 июня 1930 года. Как это произошло, не помню, и мне остается в это только верить. Если существует жизнь после смерти, я, пожалуй, так же не буду помнить своей кончины. Немного грустно, поскольку это, по сути, означает, что мы не можем быть уверены ни в собственном существовании, ни в отсутствии такового.

© S. Mrożek, 1988
© С. Макарцев. Перевод, 2000
Печатается с небольшими сокращениями.

Через много лет после моего появления на свет меня разобрало любопытство: в котором часу я родился. Кое-какие основания для такого любопытства у меня имелись, ведь ни один приличный гороскоп невозможен без точной даты и часа рождения. У матери я спросить об этом не мог – она умерла, когда мне было девятнадцать лет, а отец точно не помнил, так как был не совсем трезв, что для любого отца дело обычное и простительное. Он запомнил только – и почти был в этом уверен, – что я родился перед самой полуночью. "Почти", "приблизительно", то есть расплывчатость и неопределенность сопутствовали мне с самого начала. Наверное, именно поэтому я всегда мечтал о точности и определенности. Чем сильнее швыряла меня жизнь из стороны в сторону, тем острее становилось желание выйти на прямую дорогу; чем больше хаоса было вокруг меня, чем больше я его сам порождал, тем меньше он мне нравился и тем меньше я нравился самому себе.

Официальная дата моего рождения, 26 июня, неверна. Но так она была занесена в церковную книгу и так переходила из документа в документ. Приятно думать, что неправильно она занесена и в архивы нашей тайной полиции, хотя там любят истину не меньше, чем ее любил святой Августин, Паскаль или Кант (пусть и не в метафизическом смысле), и хотя в ее поисках там добивались значительно лучших результатов, иногда и у них случались ошибки.

Может, мне когда-нибудь удастся преодолеть свою лень или просто найти свободное время и позаботиться о том, чтоб хотя бы на моем надгробье, если судьба мне таковое предоставит, дата моего рождения была указана правильно. Я сделаю на этот счет соответствующие распоряжения, дам указания наследникам. Надеюсь, что неизвестный мне мастер, который будет высекать на моем надгробном камне две даты, не ошибется, по крайней мере, во второй из них – дате моей смерти. Эту ошибку я лично уже не смогу исправить.

Мой отец, Антоний, был сыном Игнация – бедного крестьянина из деревни Поромбка Ушевская Краковского воеводства. В семье Игнация было семеро детей. Когда отец закончил начальную школу, он самовольно отправился в уездный город Бжеско, чтобы поступить там в гимназию. Однако получить среднее образование ему не удалось. После первой мировой войны в 1920 году началась польско-большевистская война, и отец, которому было тогда семнадцать лет, вступил, как и многие другие, добровольцем в армию. Его редкие рассказы о той войне были ужасны. Голод и жажда, смертельная усталость долгих маршей, штыковые атаки, зубы и кулаки, резня и расстрелы и пленных, и мнимых шпионов.

Рисунок автора

Отец гордился своим участием в той войне, хотя никогда мне этого не говорил. И никогда я от него не слышал слов: "Польша", "Отчизна", "народ". Как и большинство, он просто был этим народом, нисколько о том не задумываясь и не произнося высоких слов.

После демобилизации отец в гимназию не вернулся, долго бедствовал: доходило до того, что он стирал свои рубашки в общественных туалетах. Наконец ему как-то удалось получить должность почтового чи-

новника, "агента", как тогда говорили, в деревне Боженцин в шестнадцати километрах от его родной Поромбки (где я и родился).

Сегодня трудно себе представить, какая это была удача для моего отца. Социальные различия между людьми физического труда и умственного, даже на самых скромных должностях, были огромны. Мой отец оказался по другую сторону барьера, обычно непреодолимого. Сразу стал "паном", получил право, обязанность и привилегию носить белый воротничок с галстуком, шляпу, перчатки и трость. Как "агент почтового ведомства" он вошел в круг местной "интеллигенции", состоящей из директора школы, учителей, врача, священника и владельца молочной и магазинчика "Разные товары". Этот "капиталист" сыграл большую роль в жизни не только моего отца, но и моей. Он стал моим дедом.

Звали его Ян Кендзёр; у него было три сына и три дочери. Одна из них, Зофья, часто забегала на почту по делам своего отца.

Антоний и Зофья поженились в 1927 году, когда отцу было двадцать четыре года, а матери — двадцать один. Годом позже родился мой брат Ежи (умер в четырехлетнем возрасте), а еще через два года — я. Последней родилась моя сестра. Мне кажется, что мои родители были не слишком удачно подобранной парой. Очень уж велики были различия в характерах, привычках, склонностях. На свадебной фотографии видно, что мать горбится и старается наклонить голову, чтобы не казаться выше отца, а тот стоит, неестественно вытянувшись. Это символичный снимок. Но сильное обоюдное чувство позволило, а безоговорочная преданность друг другу заставила их прожить годы супружества, никогда не усомнившись в правильности выбора. Личное счастье тогда не было ни демократически установленным правом, ни социально-мировоззренческой позицией. Обязанности были значительно проще, чем сейчас, и гораздо скромнее: вести домашнее хозяйство, воспитывать детей, не покидать супруга в нужде и болезни.

Дед Кендзёр тоже родился в крестьянской семье в Жешувском воеводстве. Семья, очевидно, была не из бедных, коли дед закончил сельскохозяйственное училище и основал собственную молочную ферму, точнее маслобойню. Его не любили. Он слыл человеком жестким, суровым и замкнутым. Ему ставили в вину, что он заставлял даром работать на ферме своих детей, а в отношениях с работниками и поставщиками не признавал никаких поблажек. Я тоже его не любил и побаивался. Сегодня, глядя на его фотографию, я думаю, что он не был таким уж твердокаменным, каким хотел казаться. Он не обладал даром располагать к себе людей и чувствовал себя среди них чужим, поэтому вошел в образ сильного человека и судорожно цеплялся за него, компенсируя внешней суровостью слабость характера.

Кроме фермы по производству масла и сыров у деда Яна было небольшое свиноводческое хозяйство. Это обстоятельство позволило мне в детстве изучать жизнь и свиней, и крыс, потому что крысы охотно плодятся близ свиней, не только пользуясь свинской едой, но и усваивая специфические свинские привычки. Детские изыскания пригодились мне в дальнейшем: из великого множества категорий рода человеческого две особенно близки этим животным.

К сожалению, мой дед Ян был капиталистом мелким, деревенским, захолустным и захудалым. К сожалению, потому что лично я предпочел бы иметь в дедах крупного капиталиста, масштаба хотя бы лодзинского фабриканта. Тогда бы в моем детстве все, быть может, не оказалось таким мелким, ничтожным и тесным.

Совершенно другого рода воспоминания сохранились у меня о деде Игнации, отце моего отца. Различия между обоими дедами начинались с их внешности. Ян был высоким, красивым, что называется солидным мужчиной, а Игнаций – маленьким, лысым, слегка кривоногим. В молодости он работал шахтером в Силезии, потом вернулся в родную деревню и женился на Юлии Немцувне. За свою работу церковным сторожем он получил от прихода клочок земли, тем и довольствовался. Я помогал ему звонить в колокола, и это осталось моим самым дорогим воспоминанием.

Дед Игнаций был милым, симпатичным человеком. На деда Яна он походил разве что своей немногословностью, но от молчания Игнация веяло спокойствием и доброжелательностью, и всегда казалось, что глубоко внутри он прячет лукавую улыбку. Иногда он рассказывал разные истории из своей жизни или услышанные от отца и деда, начиная со времен императрицы Марии Терезии. Рассказывал он также о вампирах, чертях и привидениях. Дед Игнаций был уверен, что под мостком, по которому я столько раз на дню проходил, живет Утопленник (а речка-то была маленькая, не река, а ручеек, – как он мог там утонуть?).

Дедами мое знание о предках ограничивается. Лишь об одном прадеде, отце матери моего отца, мне известно, что он служил жандармом в Венгрии. Отслужив положенный срок, поселился в Поромбке Ушевской, открыл лавку, но тут же разорился, так как единственным любимым его занятием было философствование.

Когда мне исполнилось три года, отца перевели на работу в Краков. Для него, образцового чиновника, это было значительное повышение по службе, а для меня – начало новой жизни в городе. Отец стал теперь полноправным чиновником. Он очень старался приспособиться к новой среде, но давалось ему это нелегко. Отец чувствовал себя выскочкой, парвеню, и в его поведении всегда ощущалась какая-то фальшь, будто он играл чужую роль. Инстинктивно, как ребенок, я это ощущал и страдал из-за этого, потому что стыдился отца. Вероятно, у него был комплекс неполноценности, который он компенсировал склонностью к мистификациям. Он не лгал, не выдумывал фактов, но те из них, что были ему неприятны, либо приукрашивал, либо тщательно скрывал от самого себя. Говоря об эмоциях, мотивах поступков, их причинах и следствиях, он уходил в мир фантазии, где все выглядело так, как ему хотелось, то есть прекрасным, добрым, благородным и бескорыстным. Иногда он впадал в ярость, иногда погружался в депрессию, но умел быть и обаятельным, особенно после пары рюмок. У него начисто отсутствовало самосознание. Отец принадлежал к тому типу мужчин, которых любят, что бы они ни делали, пусть даже ничего не делают. Такие женщинам нравятся. А я этого понять не мог – слишком хорошо я его знал, притом таким, каким его не знали другие. Возможно, именно отсутствие самосознания, полнейшая наивность и невинность и были основным элементом его неотразимого обаяния. Но благодаря отцу, точнее, глядя на него, я с раннего детства научился отличать сладкие фантазии от суровой реальности. Урок полезный, но заплатил я за него дорого.

То, что по социальным меркам для отца стало потолком и высшим достижением, для меня оказалось лишь полом первого этажа, если не потолком подвала. Балансируя между мелким и очень мелким мещанством, я и жил до отрочества, взрослел и формировался в этой среде, не утратив еще связи с родной деревней, с миром ремесленников и мел-

ких лавочников, сезонных рабочих, сельских учителей и священников, а также — при посредничестве моего дяди Анджея, в молодости известного силача, задиры и авантюриста, — с миром так называемых маргиналов, если говорить современным языком. Короче, с самой обычной, с самой банальной Польшей. Никакая "высшая" культура даже не маячила на моем горизонте.

До девяти лет обстоятельства, в которых я родился и жил, представлялись мне совершенно естественными и нормальными. Усвоенные мной понятия и принципы, приобретенные навыки казались единственно возможными и общепринятыми. Но позднее началось то, что сотрясло все здание моего мировоззрения и обусловило его разрушение. Война.

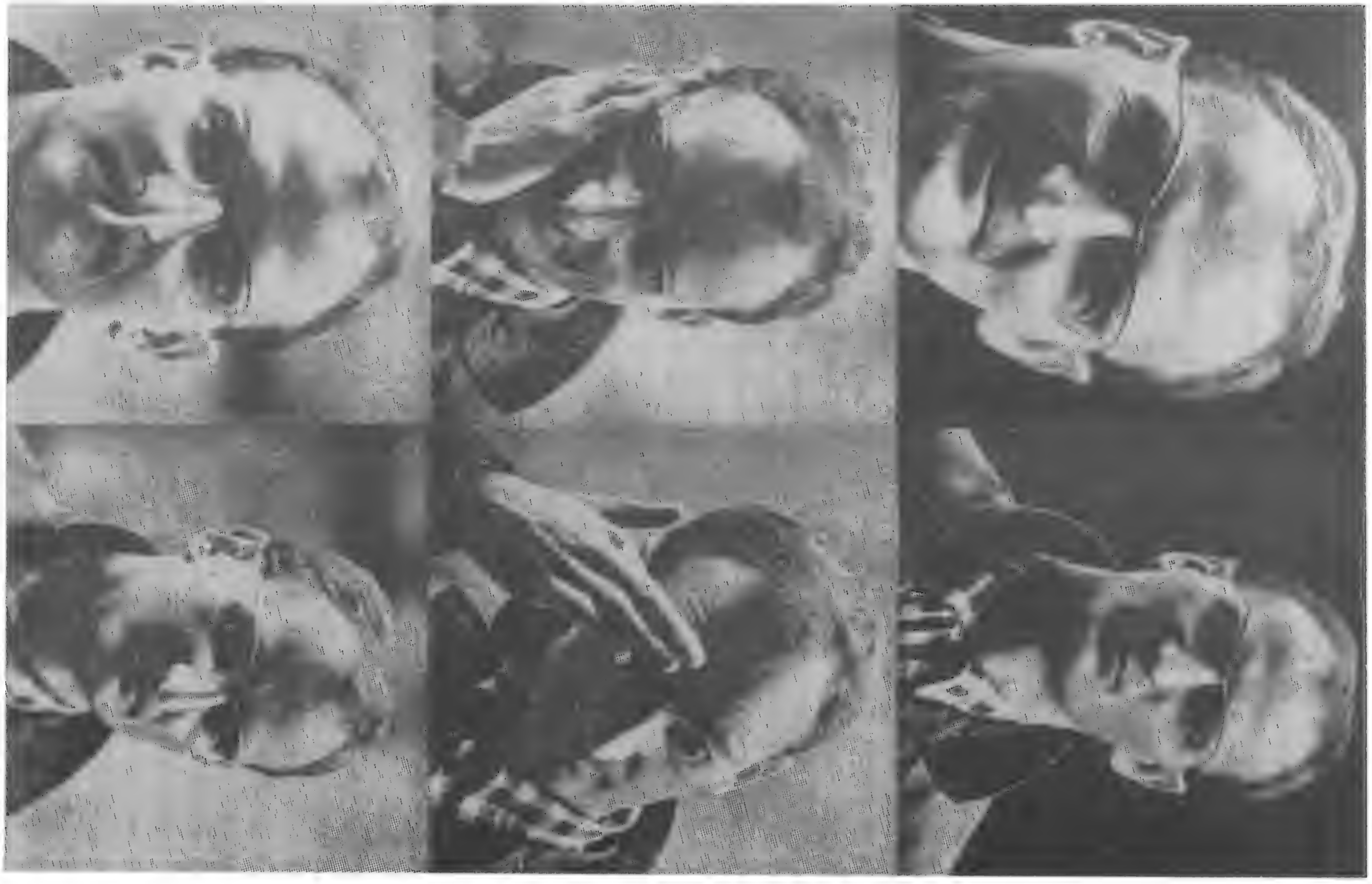
Было бы несуразной гиперболой считать, что война случилась лишь для того, чтобы разрушить мое детское мировоззрение. Мне бы хватило чего-нибудь менее значительного. А так — будто мегатонную бомбу на комара сбросили, и в результате этой чудовищной диспропорции между целью и средствами рухнуло все, а не только мое мировоззрение. Тогда-то я и приобрел — именно приобрел, потому что оно всегда со мной, а не испытал — ощущение, чувство или же предчувствие пропасти. Но не той банальной пропасти, которая начинается обрывом и заканчивается дном, а бездонной пропасти, протянувшейся от ничто в бесконечность. Она и начало и конец, а середины вообще не имеет. И всегда остается с нами.

Все пять лет войны я пребывал в каком-то оглушенном состоянии. Война совпала о периодом моей юности, то бишь расцвета — таким невинным словом называют подростковое убожество, физиологический сумбур, биологическую и психическую революции, террор подступающей сексуальности. Хорошенькие цветочки. Вне меня и одновременно во мне происходило нечто, перерастающее меня, с чем — так я думал — мне никогда не справиться. Отсюда, наверное, моя неуверенность в себе, которая преследует меня до сих пор как застарелая, мучительная, хотя и не смертельная болезнь. Эта неуверенность в себе наряду с уверенностью, что моя судьба точно знает, чего от меня хочет, и достаточно лишь к ней прислушаться, образуют одну из многих пар присущих мне противоречий.

Война кончилась, и от старых порядков ничего не осталось. Но понятия, ценности, ментальность не изменились, по крайней мере в масштабе моей семьи и моего социального окружения. Когда я вышел из состояния оглушенности, эта стабильность показалась мне очень глупой. Как же так, столько всего натворили, а ничего не изменилось? Какими вы были, такими и остались. Я еще не понимал, что верность понятиям и принципам может быть как глупостью, так и мудростью.

Во всяком случае, еще не оперившись, я повзрослел достаточно, чтобы обрести индивидуальность и осознать, что унаследованная мной система представлений и принципов далеко не единственная и не лучшая на свете.

А теперь внимание! Фанфары, оркестр, туш! На сцену выходит коммунизм в костюме супермена (для меня его надел) и с красивой (для меня, в частности, предназначенной) улыбкой на лице. Выходит? Нет, его скорее вносит на плечах Красная Армия. Странно, сначала я это понимал, как понимали все мы, то есть та серая, народная Польша, во имя которой, истосковавшейся по нему и призывающей его, коммунизм, как он утверждал, к нам и явился. Трудно придумать более вопиющую ложь,



но не менее трудно совершить столь же рискованное сальто-мортале, какое совершил я, поверив в коммунизм.

Виртуозы коммунизма обладали определенной мудростью. Не универсальной, а специфической, для которой более подходит слово "ловкость". Ловкость в сфере манипулирования отдельными личностями и толпой с одной-единственной целью — захват и удержание власти. В соответствии с теорией коммунистов из этого должно было произрасти всеобщее и всечеловеческое счастье. Как любая концентрация интеллектуальных способностей и материальных средств, их мономания приносила великолепные результаты. Когда коммунисты добрались до нас, за их плечами была долгая практика, следовательно, опыт и сноровка. Искусство их игры во власть вызывало тайное восхищение политиков, особенно, пожалуй, реакционных, то есть тех, кто как бы по определению обязан быть врагом коммунизма. Это было восхищение дилетантов профессионалами, халтурщиков — мастерами, зависть ремесленников с их убогими орудиями труда к специалистам высочайшей квалификации, снабженным новейшим оборудованием.

В двадцать лет я готов был, не заглядывая ей в зубы, принять любую политическую идею, лишь бы она была революционной. И все потому, что я переживал собственную, частную революцию.

Профессионалы это отлично понимали. Манипулирование молодежью было для них делом привычным. И вот они запели мне, перебирая струны романтической лиры: "Пойдем с нами, молодой человек. Мы тебе предлагаем именно то, в чем ты нуждаешься. И ты, и мы хотим одного и того же, разница между нами только в том, что мы знаем, как этого добиться, а ты нет. Да, этот мир прогнил, мы его вместе разрушим, а потом построим новый".

Мне и так повезло, что я не родился немцем году, скажем, в 1913-м. Из меня точно получился бы гитлеровец, поскольку техника вербовки была та же самая. Почему повезло, если не было радикальной разницы между нацизмом и коммунизмом? (Речь идет не об идеологических тонкостях, а о жизни и смерти людей, а они при обоих этих "измах" жили и умирали одинаково.) Повезло потому, что тогда бы я попал на войну уже взрослым человеком и на стороне Гитлера и сумел бы совершить намного больше подлостей, чем это довелось мне как коммунякающему щенку в 1950 году. Возможностей погибнуть на фронте, так и не одумавшись, тоже было больше, чем умереть, не дождавшись смерти Сталина.

Моя мать, единственный человек, с которым я мог поговорить, тяжело заболела и не выходила из больниц и санаториев. В последние годы ее жизни я виделся с ней всего несколько раз, навещая ее в этих печальных приютах. Если бы не болезнь матери, ее тактичность, мудрость и любовь ко мне, возможно, оберегли бы меня от опасной глупости. Возможно... Но это только предположение. Дом перестал для меня существовать, я редко видел отца и не жалел об этом. Я взрослел, и мои отношения с ним могли измениться только в худшую сторону. Часто я бывал голоден, донашивал ненавистные отцовские обноски, что еще больше меня унижало. То есть картина классическая. Я, двадцатилетний, шатаюсь по Кракову, в голове огонь и пух, а запах горелого пуха не особенно приятен. Пожираемый амбициями, жаждущий всего и ничего не умеющий, непризнанный поэт, не написавший ни строчки. Через три месяца после поступления на архитектурный факультет Краковского политеха я покинул это унылое здание бывших императорских казарм,

и меня там больше не видели. Я спал на чердаке у друзей, ел суп для бездомных в приюте сестер-монахинь. Словом, я был готов на все, потому что — как мне казалось — терять мне было нечего.

У меня личные счеты с коммунизмом. Я считал себя героем романтической революции, а был всего лишь мальчиком на побегушках у самой паскудной и лицемерной власти в истории. Меня одурачили. Но зачем предъявлять претензии к мошеннику за то, что он кого-то одурачил? Если ты дурак, то тебя и дурачат, а мошенник делает свое дело, и только. Почему бы не предъявить претензии к самому себе? Умом я это могу понять, но не чувствами. И логичным я умею быть, но решающую роль в моей жизни всегда играли порывы, инстинкты, симпатии и антипатии.

На мое счастье, мне не суждено было совершить преступлений или особо подлых поступков в период моего упоения тоталитаризмом. Спасла меня, вероятно, почти полная неспособность совершать поступки вообще при незаурядной способности переживать происходящее в воображении и на бумаге. Подрабатывал я тогда в местной краковской газете "Дзенник польски". Воспевал величие Иосифа Сталина и блага коллективизации сельского хозяйства. Далеко не все люди моего поколения отделались так дешево, особенно те, которые вместо того, чтобы писать да болтать, действовали. И то, что они успели натворить, искалечило их, сломало или совсем уничтожило.

Для меня все это продолжалось три или четыре года. Точной даты, когда я сумел отказаться от коммунистического грудного молочка, я указать не могу, потому что это был процесс постепенный, хотя и довольно быстрый. Но у меня хватило ума — да и внешние обстоятельства помогли — окончательно распрощаться с этим идиотизмом.

Мне перевалило за двадцать, и модель моей жизни уже могла сложиться. Я имею в виду тот внутренний образ, который определяет внешнюю картину жизни человека. Во мне происходила борьба между тяготением к порядку и анархистскими порывами. Конфликт был неизбежен из-за резкого изменения условий и принципов моей жизни. Когда я появился на свет, в маленьком устоявшемся мирке моего детства царил порядок, и он казался незыблемым. Но война продемонстрировала мне другую сторону жизни: это было страшное зрелище нечеловеческого насилия и космической ярости. Я испугался, но мой страх сопровождался восторгом. Уже закончилась породившая хаос война, а я продолжал ее в своем юношеском бунтарстве. И тут коммунизм предложил объединить революционный порыв со стремлением к порядку. Увы, обернулось все унизительной и тупой муштрой. Я никогда не забуду упоительного ощущения свободы в виду тех безграничных перспектив, которые открылись передо

мной, когда я понял, что покончил с коммунистической муштрой. Подошло время для новой авантюры.

И она началась в форме так называемого "литературного творчества". Мой опыт журналистики, каким бы идиотским он ни был, дал мне возможность писать и печататься. Навсегда простившись с идеологией, я открыл в себе способность писать, ни на кого не оглядываясь, оставаясь самим собой. И обстоятельства благоприятствовали дебютантам, так как страна истосковалась по живому и правдивому слову. После сплошных вырубок, учиненных на первых порах коммунистами, благожелательно воспринимался каждый новый зеленый росток.

Нация была на подъеме, моя писательская карьера в Польше тоже не отставала. Моя первая серьезная книга, то есть книга, написанная мною самим, а не продиктованная моей дуростью, вышла в 1957 году и пользовалась большим успехом. Это был сборник коротких, очень коротких, но во всех отношениях острых рассказов. До сих пор, хотя прошло более тридцати лет, некоторые из этих рассказов остались в памяти людей моего поколения, то есть тех, с кем я прожил свою юность и разделил радость и энергию внезапного возвращения молодости. Отдельные фразы из книги превратились в пословицы и поговорки, что доказывает, насколько мои мысли были тогда близки и понятны моим соотечественникам.

Национальный подъем замедлился, потом застопорился, а моя карьера продолжалась. В начале шестидесятых меня радушно приняла столица, Варшава, куда я переехал из Кракова уже как некая знаменитость. В этот период статус писателя, художника, артиста расценивался все еще настолько высоко, что о большем нельзя было и мечтать.

Меня поставили на довольствие для спецболонок. Самолетов мы не делали, зато болонок баловали.

Моя слава еще больше упрочилась, когда мне удалось прорваться на западный рынок, где успех ко мне пришел почти так же быстро, как в Польше. А занавес тогда был более железным, чем сейчас, когда железо превратилось в дерьмо. Обратным результатом коммунистической пропаганды стало преклонение перед всем западным. В странах Восточной Европы люди упивались фантастическими мечтами о западном образе жизни, поэтому появление моих книг и пьес на Западе упрочивало мою славу и известность на родине.

Заканчивалась еще одна авантюра. Я переступил зловещий рубеж тридцатилетия, и мое будущее можно было прогнозировать. Я все больше входил в образ пребывающего в довольстве, тепле и безопасности, сравнительно обеспеченного, хорошо приспособившегося почетного члена клуба болонок. И с удовольствием пользовался дарованными мне привилегиями, однако все чаще и чаще меня охватывало ощущение ирреальности происходящего. Я начал понимать, что живу в иллюзорном мире, управляемом законами, единственным назначением которых было воспроизводство и фиксация иллюзий. Жизнь заперли в пломбированный вагон и пустили по кругу, уверяя, что другого пути нет. Я пользовался известностью в определенных сферах, но не была ли моя известность лишь иллюзией в царстве иллюзий? И я почувствовал, что не могу и дальше мириться с фальшью и неестественностью собственной жизни.

Женился я в 1959 году, слишком рано, и дело тут не в возрасте, а в моей неутолимой жажде приключений, в почти мистическом стремлении выйти за рамки реального и осязаемого, что, разумеется, трансфор-

мировалось в категории эроса и секса. Не знаю, прав я был или ошибался, но меня не оставляло ощущение, что женитьба стала камнем преткновения на долгом пути к Абсолюту. Поэтому я расценивал ее как некий жалкий компромисс или даже капитуляцию. Меня разрывали на части мои чувства к жене и безумная жажда приключений, и я не мог сделать жену счастливой.

Короче, я опять определился, окружающий мир упорядочился, но стены все сильнее давили на меня. Подошло время их раздвинуть.

В 1956 году я впервые побывал за рубежом, в России. Сам факт пересечения границы был полезной встряской, тем более что я ехал в страну, которую высоко ценил как особый вариант духовного и материального бытия, именуемого Россией. Одним из самых ярких впечатлений моей жизни осталось то раннее майское утро в Одессе, когда я стоял на вершине знаменитой лестницы и смотрел на порт. Однако посещение России считалось не совсем зарубежной поездкой, ибо то была Советская Россия. Я понимал, сколь велика разница между русским и советским, но эти два элемента так переплелись и второй из них так явно превалировал, что я, как турист из коммунистической страны, не мог чувствовать себя по-настоящему за границей.

Настоящим зарубежьем были Вена, Париж, Лондон. Позже именно в такой последовательности я побывал в этих городах, пересекая не только границы, но и тот мистический рубеж, разделяющий две диаметрально противоположные цивилизации. Обитатели Восточной Европы болезненно переживали эти различия, а тех, кто жил на Западе, они не интересовали. Было бы небезынтересно понять, почему люди, которым доступна любая информация, столь невежественны в определенных принципиальных вопросах, в то время как их собратья, которых намеренно держат в темноте, так много о них знают.

Но окончательное осознание всей огромности нашего мира и безграничных возможностей для жизни на нашей планете пришло только тогда, когда я пересек Атлантику (на одном из доживающих последние дни океанских лайнеров) и высадился на североамериканском континенте. Это произошло в 1959 году благодаря приглашению от Гарвардского университета на летний международный семинар, который вел Генри Киссинджер, в то время профессор политологии. Мне представилась возможность увидеть выплывающую из тумана статую Свободы — этот фирменный знак и сколок США для многих миллионов людей, прибывших сюда раньше меня. Те два месяца, которые я прожил в Америке, коренным образом изменили меня, хотя мне до сих пор не понятны ни природа этих перемен, ни их последствия.

Потом опять была Варшава. 3 июня 1963 года я и моя жена сели в самолет, отправляющийся в Рим. Официально это была туристическая поездка в Италию, но я собирался остаться там подольше, чем на пару недель, чтобы испытать, каково оно — жить и творить вне тюремных стен, где-то в открытом пространстве, в мире неведомых возможностей.

Мы поселились в Кьявари — небольшом городке Итальянской Ривьеры — в самый разгар курортного сезона. Там было чудесно, но возвращаясь с солнечных пляжей в комнату, которую мы с женой снимали в рабочем квартале вдали от роскошных вилл побережья, я — в окружении гипсовых мадонн и комаров — превращался в боксерский ринг, где без зрителей и без правил дрались два равных по силам чемпиона: Дикая Надежда и Жестокий Страх.

Это был страх перед будущим. Лето заканчивалось, волна беззаботных туристов откатывалась на север, оставляя провинциальный городок в его межсезонном убожестве и меня, севшего здесь на мель. Начались дожди, холода, по-хозяйски задул ветер. Мы сняли другую квартиру, на этот раз ближе к морю. От гипсовых мадонн я избавился, зато теперь мог любоваться лижущими стены длинными языками сырости. Это была дешевая постройка на склоне холма, и подземные воды пропитали сыростью всю кирпичную кладку. В сильный дождь с потолка капало, а в бурю начинался настоящий потоп. Созерцая следы поразившей стены проказы, я с грустью вспоминал мою теплую квартирку в Варшаве.

Торг с польскими властями длился пять лет. В мои планы входило создание прецедента — приобретение особого статуса польского писателя, живущего за границей за свой счет и вне юрисдикции польского государства. Срок действия наших заграничных паспортов и итальянских виз скоро закончился, и начались мои бесконечные визиты в польское консульство в Риме и в итальянскую префектуру в Генуе, где я понял, что значит быть иностранцем с сомнительным видом на жительство (теперь к таковым принадлежит весьма значительная часть человечества).

С. Мрожек (карикатура Анджея Стопки)

Спасовав перед моим упрямством, хозяева Польши уступили и пошли со мной на сделку. Они предложили мне долгосрочный заграничный паспорт в обмен на то, что я буду поддерживать их пропаганду и убеждать Запад, что дела в Польше не так уж и плохи, свобода творчества обеспечена, а все попытки уверить нас в обратном — не более чем реакционные домыслы. Я должен был стать их живым аргументом. Мне деликатным образом предлагали деликатную работу, то есть такую сделку, за которой тянется многолетняя традиция. В качестве классического примера можно назвать гениального в этом жанре Илью Эренбурга. Недостатка в последователях у него никогда не было, некоторые весьма преуспели: вчера лучшим был Евтушенко, а сегодня — уж не знаю кто.

Условия сделки должны быть выгодны для обеих сторон. Не желаете ли жить, где и как вам заблагорассудится, сохранив свои привилегии на родине, получать гонорары в твердой валюте, путешествовать сколько душе угодно, мотаться между Варшавой и западными столицами, даже поддерживать отношения с нашими заведомыми недоброжелателями? Даже со-

глашаться, что не все идеально и в наших пределах, но кто же без греха? Более того, можете намекнуть, что вы не во всем с нами согласны, представить себя как бы жертвой, подмигнуть разок-другой, здесь обронить намек, там подпустить критики, а уж какой это будет намек, какая критика или комментарий в той или иной ситуации — мы оставляем на ваше усмотрение, полагаясь на свойственные вам тактичность, интуицию и разум.

Лазейки для подобных миссий на Западе всегда оставались открытыми. Такие перелетные птички пользовались здесь большим спросом, и встречали их с распростертыми объятиями. Сразу по прибытии в Италию я стал получать приглашения выступить с лекцией или сообщением на всевозможных конференциях, конгрессах и других говорильнях типа: "Пройдем вместе этот путь", "Круглый стол", "Мосты между Западом и Востоком", "Культура выше политики". Все по высшему разряду: сказочные гонорары, роскошные отели на Сицилии или модные альпийские шале в Баварии, воздушные турне по любым маршрутам. Искушение было велико, и я бы поддался ему, если бы мог принять условия игры. Но я не мог, потому что раньше уже съел свою порцию дерьма и, хотя еще не готов был все это выблевать, снова глотать дерьмо не хотел. Желудок судорожно сжимался, но страх не позволял применить радикальные средства для его опорожнения. Наконец я поставил точку, согласившись только на одно их условие: "Можете убираться, но держите рот на замке, и мы оставим вас в покое". Однако они все еще старались ухватить как можно больше: гордыня их власти не смирилась, хотя близилось общее банкротство политической системы.

Но пока я не вернулся (а я опять увидел Польшу только через пятнадцать лет), руки пастухов не могли дотянуться до овцы, отбившейся от их стада.

Я сумел удержаться на западном рынке и даже укрепить свои позиции, что позволило проститься с унылой нищетой меблированных комнат. Италия стала моим домом — не по факту рождения, разумеется, и не на законном основании, а просто по месту проживания. После первых лет привыкания и ученичества западный образ жизни стал для меня сначала ближе, а потом и естественнее, но я все еще оставался на поводке, хотя поводок этот был довольно длинным.

В Польше продолжали издавать мои книги и ставить мои пьесы. Власти считали политически нецелесообразным запрещать их, так как я был настолько известен широкому кругу читателей, которые даже не знали о моем отъезде из страны, что скандал был бы крайне нежелателен. Негласное соглашение, оказавшееся для меня выгодным, воспринималось другой стороной как вынужденная и временная уступка. Они выжидали, когда моя решимость поколеблется.

Был ли я тогда счастлив?

Опять обжиться и успокоиться значило бы для меня сдаться, вернуться к прошлому, отказаться от нового приключения. Вновь пришло время революционного поворота в судьбе. Совершить его можно было, только переехав в другую страну, и в феврале 1968 года мы перебрались в Париж. Я хотел революции, и я получил ее: через два месяца грянули известные события мая 1968 года. В поисках революции для личного употребления я оказался в центре массового революционного движения. Тогда я не был уже настолько молод, чтобы пристраиваться со сво-

ими личными проблемами к общей ситуации и ради удовлетворения собственных амбиций и страстей присоединяться к какой-либо политической секте или массовому движению. Я уже получил хороший урок в давней пьянящей, но оскорбительно бессмысленной попытке спасти свою душу, спасая весь мир.

Утратив способность обманывать самого себя, я осложнил свою жизнь на ближайшее десятилетие, и это дает о себе знать до сих пор, заставляя меня с подозрением относиться к общепринятым воззрениям на большинство известных событий, нововведений и перемен. В 1968 году мне вновь предлагалось нечто вроде сделки, похожей на ту, которой удалось избежать в начале моей жизни в Италии. Только теперь я имел дело не с консульством Польши в Риме, а — как бы сказать? — с ситуацией? социальным процессом? историей? Zeitgeist?[1] Так или иначе, здесь не присутствовала чья бы то ни было чужая воля, просто все определялось случайно сложившимися, обезличенными обстоятельствами. Хотя условия сделки смягчились, она стала еще более каверзной. Меня не заставляли защищать коммунистическую диктатуру или даже просто молчать о ней. Я имел право — и это даже поощрялось — осуждать тоталитарный режим как мне заблагорассудится, лишь бы признавал, что ваша борьба, дорогие революционеры из Беркли, Латинского квартала и с Курфюрстендамм, — это моя борьба. Ваши идеалы, сестра Джейн Фонда, брат Кон Бендит и кузен Баадер, мне безумно нравятся. Мы вместе восстали против общих угнетателей. Источник марксизма прозрачен и чист, только ручей кое-где загажен злокозненными негодяями. Вы выступаете против ваших капиталистов-империалистов, я — против своих негодяев, и вместе мы учреждаем Царство любви и мира во всем мире. По этому случаю, еще задолго до учреждения Царства, мне гарантируется карьера, реклама и легкий подъем к вершинам профессионального успеха. Волна всколыхнулась большая, серфинг мог получиться отменный. У меня не было оснований защищать старый режим, и не только потому, что он уже разваливался и ничто не могло предотвратить его окончательный крах, а прежде всего потому, что он никогда не был моим. Я — посторонний во всех культурных революциях, которые время от времени вспыхивают в так называемом западном буржуазном обществе. Многое из того, что происходит в мире, — идиотизм, который усугубляется день ото дня, но осуждение этого идиотизма представляется мне банальностью. Я мог сочувствовать взрыву эмоций и праведному гневу новых революционеров, но не их идеям и программам. Инстинктивная тяга к чистой эстетике однажды уже овладела мной в мои двадцать с лишним, но скоро угасла, не сумев защитить меня в то время. Теперь же она возродилась и не позволила — о чем я сожалел — принять участие в авантюре, которую мне навязывали внешние обстоятельства. Я понимал, что "все относительно", даже не поклоняясь теории относительности, этому новейшему божеству. Так как многое (но не все) в мире относительно, то для человека вроде меня, который явился с другой стороны, из иного времени и с иным опытом, спектакль, разыгрываемый на местных подмостках, казался смешным и нелепым. Что я могу подумать о страданиях Нормана Мейлера, чьи жалобы на качество завтрака, поданного к тому же с опозданием, широко пуб-

1. Дух времени (*нем.*). (*Прим. перев.*)

ликовались и живо обсуждались в местной прессе? Такие доказательства невыносимого гнета хороши для вас, но никак не для меня.

В 1969 году моя жена внезапно скончалась от ураганного рака. Она была существом высочайших достоинств, и ее единственная ошибка состояла в том, что она встретила меня, когда я еще не был готов к этой встрече. Больше на эту тему я не хочу говорить. Мои чувства и мой опыт — это мое личное достояние, и таковым оно останется навсегда. У меня чрезвычайно развито стремление оградить свою личную жизнь, и эта особенность характера мне самому сильно мешает.

За год до того, как это случилось, событие иного порядка резко изменило мою жизнь. Войска стран Варшавского договора оккупировали Чехословакию, и польская армия приняла в этом участие. Я помню прекрасный летний день и то слепое бешенство, которое охватило меня, когда я по радио услышал первые известия из Чехословакии. Раньше, хотя это стоило мне все больших усилий, я как-то сдерживался, оставаясь в унизительной ситуации человека, которому есть что сказать, но который из страха молчит. Однако теперь я не выдержал. Один раб пинает другого, чтобы угодить их общему хозяину, — я не хотел быть таким рабом. Какое блаженство, когда нечто, глубоко спрятанное внутри, вдруг взрывается и толкает тебя на поступок — не важно какой! У меня было несколько таких моментов в жизни, и, думается, именно они наиболее ценные, жизнеутверждающие импульсы нашего существования.

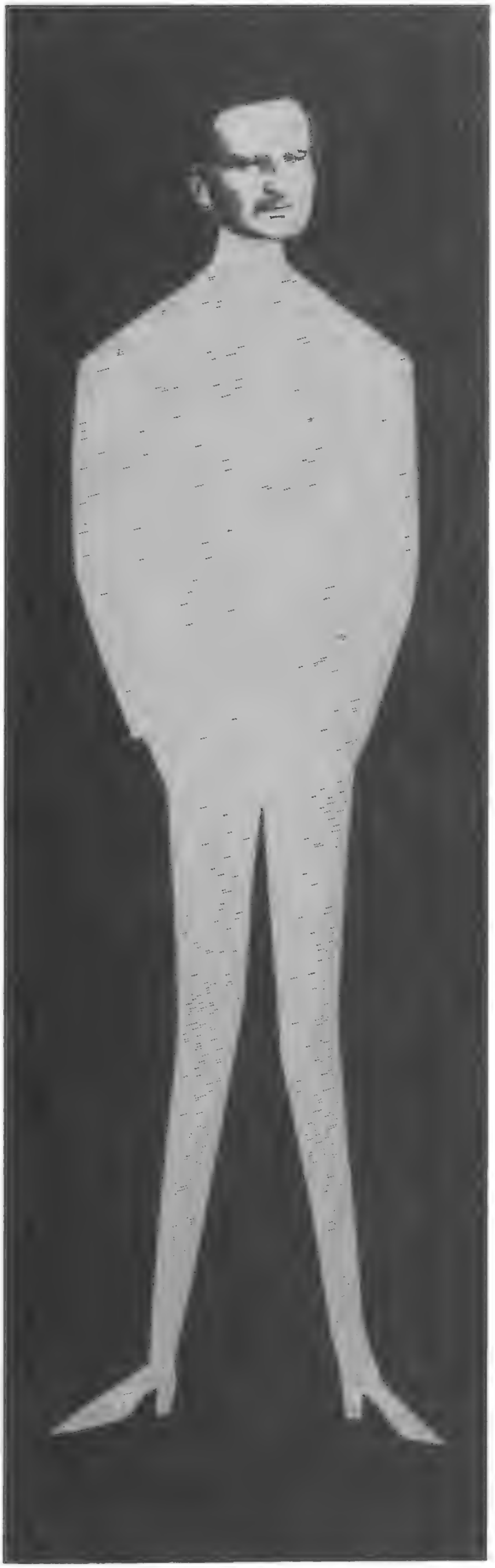
Мое открытое письмо с осуждением агрессии опубликовали крупнейшие газеты всего мира, и я был немедленно вызван в польское посольство. Срок действия наших заграничных паспортов опять истек, а наши составленные по всей предписанной форме заявления с просьбой о продлении визы осели в таинственных недрах, где директивно вершились судьбы и принимались решения. Уже в дверях консульского отдела я понял, что к чему. Даже не взглянув на меня, будто я не более чем пустое место, чиновник сообщил стене за моей спиной, что мы с женой обязаны вернуться в Польшу в двухнедельный срок. Бедный молокосос, он все еще думал, что я в его власти. Я повернулся и ушел навсегда.

Мгновенно все мои книги исчезли с полок польских книжных магазинов: полицейские машины объезжали магазины один за другим, и в них бросали пачки моих книг. Мои пьесы изъяли из репертуаров театров. От висевших над окошками объявлений "Все билеты проданы" остались только воспоминания. В то же время прессу наводнили статьи, окончательно срывающие маску с моей физиономии. Это была физиономия предателя, еврейского прихвостня, по приказу сионистского подполья коварно вливающего яд в душу польского народа, растлителя молодежи, лизуна капиталистической задницы и сосуна липкой империалистической титьки, потерявшего последнюю совесть иуды Социалистического Отечества, оклеветавшего польские национальные традиции и патриотические идеалы. Все это сыграло мне на руку, послужив обоснованием моей просьбы о политическом убежище во Франции.

Не буду скрывать: это был драматический момент моей жизни. Не столько в связи с запрещением моих книг и пьес в Польше и совсем уж не из-за нападок коммунистической прессы. Обычным итогом коммунистической пропаганды стал обратный результат. Люди начали относиться ко мне с бóльшим уважением, отдельные экземпляры моих книг, уцелевшие после реквизиции, превратились чуть ли не в предметы роско-

ши, пользовались спросом и высоко ценились на черном рынке. Но никто не может сжечь мосты, связывающие его с родиной, не испытав при этом чувство вины. Впрочем, радость от того, что ты свободен, что ты наконец поступил правильно и честно, что сумел сохранить человеческое достоинство, была сильнее.

С. Мрожек (коллаж Даниеля Мруза)



А как же с моим противоречием "порядок – авантюра"? После смерти жены и окончательного разрыва с коммунистической Польшей я был одинок, свободен и предоставлен исключительно самому себе. Прекрасное время для приключений. Я сотворил для собственного пользования образ авантюриста-одиночки, укрепился в нем и много лет работал над его усовершенствованием. Сначала это доставляло мне удовольствие. Раньше я никогда не был полностью свободен. Мое страстное стремление к свободе всегда так или иначе подавлялось либо ограничивалось. Теперь я ее добился.

Последующие годы были весьма бурными, особенно в сфере так называемой частной жизни. Мое дикое, почти маниакальное желание оградить свою независимость вскоре привело меня к конфликту с основными законами межчеловеческих отношений и с оборотной стороной моего собственного естества.

Я путешествовал по Северной и Латинской Америке – Бразилии, Венесуэле, Мексике. Полгода жил в Нью-Йорке, некоторое время даже преподавал в университете штата Пенсильвания. Направляясь из Калифорнии к Восточному побережью, пересек на автомобиле южные штаты. Год прожил в Западном Берлине. Итак, освободившись в один прекрасный день от польского паспорта, который гирей висел у меня на ногах, я объехал почти весь мир. И в профессиональной сфере приключение удалось на славу (включая попытки выступить в качестве сценариста и режиссера в кинематографе).

Я уже упоминал о том, что в начале семидесятых годов я сформировал свой собственный образ. Человек не сможет прожить, не определив путем долгих усилий и поисков характерную для себя роль – в моем случае это был образ авантюриста-одиночки. И я пытался жить согласно заданной роли. Но с годами росли противоречия между высокими понятиями о приключении и его однообразном практическом осуществлении. Когда нет ощущения чего-то всегда свежего и нового, чего-то неожиданного и исключительного, это уже не приключение. Но как сочетать "всегда" с "исключительным"? Подмостки построены, костюмы пригнаны, но вечер премьеры остался далеко позади, а публике надоели повторные представления. Приключение начинает киснуть.

Между тем в Польше произошли перемены. Нация в период застоя и развала попробовала воды из других родников. На арену вышла новая команда. Подъем рабочего движения в 1970 году привел к изменениям во властных структурах. Новые правители (теперь в свою очередь отставленные в пользу новейших) столкнулись с новой реальностью, и в их методах правления кое-что изменилось. Будучи новыми, они стали строить отношения между управляющими и управляемыми с новых позиций и в новом стиле.

В начале семидесятых меня как польского писателя в Польше реанимировали. Запрет на мои сочинения действовал только два или три года, но правила игры требовали, чтобы между полным запрещением вплоть до изъятия и новым безоговорочным признанием был некий переходный период. Они решили воскресить меня, но не сразу и вдруг, а постепенно, частями; воскрешение осуществлялось, так сказать, в рассрочку. Почему? Возможно, потому, что, если бы отважились на немедленную реанимацию, все бы заметили, что раньше я как бы считался мертвым. Коммунистическая схоластика власти была непонятна западному обществу, а если понятна, то казалась смешной и нелепой. (И зря: даже при всей ее нелепости последствия весьма серьезны.) Только верховные жрецы владели тайной наукой власти и политики, которая казалась невероятной профанам и оставалась недоступной для правоверных.

После пятнадцати лет сначала добровольной, а потом вынужденной ссылки я впервые посетил Польшу. В то время у меня уже было французское гражданство. Я пережил тогда нечто вроде приступа шизофрении. Моя личность раздвоилась: одну свою часть я воспринимал как польскую, а другая, равная ей, казалась чужестранцем в собственной стране. Это был результат слишком однобокой жизни. Теперь, просыпаясь по утрам в родном Кракове, я смутно слышал доносящиеся из-за открытого окна голоса играющих во дворе детей и понимал, о чем они говорят, даже не задумываясь об этом. Я опять обрел естественную полноту общения с окружающим миром. Прогуливаясь по центральной улице Кракова и сворачивая за угол, я внезапно почувствовал странную комфортность и легкость во всем теле. Я опять свернул с центральной улицы за угол – то же самое. И тут я понял, в чем дело: это был тот самый переулок, в который я сворачивал бог знает сколько раз в моей далекой прошлой жизни, трезвый или пьяный, молодой и не очень, ночью или днем, под солнцем или в дождь, пока он не превратился в пространственное продолжение моего тела.

С другой стороны, я был иностранцем. Пятнадцать лет жизни в эмиграции сделали свое дело. Даже оставаясь физически в Польше, мысленно я жил по обе стороны границы. Не той границы, что обозначена

пограничными знаками и таможнями, а тонкой линии, разделяющей образ жизни, накопленный опыт, интеллектуальное развитие. Оставаясь со своим народом и со всей очевидностью являясь частью его, я чувствовал себя лжецом и обманщиком. Я понимал, что, если я готов уехать отсюда, значит, я никогда сюда по-настоящему не возвращался. Такова правда ситуации подобного рода.

Я строго придерживался частных рамок моего визита в Польшу и с тех пор всегда следую этому правилу[1]. Опыт подсказывает, что участие в общественной жизни сверх необходимого минимума не идет мне на пользу. К тому же в Польше я не нуждался ни в какой рекламе и избегал публичности.

Во времена "Солидарности", мощного всенародного движения, которое почти преобразило "социализм с человеческим лицом" (мне всегда казалось странным, почему эта надуманная и двусмысленная лингвистическая несуразица вошла в повседневный обиход и никто не пытался протестовать хотя бы с чисто семантических позиций. Защитниками социализма она преподносится как высшее достижение, хотя звучит как издевка, сливаясь по смыслу с такими уродливыми словами, как "оборотень" и прочие получеловеческие-полузвериные монстры. Но такие лингвистические казусы, наверное, неизбежны как результат засилия дурного вкуса), — так вот, во времена этого народного движения, которое почти преобразило "социализм с человеческим лицом" в просто человеческое лицо, я держался в тени. Я симпатизировал "Солидарности", но заявлял о своих симпатиях не слишком часто и не во весь голос. Мне довелось повидать слишком много интеллектуалов, которые спешили поддержать победителя или того, кто таковым казался. Тех, кто среди бела дня кричал: "Скоро рассвет!" — и требовал награды за проницательность. А также тех, кто заранее чуял, откуда ветер задует, и поворачивался в соответствующую сторону.

Сбросить старую кожу и нарастить новую — дело тонкое. Смена идеологий, религий, пристрастий — это незаурядная операция, требующая тщательной подготовки, тем более что она происходит на публике. Отказ от прежних союзников, партий, блоков — в особенности если он сопровождается шумными демонстрациями собственной правоты — не всегда дается легко: кое-кто не соглашается безоговорочно принять новую веру. Впрочем, никто не отрицает, что подобные сальто-мортале закономерны и что эволюция любого человека и его право на ошибку естественны. Пока человек публично заявляет о своем перевоплощении только на уровне идеологии, для недоверия ему меньше оснований. Но когда такой ловкач активно включается в политическую деятельность, искренность и серьезность его мотивации подвергается сомнению. Тем более если в качестве "перестройщика" выступает не скромный рядовой старой армии, а высокий чин или вождь, который в надежде вернуть себе прежнюю власть собирается в последний крестовый поход.

Когда "Солидарность" была разгромлена, я пережил те же чувства, что и большинство, — нечто вроде отчаяния в сочетании с яростью и ощущением оскорбления и унижения. Я написал целую серию направленных против режима саркастических эссе, довольно, должен признаться, мерзких. Они были изданы на Западе, а затем перепечатаны в польском самиздате. Эти сатиры не представляли особой ценности как художествен-

1. В 1996 году Мрожек вернулся в Польшу; живет в Кракове (*прим.ред.*).

ное произведение, хотя отличались эффектной экспрессивной формой и злободневностью. В связи с чем передо мной вновь встал вечный вопрос: должен ли писатель вмешиваться, жертвуя своим творчеством, в политические конфликты, сколь бы это ни казалось ему справедливым и благородным, или он обязан посвятить себя только творчеству? Чему он должен служить — политике или духовности? Любые попытки ответить на эти вопросы в абстрактной форме кажутся несколько глуповатыми, так как все зависит от конкретной ситуации. Если вы получили по физиономии, маловероятно, что вы откажетесь от ответного удара, сообразуясь в этот момент со своими глубокомысленными идеями. Но драка есть драка, хотя сами по себе затрещины не украшают интеллектуала и не добавляют ему глубокомыслия. Есть такие политические конфликты, которые и политическими-то назвать нельзя. Многое также зависит от давления, которое ты испытываешь, и от твоей способности к сопротивлению. Я ненавижу насилие как таковое, и в частности потому, что оно, принуждая к сопротивлению, опускает меня если не до своего уровня, то бесспорно ниже моего собственного. Однако изучение очевидных всему миру явлений — а грубая сила относится именно к таким очевидным и порядком наскучившим предметам — не принесет лавров, и разоблачение насилия не станет благодатной почвой для ума.

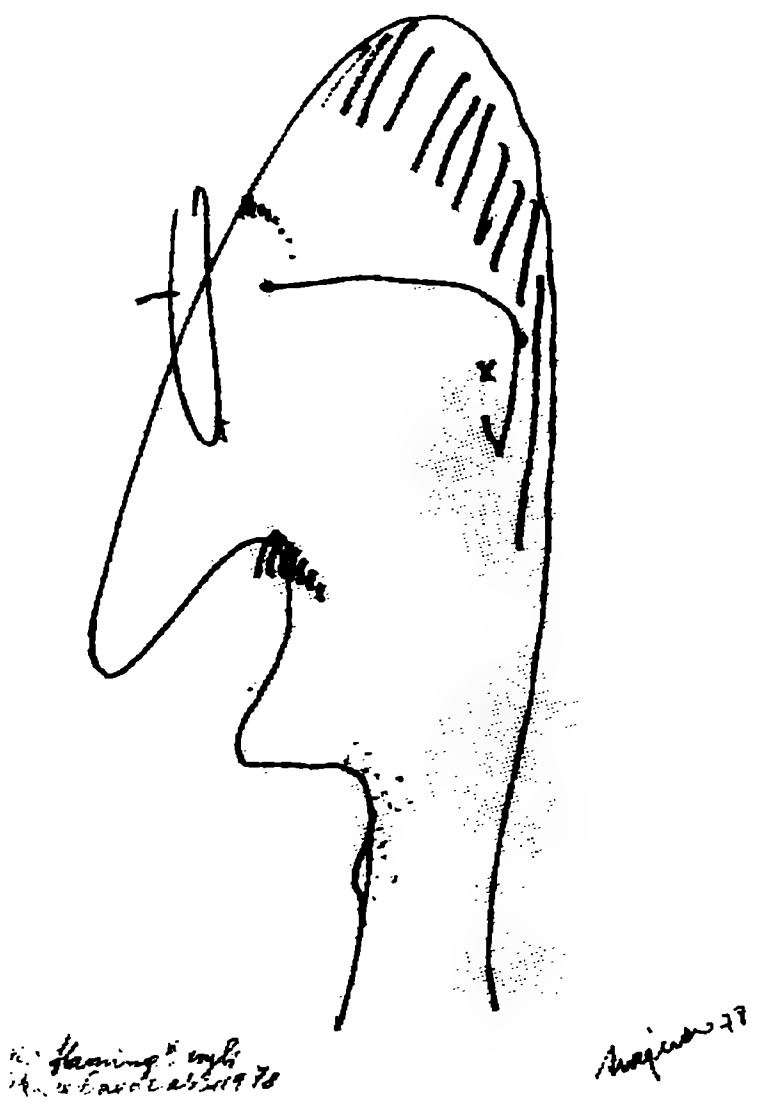
Такая дилемма особенно актуальна в Польше, стране, отстаивающей свою независимость и право на национальное самосознание не только в наше время, но, грубо говоря, последние два столетия. Дилемма очень серьезная, однако она предоставляет прекрасные возможности для самооправдания. Вы можете декларировать свою гениальность и при этом заявлять, что готовы жертвовать ее плодами, что ради служения нации отказались от создания великих творений, которые несомненно были бы написаны, сложись обстоятельства иначе; или же вы можете служить правящей элите, объявив, что переход на сторону народа лишит безутешное человечество великого произведения искусства, над созданием которого вы неустанно трудитесь.

После разгрома "Солидарности" пролетело шесть лет, прежде чем я опять приехал в Польшу. Я не мог не приехать, потому что умирал мой отец. Скорбь пережил я, но и радость, что мне удалось обнять этого давно уже ставшего мне чужим самого близкого человека перед его кончиной.

Мой рассказ близится к концу. Это не вся история моей жизни, но лишь та ее часть, которую я могу предать гласности. Более или менее разобравшись с прошлым, мы почти оказались в настоящем. Я говорю "почти" потому, что даже та фраза, которая написана строчкой выше, уже принадлежит прошлому, она, может быть, в нескольких секундах от нас, но все же в прошлом. В этом году мне исполнилось пятьдесят восемь лет, и я испытываю соблазн поверить, что начинаю понимать, как разрешить конфликт между порядком и авантюрой. Отнеситесь, прошу вас, с осторожностью к данному утверждению. Оно настолько относительно, настолько размыто оговорками, что это вовсе не утверждение, а, скорее, набросок и надежда, но все-таки не просто благое пожелание. Если я когда-нибудь смогу с уверенностью сказать, что мне удалось добиться успеха в разрешении данного противоречия, это будет высшим достижением моей жизни, соединением двух параллельных линий. Задача, в конце концов, не совсем уж безнадежная, ведь математика утверждает, что

параллельные линии где-то в бесконечности пересекаются. Как я собираюсь сделать это? В чем мой фокус? Думаю, что любое объяснение, даже если б оно было возможно, никому не принесет пользы. Это экзистенциальная, а не интеллектуальная проблема, поэтому каждый решает ее на свой лад. Личность создает проблему, которая, в свою очередь, формирует личность, и чужой опыт — и, в частности, мой фокус — здесь не подмога. Какой же это фокус, если его может повторить или использовать еще кто-то? Вот почему никогда не показывают таких фокусов, которые можно было бы разгадать, глядя со стороны.

Другое предполагаемое переустройство моей жизни, которое от стадии простой надежды уже продвинулось до уровня ожидания, заключается в избавлении от Истории (с максимально большой, насколько это возможно, буквы "И"). В полном и окончательном избавлении — чтобы моя жизнь больше не зависела от нее так, как это было раньше. Вы, наверное, уже заметили, дорогие читатели, как много пространства захватил этот монстр, вольготно раскинувшийся на страницах краткого очерка моей жизни. Пространство, отданное Всеобщей Истории и описанию ее воздействия на мою частную жизнь, кажется явно непропорциональным при сравнении с протяженностью всего повествования. К сожалению, пропорции соблюдены. Мне довелось родиться в таком месте и в такое время, что ссылки на Историю столь же весомы, насколько она была весома в моей жизни. Если бы это зависело от меня, я, возможно, выбрал бы для своего рождения другое место и другое время; тогда моя автобиография не раздражала бы вас таким обилием общих мест. Но что есть, то есть, и мне остается только взывать к терпению и пониманию читателей. Я могу лишь заверить моих дорогих читателей, что разделяю их чувства. Не моя вина, что банальная и всепроникающая История всегда загоняла меня в предельно жесткие обстоятельства. А я мог бы спокойно прожить и без них.



С. Мрожек (карикатура Юзефа Шайны)

Освобожусь ли я когда-нибудь от чрезмерных требований Истории? Оставлю ли позади то, что так долго угнетало меня, вольного или невольного ее раба? В определенной степени освобождение зависит от меня самого, поскольку некоторым образом это вопрос выбора позиции. Ведь я был не только порабощен монстром Истории, но и очарован им. Кажется, что любая вершина подвластна, если попробуешь наркотика Истории.

В 1987 году я опять женился. Важнейшие события жизни всегда способствуют процессам детоксикации. Кажущаяся небрежность моего упоминания о вступлении во второй брак ни в коей мере не умаляет для меня важности этого события. Сама по себе женитьба особого значения не имеет — все зависит от того, на ком ты женишься. Мой

С. Мрожек (карикатура Феликса Топольского)

второй брак стал поворотным пунктом в моей жизни. Но развивать эту тему я конечно же не собираюсь, потому что, как уже было сказано, твердо придерживаюсь принципа отделения того, что можно говорить на публике, от того, что нельзя.

Для информации лишь упомяну, что моя вторая жена — мексиканка. С ее помощью я пытаюсь воспринять иную духовность, далекую от нашего европейского и христианского мировоззрения. Я начал понимать, что европейские ценности, обычаи и законы не так уж необходимы за пределами Европы. Могут быть и другие пути развития, другие подходы, другие результаты. Рамки моего опыта резко расширились.

Примирить наконец-то порядок и авантюру, освободиться хотя бы в некоторой степени от Истории, если мне это вообще по силам, — большего я для себя не могу пожелать.

Май–июнь 1988

Ежи Пильх

Безвозвратно утраченная леворукость

Фрагменты книги

Перевод К. Старосельской

Немного о дрожащих руках

РУКИ у меня дрожат, потому что я боюсь писать. Едва я научился писать, как у меня стали дрожать руки; не дрожали у меня руки, только покуда я не выучился грамоте, то есть первые семь лет жизни, хотя, кто знает, может, и тогда уже чуть-чуть дрожали, не помню; я помню тысячи мелочей из самого раннего детства, иногда мне кажется, что я помню сероватые стены родильной палаты, находившиеся там предметы, застывшую улыбку акушерки, измученной многочасовым бдением возле роженицы, но такого, чтобы сразу после появления на свет у меня, новорожденного младенца, стали дрожать руки, я не помню. Так или иначе, руки мои начали дрожать гораздо раньше, чем – как сказал бы Конвицкий – различные жизненные обстоятельства побудили меня выпить несколько цистерн горячительных напитков. Руки у меня начали дрожать намного раньше, чем я опрокинул первую в жизни рюмку, руки у меня начали дрожать, когда я пытался написать первую – а если быть точным, вторую – в своей жизни букву.

С первой буквой – буквой **"а"** – худо-бедно я справился, но вот на букве **"б"** споткнулся – и ни с места. Первую гласную мне удалось одо-

© by Jerzy Pilch
© by Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998
© К. Старосельская. Перевод, 2000

леть и на бумаге увековечить, а вот с первой согласной совладать я не мог ни в какую. Рука отказывалась выводить ее мерзкий хвостик. В связи с чем и самое главное слово, каковым — что известно каждому — в польском языке является слово "баба", оказалось для меня недоступной заоблачной вершиной.

Возможно, сейчас было бы уместно вставить в текст несколько эффектных фраз об отвратительном грязно-буром барбосе, красовавшемся на одной из первых картинок в букваре Фальского и, точно зловещий символ, преграждавшем мне доступ в волшебный мир письменной речи, о нагромождении грозных предметов, забаррикадировавших выход из сумрачной страны безграмотных невежд. Эти изображенные внизу страницы предметы начинались, соответственно, с буквы "**А**" или буквы "**Б**" — по странному совпадению каждому из них и сегодня можно приписать злую силу. **А**втомобиль мог задавить тебя на шоссе, **Б**айдарка могла перевернуться на середине реки, **А**втомат мог известно что с тобой сделать... Ко всему прочему, хрипло мыча, мне грозил короткими острыми рогами свирепый **Б**ык. Но я не боялся ни барбоса, ни автомата, ни быка — я боялся демона беспомощности, который вселился в меня и ни за что, ни за какие блага не позволял мне, как Господь Бог повелел, написать букву "**б**" правой рукой.

То, что мне не удавалось написать букву "**б**" правой рукой, было бы еще полбеды. В конце концов причиной тому могла быть обычная неуклюжесть или лень. Мой изъян был особого рода: эту проклятую букву "**б**" я мог свободно и ловко изобразить левой рукой. Мало того, что я косил, мало того, что я носил очки, мало того, что я вообще был болезненным и хилым ребенком, — вдобавок я оказался сущим выродком, то есть левшой. Косоглазие в сочетании с леворукостью было чудовищным дефектом, который в те времена (конец пятидесятых) и в тех краях (городишко Висла, заселенный исключительно трудолюбивыми евангелистами — мастерами на все руки) обрекал меня если не на физическое уничтожение, то уж наверняка на жалкое существование где-то среди отбросов организованного и благополучного общества. Речь шла не о том, научусь ли я писать, — речь шла о том, как я буду жить, если буду жить вообще. Поэтому отец в приступе ярости взмывал под потолок. В воздух он взлетал без труда, поскольку был невелик ростом и тщедушен. Переполняющие его невесомое тело бешенство и энергия с фантастической легкостью преодолевали законы тяготения. Когда лет десять спустя я познакомился с прозой Шульца и наткнулся на описание птичьей метаморфозы отца, я читал этот кусок с ощущением невероятной, поистине братской близости с автором "Коричных лавок", хотя и не без чувства превосходства.

Упаси бог, я не допускаю и мысли о том, чтобы хоть в чем-то сравнить себя с этим гением прозы, однако в сравнении наших отцов — притом в сравнении, касающемся лишь искусства аэронавтики, — я не вижу ничего крамольного. Нескромно разве что может прозвучать утверждение, будто мой родитель летал намного лучше старого Шульца, но тут я ничего не могу поделать — такова правда, и я не стану прикрывать ее вуалью ложной скромности. Да, в таракана старый Шульц превращался мастерски, но в птицу — плоховато и летать так и не научился. Он только внешне слегка уподоблялся королевскому кондору и "забывшись, срывался со стула и, маша руками, точно крыльями, издавал протяжное пение, а глаза его заволакивались мутью бельма. Потом,

сконфуженный, он смеялся вместе с нами и старался выходку свою представить шуткой"[1].

Мой отец мрачно и без шуток парил в воздухе, никаких птице-физических метаморфоз с ним не происходило, он был обыкновенным адъюнктом Горно-металлургической академии, который умел летать. Он облетал овальный стол, за которым я сидел, с минуту кружил возле висящей над этим столом лампы, потом по-над супружеским ложем устремлялся к двери, даже особо не шевеля руками — ему незачем было имитировать движение крыльев, просто в нем была изначально заложена реактивная сила полета, — пролетал через комнатку, где жили дедушка с бабушкой, через ледяную прихожую и скрывался в кухне, откуда через минуту возвращался, неся трепещущие в воздухе, с каждым разом все бóльшие, листы упаковочной бумаги. Отец руководствовался типичными для него соображениями: чем большего размера, более внушительную и на более качественной бумаге букву "б" мне придется вывести, тем успешнее пройдет педагогический эксперимент и прочнее закрепится результат. Он вообще питал слабость к вещам крупным, внушительным и прочным, призванным служить людям годами, — скажем, к ботинкам на два номера больше нужного, необъятным зимним пальто, тулупам, в которых я чувствовал себя как в палатке; даже игрушки, которые он мне покупал, были огромны и неистребимы.

А я имел все, чего душа пожелает, — точнее, все, за исключением оружия. Отец был до истерики экспансивным пацифистом и запрещал даже водяные пистолеты; о таком грозном оружии, как пистолет, стреляющий пробками, я уж и не говорю. Этот комплекс у него, конечно, остался с войны; ни о своей службе в вермахте, ни о русском плене он, кстати, никогда не рассказывал. Какой-то эпизод вроде падения с моста в реку колонны грузовиков ("Не умей я плавать, меня бы сейчас не было в живых", — наставительно изрекал отец, когда мы на суше осваивали брасс), какой-то военный марш, сыгранный на губной гармонике, — вот и все, что можно было от него услышать. Ничего больше. "Война — самая страшная вещь на свете", — этим безусловно справедливым афоризмом он пресекал любые мои просьбы и мечты хоть о каком-нибудь подобии огнестрельного оружия. Однако к первобытным формам, к архаичному метательному оружию — такому, как, например, рогатка, лук или арбалет, — относился со снисходительностью, подчас приводившей к далеко идущим последствиям. Когда в журнале "Горизонты техники для детей", который мне выписывали, отец наткнулся на историю Вильгельма Телля и сопутствующую ей инструкцию, где указывалось, как смастерить детский игрушечный арбалет, он загорелся этой идеей, проявив характерную для него страсть к чрезмерности. Пропорционально увеличив все параметры, он заказал в мастерских Горно-металлургической академии арбалет, который был мне на пару размеров велик и слишком тяжел, зато должен был прослужить не один год. И я, мальчишка, которому не разрешалось иметь даже жестяного пистонного пистолета, ходил по улицам, сгибаясь под тяжестью оружия, из которого в любой момент мог ненароком кого-нибудь прикончить. У арбалета было дубовое ложе, буковый приклад и латунный спусковой механизм, стрела пролетала чуть ли не сто метров, а будучи выпущенной в воздух, мгно-

1. Бруно Шульц. Коричные лавки. Перевод Асара Эппеля. См. "ИЛ" 1998, № 12. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

венно исчезала из виду. Никто не был убит или тяжело ранен по одной простой причине: в кого бы ни целился, я всегда промазывал — один глаз у меня косил, а руки дрожали. И даже случайной беды ни разу не стряслось: местные протестанты, завидев косоглазого растяпу, держащего в трясущихся руках смертоносное оружие, разбегались кто куда, прятались по домам, забирались на росшие в почтительном отдалении деревья. У меня дрожали руки, когда я стрелял из арбалета, и дрожали руки, когда я — даже на самом большом листе бумаги — пытался вывести ненавистное "**б**". По сей день, впрочем (а я все пишу от руки), я не могу воспроизвести с надлежащим каллиграфическим совершенством не только букву "**б**" — я вообще никакую букву не могу мало-мальски пристойно изобразить.

Ах, разумеется, моим дрожащим рукам далеко до мечущихся, как стайка голубей, рук моего соседа по больничной палате Ендруся Паркетчика, но зато теперь, когда Ендрусь поправился, окреп и выписался из больницы, теперь ни одна паркетина не дрогнет у него в руке. А у меня, к сожалению, даже если и пройдет дрожь, оправданная теми или иными обстоятельствами, все равно остается — почти такая же — дрожь имманентная. Так вот, не переставая скорбеть о своей безвозвратно утраченной леворукости и завидуя красивому почерку (тех, кто им обладает), я при этом постоянно размышляю, о чем бы я писал, если бы писал левой рукой и превосходным почерком? Ведь даже весьма удачное название книги "Безвозвратно утраченная леворукость" должно было бы тогда быть другим.

Кот, *который поддерживает во мне желание жить*

Я просыпаюсь в черную годину, и черные мысли бродят у меня в голове. Я слышу звон колоколов на колокольне костела, слышу доносящийся сверху бодрый голос матери, здоровающейся с собаками, — потом наступает глухая степная тишина и далекое громыханье идущего из Глембце поезда. Сначала пять, затем шесть, затем семь утра. Из редеющего полумрака вырисовывается моя совершенно беспорядочная библиотека, вид которой действует на меня угнетающе.

Время от времени я привожу из Кракова в Вислу якобы ненужные книжки, которые в ближайшем будущем вряд ли стану читать, но, возможно, когда-нибудь прочту, хотя, скорее всего, нет. Так возникает собрание книг абсолютно бредовое, ущербное, порочное. Юрген Торвальд "Час детективов", Тильман Шпенглер "Мозг Ленина", Иммануил Кант "Религия в пределах одного разума", Сергей Довлатов "Зона", ксендз Томаш Венцлавский "Где есть Бог?", Йозеф Шкворецкий "Львенок", Макс Хайндель "Мировоззрение розенкрейцеров", Хаймито фон Додерер "Убийство, которое совершает каждый" (разумеется, первое издание 1963 года), Сьюзен Форвард "Вредные родители", Вольфрам Эберхардт "Китайские символы", Эрнст Гельнер "Постмодернизм, разум и религия" (а это еще откуда взялось?), Рене Реуван "Словарь киллеров", Андрей Тарковский "Запечатленное время"... Хватит, хотя это лишь малая часть первой полки. Дальше и того хуже. Дальше идет нелегальная эротическая литература вперемешку со старыми евангелическими

календарями. Холодно, чертовски холодно, холодрыга такая, что корешки книг кажутся посеребренными инеем. У случайного собрания книг есть одно преимущество: их можно и даже нужно избегать. Если человек обречен жить среди книг, каждая из которых — в принципе — всячески заслуживает прочтения и одновременно — в принципе — прочтению не поддается, он берется за классику. Так по прошествии примерно тридцати лет я заново перечитал — впервые более-менее что-то поняв — "Мертвые души" Гоголя. Сейчас я читаю — тоже, как мне кажется, с большим, чем раньше, пониманием — "Пана Тадеуша".

Инеем покрыта и кипа линованных блокнотов в элегантных обложках. Никуда не денешься — есть у меня неодолимое пристрастие: блокноты в линейку в элегантных обложках. Я вообще питаю слабость к бумажным изделиям, к магазинам канцтоваров, к оптовым складам бумаги. Блокноты в линейку (без полей) в элегантных обложках я покупаю в иллюзорной надежде их исписать. Никогда, правда, ни разу в жизни мне не удалось исписать блокнот, как велел Господь Бог, от корки до корки, но некоторые из этих окоченевших от холода тетрадок все же частично заполнены. Десяток-полтора страниц беспорядочных заметок, тщетно ждущих продолжения; готовые радостно зашелестеть линованные листы. Когда в голову лезут черные мысли, когда бесцветные когти небытия крепко в меня вцепляются, я беру новую тетрадь и пишу абы что, в лечебных целях поддерживаю психофизический навык писания. Как сказал Гроховяк, со стихов которого все началось: "Перо в руках — оно излечит раны./ Смерть станет далека, как было в детстве"[1].

Я иду наверх завтракать. Поднимаюсь по деревянной лестнице (с трудом отрывая примерзáющие к ступенькам подошвы), слышу вырывающееся из собачьих глоток рычанье и лай, сажусь за стол и придвигаю к себе хлеб, сыр и мед. Собаки — две живущие в состоянии вечной ненависти суки — успокаиваются и с достоинством усаживаются: одна одесную от матери, другая — ошую. Я бросаю на них тяжелый взгляд, в котором мать ошибочно усматривает восхищение.

— Да, — говорит она, — бери пример с собак. С собаки бери пример, — мать слегка повышает голос, — с пса. Пес не пьет.

Я внутренне съеживаюсь, чувствуя, как взбухает в душе обида: в конце концов, родной матери следовало бы знать, что я абсолютно убежден в превосходстве кошек. Единственным животным, с которым я близко сошелся, был кот по имени Глупыш. В те времена все еще были живы, "смерть была далека", кот Глупыш разъезжал под потолком в вагончике сконструированной мною подвесной канатной дороги и блаженствовал в своем разнузданном лентяйстве. Кот Глупыш был так ленив, что ему не хотелось даже падать на все четыре лапы. Но раз за разом конструкция разваливалась, и когда вагончик, то бишь коробка от обуви, летел в пропасть, кот Глупыш, вместо того чтобы, как положено, приземлиться с кошачьей ловкостью, бухался, гремя потрохами, на покрытый линолеумом пол нашей огромной, словно заводской цех, кухни. А потом лежал очумелый и ждал, пока ему окажут первую помощь. Этот кот вообще преимущественно лежал; возможно, с ходьбой у него был связан какой-то особый комплекс: Глупыш, когда ходил, ужасно — по ихним кошачьим меркам — топал. Иногда — крайне редко — в нем просыпались остатки честолюбия и он отправлялся на чердак якобы на охоту. Так он,

1. Из стихотворения Станислава Гроховяка "Ars poetica". Перевод Н. Астафьевой.

во всяком случае, давал понять. К сожалению, кутерьма, которую он там устраивал, позорные промашки, плохо рассчитанные прыжки, бессмысленные засады не в тех местах, где следовало бы, обрекали его на вечные неудачи и унижение. Он возвращался, сконфуженный, и с явным облегчением укладывался на печь. Давненько все это было, быть может, тогда, когда я впервые читал "Мертвые души" – кстати, то же самое, что и сейчас, издание ("Ксёнжка и ведза", 1949, перевод – Владислав Броневский, обложка – Леопольд Бучковский).

Вот видите, как сказал бы какой-нибудь классик, все возвращается на круги своя. И дело не только в том, что мне вспоминается кот Глупыш, чей хрупкий скелет давно покоится под жасминовым кустом (где его душа, я не знаю и не хочу строить догадки; Екклесиаст, правда, не исключает наличия души у животных, но я в такие рассуждения не вдаюсь из уважения к памяти Глупыша: он и в интеллектуальном плане был ленив и метафизику не жаловал), и даже не в том, что я снова, спустя много лет, читаю "Похождения Чичикова, или Мертвые души", – дело прежде всего в том, что, как указывают разного рода знамения на земле и на небе, у меня спустя столько лет опять появится кот. В июне Хануля должна привезти из Франции котенка.

Когда Янек Новицкий[1] выписывал себе собаку из Рима (а в Рим собака Новицкого была доставлена из Лондона, поскольку это животное очень редкой породы), я в душе над ним посмеивался: мол, экое пижонство, где ж это видано – пес с собственным билетом летает на самолете, мало, что ли, у нас своих собак... В душе я посмеивался над Янеком Новицким: надо же, собаку себе из Италии везет, – а тут на тебе, получается вроде как бы и я выписываю кота из Франции. Но тут есть разница – сейчас объясню какая. (Я продолжаю сидеть с матерью и ее двумя живущими в состоянии вечной ненависти суками за завтраком и объясняю, в чем тут разница.) Так вот, я себе никакого кота из Франции не выписываю, это Хануля, как было договорено, получит котенка в подарок от своей подруги Малгоси. А подарок, известно, дело святое. Не какой-то там эксцентричный каприз или дурацкая выходка, никакое не пижонство, а просто предопределенная свыше неизбежность.

Но вот выписанный Новицким из Рима пес редкой породы – это все-таки эксцентричная выходка, хотя – по крайней мере, мне – понятная. Чем, в конце концов, заняться актеру, который уже все сыграл и вдобавок знает, что еще все может сыграть? Ибо действительно может. Захотите, чтобы Янек сыграл вам военного преступника – он сыграет военного преступника, захотите, чтобы сыграл японскую принцессу – сыграет японскую принцессу, захотите, чтобы сыграл керамическую плитку – сыграет керамическую плитку (хотя, думаю, неохотно – эта роль для него недостаточно демонична). Ну чем, скажите, такому глубоко несчастному человеку заняться? Да нечем. Вот он ничего и не делает. Ходит по рыночной площади и придумывает, что бы эдакого учинить. То собаку из Рима выпишет, то обзаведется редко стным велосипедом, а то раз в год выдаст страничку загадочной прозы. Или – не дай бог – какой-нибудь монолог, исполненный высокой житейской мудрости, произнесет. Вот и все. Ах, ну конечно же, он работает, играет – очень много играет в театре, на телевидении, в кино. Занятий у него предос-

1. Ян Новицкий (р. 1939) – знаменитый польский актер театра и кино.

таточно. Только собственное всемогущество Янека испортило, и актерство ему опостылело. Актерского пыла в нем практически не осталось. Разве что кое-какой появляется, когда нужно сыграть (лучше всего на Главной рыночной площади) сцену торжественной встречи. Если вам доведется с Новицким столкнуться, он непременно исполнит вам задарма приветственный этюд.

Занавес поднимается. На Рыночной площади зажигаются огни. Приближается Ян Новицкий. "Ежи??!! (Улыбка выдает радостное удивление, тело напряжено и неподвижно: Янек изображает человека, который застыл как вкопанный.) Ежи!!! (Интонация радостного удивления мастерски превращена в интонацию высокоторжественную, мышцы расслаблены, нога медленно выдвигается на полшага вперед: теперь Новицкий готов броситься к вам, как боксер к противнику.) Ежи, неужели это ты??!! (Неожиданный обманный маневр: два полноценных, поистине балетных шага назад — я должен получше тебя разглядеть, дружище, обозначают эти шаги.) Нууу! (Широко разведенные в стороны для сердечного объятия руки.) Нууу! Ежи!!! (Еще более широко разведенные для еще более сердечного объятия руки.) Ежи!!! Ты потрясающе выглядишь! (Первые объятия, первые поцелуи.) Ежи!!! Чертовски давно тебя не видел!!! (Взгляд Янека светлеет до пределов возможного, а улыбка исподволь гаснет.) Я о тебе думал, старик. Где ты пропадал? Как здоровье? Скажи... (Лицо Янека становится серьезным, может даже почудиться, что оно омрачено непритворной тревогой.) Я же вижу, что лучше! (Возвращение торжественной интонации.) Пошли, старик, присядем где-нибудь на секунду. (Тон деловитый; Новицкий озирается, будто размышляя, какое место выбрать, хотя выбор давно уже сделан.) Я спешу — наконец-то начал писать, — но минутку все-таки с тобой посижу... Может, в "Звисе"? (Янек виртоузно изображает человека, которого вдруг осенила совершенно нежданная мысль.) Пошли присядем на секунду, о стольком нужно поговорить". (Далее тон сугубо деловой — сцена встречи практически завершена. Огни гаснут. Занавес.)

После завтрака надо спуститься вниз за газетами, заглянуть на почту и в книжный магазин. На улице минус десять. Терзаемый чернейшими мыслями, выхожу из ледяного дома в еще более ледяной мир. Дурные предчувствия меня не обманывают: везде полно лыжников в разноцветных комбинезонах. Вид лыжников в разноцветных комбинезонах чрезвычайно меня угнетает — еще больше, чем вид моей беспорядочной библиотеки. Поэтому быстрее, чем подсказывает здравый смысл, я спускаюсь в центр Вислы, беру в киоске газету, заглядываю в книжный магазин (покупаю "Мост Короля Людовика Святого" Торнтона Уайлдера), заглядываю на почту (писем для меня нет) и торопливо через парк по берегу реки мимо бассейна (лыжников в разноцветных комбинезонах тут сравнительно немного) возвращаюсь наверх, домой. Мать сидит за столом и решает кроссворд в журнале "Домохозяйка", две живущие в состоянии вечной ненависти суки вяло грызутся.

— Что новенького внизу? — спрашивает мать.

— Ничего, — отвечаю я.

— Народу много?

— Много.

— Встретил кого-нибудь?

— Никого не встретил, — говорю я с растущей досадой, так как чувствую, что снова разочаровал мать.

— А возле костела? — В голосе матери проблеск слабой надежды. — Может, возле костела какое объявление висит?

— Нет, нету там никакого объявления. Никто не умер, — говорю я с нарастающим чувством вины и спускаюсь к себе. На книги стараюсь не смотреть, но кипу блокнотов обойти взглядом не удастся, с кипой линованных блокнотов в элегантных обложках пора наконец вступить в духовное единоборство. Блокноты, признаться, выглядят провокационно, блокноты выглядят так, словно только и ждут часа великого вдохновения, когда я в приступе дикого творческого безумия испишу их все разом от корки до корки. Но вся беда в том, что я вообще ничего толкового в блокнотах не пишу (обычно я пишу на листах нормальной канцелярской бумаги формата А4). В блокнотах я запечатлеваю лишь самый что ни на есть мрак, случайные мысли, интимные признания; начинаю писать и на полпути бросаю. И потому я без конца покупаю линованные блокноты в элегантных обложках, что знаю: не будет конца чернухе, никогда не закончится время случайных заметок и половинчатой искренности. Оторвав взгляд от роковых тетрадей, я смотрю в окно. Над смутными очертаниями Козинца сквозь мглу пробивается свет, становится теплее. "В июне прибудет из Франции кот, — напоминаю я себе. — Кот в июне, думаю я и шепчу: — Кот прибудет в июне", — и это, что ни говори, какой-никакой выход.

Чужая писанина

Человек пишущий оставался наедине с собой, ни одна из потенциальных женщин его жизни не становилась женщиной его жизни, они уходили друг за дружкой, забирали свои драгоценные рукописи и пахнущие духами компьютерные распечатки, исчезали без следа.

Все женщины человека пишущего тоже писали. Это было ужасно. Человек пишущий постоянно ощущал грозящую ему опасность, но когда опасность грозит со стороны собратьев по перу, это в порядке вещей. Чужие книги требуют осторожности — столь же осторожно надо обращаться с газовыми колонками, переходить улицу на бойких перекрестках, садиться в лифт и платить по счетам. Чужая писанина может причинить немалый вред, может ускользнуть из-под контроля, спровоцировать духовный крах. В чужих сочинениях может осуществиться неосуществимое; чужие сочинения могут взорваться и все разнести к чертовой матери. Человек пишущий чурался чужой писанины, не читал книг своих собратьев по перу, не читал книг своих ровесников, принципиально — кроме сочинений здравствующих лауреатов Нобелевской премии — не читал книг своих здравствующих коллег. "Хороший писатель — мертвый писатель", — шептал он себе злобно и, упиваясь язвительностью своего склонного к мрачным парадоксам ума, брался за классику. Современных книг он избегал, точно уличных сборищ: он боялся, что какой-нибудь элементарный рефлекс, рефлекс банального любопытства, рефлекс злокозненного восхищения, рефлекс магнетического страха втянет его в возбужденно гомонящий, залитый вульгарным светом реклам коловорот. Он избегал последних новинок и произведений на злобу дня, ему казалось, что это свидетельство аристократической

сдержанности, гарантирующей постижение тайных глубин духа. Увы! — попытка пройти по лабиринту современности с одним только Софоклом под мышкой заканчивалась малоприятным фиаско.

Человек пишущий в поисках женщины своей жизни неоднократно завязывал знакомства с потенциальными кандидатками на эту роль, но, на его беду, всякий раз оказывалось, что потенциальные кандидатки тоже пишут. Они, правда, утверждали — с поразительным единодушием, хоть и не сговариваясь, — что пишут уже давно, что писать начали много раньше, что изливали свои мысли на бумагу задолго до знакомства с человеком пишущим, но он не был склонен им верить. Он не сомневался, что сам одарил каждую из них вдохновением. В его уверенности была гордыня, но наличествовало и отвращение. Когда он смотрел на исписанные ими листки, ему казалось, что бумага сплошь испещрена оспинами. От текстов, вышедших из-под пера потенциальных женщин его жизни, невозможно было укрыться. Сочинительницы присылали их заказными письмами, оставляли под дверью, незаметно засовывали в карман пиджака, тщательно проверяли, насколько внимательно он ознакомился с рукописью, требовали вдумчивого обсуждения и похвал, сами читали обширные фрагменты вслух, читали по телефону, читали в кафе и читали в постели. Над темными крышами города носился вихрь крысиной шерсти, известковой пыли и дамских манускриптов.

Последняя потенциальная женщина жизни человека пишущего сочиняла романы, в которых воспевала мир навсегда утраченного детства. Веявшую от этих сочинений безбрежную тоску усугубляла заключенная едва ли не в каждом из них более или менее завуалированная мысль о том, что навсегда утраченное детство вдобавок было еще и пустым, ибо последняя потенциальная женщина жизни человека пишущего в ту пору его не знала, он, к великому сожалению, не был товарищем ее детских игр.

Предпоследняя вела дневник и каждый божий день описывала все, что поддавалось описанию. Записывала, что ей снилось, какой она сделала макияж, какую использовала помаду, крем, тени для век, кто звонил, с кем она встречалась, какую примеряла юбку, какую блузку гладила и на каких каблуках шла по Кармелитской.

Третья с конца потенциальная женщина жизни человека пишущего забрасывала его пространными письмами, в которых их отношения подвергались убийственно обстоятельной вивисекции. Чтение этих тягостных трактатов вгоняло человека пишущего в чудовищную депрессию, и спасение от вселенской печали он вынужден был искать в рюмке. Четвертая с конца писала совершенно невразумительные циклы стихотворений в прозе.

Пятая с конца в толстом, как однотомник избранных произведений, ежедневнике запечатлевала свою бурную светскую жизнь, описывала приемы, банкеты, премьеры, кто с кем пришел и кто с кем ушел, кто перепил и какие случились скандалы, записывала названия кабаков и перечисляла напитки, употребленные ею самой, а пила она крепко — по правде говоря, эта хрупкая, воздушная блондинка надиралась как свинья. Многие записи в толстом ежедневнике были сделаны неуверенным почерком, сплошь и рядом встречались сумбурные размышления, рождавшиеся в мозгу после нескольких полуденных, незаметных постороннему глазу, но весьма внушительных глотков; частенько также попадались бесконечные, подробнейшие описания утренних кошмаров.

Шестая с конца потенциальная женщина жизни человека пишущего тоже что-то писала — ну конечно, она должна была писать, только сейчас уже неизвестно, какой выбрала литературный жанр, ибо сочинения ее полностью выветрились из памяти.

Близился конец тысячелетия, человек пишущий оставался наедине с собой, женщины одна за другой его бросали. Всего за неделю до расставания они с одинаковым ностальгическим энтузиазмом, хотя и совершенно независимо друг от друга, признавались человеку пишущему, что мечтают поехать с ним в Венецию, однако через несколько дней уходили, не сказав ни слова.

Последняя — пухлая разведёнка средних лет, которая в свои обеденные перерывы с невероятным пылом дарила ему увядающие прелести грандиозного тела, — внезапно, словно пораженная стрелой меркантильного фанатизма, вернулась к своему прежнему, стерильному образу жизни, дабы с утра до вечера заниматься активной административно-хозяйственной деятельностью. Прежде они проводили вместе три обеденных перерыва в неделю: в понедельник, четверг и пятницу, — а теперь вдруг перестали встречаться вовсе. Человеку пишущему казалось, что они поступили так по обоюдному согласию и к обоюдному удовольствию, он, во всяком случае, испытывал облегчение — он испытывал облегчение, поскольку не обязан был больше читать романы, воспевающие загубленное детство, он испытывал облегчение, поскольку, как ему чудилось, наконец-то он снова сможет целыми днями писать. Правда, по вторникам, средам и субботам он старался писать с удвоенным вдохновением, а по понедельникам, четвергам и пятницам вставал раньше обычного, чтобы успеть до обеденного перерыва выполнить свою утреннюю норму, однако это было утомительно и нарушало гармонию повседневной жизни. Как он записал в одном из своих блокнотов: "Секс в обеденный перерыв с увлеченной административно-хозяйственной деятельностью разведёнкой средних лет ведет к хаосу".

Предпоследняя потенциальная женщина жизни человека пишущего — длинноногая журналистка из отдела новостей городской вечерней газеты (та, что вела подробный дневник), — получив соблазнительное деловое предложение, уехала на Побережье — по мнению человека пишущего, со странной и несколько чрезмерной поспешностью. Он полагал, что сразу же после ее отъезда на него обрушатся горы любовной корреспонденции, ждал ежедневных, исполненных пылкой тоски телефонных звонков, однако все ограничилось единственной немногословной открыткой. В душе человека пишущего ангел облегчения боролся с демоном разочарования.

Третья с конца — писавшая убийственные письма студентка-киновед со слегка затуманенными от постоянного глядения на экран прекрасными синими глазами — перестала встречаться с человеком пишущим, поскольку вообще перестала с кем бы то ни было встречаться. Своими прекрасными и чуть подслеповатыми глазами она стала высматривать настоящую любовь. Кстати, настоящую любовь она нашла довольно скоро и, обручившись, с головой погрузилась в процесс регулярных бурных разрывов и примирений со своим женихом.

Четвертая с конца — служащая краковского филиала Англо-американского банка — максимально упорядочила свой образ жизни, и ее свободное время, отныне заполненное плаванием, бегом трусцой, занятиями на тренажерах, изучением иностранных языков, тщательно проду-

манными культурными развлечениями и методичным потреблением здоровой пищи, резко сократилось. В ее новой, несокрушимой, точно бетонная архитектура, жизни не осталось места для невразумительных, как стихотворения в прозе, и со всех точек зрения необузданных свиданий. Человек пишущий некоторое время по ней тосковал. Под воздействием тоски он занес несколько фраз в один из своих элегантных блокнотов в линейку. "Мы стремились к совершенству, — писал человек пишущий, — мы стремились к абсолюту, хотя — если уж говорить о способах реализации взаимного влечения — трудно найти место менее романтичное, нежели пустеющие по окончании рабочего дня кабинетики в краковском филиале Англо-американского банка. Однако, когда ее округлые плечи касались полированной поверхности письменного стола, наша кровь закипала и мы становились совершенны, как боги. А когда наше совершенство перехлестывало через край, когда воцарявшаяся в нас гармония превосходила всякие пределы, обитый пробкой потолок Англо-американского банка разверзался и из невидимой бездны упадала фосфоресцирующая веревочная лестница; по ней сновали какие-то фигуры, звучали голоса. "Я осуждаю тебя, человек пишущий", — изрекал Всевышний. Я слышал его, но лика не видел, ибо он, словно к Моисею, обращен был ко мне спиной. "Стремитесь к совершенству на непрочных ложах, но пишите на нерушимых столах", — восклицал Всевышний и восходил по фосфоресцирующей лестнице. Потолок Англо-американского банка смыкался, но еще с минуту слышна была приглушенная с нашей стороны пробкой музыка сфер".

Человек пишущий гордился высокой художественностью запечатленного в слове видения, однако ни в одну из своих книг этих строк не включил. Он боялся, что служащая краковского филиала Англо-американского банка, перелистывая в книжном магазине какое-нибудь из его сочинений, наткнется на эту сцену, узнает себя и, растроганная его увековеченной на бумаге любовной страстью, решит вернуться. А ведь он, написав под влиянием тоски эти несколько фраз, немедленно перестал тосковать.

Пятая с конца потенциальная женщина жизни человека пишущего решительно и бесповоротно бросила пить, превратившись в абстинентку. Он же не бросил — не только бесповоротно, но даже на короткое время; напротив: он стал еще больше усердствовать, чудовищные депрессии, под предлогом которых он заглядывал в рюмку, повторялись все чаще и чаще; в общем, они расстались легко и естественно, сами того почти не заметив. Любовь-то была хмельная, родившаяся в тумане алкогольных паров. До человека пишущего дошло, что он, по сути, даже не знает толком, как выглядит пятая с конца потенциальная женщина его жизни, поскольку наблюдал ее неизменно сквозь застящую взор мглу. Он не помнил, когда увидел ее впервые, не помнил, когда с ней познакомился; и не мог помнить, так как был тогда вдребезину пьян. Он стоял прислонившись к стойке бара, грязный горячечный пот стекал по лицу, некий театральный критик, тоже бухой, и чуточку более трезвый знаменитый сценограф служили ему платком и словом утешения, он же неуклюже стирал со своей физиономии разящий перегаром пот и, с трудом обуздывая свистопляску в глазах, силился разглядеть стоящий рядом высокий и дородный призрак женского пола. Он видел его сквозь зыбкую пелену, но и вообразить не мог, что этот соблазнительный призрак ляжет пьяной тенью, навалится пьяным грузом на ближайшие не-

дели его жизни, что вот-вот их пьяные души, пьяные мозги и пьяные языки начнут сливаться в гармонии, что их пьяные тела будут слепо тянуться друг к другу, а их пьяные руки, пьяные волосы и пьяные пальцы будут тесно переплетаться. Когда спустя несколько недель, а может и несколько месяцев, он очнулся, то по-прежнему ничего не знал, ни в чем не был уверен. Не знал, провел ли он все это время с пятой от конца потенциальной женщиной своей жизни, или она тоже была пьяным сном, похмельным мороком. Спьяну он был уверен, что ее любит, но на трезвую голову усомнился в реальности ее существования. Тогда он придумал изысканное, поистине гомеровское сравнение пьянства с любовью. "Я проснулся и понял, — слово за словом вырывалось из-под пера человека пишущего, — что пьян от любви. Ах, эти древние метафоры! В точности как алкаш, который, пробудившись после пьяного сна и разлепив веки, с обманчивым облегчением убеждается, что и сам он чувствует себя неплохо, и окружающий его мир более-менее в порядке, так и я, протерев глаза, убедился, что в принципе все тип-топ: тело мое дышит, ощущает и видит, предметы на своих местах. Но, подобно алкашу, который, приподнявшись повыше, вздохнув поглубже, оглядевшись повнимательнее, с внезапным отчаянием обнаруживает, что ничто не стоит на своем месте и порядка нет ни в чем, так же и я вдруг ощутил, что окружающий меня мир плавно колышется, что в кишках у меня творится полное безобразие, кровь течет как хочет, а мысли панически скачут, перегоняя друг дружку. Я был пьян. Пьян от любви".

Человек пишущий всегда, когда брал в руки рюмку, вспоминал пятую с конца потенциальную женщину своей жизни: ему хотелось прочитать ей слово за словом вырвавшееся из-под его пера сравнение, в котором алкогольный экстаз отождествлялся с любовью, хотелось быть с нею рядом, хотелось пьяной рукой касаться ее пьяной руки, хотелось вновь повторить то, что он ей говорил, хотя что́ говорил, он не помнил, хотелось еще раз увидеть представший перед ним высокий и дородный дамский призрак, но пятая с конца потенциальная женщина жизни человека пишущего не показывалась ни наяву, ни в горячечных снах. Шестую с конца он не помнил.

Он был один и не двигался с места. Писал — ему казалось, что наконец-то он знает, как писать, — перестал принимать эффектные позы, перестал рядиться в смахивающие на саван тоги, сбрасывал маски — хотя писал не о себе и не о своих реальных, и даже не о своих потенциальных женщинах — и не выставлял напоказ свои пороки. Писал и почти никуда не выходил. Не заглядывал даже в свои любимые и теперь, когда страна сбросила московское иго, полные всякой всячины магазины канцтоваров. Еще не так давно он, по крайней мере раз в месяц, покупал бумагу цвета чайной розы, элегантный блокнот или изысканную тетрадь в линейку. Теперь, когда бледно-желтые листы у него кончились, он извлек со дна шкафа стопку большевистской бумаги распоследнего качества, хранившуюся там еще со времен военного положения. Ему не мешала ни шершавая ее поверхность, ни серо-бурый оттенок. Порой ему казалось, что он исписывает старые выцветшие контурные карты, и, если такое ощущение полностью им овладевало, писалось все легче и легче.

Он чувствовал приближение старости и страшился физической немощи, однако пока еще тело его просыпалось без принуждения, голова была открыта мыслям, и ноги не отказывались носить человека пишу-

щего по свету. Это явно еще не было концом странствий, да и — если говорить всю правду — что же это прежде были за странствия? Как далеко заходил человек пишущий на своих ногах? Аж до Коцмыжова? До Свошовиц? До Тынца? Городским транспортом на Волю Духацкую? Автобусом в Вислу? По железной дороге обратно в Краков? Бросьте! Иногда он вспоминал, что все потенциальные женщины его жизни — и последняя, и предпоследняя, и третья с конца, и четвертая, и пятая, и даже шестая, которую он совершенно не помнил, — хотели поехать с ним в Венецию. Вечерами, когда он вставал из-за стола, когда открывал окно, когда слышал голоса остывающего города, в голову все назойливее лезли, принимая чисто практическую окраску, мысли о дальнем путешествии в одиночку.

Ольга Токарчук

Номера

Рассказ

Перевод К. Старосельской

В *отеле*

“КЭ́ПИТАЛ” останавливаются только богатые люди. Для них существуют швейцары в ливреях, длинноногие, во фраках официанты с испанским акцентом; к их услугам бесшумные, сплошь в зеркалах лифты, бронзовые дверные ручки, не имеющие права сохранять отпечатки пальцев, для чего каждую дважды в день надраивает маленькая югославка; выстланные коврами лестницы, которыми гости пользуются, если в лифте на них накатывает клаустрофобия; в их распоряжении большие диваны, тяжелые стеганые покрывала, завтрак в постель, кондиционеры, белоснежные полотенца, мыло, ароматные шампуни, дубовые сиденья на унитазах, свежие газеты; для них Господь сотворил Анджело по части Грязного Белья и Запату по части Специальных Заказов; для них снуют по коридорам горничные в бело-розовой униформе, и одна из этих горничных – я. Но, пожалуй, “я” чересчур сильно сказано. От меня мало что остается по мере того, как в чуланчике в конце коридора я переодеваюсь в форменный полосатый халатик. Ведь я снимаю собственные цвета, свои безопасные запахи, любимые серьги, свой смелый макияж и туфли на высоком каблуке. А также свой экзотический язык, свое диковинное имя, свое понимание анекдотов, свои мимические морщинки, пристрастие к неведомым здесь блюдам, воспоминания о разных мелких происшествиях – снимаю и

© Wydawnictwo UMCS, 1997
© К. Старосельская. Перевод, 2000

стою голая в бело-розовой униформе, точно в пене морской. И с этого момента

Мне принадлежит весь третий этаж

Каждый уик-энд я прихожу сюда к восьми часам. Торопиться мне незачем, потому что в восемь утра богатые люди еще спят. Отель голубит их, ласково укачивает, будто он — огромная раковина в центре мироздания, а они — драгоценные жемчужины. Где-то вдалеке просыпаются автомобили, а вагоны подземки заставляют легонько подрагивать макушки трав. Двор отеля еще застлан прохладной тенью.

Я вхожу через заднюю дверь, и в ноздри сразу ударяет странный смешанный запах дезинфекционных средств, выстиранного белья и стен, на которых выступает пот от избытка постоянно сменяющихся постояльцев. Лифт, полметра на полметра, услужливо останавливается передо мной. Я нажимаю кнопку пятого этажа и еду к своей начальнице мисс Ланг за инструкциями. Между третьим и четвертым этажами меня неизменно охватывает похожее на панику чувство: вот сейчас лифт остановится и я, точно бактерия, навечно застряну в чреве отеля "Кэпитал". А когда Отель проснется, он начнет неспешно меня переваривать, доберется до моих мыслей и впитает все, что еще от меня осталось, насытится мной, прежде чем я бесшумно исчезну.

Однако лифт милостиво выпускает меня наружу.

Мисс Ланг сидит за письменным столом, очки на кончике носа. Так и должна выглядеть повелительница всех горничных, президент восьми этажей, кастелянша сотен простынь и наволочек, мажордом ковров и лифтов, конюший щеток и пылесосов. Она глядит на меня поверх очков и отыскивает предназначенный мне и только мне разграфленный листок, а на нем — диагноз всего третьего этажа, состояние каждого номера. Постояльцев Отеля мисс Ланг не замечает. Возможно, они что-то значат для более высокого персонала, хотя трудно вообразить кого-то еще важнее, еще представительнее, чем мисс Ланг. Для нее Отель, вероятно, идеальная структура, живое, хоть и неподвижное существо, о котором нам надлежит заботиться. Конечно, через него пролетают, проплывают люди, согревают своим теплом его постели, пьют воду из его бронзовых сосков. Но надолго они не задерживаются — приходят и уходят. А мы и Отель остаемся. Поэтому мисс Ланг слова не говорит о людях — речь идет только о номерах: заселен, не убран, освободился, уже несколько дней не занят. При этом она с неодобрением смотрит на мою цивильную одежку, на второпях подкрашенную физиономию. И вот уже я, вооруженная листком, исписанным красивым, смахивающим на викторианский почерком мисс Л., иду по коридору, обдумывая стратегию, распределяя силы.

Иду и, сама того не замечая, перехожу из хозяйственной зоны в Зону для Гостей. Об этом свидетельствует особый запах; нужно втянуть носом воздух, чтобы его распознать. Иногда мне это удается: пахнет мужским "Армани", или "Лагерфельдом", или чертовски изысканным "Бушероном". Мне знакомы эти запахи по дешевым образцам в магазине "Вог"; я знаю, как выглядят флакончики с образцами. А еще тут пахнет пудрой, кремом от морщин, шелком, крокодиловой кожей, пролитым

на постель "кампари", сигаретами марки "Каприз" для изящных шатенок. Вот он какой — своеобразный запах третьего этажа. Или, точнее, первый слой своеобразного запаха третьего этажа, который я узнаю, как старого знакомого, на пути к своему чуланчику, где происходит

Преображение

В бело-розовом форменном халатике я уже по-иному смотрю на коридор. Я не принюхиваюсь к запахам, меня не притягивают мои отражения в бронзовых нашлепках на дверях, я не вслушиваюсь в собственные шаги. Теперь в перспективе коридора меня интересуют пронумерованные прямоугольники дверей. За каждым из этих восьми прямоугольников комната — квадратное продажное пространство, раз в несколько дней отдающееся кому-то другому. Окна четырех номеров выходят на улицу, где всегда стоит бородач в шотландском наряде и играет на волынке. Я подозреваю, что это фальшивый шотландец. Чересчур уж много в нем энтузиазма. Перед ним шляпа с монетой, которой надлежит притягивать другие, себе подобные.

Остальные четыре комнаты с окнами во двор не такие солнечные, в них царит полумрак. Все восемь комнат у меня в голове, хотя пока еще я их не вижу. Мои глаза замечают только дверные ручки. На некоторых висит картонка "Don't disturb"[1]. Вот и отлично: я не хочу никого беспокоить — ни людей, ни их комнаты; и хорошо, чтоб они не мешали мне чувствовать себя полноправной хозяйкой третьего этажа. Иногда картонка сообщает: "The room is ready to be serviced"[2] . Эта надпись меня мобилизует. Есть еще третий вид информации: отсутствие таковой. Это заряжает меня энергией, чуточку тревожит и пробуждает дремавшую до сих пор профессиональную смекалку горничной. Иногда, если просачивающаяся из номера тишина чересчур выразительна, я прикладываю к двери ухо и напрягаю слух, а то и заглядываю в замочную скважину. Уж лучше так, чем внезапно ввалиться с охапкой полотенец в номер и наткнуться на испуганного, пытающегося прикрыть наготу постояльца или — еще того хуже — увидеть гостя столь глубоко погруженным в беззащитный сон, что кажется, будто его и нет вовсе.

Поэтому я следую указаниям картонок на двери. Они для меня — виза, открывающая вход в миниатюрный мир,

Мир номеров

Номер 220 пуст. Смятая постель, немного мусора, горький запах чьей-то спешки, беспокойного сна, лихорадочного сбора вещей. Уехавший спозаранку человек, вероятно, торопился в аэропорт, а может быть, на вокзал. Моя задача — устранить следы его присутствия с кровати, с ковра, из шкафов, тумбочек, ванной, с обоев, из пепельниц, из воздуха. Это далеко не так просто. Обыкновенной уборки недостаточно. Крохи оставленной съехавшим постояльцем личности надо вытеснить своей безличностью. Для того и необходимо Преображение. Я должна не толь-

1. Не беспокоить (*англ.*). *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Номер можно убирать (*англ.*).

ко стереть тряпкой остатки отражения лица в зеркале, но и заполнить зеркало своей бело-розовой безликостью. Тот запах, забытый второпях или по рассеянности, заглушить своим беззапахом. Для того я здесь и нужна как персона официальная, а посему вообще малоконкретная. Чем я и занимаюсь. Особенно много возни с женщинами. От женщин остается больше следов, но дело не только в том, что они забывают разные мелочи. Они инстинктивно пытаются превратить гостиничный номер в суррогат родного дома. Где только могут, пускают корни, точно разносимые ветром семена. В стенных шкафах развешивают истерзавшие душу тревоги; в ванных бесстыдно бросают похоть и одиночество. На стаканах и окурках легкомысленно оставляют след своих губ; в ванне — волосы; полы присыпают тальком, который предательски выдает секреты их стоп. Некоторые, ложась спать, не смывают косметики, и тогда подушка, это гостиничное покрывало Вероники[1], демонстрирует мне их лица. А вот чаевых они не оставляют. Для этого нужна мужская уверенность в себе. Ведь для мужчины мир скорее базар, чем театр. Он предпочитает за все платить, даже вперед. Мужчина свободен только тогда, когда платит.

Следующий
Номер 224,
в котором живет чета японцев

Они здесь довольно давно, и в их номере я почти как у себя дома. Встают они ни свет ни заря, наверное чтобы посетить как можно больше музеев, галерей, магазинов, без конца запечатлевать город на снимках, тихо и вежливо бродить по улицам и уступать место в метро.

Номер на двоих, который они занимают, очень элегантен. Однако выглядит нежилым — в полном смысле этого слова. Тут нет случайно оставленных на комоде под зеркалом вещей. Японцы не смотрят телевизор, не слушают радио — на блестящей панели с переключателями нет отпечатков пальцев. В ванне не стоит вода; нет ни капелек на зеркале, ни крошек на ковре. Подушки не повторяют формы их голов. К моему бело-розовому халатику не пристают потерянные ими черные волосы. И, что уже немного тревожит, отсутствуют их запахи. Пахнет только отелем "Кэпитал".

У кровати я вижу две пары чистеньких, опрятных сандалий, стоящих рядком, временно освобожденных от службы. Одни побольше, другие поменьше. На тумбочке путеводитель — библия всякого туриста; в ванной аккуратно разложенные туалетные приборы — функциональные, неброские. Так что я только перестилаю постель и при этом устраиваю такой беспорядок, какого им не устроить и за месяц.

Убираясь здесь, я всякий раз умиляюсь и недоумеваю: как можно существовать так, будто тебя вообще не существует? Присев на краешек кровати, я впитываю это их небытие. Еще меня трогает то, что японцы всегда оставляют небольшие чаевые: две монеты ровно посередине подушки, которые мне надлежит взять. Это своего рода письмо, инфор-

1. Вероника — легендарная святая, благочестивая жительница Иерусалима, давшая Христу на пути к Голгофе свое головное покрывало, на котором трижды отобразился его лик.

мация. Такая у нас переписка: они мне — чаевые, будто извиняясь, что доставляют так мало хлопот, что не производят шума, что не подладились ко всеобщему хаосу вокруг. Они опасаются, как бы подобное поведение не разочаровало меня, не рассердило. Скромные чаевые — знак признательности за то, что я позволяю им существовать так, как они умеют, так, как хотят. Я стараюсь отблагодарить их за этот способ общения: перестилаю кровать с любовью. Взбиваю подушки, ласкаю простыни, которые они не в состоянии смять, словно их маленькие тела менее материальны, чем тела остальных людей.

Проделываю я это неторопливо, благоговейно, с приятным ощущением человека дающего. Растворяюсь в этом ощущении, забываюсь. Окутываю своей любовью комнату, нежно прикасаюсь к вещам. И японцы, наверное, кожей чувствуют это сейчас, едучи на метро в очередной музей, на очередное свидание с непостижимым городом. В глазах у них на мгновение вспыхивает образ гостиничного номера — смутная тоска, внезапное желание вернуться, — но и тени моей там нет. Моя любовь, которую они, скорее всего, назвали б сочувствием, не имеет лица, не имеет тела в бело-розовой униформе. Так что чаевые они оставляют не мне, а комнате — за ее безмолвное пребывание в мировом пространстве, за ее стабильность среди не поддающейся объяснению нестабильности. Две оставленные на подушке монеты помогут до вечера сохранить иллюзию, будто такие комнаты существуют даже тогда, когда они недоступны взгляду. Две монеты рассеивают самый страшный страх: что мир существует только в твоих, взирающих на него глазах, а больше нигде ничего нет.

Я сижу и нюхаю холод и пустоту этого номера, преисполненная уважения к чете японцев, которых знаю только по нематериальной форме стопы в покинутых сандалиях.

Однако пора уходить из этого маленького храма. И я ухожу — тихо, будто вздохнула, — и спускаюсь на пол-этажа, поскольку пришло

В*ремя завтракать*

Бело-розовые принцессы других этажей уже сидят на ступеньках и грызут истекающие маслом тосты, запивая их кофе. Рядом со мной Мария, красавица с внешностью индианки, дальше — Анджело, Спец по Грязному Белью, и Педро — похоже, по Чистому: очень уж он солидный. У него борода с проседью и густые черные волосы. Он смахивает на монаха-миссионера, который присел отдохнуть, утомленный своим вдохновенным странствием. Педро читает "Повелителя мух" и некоторые фразы подчеркивает карандашом, а некоторые запивает кофе.

— Педро, какой твой родной язык? — спрашиваю я.

Он поднимает голову над книгой, прочищает горло, будто только проснулся: видно, переводит в уме мой вопрос на свой язык — чем еще объяснить его минутное отсутствие? Ему нужно время, чтобы вернуться в себя, оглядеться, уловить свой основной ритм, назвать его одним словом, перевести это слово и наконец произнести вслух.

— Кастильский.

Мне вдруг становится неловко.

— А где эта Кастилия? — спрашивает Ана, итальянка.

— Кастилия-Бастилия, — философски изрекает Весна, хорошенькая югославка.

Педро рисует карандашом какой-то контур и, спотыкаясь о слова, углубляется в далекие времена, когда люди зачем-то бороздили огромные пространства, которые мы сейчас называем Европой и Азией. По дороге они смешивались, где-то оседали, а потом снова пускались в путь, неся с собой свои языки как знамена. Они составляли огромные семьи, хотя и не знали друг друга, и прочным во всем этом были только слова.

Мы закуриваем, а Педро тем временем чертит графики, выискивает сходства и, точно косточки из вишен, вытаскивает корни из слов. Те, кому эти рассуждения понятны, постепенно уясняют себе, что все мы — все, кто сидит сейчас на ступеньках, прихлебывая кофе и жуя тосты, — некогда говорили на одном языке. Ну, может, не все. Я, например, не решаюсь спросить про свой язык, да и Мирра из Нигерии делает вид, что не понимает. Но когда Педро распростирает над нами темную лохматую тучу предыстории, всем нам хочется под нее забиться.

— Прямо тебе Вавилонская башня, — подытоживает Анджело.

— Да, и так можно сказать, — печально кивает кастилец Педро.

А вот и Маргарет. Прибегает, как всегда, позже всех. Вечно ей не хватает времени, вечно она опаздывает. Маргарет — моя; мы с ней говорим на одном языке, и оттого мне приятно видеть ее ясноглазое, разрумянившееся от трудов лицо, родное и близкое. Я наливаю ей чай и намазываю маслом тост.

— Привет, — по-нашему говорит она, и это становится сигналом: беседа распадается на множество разных наречий.

И вот уже все розово-белые барышни лопочут по-своему; слова, тарахтя как детские кубики, катятся по ступенькам вниз, в кухню, прачечную, в кладовки с бельем. Слышно, как от них вибрирует фундамент отеля "Кэпитал".

Перерыв, к сожалению, заканчивается; надо возвращаться на свой этаж, где меня ждут

Остальные номера

Мы расходимся, продолжая болтать, но длинные коридоры быстренько заставляют нас умолкнуть. Так будет и дальше. Молчание — добродетель горничных во всех гостиницах мира.

Номер 226 выглядит только что заселенным. Чемоданы не распакованы, газета не тронута. Мужчина (в ванной мужская косметика), вероятно, араб (наклейки с арабской вязью на чемодане, арабская книга). Но я сразу же говорю себе: мне-то что за разница, откуда родом очередной гость Отеля и чем он тут занимается. Я имею дело с его вещами. Человек всего лишь причина, по которой эти вещи здесь оказались, тело, перемещающее предметы во времени и пространстве. По сути, все мы временные владельцы таких малых вещей, как одежда, и таких больших, как отель "Кэпитал". И этот араб, и японцы, и я, и даже мисс Ланг. Ничто не изменилось с той поры, о которой рассказывал Педро. Иначе выглядят гостиницы и багаж, но странствие продолжается.

В номере работы немного. Постоялец, видно, приехал поздно ночью и даже не прилег на кровать. Сейчас, вероятно, он отправился в

город по делам, а чемоданы распакует, когда вернется. Или поедет дальше по свету, увлекаемый своими непоседливыми пожитками. В ванной я с удовлетворением обнаруживаю, что он не мылся, а вместо туалетной бумаги использовал косметические салфетки.

Нервничал, должно быть, или был слишком занят своими мыслями, что одно на одно выходит. Должно быть, ночью, когда такси привезло его сюда из аэропорта, ни с того ни с сего почувствовал себя не в своей тарелке. В таких случаях вдруг приходит охота заняться сексом. Ничто так не помогает освоиться с окружающим миром, как секс. Наверно, он поспешил на поиски женского или мужского тела, этих утлых лодчонок, которые безболезненно перевозят через любые страхи, любые тревоги.

Номер 227 — точная копия 226-го. Тоже на одного. Только здесь гость живет уже давно. Я бы и не запомнила, когда б не запах — все тот же запах сигарет, алкоголя и беспорядка. И все тот же кавардак — такой, что просто страх берет. Везде стаканы с недопитым спиртным, пепел от сигарет, пролитый сок, мусорная корзина забита бутылками из-под водки, тоника, коньяка. Запах замкнутого круга и безнадеги. Я открываю окно, включаю кондиционер, но от этого атмосфера безысходности только сгущается: налицо контраст между свежим и здоровым и затхлым и больным. Этот тип (не меньше двух дюжин галстуков, перекинутых через дверцу шкафа) отличается от других постояльцев. Не только потому, что пьет и мусорит, — он еще и элементарных правил приличия не соблюдает. Переходит всякие границы самовыражения посредством вещей. Ему плевать, что о нем подумают. Он выплескивает наружу свой внутренний сумбур, доверяя его такой особе, как я. Здесь я чувствую себя сестрой милосердия, и это мне даже нравится. Я перевязываю кровать, израненную ночной бессонницей, вытираю лужицы крови — расплескавшийся по столу сок, выдергиваю, как колючки, бутылки из тела комнаты. Даже пылесос мне нужен для промывки ран. Потом я аккуратно раскладываю на кресле, вероятно, купленные накануне новенькие дорогие игрушки: плюшевые свидетельства гнетущего чувства вины. Должно быть, этот тип долго стоял перед зеркалом, примеряя галстуки. Возможно, даже менял костюмы, однако новый облик всякий раз вызывал у него омерзение. Потом он пошел в ванную — на умывальнике остался недопитый стакан. Этот человек неуклюж и беспомощен: пролил на пол шампунь и пытался вытереть лужу белым полотенцем. Я ему это прощаю. Устраняю следы его промахов. Привожу в порядок его косметику. Я знаю: он боится состариться. Вот крем от морщин, пудра, туалетная вода самой лучшей марки. Есть и румяна, и карандаш для глаз. Каждое утро, напуганный чуждостью собственного лица, он, вероятно, подолгу стоит перед зеркалом, стараясь дрожащими руками придать своему отражению прежние черты. Отражение расплывается; он придвигается поближе, пошатнувшись хватается за зеркало, пачкая его пальцами. Проливает шампунь, разражается бранью, начинает вытирать пол, а потом по-английски, по-французски или по-немецки бормочет: "Да насрать я хотел". И уже готов выйти на свет божий такой, какой есть, но, увидев себя в большом зеркале, капитулирует, возвращается в ванную и заканчивает макияж. Крем-пудрой затушевывает морщинки разочарованности в уголках рта и темные тени под глазами — следы бессонницы, и темные пятна на подбородке — следы приема лекарств. Карандашом подводит глаза, чтоб не так сильно выделялись покрасневшие

веки. Наконец решается уйти; когда вернется, ничто в ванной не должно напоминать, как низко он пал. И я здесь для того, чтобы отпустить ему все грехи. В какой-то момент у меня даже возникает желание оставить записку с одной только фразой: "Я тебя прощаю" — пусть подумает, что эти слова написаны самим Провидением, и отправится туда, где дети ждут не дождутся этих плюшевых игрушек, где у галстуков есть свое место в шкафу, где можно с опухшим от выпитого накануне лицом, со стаканом в руке выйти на веранду и во всю глотку проорать миру: "Да насрать я на тебя хотел!"

Но Провидение — это действительность, и если происходит то, что происходит, в этом наверняка есть какой-то глубокий смысл. Я оставляю комнату готовой к приему своего, как всегда временного, жильца.

В коридоре сталкиваюсь с Анджело, навьюченным мешками с грязным бельем. Мы обмениваемся улыбками. Я открываю дверь номера 223 и с первого взгляда убеждаюсь, что в этом номере живут

Молодые американцы

Ни одна из нас не любит убирать номера, где живут молодые американцы. И не из-за каких-то там предубеждений. Мы ничего не имеем против Америки, мы даже восхищаемся ею и скучаем по ней, хотя почти никто из нас ее никогда не видел. Но молодые американцы, которые останавливаются в отеле "Кэпитал", устраивают бесцельный, дурацкий беспорядок; ни смысла, ни толку в нем нет. Какой-то он неблагородный: убираешься и не получаешь ни малейшего удовлетворения. Да и устранить его практически невозможно; даже когда ты по очереди аккуратно расставишь все по своим местам, когда сотрешь пятна и следы уличной грязи, когда разгладишь все морщинки на покрывалах и подушках, когда проветришь комнату и выгонишь сложную смесь запахов, беспорядок исчезнет лишь на короткое время, точнее, спрячется где-то в углах и будет там поджидать возвращения своих хозяев. Скрежет ключа в замке немедленно его разбудит — тут он и ринется в комнату.

Такое безобразие учинить могут только дети: наполовину очищенный апельсин на постели, сок в стаканчиках для полоскания зубов, растоптанный тюбик зубной пасты на ковре. Разложенные как напоказ обрезки бумаг, метки от одежды из лучших магазинов, засунутые в шкаф подушки, сломанный надвое гостиничный карандаш, вещи из чемодана, вываленные на кресло, цветные открытки с адресами, но без текста, включенный телевизор, подвернутые занавески, сохнущие на кондиционере носки и трусы, высыпавшиеся из пачки сигареты, в пепельницах горки арбузных семечек.

С номера, в котором живут американцы, содрали его солидность, с ним обращаются запанибрата. Чудесный розовато-бежевый 223-й выставлен на посмешище, осквернен. Он выглядит как почтенный пожилой джентльмен в шутовском наряде.

Мне больно туда входить. Остановившись в дверях, я оцениваю масштабы погрома. Комната похожа на небольшое поле битвы. Дорогие шелковые платья, небрежно перекинутые через подлокотники кресла, запах роскошных духов, беззаботности, богатства, физической силы, роста метр девяносто восемь, запах пренебрежения к

порядку, без которого немыслимо существование вещей. Вся эта нервическая активность, нежелание считаться с настоящим и непонимание того, что именно настоящее — залог светлого будущего, будят во мне страх. Такова одна из воюющих сторон. Вторая — стабильный, конкретный, неизменный сегодня и вовек номер 223. И я становлюсь на его сторону.

Я начинаю медленно и методично наводить порядок, но Личных Вещей не трогаю. Быть может, они уже привыкли находиться не на своих местах.

Время здесь не течет, а скачет, и в мою душу закрадывается тревога. Телевизор орет, станция Си-эн-эн обрушивает на меня новости из гудящего мира, а мир заверяет станцию Си-эн-эн, что где-то там он существует, неизменно полный молодых американцев. Тревога в душе растет, движения становятся неловкими и изнуряющими, я начинаю спешить, начинаю посматривать на часы, стараюсь поскорей вырваться из состояния "сейчас" и переместиться в состояние "потом". Ругаюсь вполголоса: "Shit!" Пою: "Yankee Doodle went to town..."[1] Оставляю мокрую тряпку на деревянной столешнице. Это ужасная оплошность: дерево от влаги меняет цвет. Уж не заболела ли я? Убегаю в ванную, подальше от одуряющего гула, когда же мне наконец удается справиться с валяющимися на полу полотенцами, губками, обмылками и пузырьками, когда можно уже закрыть дверь ванной и сосредоточиться на мелочах, делается совсем тихо.

Ванная комната — изнанка номера, исподняя сторона жизни. В ванне после купания остаются волосы, на стенках оседает смытая с кожи грязь. Мусорный бачок полон использованных тампонов, бумажных салфеток и комочков ваты. Вот машинка для бритья ног, вот зеркальце: глядя в него выдавливают угри и жидкой пудрой маскируют неуверенность в себе. Вот тальк для ног, чтобы не потели, вот спринцовка и косметичка с презервативами. Ванная не в состоянии умолчать об этой, изнаночной, стороне жизни. Я убираюсь не слишком тщательно — возможно, боюсь уничтожить сакральные доказательства бренности живущих здесь людей. Может быть, им следует об этом знать. Может, у них не было случая увидеть это на экране телевизора, в газетах, которые валят в кучу, засовывают, как начинку в гамбургер, все что ни попадя; может, их не учили этому в школе, и этого не было в фильмах, и Армстронг не обнаружил этого на Луне. Знания о том, что с каждой минутой мы распадаемся. Живя, умираем. И они, и я.

Это сближает меня с богатыми, энергичными американцами, хотя между нами уйма различий. У них есть своя — недоступная воображению — страна, они живут в другом ритме, пьют по утрам апельсиновый сок, и на их языке говорит весь мир. Две тысячи лет назад они были бы римлянами, а я бы жила в провинции, на дальних рубежах империи, в какой-нибудь Галлии, в какой-нибудь Палестине. Но тело у нас из одной и той же глины, а может, из одного и того же праха, — тело, которое теряет волосы, стареет и увядает и оставляет на гладких боках ванны бордюр из грязи. Когда я раскладываю чистые полотенца и вешаю новые купальные халаты, я вдруг так остро ощущаю свою с ними общность в одинаковой нашей ничтожности, что застываю как столб. Подобное происходит со мной, когда, например, в кровати богатой и самоуверен-

1. Первая строчка популярной американской маршевой песни "Янки-Дудл".

ной дамы, приехавшей на серьезный научный конгресс, я обнаруживаю старого потертого медвежонка в детском платьице. Или когда в апартаментах какого-нибудь из Преуспевающих Хозяев Жизни простыни мокры от пота. Это Страх — вездесущая костлявая горничная — стелет им постели. И спасибо, что она есть. Без нее они уподобились бы старым богам — сильным, уверенным в себе, кичливым и глупым. А так, когда они лежат в удобных постелях после заполненного делами, деньгами, экскурсиями, покупками, важными встречами дня — лежат и не могут уснуть, и рассматривают замысловатый рисунок обоев на стене, — их усталые глаза начинают замечать в ритмично повторяющемся узоре то царапину, то дырочку, то лишнюю завитушку. Где-то вмятинка, где-то пятно, пыль, которую невозможно стереть, грязь, которую ни за что не смыть. В такие минуты ковры лысеют, как больные женщины, а неземная красота тюлевой занавески блекнет из-за прожженной сигаретой дырки. Атлас подушек расползается в швах, ржавчина точит дверные ручки. Четкие очертания мебели стираются, спутываются кисти на шторах. Плед теряет свою упругость, становится по-стариковски дряблым. Противно пахнет пылью. Я даже знаю, что́ тогда делают эти люди. Они встают, трясут головой и выпивают стаканчик чего-нибудь крепкого или проглатывают таблетку снотворного. Лежа с закрытыми глазами, считают баранов, пока сон не избавит их от тягостных мыслей. Утром эти ночные минуты кажутся им нереальными и неотличимыми от мучительных сновидений. Разве не каждый из нас время от времени видит дурные сны?

Я стою, прислонившись к двери ванной. Работа закончена. Мне хочется курить.

Теперь у меня два номера на выбор: 228 и 229. Я выбираю 229-й, каббалистическая сумма цифр которого составляет

Тринадцать

В этой цифре есть что-то лишнее, что-то фальшивое, как и в самой комнате — у номера 229 особый нрав. Он притягивает, обещает, сулит неожиданности. Сам по себе он вроде бы похож на другие: ванная справа, короткий коридорчик; и в комнате все как везде: кровать под коричневым покрывалом, обои в сероватых тонах, цветастые шторы, комод и зеркало. И тем не менее 229-й почему-то кажется пустым. В нем я слышу собственное дыхание, вижу свои набрякшие от воды руки, совсем не случайно отражаюсь в зеркалах. Когда б я сюда ни зашла, сразу чувствую какое-то напряжение. На прошлой неделе тут жила пара любовников, а может, молодоженов. Они вверх дном перевернули постель, разбросали полотенца, пролили шампанское. После них остались желтые пятна на простыне, огромная корзина цветов — свидетельство клятв в вечной любви. Корзину, к сожалению, пришлось выбросить. Этот номер труднее других привести в состояние полной готовности — он не желает терять свое лицо. Для гостей у него всегда припасен сюрприз. Подозреваю, что в первую же ночь он заманивает их в западню, насылает тревожные сны, задерживает на более долгий срок, пробуждает неожиданные желания и ломает планы. Две недели назад его обитатели забыли закрыть краны в ванной. Вода вытекла в коридор, залила пушистые ков-

ры, подмыла позолоченные обои. Испуганные гости стояли, завернувшись в простыни, а персонал носился туда-сюда с тряпками.

— Ничего страшного! Ничего страшного! — повторял Запата, выжимая мокрые тряпки, но лицо его выражало совсем другое: случилось страшное, глупые бестолковые люди подняли руку на отель "Кэпитал".

И такое всегда случается именно в 229-м.

229-й, вне всяких сомнений, номер своеобразный. Думаю, администрации это известно, иначе он бы не простаивал незаселенным чаще других. Вся нагрузка падает на комнаты с меньшими номерами, в начале коридора, — они ближе к лифту, ближе к лестнице, ближе к внешнему миру.

Если номер пуст, мне нужно только проверить, все ли в порядке, не собралась ли на мебели пыль, работает ли кондиционер. Проделываю я это все с особым тщанием. Разглаживаю покрывало, провожу пальцем по краям деревянных панелей, проветриваю, а потом сажусь на минутку в кресло и прислушиваюсь к своему учащенному дыханию. Комната обволакивает меня, обнимает. Это нежнейшая, бесплотная ласка — так может ласкать только замкнутое пространство. В такие моменты я отчетливо ощущаю, что мое тело существует и до краев заполняет розово-белую униформу. Я ощущаю воротничок на шее и холодок молнии между грудей. Чувствую, как плотно обхватывает талию поясок. Чувствую свою кожу — она живет, дышит, у нее есть запах — и чувствую волосы, щекочущие уши. И тогда мне хочется встать и посмотреть на себя в зеркало, и не было случая, чтобы я не удивилась. Это я? Это я? Я трогаю пальцами лицо, расправляю кожу на скулах, щурю глаза, крепче стягиваю резинкой волосы. Такой, кстати, я себя вижу в снах: всегда в зеркале, всегда с разными лицами.

Я стою и мечтаю: эх, выкупаться бы сейчас в стерильно чистой ванне, вытереться белым теплым полотенцем, а потом растянуться на коричневом покрывале и безмятежно слушать, как мы дышим — я и комната, комната и я.

Но сегодня 229-й заселен и на ручке снаружи висит картонка: можно убирать номер. Я открываю своим ключом дверь, вхожу — коробка с причиндалами под мышкой. И застываю разинув рот: комната не пуста. За письменным столом сидит мужчина над клавиатурой "ноутбука". Обретя дар речи, я прошу прощения и собираюсь уйти, полагая, что произошла ошибка, что он не той стороной повернул картонку. Однако он приглашает войти, и извиняется, и просит не обращать на него внимания.

Такое иногда случается. Я очень этого не люблю. Приходится спешить: неприятно делать свое дело под посторонним взглядом. Извечный порядок выворачивается наизнанку: теперь гость становится хозяином, а я — гостем. Я уже не всемогуща, моя роль ничтожна. Номера не рассчитаны на присутствие горничной и постояльца — мы друг другу мешаем. Нужно быстро и ловко перестелить огромную двуспальную кровать, а для этого ее следует отодвинуть от стены. Места-то мало. Сидящий за компьютером тип — ощутимая помеха. Мне уже ясно: он мне не нравится. Он пугающе живой.

Первым делом я снимаю простыню и наволочки с четырех подушек. Кладу чистую простыню; чтобы ее разгладить, надо обогнуть отодвинутую от стены кровать. Я чувствую, что мужчина за мной наблюдает. Посмотреть на него я не осмеливаюсь — не хочу встречаться с ним взгля-

дом. Тогда бы пришлось улыбнуться, он бы что-нибудь спросил, я вынуждена была бы ответить. Я стараюсь двигаться бесшумно, не шуршать. Положив поверх первой вторую простыню, протискиваюсь между кроватью и креслом, засовывая ее края под матрас. Проходя мимо вытянутых ног мужчины, я вся сжимаюсь, чтобы их не задеть, и тороплюсь, страшно тороплюсь. Сейчас он уже явно на меня смотрит, я в этом не сомневаюсь. Его вытянутые ноги — провокация, они мне мешают, я робею. От волнения и спешки меня бросает в жар. Икры больно напрягаются, когда я приподнимаю тяжелый матрас. Теперь надо надеть на подушки чистые наволочки. Не получается: одна подушка выскальзывает из рук, падает на пол. Я спотыкаюсь об нее и теряю равновесие. Лечу прямо в зрачки его изумленных глаз.

— Ты испанка? — спрашивает он.

— Ох, нет-нет.

— Еврейка?

Отрицательно мотаю головой.

— Откуда же ты?

Отвечаю; похоже, он разочарован. Закончив возиться с подушками, берусь за покрывало. Он с интересом наблюдает, как я мучаюсь с этой громадиной. Опять я возле него. На сей раз к нему спиной. Раскладывая подушки, чувствую его взгляд на своих икрах. Перемещаюсь к стене и прячу ноги за кроватью. Мне вдруг становится стыдно за мои черные туфли без каблука, и я невольно встаю на цыпочки. Досадно, что на мне эта некрасивая, не идущая мне униформа с фартучком и болтающимися у пояса ключами, а не элегантное платье наподобие тех, что я видела у американцев. И сама я несвежая, усталая, мокрая от пота. Мужчина за компьютером нагло меня разглядывает. Его взгляд блуждает где-то в области воротничка, молнии на груди, но я уже по другую сторону кровати. Надо бы еще раз пройти около него, чтобы положить маленькие подушки, но тогда бы пришлось снова повернуться спиной к хищному взгляду, и я просто бросаю подушечки на кровать. Присев на корточки, собираю грязное белье — постельное белье этого типа, который на меня пялится, — и чувствую, что мое тело разбухло и норовит выскочить из халатика. Объясняйся потом... А на каком языке, каким тоном, да и с какой стати? Потупившись, я пячусь к двери. Подхватываю коробку со своими баночками и губками, и вот я уже на пороге.

— Большое спасибо, — говорю я и понимаю, что благодарить мне его не за что. Это он должен галантно мне поклониться и поцеловать ручку. А я бы сделала книксен или что-нибудь в этом роде.

Я вижу, как он снисходительно кивает, и в его едва обозначившейся улыбке есть что-то такое, от чего я спешу взяться за дверную ручку.

— До свидания, — говорит он, но у меня нет ни малейшей охоты снова с ним увидеться.

И вот я уже за дверью.

Еще минуту стою прислушиваясь. Мне жарко, ноги болят, мышцы дрожат от усталости. Я так спешила, что сэкономила массу времени. Хорошо бы немножко передохнуть внизу.

И, оставив коробку у стены, я иду на четвертый этаж: там есть маленький проход на square — боковую лестничную клетку — и там начинается

для постоянных жильцов. Я спускаюсь на несколько ступенек, открываю одну дверь, вторую и наконец оказываюсь на огороженной барьерчиком площадке: подо мной глубокий, на три этажа, пролет, упирающийся в бельэтаж. Я смотрю вниз. Нигде, как всегда, никого.

Только полумрак и тишина. Все, что под тобой, уменьшается и отдаляется, становится менее отчетливым и более заманчивым.

Square — правда самая таинственная часть гостиницы. Тут все время нужно быть начеку, иначе в два счета заблудишься. Сплошные ступеньки, лестничные площадки, проемы и повороты. Этакая трехэтажная башня с пристройками; на каждом этаже — по два номера, обозначенных цифрами, начинающимися с семерки. Я знаю, что вообще-то номеров восемь, но понятия не имею, в каких закоулках прячутся еще два. Может быть, там живут человеконенавистники или брошенные жены, коварные братья-близнецы, угрюмые отвергнутые любовники. Может быть, эти номера снимают мафиози для незаконных сделок или главы государств, чтобы здесь, в замкнутом, закрученном по спирали пространстве, побыть простыми смертными.

В square номера не такие, как везде; фактически, это апартаменты. Пожалуй, даже не очень изысканные, а может быть, изысканные, но на свой, особый лад. Скрытые в стенах шкафы, лоджии, диковинная мебель и фальшивые книги. Целые полки уставлены фальшивыми книгами: Шекспир, Данте, Донн, Вальтер Скотт. Возьмешь какую-нибудь в руки — а это пустая картонная папка, прикинувшаяся обложкой. Библиотеки пустоты.

Когда спускаешься через square в туалет для персонала, нужно глядеть в оба, чтобы вконец не запутаться. Поначалу со мной такое случалось. Я открывала знакомые двери, но они вели не туда, куда должны были вести; оставляла коробку со своим хозяйством на какой-нибудь из лестниц, а потом не могла ее отыскать. Любовалась висящими на стенах репродукциями натюрмортов, а потом думала, что они мне приснились. С пространством здесь творится что-то странное. Пространство не любит винтовых лестниц, печных труб и колодцев — не любит и на-
зло норовит превратиться в лабиринт. Лучше всего — как я сейчас — держаться за барьерчик, огораживающий колодец. Не глядя ни вниз, ни вверх — только прямо перед собой.

Внезапно тишина нарушается. Где-то подо мной происходит что-то странное, сопровождающееся подозрительно ритмичными звуками: пуф, пуф и потом скрип. Я на цыпочках спускаюсь на один этаж, напрягшись, как кошка. Стон, скрип, стон, скрип. Что это? Я приближаюсь к двери, которая ничем не отличается от всех остальных дверей в Отеле, только в щели под ней — металлические штырьки. Странные звуки теперь слышны отчетливее, а еще к ним присоединяется сопение. Я осторожно прикладываю к двери ухо — сопение становится все громче, а скрип — все пронзительнее. Я в испуге отскакиваю, меня прошибает пот. звякают ключи у пояса.

За дверью все стихает. Я бесшумно взбегаю по лестнице на один марш, подхожу к барьерчику. Щелкают штырьки, дверь приоткрывается, и в коридор высовывается мужчина в одних трусах. В руке у него какая-то штука с пружинами, похожая на очень хитрый эспандер. Я

быстро отступаю к стене. С трудом утихомириваю разыгравшееся воображение.

По темной винтовой лестнице я спускаюсь в подвал, где расположены наши туалеты. Здесь светло от вульгарных люминесцентных ламп. Я влетаю в уборную и запираю за собой дверь. Набираю полные пригоршни холодной воды, мою лицо, руки, но прохладнее от этого не становится. Сажусь на унитаз. Сюда не проникает ни один звук. Стерильно, тихо, безопасно. Я сосредоточенно, неторопливо разглядываю порошок для мытья сантехники, бумажные полотенца, большую упаковку туалетной бумаги и написанные рукою мисс Ланг объявления — Краткую Историю Муштровки Персонала.

На верхнем листке значится: "Как ты думаешь, почему Отель закупает пакеты одноразового пользования?" — и подпись: "Мисс Ланг". Видимо, никто из девушек не сумел ответить на этот вопрос, потому что рядом еще один листок: "Стала бы ты кидать в бумажный пакет использованные средства личной гигиены?" Однако и этот крик души, вероятно, остался без ответа, поскольку ниже мисс Ланг красным карандашом приписала категорическое "Просьба не бросать прокладки и тампоны в унитаз!"

Я еще минутку сижу, изучая форму каждой буквы. Потом спускаю воду, приглаживаю волосы и отправляюсь на свой этаж — у меня ведь остался неубранным еще один номер,

Последний номер

Уже начало третьего, и гостиница оживает. Главный лифт ездит вверх-вниз, хлопают, открываясь и закрываясь, двери. Постояльцы отправляются в город: желудки дают о себе знать. Анджело, Спец по Грязному Белью, расположился в моей каморке и распихивает простыни по своим мешкам.

— Сколько тебе еще осталось? — спрашивает он.

— Один, — говорю я и в очередной раз убеждаюсь, что Анджело не место даже в таком элегантном отеле, как наш; ему место — в "Песни Песней". Там он мог бы ходить, скакать по горам как молодой олень. Потому что Анджело красив и величав, как горы в его родном Ливане.

Кивком он показывает мне, что из номера 228 выходит пара старичков. Я уже однажды видела их на пути к лифту. Он высокий и седой, чуть сгорбленный и держится лучше, чем она. Может быть, он моложе, а может, заключил какой-то договор со временем. Она — маленькая, высохшая, трясущаяся, еле передвигает ноги.

— Шведы. Она приехала сюда умирать, — говорит Анджело, а он все знает.

Возможно, Анджело шутит, но, глядя им вслед, я вижу, что старик не просто поддерживает жену — он ее почти несет. Кажется, стоит ему отстраниться, и она, как пустое платье, упадет на землю. Оба всегда в чем-то бежевом и пастельно-коричневом — это цвета Отеля. Оба седехонькие — седина такого рода уже позабыла все грехи.

Когда старички скрываются в лифте, я захожу в их номер. Мне нравится тут убираться. Делать особенно нечего: все вещи стоят на своих местах, точно вросли в пол корнями. В воздухе нет дурных снов, сопения, возбуждения. Чуть примятые подушки свидетельствуют: спят здесь

спокойно. Полотенца в ванной аккуратно развешаны, зубные щетки там, где им и положено, вымытые стаканчики отражаются в зеркале. Косметика только самая необходимая: обычный крем, эликсир для полоскания рта, нерезкие духи и туалетная вода. Когда я застилаю кровать, меня поражает отсутствие специфического запаха. Как будто в ней спали младенцы: детская кожа сама по себе ничем не пахнет; она лишь улавливает и задерживает наружные запахи: воздуха, ветра, раздавленной локтем травы и чудесный солоноватый аромат солнца. Именно так пахнет постель старичков. Когда спишь без греха, без далеко идущих планов, без бунта и отчаяния, когда кожа истончается и становится все больше похожей на бумагу, когда из тела, как из дурацкой резиновой игрушки, потихоньку уходит жизнь, когда видишь прошлое завершенным и занавес опущенным, когда по ночам начинает сниться Бог — тогда тело перестает оставлять свои метки в мире. Кожа воспринимает запахи извне и смакует их напоследок.

На столике у кровати лежат рядышком две книжки. Я прислушиваюсь, не вертится ли кто-нибудь в коридоре, и делаю то, что мне делать запрещено. Открываю первую книжку, вернее, не книжку, а толстую тетрадь; по-видимому, это дневник, так как на каждой странице дата, а под ней выведенные дрожащим округлым почерком слова на совершенно непонятном мне языке. Тетрадь исписана почти до конца, осталось не больше десятка пустых страниц. Вторая книжка — Библия по-шведски. Я ничего не понимаю, но все очень знакомо. Красной ленточкой заложено начало Книги Екклесиаста. Я пробегаю глазами по строчкам и, кажется, начинаю кое-что понимать. Сперва я узнаю отдельные слова, потом в памяти всплывают и накладываются на печатный текст целые выражения. “Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее”. Самые загадочные слова Священного Писания.

Когда с уборкой покончено, я на минутку присаживаюсь на свежезастланную кровать. Приятно ненадолго погрузиться в небытие. Потом я разглядываю свои руки, изъеденные жидкостью для мытья ванн, свои, уже заметно распухшие ступни в черных туфлях. Но тело мое живет и целиком заполняет кожу. Нюхаю рукав своего халатика — он пахнет усталостью, потом, жизнью.

Подумав, я оставляю немного этого запаха в номере 228.

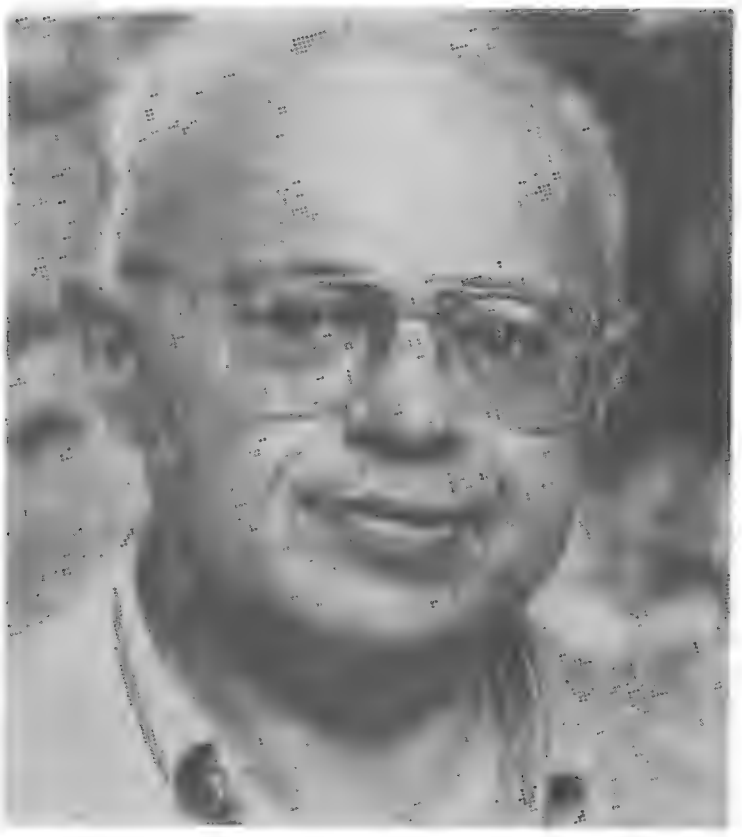
А потом запираю дверь и иду в свою каморку. Прячу пылесос, коробку с порошками и пастами, снимаю розово-белый халатик и несколько секунд стою голая, безликая — никакая. Чтобы наново свершилось Преображение, нужно надеть серьги, пестрое платье, взъерошить волосы и подкраситься.

По пути на залитую солнцем улицу я натыкаюсь на переодевающегося в подворотне Шотландца. Клетчатая юбка лежит на волынке, а он застегивает модные дырявые джинсы.

— Я знала, что ты поддельный, — говорю я.

Он улыбается таинственно и хитро мне подмигивает.

Станислав Лем



Что остается?

Перевод Ю. Чайникова

1. Жутко не хочется ничего писать. А особенно — вести переписку. Очень уж многим охота заиметь мой автограф. Добровольно, то есть не припертый экстренными обстоятельствами, я автографов не даю. Не понимаю, кому и на что они нужны. Ведь это — мусор. Любой автограф, в принципе. Теннисисты, вратари, кинозвезды тоже вынуждены давать автографы. Человеческая потребность в таком собирательстве всегда представляла для меня загадку. Поставленный на мною же написанной книге автограф, в сущности, не на месте, потому что создает впечатление, будто у владельца книги и у ее автора (люди любят автографы-посвящения, пусть и продиктованные ими самими) и вправду есть нечто общее. Какая-то тень настоящих дружеских отношений. Еще сложнее отвечать на письма — это воистину тяжелый труд. Артур Кларк наготовил кучу типографски отпечатанных стереотипных ответов, в которые ему оставалось вписать лишь пару слов. И адресатов это устраивало. Я в свою очередь считаю это неуважением к другим особам, хотя понимаю, что болтаю глупости: бывают проблемы, с которыми иначе не справишься.

2. Старость — это когда человек не просто стар, а понимает, что становится все старше. Досадное обстоятельство. Человек понимает, что его организм состоит из большого количества подсистем, за которыми, как может, следит дух. В больном теле, само собой, и душа больная, но я имею в виду не старческие болезни. У разных людей в разном возрасте

© by Stanisław Lem, Warszawa 1996
© Ю. Чайников. Перевод, 2000

отказывают разные подсистемы: в этом отношении мы чрезвычайно похожи на автомобили. Если сначала отказывает мозг — не беда. Ну а сердце... ведь это мотор, без него дальше не поедешь, и если нет приличной ремонтной мастерской, приходится пересаживаться в могилу. Вот я и думаю, что генная инженерия одним из первых продублирует человеческое сердце: ведь есть же две почки, могут быть и два сердца. Впрочем, здесь не место подробно обсуждать проблемы модернизации органов тела. Найдется какое-нибудь более эффективное средство для починки барахлящего сердца, чем довольно модное теперь пробивание закупоренных коронарных артерий при помощи зонда с шариком. И тогда на смену такой "пробивной" жизни придет новая — с участием добавочного сердца, а может, даже запасного. Пригодится и третья смена зубов. А все оттого, что Природа сформировала нас как существа, которым предназначено дожить до периода размножения, но полученный от первоначального толчка запас жизненной бодрости дает возможность дотянуть до сотни.

3. Сейчас, когда я пишу эти строки, в мире живет пять с половиной миллиардов людей. Абсолютно невозможно представить. Эта всемирная деревня (Маклюэн) полна гомона, трупов, мух, ползающих по детским полутрупикам, ежедневно она подвергается сильной компрессии, а телевидение каждый вечер вливает в нас, усевшихся перед ящиком со стеклянной стенкой, самый чудовищный из всех возможных кроваво-танковый экстракт. Если принцип отбора, при котором о 99,9999 % событий умалчивается, а сообщается лишь одна микрогигананомилличастица, не является формой лжи, тогда такого явления, как откровенная ложь, вообще не существует. Я смотрю разные информационные программы и, в частности, отмечаю своеобразие польских программ. Разумеется, везде в основе этноцентризм: то, что произошло в данной стране, подается в первую очередь. Поляки страдают весьма обширным вздутием самомнения и поэтому начинают с себя. Страшно много эпизодов с заседаниями за большими столами, с говореньем из-за столов, с подписанием чего-то такого, что, как правило, не соблюдается, и только после идут трупы на разных стадиях разложения, бомбы, катастрофы транспортные и природные (зимние, летние и круглогодичные — например, землетрясения). В этом смысле все каналы очень похожи друг на друга, и большинство из них не смеет рассекать новости рекламными вставками. Зато объем рекламы в других программах, особенно рекламы, прерывающей действие "на самом интересном месте", — величина постоянно возрастающая. Довольно много места занимает реклама видео- и оглушающей музыкой аудиоаппаратуры, но куда больше — прекрасных пейзажей и идиллических картин всеобщего счастья, приносимого поеданием разных там макарон. Даже супы вызывают необычайный восторг, что могло бы быть забавным, если бы их не было так много. Книги рекламируются чрезвычайно редко, практически — почти никогда. У реклам тоже есть своя парадигма. В последнее время тыльные части женской анатомии показывают, что называется, на грани фола (грубиян и хам сказал бы: вот голую ж... на секунду показали), как приманку. А вообще-то эта тема достойна более глубокого теоретического изучения.

4. Большинство людей голышом выглядят гадко, и оттого, думаю, желание прикрыть эти наши глупости, подверженные неумолимой гравитации, вызывало и вызывает настоятельную потребность в одежде, неизбежной производной от которой является мода. Журналы мягкого

порно, демонстрирующие наготу, врут, поскольку показывают микроскопическую толику всей популяции современных женщин. Стройных, ладных, пропорционального сложения. Я много видал таких журналов, но ножек "колесом" или "иксом" я там не заметил. А вот "Хастлер" публикует снимки голых женщин, которые сами того захотели: картинки весьма удручающие. Возможно, они вселяют надежду в сердца дам, сложенных так же или даже еще хуже. Кроме того, связь эротики с наготой эфемерная: например, уроки аэробики и прочих гимнастик проводят, как правило, симпатичные девушки, однако, сколько бы они ни скакали, сколько бы ни кувыркались, — никаких стимулов для секса. Все както удивительно бесполо. Видимо, эротическая привлекательность складывается из мелких элементов, а вовсе не требует выставления на всеобщее обозрение детородных органов, о которых можно сказать больше, чем мне хочется, но которые в рамках преобладающей у нас эстетики никак нельзя назвать красивыми per se, хотя и невыразительными их тоже не назовешь. Они исключительно функциональны, а красоты в них столько же, сколько в анатомии насекомого, рассматриваемого через увеличительное стекло. Я, конечно, высказываю свое мнение, и если когда-то я написал для американцев, что vulva вместе с волосяным покровом, увиденная в анатомическом атласе отца, произвела на меня удручающее впечатление, потому что я, ребенок, решил, что это паук или какое другое ползающее членистоногое, то теперь, по прошествии многих лет, могу лишь сказать, что тогда я написал правду. Правду личную, индивидуальную. Не уверен, бывают ли другие.

5. В продолжение поднятой темы людей можно бы разделить на две категории: одних вполне возможно представить в процессе полового акта без оцепенения и даже без ужаса, а другие выглядят так, будто они вообще созданы не для этих актов — не в смысле, что они физически не способны, а как будто кому-то захотелось использовать раскрытый зонтик в качестве зубочистки. Не вместо, а в качестве. Безумие ведь — но разве не безумие делить людей на два вида? Сексапильность — свойство уникальное, не терпящее множественности: сто тысяч голышек забивают друг друга, как и все случайно помещенные друг против друга полотна мастеров живописи (второе удачно отметил Гомбрович в своих "Дневниках").

6. Само собой, one man's meat is another man's poison[1] . Есть люди, которых привлекает убожество, уродство, любая мерзость. Это исступленные турписты. А глашатаем турпизма[2] на грани убийства из сладострастия и убийства просто ради убийства был де Сад. Теперь к этому вернулись, потому что эпоха вседозволенности уничтожила какие бы то ни было сдержки и скованность. Самая симпатичная мне часть молодежи старается это игнорировать, иначе говоря — хочет сделать эротику опять чем-то чистым и свежим, а не вонючим и вымазанным разными влажными выделениями. Уже за одно это молодежь достойна уважения, хотя, с другой стороны, ей нравится рок, о котором я скажу, что он — как немецкий соус к жаркому. Я утверждал, что существует только один такой соус, в единственном резервуаре, и его гонят по трубам по всей Германии. И что есть только одна по ритму и мотиву мелодия, которую по-разному инструментуют и называют, а играется она с ужасным грохотом, причем манера исполнения — нечто среднее между эпилепсией и случкой. Кон-

1. Что полезно одному, то другому вредно; о вкусах не спорят (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Турпизм — культ уродства.

вульсии — норма и там и там, различия лишь в частоте на единицу времени. Что поделаешь, я, старый, глухой, в этой музыке не разбираюсь, но считаю, что пребывает она в состоянии полной дегенерации: после такой музыки некуда больше идти и рано или поздно придется повернуть назад. Старые танго, фокстроты, лирические песни давали возможность идти в разных направлениях, а что делать с этим случкообразным дерганьем? Его можно только взять и выбросить, а освободившееся место заполнить чем-то другим. Для неомеломанов сказанное мною — страшная ересь, да только кричу я ее в холодную печь, зная, что никто не прильнет ухом к отверстию трубы. Кокетство? Пусть так.

7. Когда я пишу эти строки, российский космонавт, как сообщает "Интернэшнл геральд трибюн", вот уже 269 дней мотается вокруг Земли, потому как находится в длительном полете. Когда он стартовал, еще был СССР и космонавты были там любимой аристократией. Потом случился московский путч, а он все летал. Потом разлетелся и СССР, и уже в октябре 1991 года космонавт не мог приземлиться, потому что Байконур, где находился его космодром, стал суверенным, оказавшись в соседнем государстве, в Казахстане, и казахи потребовали от русских оплаты в валюте. Русские хотели послать в следующий полет казаха, но не нашлось местного профессионала, и затея провалилась, посему этот несчастный все летает и летает. Ко всему добавилась забастовка наземной обслуги полетов, но раз в неделю Сергей может разговаривать по радиотелефону с женой Леной, которая рассказывает мужу, сколько можно купить на жалованье космонавта, то есть на 500 рублей, или на 2 доллара 50 центов по текущему курсу. Как говорят французы, если живешь долго, то on peut voir tout et le contraire de tout. Можно увидеть все и противоположность всего. Почти тридцать лет тому назад в московской библиотеке им. Горького у меня состоялась встреча с читателями, со мной был Феоктистов, участник первого группового полета (с ним летали врач Егоров, у которого я ужинал, и Комаров, погибший в следующем полете из-за того, что, кажется, запутались парашютные стропы). Феоктистов — очень умный человек, книгочей (даже "Трилогию"[1] знал), доктор технических наук. Относительно экранизации Тарковским "Соляриса" он занимал точно такую же негативно-критическую позицию, что и я, и это определенно меня в нем привлекало. Так вот, после завершения встречи, когда я кончил пить кофе в комнатке рядом с залом, появился шофер, который должен был везти меня на телевидение. Отвез. Был вечер, темно, но я заметил, что лоб шофера покрыт крупными каплями пота. Я спросил его, что случилось. "Ничего, — сказал он, — я впервые в жизни увидел космонавта". Увидел космонавта! Вот как тогда котировались космонавты. Лишь тридцать лет спустя я прочитал в российской печати, что ради ублажения Политбюро (а летали в те времена не тогда, когда все было готово к полету, а когда надо было отметить какую-нибудь дату или почтить марксистских святых) Феоктистова, Егорова и Комарова запихнули в капсулу без скафандров, потому что уже ни на что больше не было места. Если бы что-то пошло не так, они бы погибли, но погибли во славу Советов. Впрочем, все обошлось. Тридцать лет спустя "Огонек" поведал, что путь к этой славе был кровав и вымощен увечьями и несчастьями. От головокружительного верчения

1. Речь идет о знаменитой трилогии Г. Сенкевича "Огнем и мечом", "Потоп", "Пан Володыёвский".

в центрифуге случались кровоизлияния в мозг, а так называемая барокамера доводила людей чуть ли не до смерти и непоправимых нарушений в организме, наступавших вследствие повышения содержания углекислоты в воздухе этой барокамеры: врачам надо было убедиться, сколько может выдержать человек. Несколько ранее другие господа врачи экспериментировали в гитлеровских концлагерях: они сажали русских военнопленных зимой голышом в бочку с водой. Им надо было выяснить, долго ли такой протянет, а он, несчастный, замерзал и жутко стонал! Были и такие врачи, которые потихоньку душили пленных и евреев, понижая давление в барокамере, чтобы установить, когда человек начнет подыхать. Или, например, уже почти замерзших (решалась задача спасения получивших переохлаждение летчиков, возвращавшихся после налетов на Англию и сбитых над Ла-Маншем) обогревали голыми женщинами и смотрели: разогреет ли такой полутруп coitus с женщиной или нет. И этих врачей никто не повесил, с чем я до сих пор не могу примириться.

8. Югославия и Великая Сербия. Если бы в Хорватии была нефть, то Шестой флот США сразу пожаловал бы туда для спасения независимости, а летчики ВВС США моментально закрыли бы небо над бывшей Югославией. Однако, если там что-то тогда и летало, то это была югославская (то есть сербская) авиация, в частности подвергшая бомбардировке и превратившая в руины тридцать пять процентов старого — шестисотлетнего — центра Дубровника, носившего имя Жемчужины Адриатики. К чертовой матери ее, эту жемчужину! Я бы тех господ, что отдавали приказы, жестоко наказал. Признаюсь, что я сторонник смертной казни, но только в трех случаях:

а) за убийство безоружных;

б) за смертельные истязания несовершеннолетних (детей);

в) за совершение террористами бессмысленных убийств, жертвами которых становятся ни в чем не повинные люди, ибо считаю, что фактически терроризм сродни охоте, травле крупного зверя, поскольку такие рисковые акции доставляют исполнителям удовольствие, смертная же казнь необходима, потому что казненного террориста уже никакими способами не удается освободить (даже если, к примеру, его сообщники угрожают жизни захваченных заложников). Тем террористам, которые убивали только намеченные жертвы, наказание можно смягчить, дав им заснуть таким сном, от которого они не пробудятся. Я не принадлежу к числу гуманистов — противников смертной казни. Считаю, что ради спасения людей можно и убивать: для того, чтобы спасти жизнь будущим потенциальным жертвам, схваченного террориста надо судить и предложить ему что-нибудь вроде электрического стула или ампулы с цианистым калием.

9. Коль скоро речь зашла о смерти, замечу, что можно выступать за аборты или против них, но нельзя выступать против фактов. 41% оплодотворенных яйцеклеток теряется в результате нормального физиологического процесса, и этот факт совершенно точно установлен на всех континентах. Если сюда добавить все недоношенные беременности и предположить, что оплодотворенная яйцеклетка это тоже своего рода недоношенная беременность, то гибнет 42 %. Если бы все Церкви и все врачи мира сговорились и решили, что каждая оплодотворенная яйцеклетка — это человек, может быть даже Настоящий Поляк, ничто не изменит того факта, что от 41% таких зигот организм освобождается сам. И это вовсе

не следует считать чем-то катастрофическим. Предшественники половых клеток имеют двойной, или диплоидный, набор хромосом, и лишь уже готовые к слиянию сперматозоиды и яйцеклетки избавляются от половины хромосом, оставляя себе половинный (гаплоидный) набор. Поскольку процесс оплодотворения всегда сложен и не всегда успешен, то Природа в ходе эволюции сформировала как бы входной фильтр, производящий очистительный отбор: если яйцеклетки, не сдавшие этот "экзамен" из-за каких-то серьезных дефектов, чреватых наследственными болезнями, окажутся оплодотворенными, они сразу же удаляются. И это та истина, с которой не поспоришь. Другое дело, что данный способ очищающего отбора отнюдь не совершенен. Медицине известны свыше двух тысяч наследственных болезней или физических недостатков, с которыми доношенный ребенок появляется на свет. Лишь небольшой процент таких болезней поддается лечению. Профессор Рыбакова, чьи заявления о полной излечимости всех наследственных заболеваний и пороков на прекрасной оранжевой бумаге два раза приносила мне почта, наверно, является специалистом по улиткам, а не по людям, потому что иначе следовало бы сказать, что она беззастенчиво врёт. У нас в семье есть случай болезни Дауна, а болезнь как была, так и осталась неизлечимой. (Результат удвоения определенных хромосом у женщин, как правило приближающихся к климаксу, но это всего лишь статистическая связь: чем старше беременная, тем выше вероятность родить дауна). Рвение христиан, готовых лгать ради веры, представляется мне малопонятным, потому что ложь отвратительна всегда, за исключением так называемой white lie[1] англоамериканцев, не имеющей, однако, ничего общего с верой. Равным образом неэтичным видится мне отказ от пренатальных обследований, но я должен оставить этот сюжет.

10. Суть в том, что статистически человек разумный глуп, и чем больше развита техника, тем выше шансы глупости, ее способности множиться, озорничать, а то и уничтожать, попирать, разрушать и убивать. Тот, кто боится наказания, или мести безличного права, может per procura[2] поиметь удовольствие, просматривая фильмы и видеокассеты, показывающие, например, как девушку (живую) режут на части механической пилой. Возможно, там и ручная где есть, не знаю. Видимо, пока человек был австралопитеком, он был мирным вегетарианцем, как большие широконосые обезьяны, но, сойдя с дерева, он погнался за зверьем, потому что у него разыгрался аппетит на филе, и он обмясоедился до такой степени, что съел брата своего, неандертальца. Его защитники говорят, что вовсе не съел и что вообще homo sapiens не убивал hominem neanderthaliensem, а только "вытолкнул" его из жизненной ниши. Вытолкнул — да, но зачем же в могилу? Говорят, что он спарился с ним, и отсюда сегодняшние хамы, но иные антропологи настаивают — это тоже гипотеза, — что homo sapiens вообще ничего общего с неандертальцем не имел, то есть что с неандерталкой он спариться не мог, потому что слишком уж различны были эти виды. Как знать. Существует масса гипотез, обращенных к антропогенезу, и ни одна не располагает всей полнотой доказательного материала. Даже в отношении происхождения секса (а это как-никак вопрос на 80 миллионов лет старше древа человеческой генеалогии) нет одного-единственного четко определенного мнения.

1. Невинная ложь (*англ.*).
2. Через посредство, опосредованно (*лат.*).

Джордж Стайнер

Великая 'Ennui'[1]

Эссе из книги "В замке Синей Бороды. Заметки к новому определению понятия "культура"

Подзаголовок к моей работе — "Заметки к новому определению понятия "культура" — восходит, разумеется, к "Заметкам" Элиота 1948 года. Книга эта не слишком веселая: на ней лежит отпечаток ужаса, испытанного автором от недавнего варварства, источники и формы которого он, впрочем, почему-то аккуратно обходит стороной. И тем не менее "Заметки к определению понятия "культура" по-прежнему актуальны, являясь, вне всяких сомнений, продуктом исключительно острого ума. В своем очерке я буду постоянно возвращаться к положениям эссе Элиота, взыскующего порядка.

Нами управляет не прошлое как таковое, а образы прошлого. Нередко они отличаются столь же сложной организацией и избирательностью, как и мифы. Образы и символы прошлого сказываются на наших чувствах с определенностью генетической памяти. Каждая новая историческая эпоха отражается в наглядной и активной мифологизации своего прошлого или же прошлого, заимствованного из других культур. На этом прошлом она словно бы испытывает свое восприятие идентичности, упадка или новых достижений. Эхо, посредством которого общество старается определить осмысленность, мощь и авторитетность собственного голоса, звучит не впереди, а у нас за спиной. Очевидно одно: в данном случае мы имеем дело с весьма сложными механизмами и в их основе лежит жизненно важная, хотя и неясно выраженная потребность в целостности, неразрывности исторического существования. Обществу нужно прошлое, и, когда его нет либо когда общество ново или же воссоединилось после долгого периода рассеяния или порабощения, столь необходимое прошедшее время в грамматике исторического существования устанавливается в виде санкции — интеллектуальной и эмоциональной. Такова "история" американских негров и современного Израиля. Впрочем, решающий мотив может быть и чисто метафизическим. История почти каждого народа бережно хранит память о своем золотом веке: когда-то, в стародавние времена, жизнь была лучше некуда — во всяком случае, лучше, чем теперь. Человек жил в полном согласии с естественной средой. Миф о грехопадении звучит убедительнее отпущения грехов. Нет ни одной цивилизации, пожалуй даже, ни одного индивидуального сознания, которое бы не несло в себе ответ на вопрос, чем вызвано столь свойственное всем нам ощущение неминуемой катастрофы. Где-то в этом "темном и священном лесу" мы пошли не в ту сторону, после чего человеку пришлось вести борьбу — социальную, психологическую — с естественным порядком вещей.

В современной западной культуре, или "посткультуре", мотив несостоявшейся утопии исключительно важен, хотя ничего мистического,

© А. Ливергант. Перевод, 2000

1. Скука, тоска, досада (*франц.*). (*Здесь и далее – прим.перев.*)

религиозного он в себе не несет. В основе свойственного всем нам сегодня чувства замешательства, упадка и нравственного тупика, готовности поверить в то, что искусство окончательно обесценилось, что личные и общественные формы существования зыбки и недолговечны; в основе испытываемого нами ужаса перед новым "безвременьем", когда все человеческое может быть стерто с лица земли либо останется в виде разрозненных островков отжившей цивилизации, — в основе всех этих страхов, ставших в своей наглядности и распространенности доминирующим стереотипом современного умонастроения, лежит сравнение. За неуверенной поступью сомнений и самобичеваний сегодняшнего дня стоит — незримо, но явственно присутствуя — день вчерашний, некий золотой век. Наш опыт настоящего, наши суждения, нередко отрицательные, о своем месте в истории постоянно противопоставляются тому, что я бы назвал "мифом XIX века" или "воображаемым садом либеральной культуры".

Этот сад в Англии и в Западной Европе рисуется нам где-то между 1820 и 1915 годами. Начальная дата совершенно условна — конец же затянувшейся оттепели апокалиптически точен. Основные черты этого временно́го ландшафта угадываются безошибочно. Высокая и неизменно растущая грамотность. Власть закона. Демократические формы правления, которые хоть и далеки еще от совершенства, но с каждым годом используются все шире. Приватность домашнего очага и растущая безопасность на улицах. Добровольное признание первостепенной экономической и воспитательной роли искусств, наук и технического прогресса. Настойчивое, пусть и не всегда успешное, стремление к мирному сосуществованию между народами (что и было в период между Ватерлоо и Соммой в целом достигнуто). Утверждение динамичного, гуманно регулируемого баланса между социальной мобильностью и стабильностью, основанными на законе и силе привычки. Подчинение младшего поколения старшему, гармония в отношениях умудренных опытом отцов и непокорных детей. Сексуальное воспитание, базирующееся на добровольном и в то же время жестком сдерживающем начале. Признаков поступательного развития можно было бы привести еще очень и очень много. Но и из перечисленных примеров ясно: в результате рождается богатый и убеди́тельный образ, та символическая основа, что с настойчивостью живой мифологии оказывает влияние на наши сегодняшние чувства и мысли.

В зависимости от наших интересов мы присваиваем себе различные части этого сложного целого. Родитель, к примеру, "знает", что прошлый век отличался строгостью воспитания и послушными детьми. Социолог "знает", что городская культура прошлого века в целом отличалась неприятием анархии, внезапных взрывов насилия. Верующий и моралист "знают" о безвременно утраченной эпохе всеобщих ценностей. У каждого из нас возникают в воображении "свои" образы: у одних это упорядоченный быт, уединение, вышколенная прислуга; у других — воскресные парки, ухоженные тропинки, празднично одетые пары; у третьих — школьные уроки латыни, стройные ряды учащихся на лужайке колледжа или же погруженные в тишину книжные магазины и корректные парламентские дебаты. Любители книг "знают" — и не понаслышке — о том времени, когда серьезные литературные и научные издания продавались по низкой цене и вызывали широкий отклик, доброжелательный или критически вдумчивый. Сегодня еще живы многие из тех, для кого то знаменитое безоблачное небо 1914 года простирается далеко-далеко, в эпоху более цивилизованную, более самонадеянную, более гуманную, чем любая из тех, что пришли ей на смену. Руководствуясь воспоминаниями этих людей о том великом лете, а также нашим собственным символическим знанием о нем, мы и оцениваем нынешние холода.

Между тем, задумавшись об источниках этого знания, мы увидим, что часто они носят чисто литера-

турный или изобразительный характер, что наш воображаемый XIX век — это создание Диккенса или Ренуара. Послушав историка, особенно историка-радикала, мы быстро уясним себе, что "воображаемый сад" — это в значительной степени и есть плод нашего воображения. Что под тонким слоем цивилизованности простиралась глубокая пропасть социальной эксплуатации, что буржуазная сексуальная этика была фанеркой, прикрывающей бушующий кратер лицемерия; что критерии истинной грамотности были приложимы лишь к очень немногим; что представители разных поколений и классов общества питали друг к другу лютую ненависть, пусть часто и невысказанную; что общественная безопасность faubourg[1] и парков находилась в прямой зависимости от того, сумеет ли полиция удержать преступность в границах городских трущоб, где она была узаконена. Узнать горькую правду о том, что́ собой представлял рабочий день на викторианской фабрике и какова была́ детская смертность на шахтах северной Франции в 70—80-х годах прошлого века, большого труда не составит. Приходится с неизбежностью признать, что интеллектуальные богатство и стабильность среднего и высшего классов общества на всем протяжении безоблачного либерального лета напрямую зависели от экономического и в конечном счете военного господства над обширнейшими территориями, которые принято теперь называть "слаборазвитыми странами" или "третьим миром". Все сказанное в доказательствах не нуждается. Мы и сами прекрасно это сознаем, когда рассуждаем логически, и все же нам ближе не общеизвестные факты, а миф, сложившаяся метафора, которая отличается одновременно всеобщностью и емкостью, — метафора великого сада цивилизации, ныне опустошенного.

В каком-то смысле в такого рода ностальгических фантазиях повинен и сам XIX век. Из его собственных высказываний о себе можно составить целую антологию, в которой сквозит энергичная и самодовольная гордость. Интонацию "Локсли Холла"[1] можно было услышать в разное время и в разных местах. Например, в знаменитом панегирике Маколея о новых горизонтах науки из его эссе о Бэконе 1837 года:

> Она удлинила жизнь; она уменьшила боль; она сократила число болезней; она увеличила плодородие почвы; она сделала профессию моряка более безопасной; она выковала воину новое оружие; она перекинула через великие реки и озера мосты, о которых отцы наши не могли и помыслить; она покорила молнию, направив ее с небес на землю; она озарила ночь ослепительным светом дня; она расширила границы человеческого ви́дения; она умножила силу человеческих мускулов; она ускорила движение; она уничтожила расстояния; она упростила общение, переписку, дружеские и деловые контакты; она позволила человеку погрузиться в морскую пучину, взмыть в воздух, проникнуть в самую толщу земной коры, путешествовать по земле с огромной скоростью, бороздить океаны на кораблях, которые делают десять узлов против ветра. И это лишь часть ее плодов, это лишь самые первые ее плоды, ибо по самой философии своей она никогда не пребывает в состоянии покоя, никогда не почивает на лаврах, никогда не достигает совершенства. Ее закон — прогресс.

Апофеоз второй части "Фауста", гегельянский историзм с его доктриной самоосуществления Духа, позитивизм Огюста Конта, философский сайентизм Клода Бернара — все это выражения той же самой энергичной безмятежности, безграничной веры в превосходство факта. Сейчас, однако, все эти теории не вызывают у нас ничего, кроме озадаченности и иронии.

Другим эпохам, впрочем, тоже было чем гордиться. Привычный для нас образ распавшейся ныне связи

1. Предместье (*франц.*).

1. "Локсли Холл" (1842) — поэма Альфреда Теннисона (1809—1892).

времен — основы, что раньше держала, а теперь не держит[1] — имеет больший авторитет, чем историческая истина. Факты могут этот образ опровергнуть, но не устранить. Он отвечает какой-то глубоко укоренившейся психологической и моральной потребности. Дает нам равновесие, диалектический противовес, с помощью которого оттеняются условия нашей собственной жизни. Подобный процесс естествен, почти органичен. Люди, жившие в Римской империи, воспринимали утопии республиканской добродетели сходным образом; тем, кто знал ancien régime[2], казалось, что жизнь они доживают в каменном веке. В наших фантазиях находят свое выражение сегодняшние кошмары. Я вовсе не пытаюсь отрицать этот процесс или истолковать "аутентичное ви́дение" либерального прошлого. Я просто предлагаю взглянуть на "лето 1815–1915" под несколько иным углом зрения. Не как на некий всеобщий символ благополучия, который воспринимается таковым по контрасту с нашими трудностями, а как на источник этих трудностей. Моя идея состоит в том, что истоки сегодняшнего варварства, истоки кризиса нашего времени, заставившего дать понятию "культура" новое определение, следует искать в миролюбивом XIX столетии, в самом средоточии сложнейших процессов цивилизации.

Речь пойдет главным образом о слове ennui. "Скука" — перевод неточный, равно как и Langweile[3] — разве что в том значении, какое вкладывает в это слово Шопенгауэр; гораздо ближе по смыслу la noia[4]. Я имею в виду разнообразные процессы фрустрации, накопившейся désœuvrement[5]. По мере нарастания энтропии энергия преображается в рутину. Повторяющееся движение или бездействие, если они длятся достаточно долго, выделяют в кровь ядовитую смесь — язвительность и апатию. Лихорадочная летаргия, тошнотворное головокружение (столь точно описанное Колриджем в "Biographia Literaria"[1]) у человека, оступившегося на темной лестнице, — схожих терминов и образов найдется сколько угодно. Ближе всего здесь "сплин" в том смысле, как его понимает Бодлер; этим словом передается состояние озлобленного, смутного ожидания — вот только чего? — и сумрачной апатии:

Rien n'égale en longueur les
boiteuses journées,
Quand sous les lourds flocons des
neigeuses années
L'ennui, fruit de la morne incuriosité,
Prend les proportions de l'immortalite.
— Désormais tu n'es plus, ô matière
vivante!
Qu'un granit entouré d'une vague
épouvante,
Assoupi dans le fond d'un Sahara
brumeux;
Un vieux sphinx ignoré du monde
insoucieux,
Oublié sur la carte, et dont l'humeur
farouche
Ne chante qu'aux rayons du soleil qui
se couche[2].

1. Аллюзия на стихотворение У. Б. Йейтса (1865–1939) "Второе пришествие":
Шире и шире кружась в воронке,
Сокол сокольничего не слышит;
Связи распались, основа не держит;
Анархия выплеснулась на землю...
Перевод А. Сергеева.
2. Королевская власть (*франц.*).
3. Скука (*нем.*).
4. Тоска, скука, досада (*итал.*).
5. Праздность (*франц.*).

1. "Литературная биография" (*лат.*; 1817) — автобиография Сэмюэла Тейлора Колриджа (1772 — 1834), где существенное место занимают полемические заметки о Канте, Фихте, Шеллинге, а также о поэзии Вордсворта.
2. Отрывок из стихотворения Ш. Бодлера "Сплин и идеал" ("Цветы зла"):
...Бредут хромые дни неверными шагами,
И, вся оснежена, погибших лет клоками,
Тоска, унынья плод, тираня скорбный дух,
Размеры страшные бессмертья примет
вдруг.
Кусок материи живой, ты будешь вечно
Гранитом меж валов пучины бесконечной,
Вкушающий в песках Сахары мертвый сон!
Ты, как забытый сфинкс, на карты не
внесен, —
Чья грудь свирепая, страшась тепла и
света,
Лишь меркнущим лучам возносит гимн
привета!
Перевод И. Анненского.

"Vague épouvante", "humeur farouche"[1] — это сигналы, к которым мы должны будем прислушаться. Здесь же я хочу подчеркнуть, что разъедающая *ennui* — не менее важный элемент культуры XIX столетия, чем непреложный оптимизм позитивиста и вига. Сырыми, если воспользоваться запоминающимся образом Элиота, были в те времена отнюдь не только души служанок[2]. Над общественной и интеллектуальной жизнью сгустился, можно сказать, болотный газ скуки и пустоты. На каждый аргумент, преисполненный бентамова[3] самодовольства, на все рассуждения об историческом прогрессе найдется контраргумент, пронизанный нервной истомой. 1851 год был не только годом Всемирной выставки, но и годом выхода в свет десятка безутешно горьких стихов, которые Бодлер издал под симптоматичным заглавием "Полудрема". Для меня самым запоминающимся, поистине пророческим криком отчаяния в XIX столетии являются слова Теофиля Готье: "Plutôt la barbarie que l'ennui!"[4]. Проследив истоки этого извращенного желания, этой непреодолимой жажды хаоса, мы приблизимся к пониманию нашего собственного состояния, того, насколько наше нынешнее положение вобрало в себя сомнительные идеалы прошлого.

Никакие цитаты, никакая статистика не в состоянии передать то внутреннее возбуждение, то увлекательное приключение духа и эмоций, которое было вызвано событиями 1789 года и продолжалось вплоть до 1815 года. В сущности, эта лихорадочная круговерть по своему географическому и социальному размаху значительно превосходила революцию и войну. Французская революция и наполеоновские войны — la grande épopée[1] — в буквальном смысле слова ускорили ход времени. Историями о чувстве времени, о меняющемся ритме в человеческом опыте постижения жизни мы не располагаем. Зато у нас есть достоверное свидетельство того, что жившие в 90-е годы XVIII века и в первые полтора десятилетия XIX и припоминающие ритм жизни "при прежней власти" чувствовали, что само время и работа духа претерпели значительное ускорение. Олицетворением этих великих перемен могут служить опоздание Канта на традиционную утреннюю прогулку из-за полученных известий о падении Бастилии и решение республиканских властей вести отсчет календаря заново, с l'an un[2]. Даже в сознании современников каждый последующий год политической борьбы и социальных катаклизмов приобретал отчетливую, строго очерченную индивидуальность. 1789-й, Quatrevingttreize[3], 1812-й — это нечто гораздо большее, чем временные вехи; эти годы символизируют собой великие бури естества, столь неожиданные метаморфозы исторического ландшафта, что они почти сразу же приобрели упрощенную значимость легенды. (Поскольку ничто так живо не реагирует на перемены, как музыка, бетховенские tempi[4], учащенный пульс его симфонической и камерной музыки тех лет представляют собой несомненный исторический и психологический интерес.)

Человеческий опыт в это время не только приобретает ускорение, но и становится более напряженным. Отвлеченному объяснению этот тезис поддается с трудом. Однако о напряжении человеческого опыта в полной мере свидетельствуют и литература того времени, и воспоминания современников. Сегодняшний рекламный штамп "...Вы почувствуете себя более живым, чем раньше!" воспринимался бы в те годы совершенно буквально. До Французской революции, до наступлений и контрнаступлений наполеоновских армий от Ла-Ко-

1. *Букв.*: "смутный ужас", "ожесточившийся нрав" (*франц.*).
2. Имеется в виду стихотворение Т. С. Элиота "Утро у окна".
3. Иеремия Бентам (1748–1832) — английский философ, социолог, юрист; родоначальник философии утилитаризма.
4. "Лучше варварство, чем тоска" (*франц.*).

1. Великая эпопея (*франц.*).
2. Первый год (*франц.*).
3. Девяносто третий (*франц.*).
4. Ритмы (*итал.*).

руньи до Москвы, от Каира до Риги история по большей части была привилегией и страхом лишь очень немногих. Речь, естественно, идет только об осознанной привилегии и об осознанном ужасе — все люди подвергались лишениям и угнетению точно так же, как и опасности заболеть. Однако раньше в обрушивавшихся на людей лишениях ощущалось некое высшее таинство; события же 1789—1815 годов делают отдельно взятого человека, его жизнь частью исторического процесса. Levée en masse[1] революционных армий — это нечто гораздо большее, чем средство ведения затянувшихся военных действий и социальное внушение. Смысл ополчения вовсе не ограничивается тем, что с прежними методами ведения войны — профессиональная армия, ограниченный участок боевых действий — было покончено. Как прозорливо заметил под Вальми Гёте, армии, состоящие из ополченцев, да и само по себе понятие "вооруженная нация", означали, что история стала всеобщим уделом. С тех пор в западной культуре каждый день призван был вновь и вновь приносить новости о том, что кризис продолжается, что рвутся связи с пасторальной тишиной и единообразием XVIII века. Как здесь не вспомнить историю Де Куинси о почтовых каретах, что мчатся по Англии, разнося весть о начале войны на Пиренеях![2] Всякий раз, когда самый обычный человек, мужчина или женщина, бросал взгляд на дорогу, он видел за изгородью своего садика лес штыков. Когда Гегель завершал свою "Феноменологию", высшее выражение новой напряженности бытия, он слышал, как по ночным улицам гулко стучат копыта наполеоновской конницы: через несколько дней ей предстояло принять участие в битве под Йеной.

Будущего времени в истории нет и у нас (в другом контексте я попытаюсь показать, чем была бы такая грамматическая феноменология). Совершенно ясно, однако, что революционные и наполеоновские десятилетия принесли глубокие, эмоционально насыщенные изменения: прогресс, личные и общественные права и свободы, носившие раньше условный, нередко чисто аллегорический характер, неожиданно предстали чем-то совершенно реальным, осязаемым. Великие метафоры обновления, строительства словно по указанию свыше обращенного к человеку города разума вдруг обрели непосредственность и драматизм реальности. Вечное "завтра" утопических воззрений в одночасье превратилось в "утро понедельника". Читая декреты Конвента и якобинского режима, мы испытываем головокружительное чувство безграничности наших возможностей: несправедливость, предрассудки, бедность должны быть устранены сегодня, сейчас, в эту самую героическую минуту. Мир сменит свою сносившуюся кожу в ближайшие же две недели. В грамматике Сен-Жюста будущее время находится от нас на расстоянии нескольких мгновений. Чтобы проследить, сколь стремительно происходило вторжение этих чаяний в мировосприятие частного лица, достаточно бросить взгляд на "Прелюдию" Вордсворта и на поэзию Шелли. Наиболее же проницательную оценку этого явления следует, по-видимому, искать в экономических и политических работах Маркса 1844 года. Пожалуй, ни разу с раннего христианства не ощущалось с такой очевидностью, что обновление, конец ночи столь близки.

Ускорение времени, новая интенсивность и историчность индивидуального сознания, внезапная близость спасительного будущего — все это привело к существенным изменениям в отношениях между полами. Свидетельств тому немало. Эти изменения дают себя знать еще в стихах Вордсворта, посвященных Люси, а также в проницательном замечании о чувственности в "Предисловии к "Лирическим балладам" 1800 года[1].

1. Поголовная мобилизация, народное ополчение (*франц.*).

2. Стайнер имеет в виду очерк Томаса Де Куинси (1785—1859) "Английская почтовая карета".

1. Первое издание "Лирических баллад" — сборника стихотворений Вордсворта и Колриджа — вышло в 1798 году; предисловие написано для второго издания.

Проявляются эти изменения при сравнении, пусть и беглом, между "Дневником для Стеллы" Свифта[1] и письмами Китса к Фанни Браун[2]. Насколько мне известно, ничто из написанного прежде не может сравниться по драматическому, самоосуждающему эротизму с "Liber Amoris" Хэзлитта[3]. Эротизм дает себя знать как в "сексуализации" пейзажа, когда погода, время года, какой-то определенный день и час являются символическим выражением эротического настроения, так и в потребности передать более интимный опыт, испытать чувственное переживание в полной мере и вместе с тем предать этот опыт гласности. Чем были вызваны подобные тенденции? На мой взгляд, частичной эмансипацией женщин, активной ролью некоторых из них в политической жизни и в публичных дискуссиях, а также нарушением декорума и формальных правил, присущих кастовой системе ancien régime. Нетрудно увидеть, каким образом интенсификация и расширение эротического начала стали неотъемлемой частью истории революции и европейских завоеваний. И тем не менее феномен этот — с его кульминацией в вагнеровской амальгаме эроса и истории — остается сложным, в каком-то смысле непроясненным; и тот факт, что наша собственная сексуальность носит отчетливо постромантический характер, что многие из наших собственных условностей являются следствием переоценки роли эротического начала в период от Руссо до Гейне, ничуть не упрощает анализа этого феномена.

Совместив все эти аспекты, можно с уверенностью сказать, что за период более сжатый, отмеченный обострением индивидуальной и социальной восприимчивости, по сравнению с любым другим временем, о котором мы имеем достоверную информацию, в Европе произошла невиданная переоценка ценностей. Гегель с присущей ему неопровержимой логикой чувства заметил, что сама история переходит в новое состояние, что прежний порядок свое существование прекратил.

За всем этим последовал, как водится, долгий период реакции и застоя. В зависимости от политической фразеологии это время можно представить либо как эпоху расцвета буржуазии, которая использовала Французскую революцию и наполеоновскую буффонаду в своих экономических интересах, либо как столетие либерального реформизма и цивилизованного порядка. Это мирное столетие, прерываемое лишь довольно вялыми революционными судорогами 1830, 1848 и 1871 годов, а также короткими войнами, носившими, как Крымская и Прусская, сугубо профессиональный, социально консервативный характер, сформировало западное общество и установило культурные нормы, в рамках которых вплоть до самого последнего времени существовали мы все.

Те, кто на личном опыте испытал эти перемены: падение напряженности, нежданно сгустившиеся сумерки, — впали в глубокую депрессию. Корни "великой *ennui*" следует искать в годах, которые последовали за Ватерлоо и которые еще в 1819-м Шопенгауэр назвал разлагающей болезнью нового времени.

Что было делать одаренному человеку после Наполеона? Каково было людям, привыкшим к электрическому свету революции и имперскому эпосу, дышать под свинцовым небом мелкобуржуазных порядков? Каково было молодому человеку, наслушавшемуся историй отца о революционном терроре и Аустерлице, брести по бульвару в контору при тусклом свете газового рожка? Прошлое вонзало свои крысиные зубы в серую мякоть настоящего; оно озлобляло, порождало дикие сны. Из этого озлобления рождалась большая литера-

1. Письма, писавшиеся Дж. Свифтом Эстер Джонсон (Стелле) и ее компаньонке Ребекке Дингли из Лондона в Дублин с сентября 1710-го по июнь 1713-го, впоследствии составили так называемый "Дневник для Стеллы" (1768).
2. Увлечение Джона Китса (1795—1821) Фанни Браун и письма к ней относятся к 1819 году.
3. В "Liber Amoris" ("Свободная любовь"; *лат.*; 1823) Уильям Хэзлитт (1778—1830) описал свою несчастную любовь к Саре Уокер.

тура. "Исповедь сына века" Мюссе (1835 – 1836) с ироническим misère[1] оглядывается на начало великой скуки. Поколение 1830-х было загублено памятью о событиях, которые их самих не затронули. Оно культивировало в себе "un fonds d'incurable tristesse et d'incurable ennui"[2]. Представители этого поколения с присущим им нарциссизмом, угрюмым самодовольством мечтателей, пытались – от Гёте до Тургенева – отождествить себя с Гамлетом. Но пустота была реальной, а ощущение истории – до абсурда извращенным. Одареннейшим летописцем этого надлома стал Стендаль. Он принимал участие в безумной круговерти наполеоновских времен; он же провел остаток жизни под иронической личиной человека, которым пренебрегли. "Languissant d'ennui au plus beau moment de la vie, de seize ans jusqu' à vingt"[3] – таково душевное состояние мадемуазель де ля Моль перед тем, как она принимает решение полюбить Жюльена Сореля. Лучше безумие и смерть, чем нескончаемая праздность и овощное рагу буржуазного стиля жизни. Как может интеллектуал ощущать в себе гений Бонапарта, некое подобие демонической силы, что вознесла Наполеона из безвестности на трон, и не видеть перед собой ничего, кроме приевшейся бюрократической пошлятины? Раскольников пишет эссе о Наполеоне – и идет убивать старуху-процентщицу.

Крушение революционных надежд после 1815 года, резкое торможение бега времени и радикальных ожиданий породили огромный запас бурной, неизрасходованной энергии. Романтическое поколение завидовало своим отцам. "Антигерои", скучающие повесы Стендаля, Мюссе, Байрона и Пушкина, передвигаются по буржуазному городу подобно безработным кондотьерам. Или, что еще хуже, подобно кондотьерам, которые отправлены на нищую пенсию еще до своего первого боя. Вдобавок и сам город, который некогда веселился пьянящим весельем революции, превратился ныне в тюрьму.

В самом деле, хотя политика и вступила в фазу умильной лжи, которую исследовал в "Люсьене Левене" Стендаль, экономический и промышленный рост, обусловленный европейской войной и централизованным сознанием, был налицо. "Мрачные сатанинские фабрики"[1] создавали закопченный пейзаж-гибрид, который мы унаследовали. Тема остранения, столь существенная для всякой теории кризиса культуры, напрямую связана, на что указывали еще Гегель и Сен-Симон, с развитием массового производства. Именно в начале и середине XIX века происходит дегуманизация стоящих на конвейере рабочих и работниц, назревает конфликт между мировосприятием образованного человека и постоянно усложняющимися технологическими артефактами каждодневной жизни. Энергия, лишенная доступа к революционному действию или к войне, могла найти себе место, вызвать общественное одобрение на производстве и на денежном рынке. Такие выражения, как "наполеоны финансов" и "капитаны индустрии", являются семантическими показателями создавшегося положения вещей.

Гигантский рост денежно-промышленного комплекса способствовал возникновению современного города, того, что поэт более позднего времени назвал "ville tentaculaire"[2], – мегаполиса, чей бесконтрольный и злокачественный рост несет в себе сегодня угрозу жизни многим из нас. Отсюда и новый глобальный конфликт – между человеческой личностью и морем из камня, которое в любую минуту может ее поглотить. Урбанистический ад с ордами безликих горожан преследует воображение XIX столетия. Иногда метрополия – это

1. *Здесь:* беспомощность (*франц.*).
2. "Запас неизлечимой печали и неизлечимой скуки" (*франц.*).
3. "Без этой высокой страсти я умирала от скуки в самую прекрасную пору моей жизни – от шестнадцати до двадцати лет" (*франц.*). Стендаль. Красное и черное. Перевод С. Боброва и М. Богословской.

1. Стайнер цитирует поэму Уильяма Блейка (1757–1827) "Мильтон" (1808).
2. "Город-спрут" (*франц.*). Аллюзия на поэтический сборник "Города-спруты" (1895) Эмиля Верхарна (1855–1916).

джунгли, безумные тропические кущи "Тяжелых времен" и "В дебрях города" Брехта. Человек должен оставить свой след на равнодушной необъятности города, или же он будет выброшен, как мусор, как рвань, – мысль, которая постоянно преследовала Бодлера. В образе Растиньяка, взиравшего на Париж сверху вниз, вызывавшего город на смертный бой, Бальзак выявил одну из болевых точек современного кризиса. Начиная с 30-х годов прошлого века возникает характерная "антимечта": мрачные видения опустошенного города, дикие фантазии о набегах скифов или вандалов, о том, как монгольские кони утоляют жажду в фонтанах Тюильри. Возникает причудливая школа живописи: Лондон, Париж или Берлин изображаются в виде гигантских развалин, старинные здания сожжены, опустошены или же помещены в какую-то таинственную пустыню – вокруг обугленные пни, мертвая вода. Романтические кошмары предвосхищают мстительное обещание Брехта, говорившего, что от великих городов не останется ничего, кроме гуляющего над ними ветра. Ровно через сто лет эти апокалиптические коллажи, эти фантасмагорические образы гибели Помпей превратятся в фотографии Варшавы и Дрездена. Чтобы убедиться, какую существенную роль в этих пророческих видениях XIX века играет "желание-исполнение", изучать психоанализ нет никакой необходимости.

Я хочу подчеркнуть, собственно, вот что: сочетание исключительного экономико-технического динамизма с вынужденной социальной обездвиженностью, сочетание, на котором в течение ста лет покоилась либерально-буржуазная цивилизация, на поверку оказалось взрывоопасной смесью. Реакция на нее интеллектуалов и людей искусства была весьма специфической и в конечном счете деструктивной. Реакция эта и составляет, с моей точки зрения, суть романтизма. Отсюда и берет свое начало ностальгия по катастрофе.

Теперь я говорю об общеизвестных вещах, а потому могу двигаться быстрее. В романтических пасторалях ничуть не меньше бегства от всепожирающего города, чем возвращения к природе. Особое внимание следует здесь обратить на то, до какой степени критика урбанизма становится обвинением всему комплексу цивилизации. В естественности Руссо есть очевидное деструктивное начало.

В романтической экзотике, в тяге к le pays lointain[1], к "стране забвенной"[2] нашли свое отражение различные невзгоды: *ennui,* чувство беспомощности перед лицом политической реакции и филистерством, а также потребность в новых цветах, новых формах, в новой выразительности, в исследованиях внутреннего мира; стремление вырваться из удушливой атмосферы буржуазного и викторианского уклада. Проявляется тяга к экзотике и в примитивизме. Раз западная культура подгнила, стало быть, источник нового мировоззрения следует искать в далеких первобытных культурах. В "Морском ветре" Малларме все эти элементы сводятся в единое ироническое целое:

La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe
O nuits! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend,
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai! Steamer balançant ta mâture,
Lève l'ancre pour une exotique nature!
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l' adieu suprême des mouchoirs![3]

Романтический идеал любви и, что существенно, повышенный интерес к кровосмешению ознаменованы

1. "Далекая страна" (*франц.*).
2. Стайнер цитирует стихотворение Джона Китса "Ода к соловью" (1819). Перевод Е. Витковского.
3. Начало стихотворения Стефана Малларме "Морской ветер":
Увы, устала плоть и книги надоели.
Бежать, бежать туда, где птицы опьянели
От свежести небес и вспененной воды!
Ничто – ни пристально глядящие сады

идеей о том, что сексуальный экстремизм, культивирование всего патологического способны вернуть личность к полноценному существованию, свести на нет безликий мир мелкобуржуазного факта. Байроническую тему проклятия через запретную любовь и вагнеровскую Liebestod[1] мы вправе рассматривать как суррогат утраченной опасности революционного действия.

Художник делается героем. В обществе, ставшем инертным благодаря репрессиям власти, произведение искусства превращается в беспримерный подвиг. Свои права на подвиг предъявляют Берлиоз в "Бенвенуто Челлини", Золя в "Творчестве". Шелли идет еще дальше: слабый и беспомощный поэт является "непризнанным законодателем человечества"[2]. Виктор Гюго объявляет себя Le Mage[3], божественно одаренным некромантом, стоящим в авангарде человеческого прогресса. Важны, впрочем, не всякого рода притязания, а лишь степень неприятия, разлада между обществом и формирующимися силами духа, которые в этих притязаниях выражаются.

Все эти проявления надлома, иллюзорного освобождения и горького скепсиса с исключительной точностью фиксируются в романах и в личной жизни Флобера. Эмма Бовари олицетворяет собой на обнаженно тривиальном уровне вспыхнувшую и нереализованную энергию мечтаний и желаний, для которых в обществе середины XIX века места не нашлось. "Воспитание чувств" — это великий анти-Bildungsroman[4], анализ воспитания, которое уводит от полноценной жизни чувства "в сторону" тупого буржуазного прозябания. "Бувар и Пекюше" — это бессильный стон ненависти и отвращения, вызванный непоколебимым, как казалось Флоберу, режимом мелкобуржуазных ценностей. А ведь есть еще и "Саламбо". Написанный почти что в середине века, этот роман, исступленно и вместе с тем остраненно повествующий о низкой похоти, варварской бойне и нечеловеческой боли, — самый яркий пример того, о чем идет речь. Садизм этой книги, ее еле сдерживаемая жажда первобытной жестокости находятся в непосредственной связи с тем, как писатель описывает свою собственную душевную жизнь. С отроческих лет он не чувствовал ничего, кроме "ненасытных желаний" и "un ennui atroce"[1].

Даже прочитав только эти романы, не можешь не ощутить ту пустоту, которая подрывала европейскую стабильность. Не можешь не понять, что *ennui* порождала расписанные до мельчайших деталей фантазии о приближающейся катастрофе. Многое из того, что произошло в дальнейшем, коренится в конфликтах, имевших место в обществе прошлого века, в комплексе взглядов, которые, если взглянуть на них из века сегодняшнего, могут с полным основанием восприниматься как модель развития самой культуры.

Что еще следовало бы добавить? Естественно предполагать, что в каждой развитой цивилизации будут проявляться импульсы к самоуничтожению. Имеет ли столь тонко сбалансированный, многообразный, одновременно динамичный и ограниченный механизм, как культура, тенденцию к нестабильности и в конечном счете взрыву? То же самое происходит со звездой, что, достигнув критической массы, критического равенства в энергообмене между внутренней структурой и излучающей поверхностью, обрушивается внутрь самой себя, озарившись в момент разрушения таким же ослепительным светом, каким на заключи-

Не прикуют души, морями окропленной, —
О, ночи темные! — ни лампы свет зеленый
На белых, как запрет, нетронутых листах,
Ни девочка-жена с ребенком на руках.
Уеду! Пароход, к отплытию готовый,
Срываясь с якорей, зовет к природе новой.
Издевкою надежд измучена, Тоска
К прощальной белизне платков еще близка...
Перевод Э. Линецкой.

1. Смерть от любви (*нем.*).
2. Стайнер не совсем точно цитирует эссе Шелли "Защита поэзии" (1821, опубл. 1840): "Поэты — непризнанные законодатели мира".
3. Маг (*франц.*).
4. Роман воспитания (*нем.*).

1. "Чудовищная скука" (*франц.*).

тельном этапе своего развития вспыхивают напоследок великие культуры. Являются ли феноменология *ennui*, тяготение к внезапному распаду константами в истории общественных и интеллектуальных форм, после того как в своем развитии они преодолели определенный порог сложности?

Этим вопросом я задаюсь не в первый раз. Задаться же им в принципе значит перечитать "Цивилизацию и ее недоброжелателей" Фрейда, вновь обратиться к нигилистической пасторальности Руссо. Эссе Фрейда — произведение поэтическое, попытка создать миф о разуме, с чьей помощью можно было бы сдержать ужас истории. "Инстинкт смерти", существующий как в индивидуальном, так и в коллективном сознании, является, на что указывал и сам Фрейд, философским тропом. И хотя понятие это не укладывается в рамки доступных психологических и социологических данных, теория Фрейда обладает исключительной силой: анализ того напряжения, которое испытывают под воздействием правил и норм цивилизованного общества основные, нереализованные человеческие инстинкты, представляет ценность и сегодня. Равно как и намеки, в изобилии рассыпанные по психоаналитической литературе, в основе своей постдарвинистской, что в отношениях между людьми всегда существовала неодолимая тяга к войне, к высшему утверждению идентичности ценой взаимоуничтожения. Я вновь и вновь возвращаюсь к этим идеям, ибо их значение для любой современной теории культуры трудно переоценить.

Вне зависимости от того, являются ли описанные здесь психические механизмы универсальными или исторически обусловленными, ясно одно: примерно к 1900 году возникла готовность, даже неукротимое желание того, что Йейтс назвал "тусклым от крови потоком"[1]. Кажущаяся блестящей и безмятежной, la belle époque[2] была, в сущности, угрожающе перезрелой. Скрытые за садовой оградой анархические побуждения становились все более угрожающими. Обратите внимание на пророческие образы опасности, идущей откуда-то из-под земли, на готовые подняться из сточных канав и подвалов деструктивные силы, которые обуревают литературное воображение со времен Эдгара По и "Отверженных" и вплоть до "Княгини Казамассимы" Генри Джеймса[3]. Думаю, что гонка вооружений и растущая лихорадка европейского национализма были лишь внешними симптомами этого серьезного заболевания. Интеллект и чувство были в буквальном смысле слова загипнотизированы перспективой очистительного пламени.

В книге И. Ф. Кларка "Предсказатели войны" дается обстоятельный анализ этого гипноза, предчувствий глобального конфликта в поэзии и в прозе, начиная с 70-х годов прошлого века. Из всех этих многочисленных фантазий-предостережений по-настоящему пророческим оказался лишь "Освобожденный мир" Герберта Уэллса. В этой книге, писавшейся в 1913 году, с дьявольской точностью предсказаны "неугасимые пожары атомных бомб". Но даже Уэллс не сумел предсказать истинные размеры того распада цивилизованных норм, человеческих надежд, который нам пришлось лицезреть.

Перевод с английского А. Ливеранта

1. У. Б. Йейтс. Второе пришествие: "Тусклый от крови поток вскипает, / И в нем почтенье к невинности тонет..."
Перевод А. Сергеева.
2. Прекрасная эпоха (*франц.*).
3. В романе Генри Джеймса "Княгиня Казамассима" (1886) изображается деятельность анархистов-подпольщиков.

Из истории вымыслов — тайной и явной

Фрэнсис А. Йейтс. Розенкрейцерское Просвещение. Перевод с английского А. Кавтаскина под ред. Т. Баскаковой. М., Алетейа; Энигма, 1999

Дебютной книгой английского историка Фрэнсис Амелии Йейтс (1899–1981) была в 1934 году биография прижившегося на Британских островах итальянского полиглота рубежа XVI–XVII столетий Джованни (Джона) Флорио, в чьих переводах Шекспир читал Монтеня; итоговым стал труд "Оккультная философия в елизаветинскую эпоху" (1979). Круг идей и символов, книг, картин и празднеств барочной Англии — главный предмет исследований Йейтс. Но взят он в особом, лично найденном ракурсе: сильный, волевой характер исследовательницы отпечатался и в решительном повороте ее темы. По словам историка искусств Эрнста Гомбриха, директора Института Варбурга, с которым связана вся научная жизнь Фрэнсис Йейтс, "отвага ее мысли" среди многого проявилась в том, что она сумела оценить "значение мечты в истории и роль мечтателей в ходе цивилизации".

Я бы сказал, Йейтс притягивали *выдумки* культур о самих себе, включая, казалось бы, совсем уж редкостные и несусветные — позднеевропейскую каббалу и астрологию, магию и пансофию, ангелологию и алхимию. Вместе с тем ее интересовали специальные духовные *техники*, начиная опять-таки с самых диковинных, вроде нумерологии и старинных мнемотехник, посредством которых идеи (а Йейтс — из особой исследовательской шко́лы "истории идей") выживают в сокрушительные эпохи, преодолевая границы исходных времен и пространств. "Розенкрейцерское Просвещение" (1972) — из тех работ Йейтс, чья известность давно и заслуженно вышла за пределы кафедр английской истории. Среди этих книг долговременного действия — "Джордано Бруно и герметическая традиция" (1964, перевод с английского Г. Дашевского, М., НЛО, 2000), "Искусство памяти" (1966, три года назад издано санкт-петербургской "Университетской книгой", перевод с английского Е. Малышкина), "Позорище мира" (1969), в центре которого — знаменитый естествоиспытатель и тайновидец Джон Ди ("готический" роман Питера Акройда о нем русскоязычный читатель мог прочесть несколько лет назад в журнале "Иностранная литература"[1]).

В "Розенкрейцерском Просвещении" Йейтс тоже разворачивает своего рода исторический детектив в совершенно английской — "таинственной" — манере. Завязка сюжета такова. В феврале 1613 года (еще жив Шекспир и цел его "Глобус") английская принцесса сочетается браком с пфальцским курфюрстом Фридрихом V. В Англии их свадьба — "супружество Темзы и Рейна" — воспринимается как возвращение золотого века королевы Елизаветы. В организации грандиозного праздника с фейерверками, гравированные изображения которого расходятся по Европе (они в книге воспроизведены), участвует сам Фрэнсис Бэкон. Пьесу, специально для этого случая написанную Фрэнсисом Бомонтом, ставит прославленный Иниго Джонс. Но "за сценой" блестящих развлечений — укрепляющаяся на континенте католическая реакция и монархия испанских Габсбургов.

Надежды на противодействие этим силам связываются в протестантской Европе именно с молодым, про-

1. Дом доктора Ди" (перев. В. Бабкова), 1995, № 10.

свещенным красавцем и умницей Фридрихом. Его уже видят на императорском троне в образе нового Георгия (двух орденов этого святого он только что удостоен в Англии). Молодоженов с триумфом встречают на Рейне. По пути разыгрываются сценические и маскарадные действа, в Гейдельберге университет воздвигает триумфальные арки с портретами отцов церкви и духовных лидеров протестантства. Завязывается большая политическая интрига. Действие перебрасывается в Прагу: Фридриху предлагают чешскую (богемскую) корону. Для богемского "короля на одну зиму" заговор кончается в 1620 году победой сил Контрреформации у Белой горы и Тридцатилетней войной, залившей кровью всю Европу.

Но Прага — не только центр гуситских реформ, но и средоточие среднеевропейской барочной культуры. Здесь — отдельный интереснейший сюжет! — процветают алхимия и каббала, и не случайно тут сходятся пути таких чародеев эпохи, как Кеплер и Бёме, Джордано Бруно и Джон Ди. Мистические идеи этого последнего популяризирует в Центральной Европе Иоганн Валентин Андрее (это имя читатель может помнить по новелле Борхеса "Тлён, Укбар, Орбис Терциус"). Андрее соединяет их с символикой "священного брака", предназначенного перевернуть судьбы мира, с атрибутикой святого Георгия и кладет в основу своих магических фантазий — аллегорических трактатов "Химическая свадьба", "Откровение", "Исповедание" (переводы двух последних даны в приложении к книге Ф. Йейтс). Так создается миф о некоем новом спасителе Кристиане Розенкрейцере (Розовокрестном) и легенда о его несуществующем таинственном Братстве.

Тем не менее в намагниченной атмосфере 1614—1615 годов эти выдумки (сам Андрее именует их латинским словцом ludibrium — розыгрыш) вызывают вполне практические последствия. Прежде всего вокруг них тут же возникает огромная сочувственная и обвинительная литература. В печати Германии на короткое время разражается настоящий "розенкрейцерский фурор", который после краха богемского заговора тут же сходит на нет. Утопические надежды на Фридриха и перерождение Европы — они теперь и для жизни небезопасны — европейским политикам и придворным интеллектуалам приходится забыть: "Когда погребают эпоху..." Во Франции, а потом в Италии 1620-х годов разворачивается форменная охота на ведьм: изничтожаются любые следы герметической мысли, а одновременно выкорчевывается и ренессансная традиция в целом, от оккультной составляющей неотторжимая.

В ходе этой борьбы среди прочего закладываются основы новой европейской мысли. Вызревает рационалистическое учение Декарта (после поездки в Богемию и Германию за ним в Париже закрепилась репутация розенкрейцера, спешно приходится отмываться, отсюда его полемика с Робертом Фладдом, еще одним будущим борхесовским безумцем: он мелькнет у Борхеса в новелле "Смерть и буссоль"). Свою теорию научного метода завершает Фрэнсис Бэкон. По мнению Йейтс, могущественный канцлер ни словом не упоминает в своих трудах Коперника и Бруно как раз потому, что они в ту пору вызывали уже ненужные ему ассоциации с оккультизмом. Тем не менее Бэкон создает свою оставшуюся тогда неопубликованной "Новую Атлантиду" в скрытом соперничестве с розенкрейцерской утопией (как эта последняя, в свою очередь, соревновалась с "Городом Солнца" Кампанеллы).

Далее по образцу фантазии о розенкрейцерском братстве в Европе начинают создаваться *реальные* христианские союзы. Идеи Андрее переносит в устав общины Богемских братьев просветитель Ян Амос Коменский (эмигрировав в 1628 году из Богемии, он оказывается в Англии, а после неудачи своих просветительских проектов и здесь перебирается в Швецию, где его духовидческую эстафету в недалеком времени подхватит Сведенборг). Наконец все эти идеи преломляются в 1640-х годах в программе и деятельности Королевского научно-

го общества Англии. Здесь на сцену выступает известный, опять-таки по Борхесу (а потом — по цитате из него у Мишеля Фуко), изобретатель и маг Джон Уилкинс с его всемирным "аналитическим языком". Кроме того, выдумки и видения Андрее входят в круг интересов Исаака Ньютона: создатель новой механики внимательно и тайком конспектирует для себя манифесты розенкрейцеров.

Перед читателем — редкий пример образцовой историко-социологической работы. По книге Йейтс видишь, как вымыслы одних людей соединяются с политическими интересами других, обрастают универсальной словесной и изобразительной символикой стараниями третьих и в изменившихся исторических обстоятельствах, при сопровождающей эти перемены социальной "перековке", психологической резиньяции, индивидуальном самоопровержении и самообелении дают в других временах и краях начало целой серии социальных сдвигов и культурных традиций — от сатирических листков с картинками и литературных утопий до возникновения просветительских общин и создания национального научного сообщества. Кто здесь помнит, а кто забывает и как провести между ними границу? Борхес говорил о подобных перипетиях: "Сон одного входит в память всех".

Борис Дубин

Земли памяти, воды забвенья

Грэм Свифт. Водоземье. Перевод с английского В. Ю. Михайлина. Perspective publications, 1999

Роману Грэма Свифта "Водоземье" предпосланы два эпиграфа. Один — из латинского словаря: "Historia, ae. 1. Исследование, раскрытие причин и следствий, изучение предмета. 2. а) Повествование о событиях прошлого, история. б) Любой вид повествования: сообщение, рассказ, байка". Второй: "Нам выпало жить в болотистом краю..." — "Большие ожидания". Здесь важна не столько цитата, сколько отсылка к одному из самых грустных и усталых диккенсовских романов. Так с первых тактов книги заданы две ее темы: история (во всех значениях этого слова) — и безвозвратность утрат.

По нынешним меркам такие темы принято считать не самыми "актуальными": теплота человеческого голоса плохо укладывается в каноны деконструктивизма. А своего рода "оммаж" Диккенсу давал повод английским критикам зачислить Свифта в продолжатели реалистического письма и объявить его хранителем "старых добрых традиций". Книга получила хорошую прессу, даже очень хорошую, но при этом из поля зрения рецензентов выпал тот факт, что "Водоземье" — один из самых ярких экспериментальных романов последних десятилетий, с фантастическим по виртуозности исполнения переключением стилей в пределах одного абзаца, с редчайшим богатством интонаций, отточенной техникой монтажа и аллюзиями, напоминающими о фильмах Питера Гринуэя или Джимми Джармуша.

Грэм Свифт — писатель очень английский. Все "Водоземье" насыщено отсылками: к "Квартетам" и "Стихам на оборону островов" Т. С. Элиота — и "Анатомии меланхолии" Томаса Бертона; к "Истории бриттов" Гальфрида Монмаутского — и "Черной стреле" Стивенсона; к Диккенсу, Вордсворту... За Свифтом стоят, пользуясь словами Элиота, века "терпеливого возделывания английской земли и английской поэзии" (перев. А. Сергеева). Собственно, мотив рекультивации земель — один из главных мотивов романа. События "Водоземья" разворачиваются посреди Фенов — болотистых равнин графства Кембридж, где само существование зависит от уровня воды в местных речушках — слишком часто те на грани разлива или наводнения — и так необходимо следить за дренажом и раз за разом восстанавливать разрушаемые шлюзы и чистить русла каналов, неуклонно забиваемые илом. Текучая,

все размывающая и подтачивающая стихия воды ассоциируется с забвением. И — всегда на грани поражения — противостояние водной стихии разворачивается в иной образ: противостояния памяти забвению, противостояния двух отношений к жизни, когда на одном полюсе горькое принятие ответственности за прошлое, на другом — порой даже трогательный в своей слепоте прогрессизм. На одном полюсе оказывается сын смотрителя шлюза, учитель истории Кирки, на другом — вполне дружески настроенный по отношению лично к нему директор школы (в прошлом — преподаватель физики) Льюис, заботящийся о том, чтобы современная школа больше времени уделяла реалиям нынешнего дня, — и отправляющий историка на пенсию. В силу сокращения времени на историю, как мотивирует это он. Но оба знают, что дело в ином, учитель истории оказался замешан в скандале: его страдающая расстройством психики жена украла в универмаге ребенка. Да и само это расстройство психики... Так в размеренную рутину врывается детектив и трагедия...

Роман построен как попытка учителя рассказать классу, что же произошло на самом деле. Два школьных урока, перемежающихся отступлениями, экскурсами в прошлое — в детство учителя, что пришлось на вторую мировую войну, и еще раньше — к началу первой мировой, и вниз — в прошлый век, и в век XVII, к началу осушения болот при Карле I: вниз и вниз по родовому древу. Хронология перепутана: собственно, все это прошлое присутствует здесь и сейчас, потому что это — прошлое рода, рода скромного учителя истории.

Учителя, для которого история — не только английская революция и война короля с парламентом, но и саботаж его предками-браконьерами работ по строительству отводного канала, осуществлявшихся по повелению того самого короля, за что оные предки были казнены, как гласят записи местных архивов. И восшествие на английский престол Георга V — не только изменение английского политического курса, но и крепчайший эль, сваренный ко дню коронации дедом-пивоваром; эль, которым перепился весь городишко. История готова развернуться набором семейных преданий, и их-то учитель и рассказывает классу в качестве противоядия от иной истории — Истории Великих Противостояний и Судьбоносных Решений, Истории Больших Чисел и Массовых Боен. Потому что механика *этой истории* сводится к очень простой вещи, неброско-беспощадно названной другим англичанином в стихотворении о начале самой кровавой из войн, пока что пережитых человечеством:

> Мы знаем по школьным азам,
> кому причиняют зло,
> зло причиняет сам.
>
> (У. Х. Оден. "1 сентября 1939 года". Перевод А. Сергеева)

"Давайте не будем переоценивать ни действительного характера, ни действительных результатов падения Бастилии", — напоминает учитель Кирки классу. "Семерых заключенных отпустили на волю (ровно столько, сколько сидело на тот момент в крепости): двух сумасшедших, четверых фальшивомонетчиков и незадачливого повесу. Семь голов — коменданта и шестерых охранников — пронесли воздетыми на пики. Двести или около того принимавших участие в осаде парижан были убиты или ранены. Сами по себе камни Бастилии, гора битого булыжника, были свезены профессиональными подрядчиками и проданы и принесли хорошую прибыль".

Большая История в романе Свифта (и не только в нем) на поверку оказывается обманкой, прикрытой флером символов. А учитель истории Кирки учит... бояться. Бояться символов. Пустых слов. Безответственности, которая любит, чтобы ее именовали прогрессом. "Потому что, пока прогресс прогрессирует, мир может ускользнуть, уйти не попрощавшись. Если вы можете остановить мир в дверях, это уже прогресс. Моя скромная модель прогресса — рекламация земель. Когда раз за разом, бесконечно восстанавливаешь то, что ускользает

из-под ног". Раз за разом пытаешься отстроить связи — иные, чем у официальной истории. Личные.

В Оксфорде в соборе колледжа Церкви Христовой установлена доска с именами студентов, погибших на фронтах первой мировой войны. Среди них примерно треть — немцы: кто-то из них успел кончить колледж до войны, кто-то уехал недоучившись. В войне они сражались по другую сторону фронта. Но это не важно. Важно, что они были студентами *этого* колледжа — и погибли на *этой* войне. Так тоже происходит отстройка связей, которыми и держится цивилизация. Или по-другому. Среди прочих экспонатов в отделе рукописей Британского музея выставлена небольшая иллюминированная книжечка — молитвенник XVI века. В пояснении говорится, что именно с этим молитвенником шла на эшафот несчастная леди Джейн (Грей), внучка Генриха VIII, против воли провозглашенная королевой Англии — и царствовавшая чуть более недели, после чего была брошена в тюрьму и казнена. Молитвенник прекрасно сохранился. Эта книжечка говорит о чем-то большем, чем об искусстве английских миниатюристов того века — или о его политике. Точно так же, как о цивилизации говорит табличка в одном из оксфордских пабов: "Этот стол находится здесь с XVII века". Собственно говоря, цивилизация — это когда пивная или винный погребок лет 300 существует на одном месте и под одной вывеской. Из суммы таких уз и складывается ощущение причастности чему-то. Из тактильных и зрительных ощущений. Подлинная история — то, к чему можно прикоснуться и рассказать об этом. И для героя свифтовского романа важно вспомнить, какова на ощупь бутылка, в которую в начале века разливали эль на пивоварне его деда, важно вызвать в памяти звук паровых шлюзовых насосов, пыхтевших вдоль реки еще во время последней войны... Именно через эти вещи он восходит к истории рода — и обретает чувство сопричастности миру.

При чтении "Водоземья" возникает странная параллель. Внимание героя к самым простым и невзыскательным вещам, запомнившимся с детства (внимание несколько иного порядка, чем хрестоматийная попытка "распаковать" прошлое, оттолкнувшись от вкуса печенья "мадлен"), в чем-то сродни отстраненно-горькому, но настойчивому желанию сохранить во всей их вещности канувшие в прошлое подробности послевоенного мира у тех, кто вырос в это время в России, — достаточно вспомнить "Трофейное" Бродского или "Альбом для марок" Андрея Сергеева. Собственно, и Грэм Свифт принадлежит к тому же поколению — он родился в 1949 году.

И тогда, если сделать еще один шаг, можно заметить, что "Водоземье" — английский вариант "Школы для дураков": история учителя, уволенного "по-собственному, а на самом деле — по-щучьему", пользуясь формулой Саши Соколова. История, точно так же обильно населенная смотрителями при железнодорожных переездах, смотрителями при шлюзах, операторами землечерпалок. История любви слабоумного мальчика — с той разницей, что у Соколова это сам герой-повествователь, а у Свифта — его брат, родившийся в результате жажды абсолютной красоты, охватившей пивовара Аткинсона и заставившей его возжелать собственную дочь. Параллели эти можно множить и дальше. Просто оба романа — и "Школа для дураков", и "Водоземье" — писались в пору, когда над соответствующей страной нависало ощущение безвременья, в России то было начало семидесятых, в Англии — начало восьмидесятых. Свифт по-английски более сдержан, чем его русский собрат, — он предпочитает двигаться не прямиком к центру, а по касательной, какие-то вещи называя мимоходом, уводя их в придаточные предложения, прибегая к технике монтажа, стилистических контрастов и эха, позволяющей избежать непосредственного выплеска эмоций. Характерный пример: накануне отставки Кирки сидит в пабе с одним из учеников и пытается рассказать тому, что же значит для их преподавателя понятие "учить истории". Собственно говоря, это — приучать

детей к мысли о том, что знающий не знает, что кричащий будто ему ведомо, как надо, в лучшем случае заблуждается, что любые правила и установления — лишь мертвые догмы. Однако в глазах школьной администрации и родителей Кирки — лишь путаник, "наставник, обманывающий доверие тех, кто за ним последовал". Соответствующая глава в романе называется "Евангелие от учителя", а рассуждения об истории и обвинения в адрес "безответственного преподавателя исторических дисциплин" подсвечены отзвуком евангельского ритма, осторожным включением библейской лексики, так что в сознании читателя возникает и спор Христа с фарисеями, и отношения Христа с апостолами; поэтому, когда на вопрос бармена, а есть ли выпивающему с Кирки парню восемнадцать, учитель отвечает: "Есть. Кому, как не мне, знать. Это мой сын", — простенькая реплика вдруг "взрывается" массой смыслов. Среди которых и ответ апостола Петра на вопрос, не из тех ли он, кто с Назарянином: "Я не знаю этого человека".

Оба романа — об утрате. У Соколова об утрате абсолютной: выход в мир за пределы "пятой пригородной зоны", дачной Земли Обетованной, есть погружение в смерть; именно на этой пронзительной ноте и кончается "Школа для дураков": "Помните, даже Савл, отдавший всего себя науке и ее ученикам, сказал, умерев: умер, просто зло берет". "Внешний", социальный мир, как он есть, — ад, и пребывание в нем — "смерть вторая" (Откр. 21, 8). У Свифта утрата понимается несколько по-другому. Это утрата вечно ускользающего возможного, но так и не ставшего. Потому-то и становится камертоном для свифтовского романа вынесенная в эпиграф отсылка к "Большим ожиданиям" Диккенса — книге именно о несостоявшихся мечтаниях и разбивающихся надеждах. В одной из средневековых легенд паладин ищет Земной рай, однако некий отшельник предупреждает его, что самое сложное испытание из ожидающих рыцаря заключается вот в чем: достигнув закрытых ворот Благословенного Сада, распахивающихся для каждого из искателей лишь однажды и на короткое мгновение, должно пребывать в этот момент бодрствующим и успеть войти. Паладин же поддается сну и, очнувшись, успевает увидеть, как закрываются распахнувшиеся было ворота, и уловить лишь слабый отблеск блаженства, проникший в узенькую щель, которую удалось ему лицезреть. Ощущение героя Свифта таково, что он постоянно, каждое мгновение утрачивает рай. Или — не успевает в него войти. Потому-то и вспоминает в самом начале романа школьный учитель Кирки слова отца: "Знаете, что такое звезды? Серебряная пыль благословения Божьего. Маленькие, стертые в порошок крошки неба. Господь их бросил вниз, чтобы они на нас упали. А потом и увидал, какие мы дурные, и передумал, и велел звездам остановиться. Вот потому-то они и висят на небе, и вид у них такой, как будто вот-вот упадут, вот-вот..."

У Кшиштофа Кеслёвского есть "Самый короткий фильм о любви" и "Самый короткий фильм об убийстве". "Водоземье" Свифта о том и другом сразу. Или, по-другому, — о том, что "сильна, как смерть, любовь". И появление его по-русски в нынешнюю "эпоху большой нелюбви" дорогого стоит. Учитывая еще и то, что вышел роман в действительно хорошем переводе Вадима Михайлина (известного по "Александрийскому квартету" Лоренса Даррелла и "Кельтским сумеркам" Уильяма Батлера Йейтса).

А. Нестеров

Страхи Джона Ирвинга

John Irving. A Widow for One Year. London, Black Swan, 1999

> Когда я утверждаю, что я всего лишь рассказчик, то говорю это без ложной скромности.
>
> *Джон Ирвинг*

Новый роман популярного американского писателя Джона Ирвинга "Вдова на год" заслужил благосклон-

ные отклики критиков. Как всегда, Ирвинга сравнивают с Диккенсом, а на этот раз еще, бог знает почему, с Теккереем; как всегда, его хвалят за нескучный сюжет и мягко ставят на вид повторы и головокружительные совпадения. (Сам Ирвинг утверждает, что люди, которым кажутся неправдоподобными его персонажи и их судьбы, просто недостаточно внимательно присматривались к повседневной жизни.)

Рецензия в "Нью-Йорк таймс" начинается следующим оптимистическим пассажем: "Приятно отметить в новом романе Ирвинга "Вдова на год" отсутствие надоедливых, хоть и не лишенных обаяния медведей, которые то и дело влезали во все его предыдущие произведения. Несомненно, отсутствие медведей ознаменовало собой новую творческую зрелость писателя, сдерживающую его эмоциональный стиль и подростковую язвительность".

Трудно сказать, чем так помешали рецензенту симпатичные медведи в ранних, менее "творчески зрелых" произведениях Ирвинга. Тем более что недостаток медведей отчасти компенсируется по-прежнему впечатляющим количеством проституток, транссексуалов и писателей. Если верить американской прессе, мать Ирвинга, прослушав отрывок из нового романа, в котором фигурировал искусственный член, якобы воскликнула: "О Боже! Опять?!" И сын вынужден был оправдываться, что это, дескать, совсем *другой* член...

Героиня романа "Вдова на год" — писательница Руфь Коул — тоже вынуждена то и дело оправдываться перед публикой и критикой, в том числе и по вышеупомянутому поводу. Кроме того, читатели без конца подозревают ее в автобиографичности, задают каверзные и назойливые вопросы... В точности как читатели самого Ирвинга.

Больше всего Ирвингу досталось после выхода в свет самого знаменитого его романа — "Мир по Гарпу". Главный герой наделен многими чертами автора: он и писатель, и тренер по борьбе, и отец двух мальчиков. В новом предисловии к юбилейному изданию "Гарпа" Ирвинг рассказывает, как его сына во время встречи с читателями спросили из зала: "Гарп — это твой отец?" "Нет, — сказал мальчик. — Но страхи Гарпа — это страхи моего отца. Всякого отца".

Страх за близких, страх за детей остался основной темой и в книге "Вдова на год", и это роднит ее с "Гарпом" гораздо больше многочисленных внешних совпадений. Однако здесь этой теме сопутствует другая, тоже безусловно личная: имеет ли писатель право писать о том, чего не пережил? Не кощунство ли воссоздавать неведомое горе силой воображения? Руфь Коул, будучи еще незамужней молодой женщиной, написала книгу о вдовстве. О горе и о возвращении в мир с его радостями и мелкими заботами. Ее начинает преследовать пожилая вдова, на Руфь обрушиваются письма с угрозами и проклятьями: "Вдовой становятся не на год, а до конца жизни", — утверждает непримиримая читательница. В день свадьбы Руфь встречается с преследовательницей лицом к лицу — та приходит на церемонию, чтобы пожелать невесте овдоветь и узнать на своем опыте, каково это. Проклятие сбывается: через несколько лет муж писательницы умирает, и она убеждается, что совершенно точно описала чувство потери, ни в чем не ошиблась. Более того, на очередной встрече с читателями она вновь встречает грозную вдовицу, которая теперь превратилась в кроткую новобрачную и просит прощения за былые обиды. Руфь не прощает ее, но не в этом дело. Ирвинг еще раз утверждает важную для него (и для его героини) мысль о том, что писатель в равной мере черпает из жизненного опыта и воображения, проверяет фантазию опытом и опыт фантазией. (Недаром Ирвинг написал толстенный роман про Индию, небрежно оговорившись в предисловии, что страну эту он, собственно, совсем не знает.)

После "Гарпа" Ирвинг получал много писем от родителей, потерявших детей, — они были уверены, что он пережил такое же горе. "Я не терял детей, — сознается Ирвинг, — я

просто отец с развитым воображением. И в своем воображении я теряю детей каждый день".

Смерть детей — первое, с чем мы сталкиваемся в новом романе. Руфь появляется на свет именно затем, чтобы стать утешением родителям, потерявшим в автокатастрофе двух сыновей-подростков. Весь дом обвешан фотографиями умерших мальчиков; до четырех лет Руфь растет в атмосфере их призрачного присутствия. Когда девочке исполняется четыре года, мать — Марион — уходит и забирает с собой фотографии. Она не может жить с новым страхом за нового ребенка. В первой части книги мы видим семейство Коул в момент перелома — в то лето, когда Марион решается уйти. Перед этим у нее вспыхивает роман с шестнадцатилетним мальчиком, удивительно напоминающим обоих ее сыновей. Этот мальчик — Эдди О'Хар — будет любить ее всю жизнь.

Во второй части мы увидим Руфь в тридцать шесть лет, она уже знаменита, но ощущает растерянность перед жизнью. Руфь находится на распутье, и вскоре совершенно неожиданный (и вполне детективный) сюжет заставит ее круто изменить свою судьбу.

В третьей и последней части Руфь — вдова. Вдова на год, ибо через год ей встретится ее большая любовь. А потом вернется мать, пропадавшая 37 лет (ни много ни мало), — и тут нам, читатель, придется распрощаться с героями по причине полного хэппи энда. Ибо Эдди О'Хар через всю жизнь пронес любовь к Марион Коул, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте...

Вы скажете, что это уж слишком. Но именно избыточность, перехлест и есть наиболее яркая (хоть, может быть, и наиболее уязвимая) черта творчества Ирвинга. Если в его истории встречается ружье, оно, скорей всего, выстрелит дважды, а то и трижды. Право же, надо обладать определенной смелостью, чтобы поместить в один роман четырех писателей (уже никаких медведей не нужно). Во "Вдове на год" писателями являются все без исключения главные герои: не только Руфь и ее отец — известный детский писатель Тэд Коул, но и Эдди О'Хар, и даже Марион (покинув семью, она начинает писать книги под псевдонимом).

Еще большей смелостью надо обладать для того, чтобы находить смешное в самом трагичном и высокое в самом непристойном. Ирвинг — большой мастер по этой части. (На этом основании его то и дело упоминают в связи с традицией черного юмора, хотя, на мой взгляд, черный юмор тут совершенно ни при чем.) Самые лиричные, печальные и трогательные моменты неизменно сплетены у Ирвинга с комичным и низменным. И в этом поразительная, необычайная правдивость его книг и их жизнеутверждающая сила. Хотя, безусловно, Ирвинг ежечасно и ежеранично рискует заслужить репутацию человека, у которого "нет ничего святого". Его героиня Руфь Коул в ответ на сентенцию, что, дескать, "не над всем в жизни можно смеяться, и есть трагедии, которые не подлежат юмористической интерпретации", говорит: "Писатель не выбирает смех. Вы можете выбрать сюжет или вовсе без него обойтись. Вы можете выбрать героев. Но смешное приходит само, в этом вы не вольны".

И тут Джону Ирвингу следовало бы воскликнуть, подобно другому великому романисту: "Руфь Коул — это я!"

Книги Джона Ирвинга, как вообще любые достойные упоминания книги, совершенно бесполезно пересказывать. Правда, их сюжетность дает обманчивую надежду на успех. Взяв за образец викторианский роман, Ирвинг выстраивает сложные связи между персонажами, сплетает их судьбы, завязывает узлы интриги. "Я очень старомодный писатель. Я пишу романы, как писали в девятнадцатом веке, соблюдая множество правил. Я верю в сюжет, в развитие характеров, в то, что время многое меняет... И я верю, что роман должен быть настолько сложным и захватывающим, насколько это в силах писателя".

Поэтому при попытке пересказа встречаются сразу две трудности: во-первых, рассказчик непременно за-

путается в персонажах и сюжетных линиях, ну и во-вторых, как водится при пересказе хорошей книги, неизбежно упустит главное. К тому же Ирвинг пишет очень толстые книги. "У меня простая формула: на странице 320 читателю должно быть интереснее, чем на странице 32", — поясняет писатель. Надо отдать должное Джону Ирвингу, ему это безусловно удается.

При всем при этом Ирвинг — весьма современный писатель. Настолько, что может позволить себе даже такую роскошь, как счастливый конец. В этом смысле, пожалуй, во "Вдове на год" Ирвинг ближе, чем когда-либо, подошел к своему излюбленному викторианскому образцу. Не зря в эссе "Король романа" с такой страстью становится он на защиту Диккенса: "Слишком часто современный читатель спешит обвинить автора, который рискнул быть сентиментальным. Но со стороны автора — трусость полностью избегать сентиментальности. <...> Конечно, рассказ об обеде из четырех блюд с точки зрения вилки никогда не будет сентиментальным и при этом вряд ли будет много для нас значить".

Надо думать, сочиняя последнюю фразу романа "Вдова на год" (а Ирвинг всегда начинает писать книгу с последней фразы), автор не боялся показаться смешным и твердо рассчитывал, что толстокожий современный читатель все-таки обольется слезами над этим вымыслом. И тогда уместно прозвучат обращенные к Руфи слова вернувшейся Марион: "Не плачь, детка. Это просто мы с Эдди".

Александра Борисенко

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-58-02
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-82-84

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить
по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

Великобритания

Психиатры сбиты с толку

Едва ли английский прозаик Иэн Макьюэн предполагал, какие последствия будет иметь публикация его романа 1997 года "Выдержать крепкую любовь". Роман повествует об испытаниях писателя, автора научно-фантастических произведений, которого преследует человек, страдающий маниакальной формой любви — эротоманией. В конце книги, в качестве приложения, приводится текст доклада с описанием аналогичного случая "синдрома де Клерамбо", который Иэн Макьюэн якобы взял из "Британского обозрения психиатрии" и который якобы представили доктор Роберт Уэнн и доктор Антонио Камья.

И вот теперь выяснилось, что вся эта "научная" подоплека — всего лишь выдумка английского писателя и не существует ни такого периодического издания, ни таких докторов (кстати, их фамилии представляют собой анаграмму имени и фамилии самого Иэна Макьюэна). Однако на эту удочку попались многие, в том числе и специалисты. Так, Ронан Макайвор, консультант по вопросам психиатрии при Национальной клинике неврологии и нейрохирургии в Лондоне, в своей рецензии на роман "с сюрпризом", напечатанной "Психиатрическим бюллетенем" (изданием, близким "Британскому психиатрическому журналу"), пишет о книге как об "основанной на документально подтвержденном реальном случае".

Наживку благополучно заглотнули не только врачи, но и литературные критики. Вот на что посетовал Кристофер Леман-Хаупт, книжный обозреватель "Нью-Йорк таймс": "Когда в конце книги обнаруживаешь приложение с описанием конкретной истории болезни, послужившим основой для романа, то понимаешь причину некоторой неудовлетворенности. Мистер Макьюэн слишком сильно привязан к фактам, и ему недостает фантазии и изобретательности". А Элизабет Джадд на страницах "Салона" выразила сожаление, что одержимость эротомана лишилась налета таинственности из-за того, что была напрямую привязана к патологической страсти под названием "синдром де Клерамбо", и это "лишает роман движущей силы".

Простодушные рецензенты оказались в двусмысленном положении, но эта история послужила им уроком. Например, консультант-психиатр Р. Макайвор, более привыкший к строго аргументированным утверждениям своих ученых коллег, нежели к шуткам лукавых литераторов, в ответ на вопрос корреспондента газеты "Гардиан" о последствиях для него этого казуса признался: "Я вообще-то подозревал какой-то подвох... И теперь я чувствую себя несколько неловко".

Германия

Когда о вкусах можно поспорить

Какие книги и каких авторов XX века можно считать лучшими? Ответ на этот вопрос ищут в ходе различных опросов литературные эксперты всех стран мира. Германия — не исключение, хотя в создании литературного портрета последнего столетия здесь есть своя специфика. Списки лучших составляют многие периодические издания, но о результатах пока сообщили лишь два — журнал "Фокус" и еженедельник "Цайт". По мнению опрошенных специалистов, список лучших книг, написанных на немецком языке, должен начинаться так: "Будденброки" (Томас Манн), "Процесс" (Франц Кафка), "Верноподданный" (Генрих Манн), "Берлин, Александерплац" (Альфред Дёблин), "Марш Радецкого" (Йозеф Рот) и, конечно, "Жестяной барабан" (Гюнтер Грасс).

В международных списках немецкая литература нередко уступает верхние строчки зарубежной. Так, десятка лучших поэтов, названная журналом "Гедихт", — это Э. Паунд, Г. Аполлинер, О. Мандельштам, О. Т. Кристенсен, Дж. Унгаретти, П. Неруда, У. К. Уильямс, А. Ахматова, Ш. Хини и Т. С. Элиот. Знаменитый Федерико Гарсиа Лорка занял здесь лишь 32-е место, а Бертольт Брехт — и вовсе 50-е. Кроме того, в список вкралась, по крайней мере, одна ошибка — Хуана Гойтисоло зачислили в поэты, перепутав с братом.

Есть в опросах и казусы посерьезнее. Например, критики, которые составили список 100 лучших книг по просьбе фонда "Лезен", не упомянули ни одного латиноамериканского романа, хотя в серии "Издание века", выпускаемой издательством "Бертельсман", есть целая когорта испаноязычных авторов: Г. Гарсиа Маркес ("Сто лет одиночества"), М. Варгас Льоса ("Зеленый дом"), К. Х. Села ("Семья Паскуаля Дуарте") и другие. Но вот еженедельник "Цайт" выступает с инициативой опубликовать серию статей на тему "Моя книга века": их именитые авторы должны написать о своих личных литературных пристрастиях. И вновь удивляет отсутствие, например, Г. Гарсиа Маркеса, хотя есть и Ричард Рорти с его Фрейдом, и Ларс Густафссон с размышлениями о "Чуме" А. Камю, и Милан Кундера с мыслями о романе Р. Музиля "Человек без свойств"...

Так или иначе, но среди нынешних неофициальных лидеров XX века есть, возможно, и те, кто попадет в списки лучших XXI века. Во всяком случае нобелевский лауреат Гюнтер Грасс пока удерживает пальму первенства: книга "Мое столетие" (издательство "Штайдль") значится среди бестселлеров, а о новых авторах — при всех их достоинствах — журнал "Шпигель" отзывается пока лишь как о "внуках Гюнтера Грасса".

Италия

Возвращение метеора

С книгами, как и с людьми, случаются невероятные истории: порой забыта не только книга, но и самое имя автора уже кануло в безвестность, — и вдруг все оживает. Именно так случилось с романом "Мутные слезы", автор которого, Фурио Моничелли, метеором пронесся по небосклону итальянской литературы в начале 60-х годов. О нем тогда весьма лестно отзывались такие мастера, как Гоффредо Паризе и Эльза Моранте. Однако многообещающий писатель столь же стремительно исчез из поля зрения публики и критиков и до самого последнего времени оставался в тени.

И вот теперь Фурио Моничелли вернулся: издательство "Мондадори" вновь, почти 40 лет спустя, опубликовало его роман "Мутные слезы". Книге пришлось сменить имя, и первоначальный вариант "Идеальный иезуит" фигурирует в скобках под новым заглавием. Разумеется, "идеальный иезуит" отнюдь не идеален; он воплощает почти все отрицательные стереотипы, которые традиционно связаны с последователями Игнатия Лойолы. К счастью, сам роман далек от стереотипа — это тонкое, блестящее, мучительное погружение в глубины сознания, раздираемого между разумом и верой. Личный опыт автора делает книгу особенно ценной и правдивой: некогда Фурио Моничелли присоединился к иезуитам в надежде радикально изменить свою жизнь и с самого начала познал всю жесткость правил внутреннего распорядка религиозного учебного заведения (а именно в этой, закрытой от внешнего мира среде, разворачивается действие в романе).

Жесткая требовательность, аскетизм, отсутствие живых человеческих чувств, полное подчинение собственного разума и воли указаниям высших иерархов — все это стало визитной карточкой ордена иезуитов с момента его основания в эпоху ересей. Борьба с инакомыслием, начатая тогда, не способствовала смягчению душ послушников, а обеты молчания и изоляции, отказ от индивидуального выбора современному человеку представляются просто невыносимыми. Как из подобного "учебного" заведения могли выходить столпы церкви, да и собственно итальянского общества?

Этот вопрос явно или скрыто не раз возникает на страницах романа. Противоречивость ситуации подчеркивается и контрастом двух главных героев. Один, молодой послушник, имеет сильную веру, но не менее сильны его тяга к свободе и неприятие жестких правил. Другой, чья вера постоянно ослабевает, избирает путь приспособления к суровым требованиям, надеясь в этом обрести надежную опору для жизненного выбора. По ироничному определению автора, он-то и является "идеальным иезуитом".

Третий персонаж — единственный, кому под силу было бы достичь гармоничного единения веры и смирения, — по сюжету романа лишен каких-либо шансов и умирает, совершенно больной, разбитый физически после месяца суровых испытаний, направленных на "укрепление духа".

Старая как мир истина — нельзя ради замшелых правил религиозного фанатизма предавать самого себя, разрушать себя как личность — проходит красной нитью через роман Ф. Моничелли. Антиклерикальный пафос "Мутных слез" необычайно актуален и теперь: роман снова стал бестселлером. Так, 40 лет спустя, метеор Фурио Моничелли вновь ярко заблестел на литературном небосклоне Италии.

Индия

Западная почва — не для восточных корней?

Когда 32-летняя Джумпа Лаири удостоилась массы наград и сравнения со старыми мастерами рассказа за изящество сюжетов и ясность слога своей первой книги "Толкователь недугов", то она и сама поразилась успеху: "Чтобы утвердиться в литературе, нужно время, какие-то деньги и моральный стимул. А я получила все это с ходу и в нужном количестве". В чем же "изюминка" ее рассказов? Очевидно, Джумпе, вслед за Арундати Рой, удалось выразить ощущения человека, принадлежащего двум разным культурам. Да и кому, как не ей — дочери индийских эмигрантов, родившейся в Лондоне и выросшей в США, знать, каково быть чужаком среди новых сограждан.

"Значит, вы играете роль "толкователя недугов"? Недугов тех, кто не прижился в новой культуре", — уточняет корреспондент журнала "Ньюсуик". "Дело не в роли, — поясняет Джумпа. — Просто я как носитель двух культур способна видеть мир иначе, чем остальные. В Индии я рассказываю об Америке, в Америке — об Индии, но ни тем, ни другим моим слушателям не дано воспринять эти страны так, как я: ведь они там не жили. К тому же не все умеют четко выражать свои мысли. Но для меня такие персонажи привлекательны: хочется досказать за них".

Где же сама Джумпа чувствует себя как дома? В ходе интервью выясняется, что точного ответа у "толкователя" нет. Поначалу, то есть лет до семи, застенчивой смуглянке было очень одиноко среди не похожих на нее американских сверстников, и она находила утешение в детских рассказах (сначала тех, что в книжках, а потом и в "романах" собственного сочинения страниц на десять). Зато в Индии она была не просто среди

Джумпа Лаири – писательница с индийскими корнями

своих, а и любимицей всех дядюшек и тетушек: они обожали малышку и выполняли все ее капризы. Собственного жилища заокеанские гости не имели, да оно и не требовалось: их поочередно принимали многочисленные родственники. Здесь кровные связи были пропуском повсюду, в Америке же всякое сближение и приобщение требовало усилий. "Но с годами гостить у индийских родственников становилось морально труднее, — продолжает Джумпа. — Ведь в Нью-Йорке у меня была своя комната, где я закрывалась, если хотела побыть одна; и по городу я ездила без сопровождения. А в Калькутте мы становились членами другой семьи, так что приходилось жить по их правилам и считаться с их нуждами".

Однако, прежде чем стать чужой, Калькутта успела внести свою лепту в творческую биографию будущей писательницы. Именно там, подолгу живя у бабушки, она начала увлеченно фантазировать. Ее нынешние истории и герои волнуют читателя, словно все происходит на самом деле: между тем, сюжеты вымышлены, а образы полуреальны или собирательны. Так воображение, развитое в детских фантазиях, помогло уже взрослой Джумпе вживаться в ситуации, оставаясь вне их. Стоит ли удивляться тому, что она — молодая и незамужняя женщина— очень проницательна, например, в супружеских делах? Правда, писательница не скрывает, что в ее жизни был опыт серьезных любовных отношений: помноженный на мысль и наблюдательность, он и заполнил пробелы. К тому же со стороны, как известно, виднее.

По материалам газет
"Паис" (Испания),
"Стампа-Туттолибри"
(Италия),
"Глоб энд мейл оф Кэнада"
(Канада),
журналов "Ньюсуик" (США),
"Планета" (Великобритания).

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс» (неделя с 23 по 29 июля 2000 г.)

1	Danielle Steel	*The House on Hope Street*
2	James Paterson	*Cradle and All*
3	Julie Garwood	*Heartbreaker*
4	Tim F. LaHaye, Jerry B. Jenkins	*The Indwelling*
5	Mario Puzo	*Omerta*
6	Janet Evanovich	*Hot Six*
7	W. E. B. Griffin	*The Fighting Agents*
8	John Grisham	*The Brethren*
9	Toni Morrison	*The Bluest Eyes*
10	Eric Jerome Dickey	*Liar's Game*

Авторы номера

Анри Мишо
HENRI MICHAUX
[1899 –1984]. Французский поэт и художник.

Автор книг *Некий Плюм* [*Un certain Plume*, 1930], *Варвар в Азии* [*Un barbare en Asie*, 1933], *Внутренние дали* [*Lointain intérieur*, 1938], *Знакомство по безднам* [*Connaissance par les gouffres*, 1961], *Нищенское диво* [*Misérable miracle*, 1972], *Столкновения* [*Affrontements*, 1986] и др. Стихи и проза А. Мишо на русском языке печатались в антологиях французской и европейской поэзии XX в., в *ИЛ* [1967, № 9; 1996, № 12; 1997, № 6] и других изданиях.
Книга *В стране магии* [*Au pays de la Magie*] впервые опубликована в 1941 г. издательством GALLIMARD.

Мишель Бютор
MICHEL BUTOR
[р. 1926]. Французский прозаик, поэт, эссеист.

Лауреат премии Ренодо за роман *Изменение* [*La modification*, 1957; рус. перев. *ИЛ*, 1970, № 8, 9].
Автор романов *Миланский проезд* [*Passagé de Milan*, 1954], *Распределение времени* [*Emploi du temps*, 1956] и др.; поэтических сборников *Посылки* [*Envois*, 1980], *Лунный гербарий* [*Herbier lunaire*, 1984] и др.; эссе *Слова в живописи* [*Les mots dans la peinture*, 1969], *Бумеранг* [*Boomerang*, 1978], *Поэтическая польза* [*L'utilité poétique*, 1995] и др.
Текст публикуемой беседы напечатан в журнале MAGAZINE LITTÉRARE [апрель 1998, № 364].

Альдо Нове
ALDO NOVE
[р. 1967]. Итальянский поэт и прозаик, главный редактор журнала *Поэзия*, лидер рок-группы *Христианская демократия*.

Автор сборников стихов *Возвращаясь в твою кровь* [*Tornando nel tuo sangue*, 1989], *Луна, увиденная из Виджу* [*La luna vista di Viggiu*, 1994], книги рассказов *Вубинда и другие истории без счастливого конца* [*Woobinda e altre storie senza lieto fine*, 1996].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Супервубинда* [*Superwoobinda*. TORINO, EINAUDI, 1998].

Вислава Шимборская
WISŁAWA SZYMBORSKA
[р. 1923]. Польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии [1996].

Автор девяти книг стихов, в том числе *Большие числа* [*Wielka liczba*, 1976], *Люди на мосту* [*Ludzie na moście*, 1986], *Конец и начало* [*Koniec i początek*, 1993]. Стихи В. Шимборской по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой *Голоса поэтов* [1965], в антологии *Польские поэты* [1978], в *ИЛ* [1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11]. В *ИЛ* опубликованы также речь Вислава Шимборской *Поэт и мир*, произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии [1997, № 5] и фельетоны из сборника *Необязательное чтение* [1999, № 5].
Публикуемые стихотворения напечатаны в журнале ODRA в январе 2000 г.

Чеслав Милош
CZESŁAW MIŁOSZ
[р. 1911]. Польский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии [1980]. Профессор славистики Калифорнийского университета в Беркли.

Автор около 30 стихотворных сборников на польском и английском языках, сборников эссе *Порабощенный разум* [*Zniewolony umysł*, 1953], *Земля Ульро* [*Ziemia Ulro*, 1977], *Поиски родины* [*Szukanie ojczyzny*, 1992], автобиографической книги *Долина Иссы* [*Dolina Issy*, 1955] и др.
В *ИЛ* стихи и проза Ч. Милоша печатались в 1991, № 5; 1992, № 8, 9; 1995, № 1, 7; 2000, № 6.
В номере публикуются фрагменты книги Ч. Милоша *Придорожная собачонка* [*Piesek przydrożny*, KRAKÓW, WYDAWNICTWO ZNAK, 1998].

Густав Херлинг-Грудзинский
GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
[1919—2000]. Польский писатель.

Автор сборников рассказов, новелл, эссе, в том числе *Башня и другие рассказы* [*Wieża i inne opowiadania*, 1988], *Час тени* [*Godzina cieni*, 1991], *Горячее дыхание пустыни* [*Gorący oddech pustyni*, 1997], автобиографической книги *Другой мир* [*Inny świat*, 1953, рус. перев. 1991], многотомного дневника *Дневник, написанный ночью* [*Dziennik pisany nocą*, 1971—1996] и др. В *ИЛ* [1996, № 2] напечатаны его рассказы из сборника *Избранные рассказы*.
Повесть *Белая ночь любви* издана в Польше в 1999 г. [*Biała noc miłości*. WARSZAWA, CZYTELNIK].

Рышард Капущинский
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
[р.1932]. Польский журналист, лауреат международных и национальных премий.

Автор нескольких книг очерков и репортажей, в том числе *Футбольная война* [*Wojna futbolowa*, 1976], *Империя* [*Imperium*, 1993; рус. перев. фрагментов в журнале Знамя, 1993, № 4], *Лапидарии* [*Lapidaria*, 1997]. В *ИЛ* публиковались фрагменты его книг *Шахиншах* [1980, № 4], *Император* [1987, № 6], *Лапидарий* [1993, № 4]. Публикуемые фрагменты взяты из книги *Черное дерево* [*Heban*. WARSZAWA, CZYTELNIK, 1998].

Тадеуш Ружевич
TADEUSZ RÓŻEWICZ
[р. 1921]. Польский поэт, прозаик, драматург, эссеист. Лауреат нескольких национальных и международных премий.

Автор сборников стихов *Разговор с принцем* [*Rozmowa z księciem*, 1960], *Голос Анонима* [*Głos Anonima*, 1961], *Третье лицо* [*Twarz trzecia*, 1968], *всегда фрагмент. recycling* [*zawsze fragment. recycling*, 1998] и др. На русском языке изданы сборник стихов *Беспокойство* [1963], *Избранное* [1979], *Стихотворения и поэмы* [1985]. В *ИЛ* публиковались стихи и рассказы Т. Ружевича [1956, № 8; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5; 1998, № 7], пьеса *Западня* [1989, № 3].
В номере публикуются фрагменты книги Т. Ружевича *Мать уходит* [*Matka odchodzi*. WROCŁAW, WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE, 1999].

Кшиштоф Кеслёвский
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI
[1941—1996]. Польский кинорежиссер.

Наиболее известны его фильмы *Киномобитель* [1979, Главный приз Московского международного кинофестиваля], *Декалог* [1989], *Двойная жизнь Вероники* [1991, приз экуменического жюри Каннского фестиваля], трилогия *Три цвета: Синий* [1993, *Золотой лев* Венецианского фестиваля], *Белый* [1994, *Серебряный медведь* Берлинского фестиваля], *Красный* [1994, номинация на премию *Оскар* за сценарий и режиссуру]. В *ИЛ* напечатана его автобиографическая книга *О себе* [1998, № 11, 12].
Публикуемая киноновелла *Случай* взята из книги *Случай и другие тексты* [*Przypadek i inne teksty*. WARSZAWA, WYDAWNICTWO ZNAK, 1998).

Славомир Мрожек
SŁAWOMIR MROŻEK
[р. 1930]. Польский прозаик, драматург, эссеист.

Автор пьес *Индюк* [*Indyk*, 1960], *Танго* [*Tango*, 1964], *Эмигранты* [*Emigranci*, 1974], *Контракт* [*Kontrakt*, 1992] и др.; сборников рассказов *Слон* [*Słoń*, 1957], *Свадьба в Атомицах* [*Wesele w Atomicach*, 1959], *Дождь* [*Deszcz*, 1962], *Два письма* [*Dwa listy*, 1974] и др. В *ИЛ* напечатаны его пьесы *Любовь в Крыму* [1994, № 10] и *Прекрасный вид* [2000, № 1], рассказы [1964, № 5; 1988, № 5].
Моя автобиография опубликована в юбилейном сборнике, посвященном 60-летию Мрожека и изданном в 1990 г. в Кракове.

Ежи Пильх
JERZY PILCH
[р. 1952]. Польский писатель.

Автор книг *Список блудниц* [*Spis cudzołożnic*, 1993], *Тысяча спокойных городов* [*Tysiąc spokojnych miast*, 1997], *О глупости, питии и умирании* [*Tezy o głupocie, piciu i umieraniu*, 1997]. В *ИЛ* [1999, № 1] напечатана повесть *Монолог из норы*.
Публикуемые эссе взяты из сборника *Безвозвратно утраченная леворукость* [*Bezpowrotnie utracona leworęczność*. KRAKÓW, WYDAWNICTWO LITERACKIE, 1998].

Ольга Токарчук
OLGA TOKARCZUK
Польская писательница.

Автор романов *Путешествие Людей Книги* [*Podróż Ludzi Księgi*, 1993], *E. E.* [*E. E.*, 1995], *Правек и другие времена* [*Prawiek i inne czasy*, 1996], *Дом дневной, дом ночной* [*Dom dzienny, dom nocny*, 1998].
Рассказ *Номера* [*Numery*] взят из сборника *Шкаф* [*Szafa*. LUBLIN, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 1997].

Станислав Лем
STANISŁAW LEM
[р.1921]. Польский писатель.

Автор знаменитых научно-фантастических книг, философских трактатов, эссе, в том числе: *Звездные дневники* [*Dzienniki gwiazdowe*, 1957; 1974], *Солярис* [*Solaris*, 1961], *Сумма технологии* [*Summa technologiae*, 1964], *Насморк* [*Katar*, 1976], *Фиаско* [*Fiasko*, 1987]. На русском языке издано собрание сочинений С. Лема в 13 томах [Текст, 1992–1996].
Публикуемое эссе взято из сборника *Sex Wars* [WARSZAWA, NIEZALEŻNA OFICYNA WYDAWNICZA, 1996].

Джордж Стайнер
GEORGE STEINER
[р.1929]. Американский прозаик, критик, эссеист.

Автор многочисленных работ о духе и языке современной эпохи, собранных в книгах *Конец трагедии* [*The Death of Tragedy*, 1961], *Экстерриториальность* [*Extraterritorial*, 1971], *После вавилонского столпотворения* [*After Babel*, 1975] и др.
Публикуемое эссе взято из книги *In the Bluebeard's Castle. Some Notes Towards the Re-definition of Culture*, вышедшей в 1971 г. в издательстве FABER & FABER [LONDON & BOSTON].

Переводчики

Алина Иосифовна Попова.
Аспирантка кафедры французской литературы университета Париж-VIII. Переводит с французского и английского языков.

В *ИЛ* напечатан ее перевод стихов П. Реверди [1999, № 12].

Геннадий Петрович Киселев
[р. 1955]. Переводчик с итальянского, лауреат премии им. Цецилии Кин [1996].

В его переводе напечатаны новеллы Т. Ландольфи [Библиотека *ИЛ*, 1987], книга эссе и рассказов А. Савинио *Вся жизнь* [Библиотека *ИЛ*, 1990], романы *Четыре преамбулы* М. Бонтемпелли, *Если однажды зимней ночью путник* И. Кальвино [ИЛ, 1994, № 4], *Море-океан* [*ИЛ*, 1998, № 1) и *Шелк* [*ИЛ*, 1999, № 6] А. Барикко, рассказы Д. Буццати [*ИЛ*, 1994, № 12], Дж. Томази ди Лампедузы [*ИЛ*, 1997, № 7], эссе А. Савинио *Мопассан и другой* [*ИЛ*, 1999, № 10] и др. Составитель антологий итальянской прозы XX века, сборника рассказов Т. Ландольфи *Жена Гоголя и другие истории* [1999]. Автор учебных пособий.

Асар Исаевич Эппель
[р. 1935]. Литератор и переводчик с польского, лауреат премии Инолиттл [1998].

В *ИЛ* в его переводе напечатаны поэмы *Ниобея* К. И. Галчинского [1971, № 7], *Totentanz in Polen* С. Гроховяка [1985, № 11], *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* Т. Ружевича [1998, № 7], рассказы Ю. Тувима [1975, № 1], *Коричные лавки* [1990, № 12] и *Комета* [1998, № 12] Б. Шульца и др. Автор книг рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996].

Валентина Сергеевна Кулагина-Ярцева. Переводчик с английского, испанского и польского языков.

В ее переводе печатались романы *Фиаско* Ст. Лема [совместно с И. Левшиным], *Двое* Алана А. Милна [*ИЛ*, 1994, № 6], рассказы и эссе Х. Л. Борхеса [*ИЛ*, 1998, № 5], Э. Сабато и Дж. Апдайка [*ИЛ*, 1995, № 1], Б. Шульца [*ИЛ*, 1996, № 8], У. Коллинза, Э. Дансени, О. Блэквуда и др.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Кандидат филологических наук.

В его переводе напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [Суфлер, 1995, № 4]. В *ИЛ* опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо* [1999, № 5]. Авторская страница в Интернете — www.vavilon.ru/texts/prim/mikheev0.html

Сергей Иванович Ларин [р.1925]. Журналист, литературный критик, переводчик с польского.

Переводил произведения Я. Парандовского, С. Дыгата, Я. Ивашкевича, В. Жукровского, С. Лема, Р. Капущинского и др. Автор ряда статей о современной польской литературе, составитель сборников *Современная польская повесть* [1964], *Польские новеллисты* [1970], однотомников С. Зелинского [1964] и С. Дыгата [1971].

Стелла Дмитриевна Тонконогова Переводчик с польского.

Переводила произведения Г. Сенкевича, Ю. И. Крашевского, *Трактат о любви* Кароля Войтылы (Папа Иоанн Павел II), повести и рассказы Я. Ивашкевича, М. Хласко, Е. Анджеевского и др.

Сергей Николаевич Макарцев [р. 1946]. Переводчик со славянских языков.

В его переводе издан роман польского писателя В. Гомбровича *Порнография* [1994]. В *ИЛ* публиковались его переводы рассказов польских писателей Г. Херлинга-Грудзинского [1996, № 2] и А. Стасюка [1998, № 4].

Ксения Яковлевна Старосельская Переводчик с польского, лауреат премии *ИЛ* [1986].

Переводила произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хороманского, Т. Конвицкого, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Е. Анджеевского, М. Хласко и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Юрий Викторович Чайников [р.1950]. Переводчик с польского.

Переводил рассказы и романы В. Гомбровича *Транс-Атлантик* [1994], *Порнография* [1992], фрагменты *Дневников* [1992, 1996, 1988].

Александр Яковлевич Ливергант [р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения.

В его переводе издавались произведения И. Во, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, Дж. Бэнвилла, Ю. Маккейба, П. Остера, Дж. Кольера, Г. Миллера, Дж. Апдайка и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

живопись скульптура графика

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

В оформлении обложки использован фрагмент работы польского художника Владислава Стржеминского [1893–1952] *Счетчик*

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка Павел Сандомирский

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 29.05.2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,72.
Заказ №1872.
Тираж 13 250 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

На страницах "ИЛ" в 2001 году:

Новый роман одного из самых изобретательных американских авторов ПОЛА ОСТЕРА **"Тимбукту"** – причудливая и трагическая история собаки, потерявшей своего талантливого и безумного хозяина.

Философско-юмористическая повесть молодого писателя ЖАН-ФИЛИППА ТУССЕНА **"Фотоаппарат"**, по которой "отец нового романа" Ален Роб-Грийе изучает со своими студентами современную французскую прозу.

Новая книга одного из самых известных писателей современной Англии ПИТЕРА АКРОЙДА **"Повесть о Платоне"**; на этот раз акройдовская машина времени уносит нас в будущее – в конец четвертого тысячелетия.

"Вилленброк" – новый роман известного немецкого писателя КРИСТОФА ХАЙНА, дающий живую, многогранную, неожиданно близкую нам картину быта и нравов нынешней Германии.

"Бесчестье" – роман, за который южноафриканский писатель ДЖОЗЕФ МАЙКЛ КУТЗЕЕ был в 1999 году вторично удостоен Букеровской премии; история "падения" героя разворачивается в современной ЮАР, где искажены все привычные нормы поведения белых и черных жителей.

"Аптекарша" – захватывающее криминальное повествование немецкой писательницы ИНГРИД НОЛЛЬ, лучшей, по мнению журнала "Шпигель", детективщицы Германии.

"Повинная голова" – полупародийный "плутовской" роман знаменитого французского писателя РОМЕНА ГАРИ о таинственном бродяге, обложившем остров Таити "налогом на Гогена".

"Завещание" – ранняя антивоенная повесть ГЕНРИХА БЁЛЛЯ о "поколении вернувшихся", которые знают, что на этой земле у них уже нет родины.

"Дикие лебеди, или Три дочери Китая" – документальное повествование английской писательницы китайского происхождения ЯН ЧЕН о трех поколениях женщин ее семьи.

"Сравнительные жизнеописания" – очерки американской исследовательницы ФИЛЛИС РОУЗ о супружеских отношениях великих английских писателей-викторианцев.

"Моя жизнь" – автобиографические заметки известного немецкого критика МАРСЕЛЯ РАЙХ-РАНИЦКОГО.

Беседы со знаменитым испанским кинорежиссером ЛУИСОМ БУНЮЭЛЕМ, в которых он вспоминает самые яркие события своей жизни.

Литературные портреты КОЛЕТТ, АНДРЕАС ЛУ САЛОМЕ, АНАИС НИН, ГЕОРГОСА СЕФЕРИСА, ЭДГАРА РАЙСА БЕРРОУЗА в серии публикаций *"Жизнь как роман"*.

Эссеистика ДЭВИДА ЛОДЖА, ОЛИВЕРА САКСА, ЭМИЛЯ МИШЕЛЯ ЧОРАНА, ПАСКАЛЯ КИНЬЯРА, ОКТАВИО ПАСА, ИСАЙИ БЕРЛИНА.

"Литературные гиды", посвященные ключевым темам и именам современной культуры.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи
по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), УФПС (для Московской области)
и Моспочтамта (для Москвы)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: **70394 (на полгода); 72261 (на год)**

А НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ ПОДПИСАТЬСЯ ПРЯМО У НАС, С ПОЛУЧЕНИЕМ НОМЕРОВ В РЕДАКЦИИ.

Наш адрес: 121357, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

---

[9] 2000

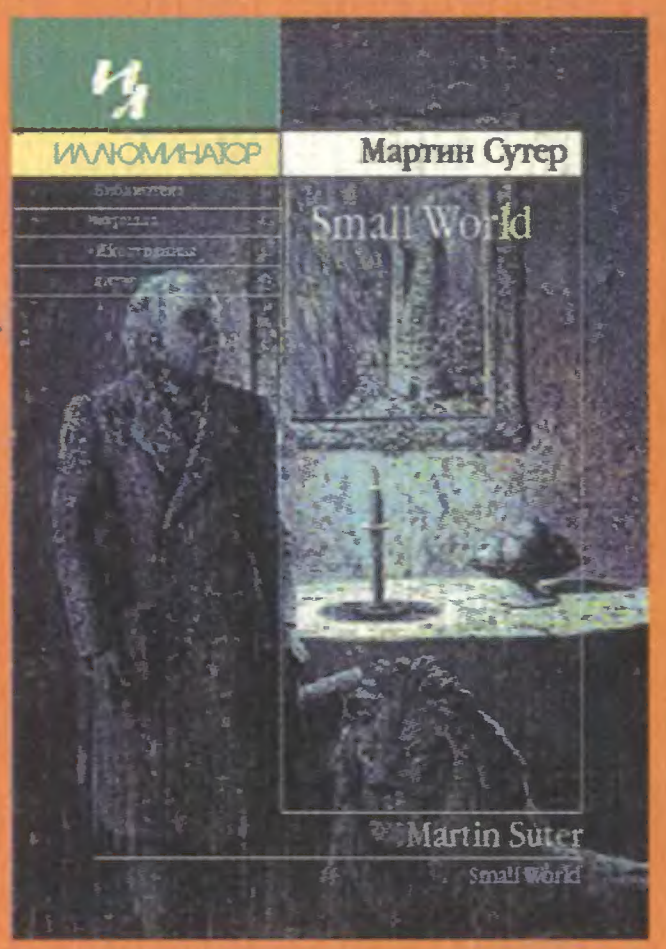
В следующем номере:

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН ЖАН-МАРИ ЛЕКЛЕЗИО "ДИЕГО И ФРИДА" / ПЯТЬ ЭССЕ КАРЕЛА ЧАПЕКА / "ПАДАЛЬ" ШАРЛЯ БОДЛЕРА В РУБРИКЕ "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ" / НОВЫЙ РОМАН МАЙКЛА КАННИНГЕМА "ЧАСЫ" / КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ ГОРАНА ПЕТРОВИЧА / СТИХИ КАЗИМЕЖА ВЕЖИНЬСКОГО

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

ИНДЕКС 70394



009. Алан А.Милн "Двое". **010.** Т.Корагессан Бойл "Восток есть Восток". **011.** Мартин Сутер "Small World".
012. Аласдер Грей "Бедные-несчастные". **013.** Итало Кальвино " Если однажды зимней ночью путник".
014. Клайв С.Льюис "Пока мы лиц не обрели"

В нашей новой книжной серии "**Иллюминатор**" читайте
лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала "Иностранная литература"
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2000, №8, 1-288